БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО
РОМАНА
„АГИДЕЛЬ"



ЗАЙНАБ
БИИШЕВА

УНИЖЕННЫЕ

БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО РОМАНА



"АГИДЕЛЬ"



Зайнаб Биишева (1908) — видная башкирская писательница, лауреат республиканской премии имени Салавата Юлаева, автор трилогии „К свету“ (романы „Униженные“, „У Большого Ика“, „Емеш“), многих повестей, сборников рассказов, пьес, стихотворений и произведений для детей.

кай и Гулькай, которые пошли домой обычным кружным путем — вдоль крутого берега. Поднявшись на высокую кручу Красного Яра, девочки остановились. Здесь, ниже брода, в зеленовато-голубой воде, где, как говорят, нет дна, не боясь подводных течений и водоворотов, купались девушки и молодые невестки. Точно белые лебеди, колыхались они на волнах посредине реки. У них тоже идут состязания. Плавают они высоко поднимая голову и ритмично стуча обеими ногами по воде — такой способ плавания считается красивым. Оттого то и дело видны над водой их округлые белые груди. А еще ниже по течению купаются парни. Они прыгают с Яра вниз головой в бездонный омут, надолго исчезая под водой, и выныривают на середине реки или у противоположного берега, а выйдя из воды, растягиваются на мягком желтом песке. Словом, на реке всяк резвится по-своему. Здесь не принято обижать друг друга словом, нет ложного стыда, нет и косых взглядов. В воде все они равны — дети природы. И этот издревле идущий обычай купания на большой реке жив и поныне. С самой весны и до первого льда над рекой стоит смех, веселье, шум и гам. В жаркую ли погоду, во время уборки ли хлеба, или при короткой остановке в пути даже каждый взрослый старается выискать пару минут, чтоб окунуться в воду.

Девочки загляделись на купающихся — старших братьев и сестер, а полуденное солнце снова разморило их.

— Янеш, пошли обратно! — сказала Бибекай.

— Побежали! — встрепенулась Янеш.

— И я! — пролепетала Гулькай.

И так всегда. Стоит отойти от реки, как она снова тянет к себе, и дети весь день проводят на берегу, пока не спадет жара. Но сегодня Янеш не повезло. Емеш стала проситься домой, к маме. Она раскраснелась, лоб был в испарине. А Бибекай уже подхватила свою сестренку за руку, и они понеслись вниз, проваливаясь по щиколотку в пыли.

— Янеш, ты чего там застряла?

— Емеш плачет, — прокричала Янеш.

— А моя Гулькай никогда не ревет! — похвалилась Бибекай.

И точно, Гулькай, неотступно следуя за сестрой, ко всему притерпелась и стала неприхотливой. А Сагура никуда не отпускала от себя Емеш, баловала, нежила. Наверное, тут была и жалость к меньшой дочери, оттого, что сама была нездорова, часто прибаливала. Никому не доверяя, мать ежедневно купала дочку в тазу дома или в бане.

— Эй, Янеш! Идем же, зазнайка!

Емеш вцепилась в платье сестры.

— Домой! Домой пойдем!..

Янеш сердито дернула Емеш за руку и поволокла за собой.

— Плакса! И не думай, что в другой раз возьму с собой! Шагай шибче!..

Емеш, как ни старалась, отставала все больше, повисая на руке сестры. У нее стали подкашиваться ноги, а потом она и вовсе уселась на пыльной дороге.

— Янеш, возьми меня на руки, я устала!

— Ты что, глупышка! Разве я подыму тебя?! — растерялась Янеш. — Ну, вставай же!

Емеш не двигалась. На нее вдруг напала дрема. Янеш в сердцах постучала своими маленькими кулачками по ее голове.

— Уй! Ни за что не возьму тебя больше, никогда! Вот увидишь! А ну, вставай на ноги! Говорю тебе, пошли! — У нее самой уже в голосе были слезы.

Емеш тяжело дышала, по лицу градом струился пот. Наконец Янеш села на корточки перед ней.

— Ну ладно, давай я понесу тебя на спине. Держись за шею.

Емеш вскарабкалась на спину сестры, и Янеш, согнувшись, едва не задевая носом землю, потащила ее к дому. Тоненькой Янеш было невмоготу нести свою пухленькую сестренку, которая и ростом мало уступала ей. Пробежав десяток шагов, она падала в изнеможении, роняя Емеш на землю, но едва переведя дыхание снова продолжала путь.

Отца уже не было, он опять ушел к Кормош-баю. В липкой духоте лежала, неподвижно вытянувшись, одна Сагура. Бибеш в аласыке толкла просо, чтоб сварить из него супойря. Иштуган еще не вернулся с тугая, куда он пошел за хворостом.

Емеш зашла в аласык; не отрываясь, выпила до дна ковш родниковой воды, которую только что принесла Бибеш, вошла в дом, взобралась на урындык и легла, прижавшись к матери.

— Ой, мама... — прошептала она и закрыла глаза.

— Доченька, цыпленочек мой, уж не заболела ли ты? — спросила Сагура, с трудом поворачивая к ней голову.

— Спать хочется, — не открывая глаз отвечала Емеш. Тело ее было раскалено. Дышала она тяжело и часто.

— Ой, моя девочка, — простонала Сагура. — Мое несчастное дитятко... Ой, аллах...

Ей хотелось приласкать дочку, но руки попрежнему не слушались ее. Чтобы скрыть слезы от Янеш, с мольбой и ожиданием смотревшей на нее, Сагура прикрыла веки. Но слезы полились только сильнее.

Янеш, печально склонив голову, побрела в аласык к Бибеш.

IV

Емеш лежала в сильном жару, мучимая кошмарами. Для нее день слился с ночью. В горячечном мозгу вставала одна и та же картина: все ближе подступают к ней чудовищно большие и, наоборот, совсем маленькие, с кулак, несметные головы без туловищ, волоча за собой распустившиеся, как хвосты, извивающиеся змеями чалмы. Головы окружают со всех сторон. Косые, как у муллы, лечившего кровопусканием ее мать, глаза дико вращаются, следят за Емеш. Зубы оскалены в страшной ухмылке. Головы шлепают губами, широко разевают пасть, будто норовя проглотить ее... Но вдруг они разом бросаются на ее мать, впиваются, раздирают зубами. Хлещет кровь. Руки, платье матери обагряются кровью. Лицо сереет.

— Косоглазые головы! Кровь, кровь! Мама, мамочка! — кричала Емеш. Она билась в бреду, вскакивала, бросалась бежать и падала...

Байгильде не спал ночей, присматривая за дочерью. Он опять сидел без работы. Кормошбай прогнал его, сказав, что слишком часто он отлучается домой.

Старушкам, ежедневно навещавшим больную Сагуру, прибавилась новая забота — думать и гадать, как поставить на ноги Емеш. Одни утверждали, что в нее вселился дух воды, другие — что ее ударил злой дух земли. А бабка Суакай, не соглашалась с ними, приводила десятки доводов, и каждый весомее другого, чтобы еще и еще раз подтвердить свою мысль, что такого не по возрасту смышленого, необычного ребенка, как Емеш, очень легко было сглазить.

— Я-то была у нее бабкой-повитухой и знаю. Видели бы вы, что было за дитя! — говорила она таинственным голосом. — Я вам скажу, как-то зимой в лютый мороз, кажись, в январе, как бы не соврать, прибегает ко мне Байгильде. Енге, говорит, поспеши, Сагура рожать собралась. Я быстренько шаль на голову, выбегаю. А на улице — буран. Прибегаю, проваливаясь в сугробах, и, о боже! Дитя уже народилось и кричит, заливается во всю глотку. Опоздала, значит, я, а бедняжка как будто обижалась, что не могут по-человечески встретить ее появление на свет. Я перерезала скорехонько пуповину, перевязала, набрала в ялгаш[1] теплой водички. Купаю, а сама диву даюсь: девочка-то будто двухмесячный ребенок, и большая, и кругленькая. На пальчиках, на локотках уже складки обозначились,

[1] Ялгаш — деревянное корыто.

волосики длинные, как смоль, черные. Даже брови и ресницы видать. Все на месте! А сама кричит и кричит, стало быть, недовольна пока еще мною. Выкупала я ее, завернула в теплое одеяло, взяла на руки и — бог ты мой, девочка враз и смолкла! И еще скажу: плакать-то перестала, а сама тихонько поворачивает головку, щурит глазенки, смотрит на потолок. «Ой, аллах, аллах! — говорю я про себя. — Экое чудо! Тьфу, Тьфу!» Даже перепугалась. Думаю, не дай бог, еще сглазишь! Живехонько кладу ее рядом с матерью. И что, угадайте, было дальше? Новорожденная-то закидывает головку и принимается рассматривать коптилку, мигающую над изголовьем в выемке на печи. Чудеса — и только!

Тут бабка Суакай умолкла в задумчивости. Затем, усмехнувшись, добавила:

— Бедная девчушка! Видать, дивилась маленькая: «Неужели это и есть белый свет? Стоило ли приходить сюда?» А я дивлюсь на нее да поплевываю в сторону, чтоб сохранил ее аллах, не дал сглазить. Не одну сотню детишек я за все годы-то приняла, а тут обомлела впервые. Отродясь такого не видывала. Сагура-келен, помнишь, одной тебе я говорила тогда?

— Да, так и было, енге. Я все боялась, что двойня будет. А тут такая радость — одна, да еще такая славная девчушка! Даже отец был ей рад...— ответила Сагура с едва заметной улыбкой, прикрыв веки, будто вглядываясь в прошлое.

Получив поддержку от Сагуры, бабка Суакай с еще большим воодушевлением предалась новым воспоминаниям.

— И росла девочка на удивление быстро, как в сказке. В три месяца игрушки в руки брала. В четыре сама садилась. Бывало, посадишь ее иа урыидык и любуешься, как она игрушку из рук в руки перекладывает, как поиимающе смотрит на тебя... Говорю же, чудо да и только! Про таких, верио, и говорили в стариику: «В шесть месяцев дитя с подола сползло, в семь за руку с матерью пошло». И впрямь, ведь так оио и было. В семь месяцев пошла, а в годик все слова говорила и даже пререкаться умела... Да, килеи?!

— Да, еиге, да... — тихо произиесла Сагура. Из ее груди вырвался стон, из полуприкрытых глаз брызиули слезы, смочив лицо, еще хранившее следы былой красоты.

— Сами посудите, как убережешь такую девочку от дуриого глаза?— продолжала бабка Суакай, оживляясь все более от подтверждеиия Сагурой ее речей. — Взять ее, какая оиа сейчас. Четыре годика всего, а ростом, словами не уступит семилетней Янеш!

Тут вмешались в разговор и другие старушки:

— Видать, твоя правда, Суакай-корзаш...

— Суакай зря не скажет...

— Немудрено сглазить такую девочку!..

Старушки твердо уверовали, что болезиь, иесомиеиио, от сглазу, и начали переговариваться между собой, выясияя, кто бы это мог так навредить. Бабка Суакай и в таком сложном вопросе показала свою проиицательность.

— Только ои, старик Шахит, — сказала оиа с такой решительиостью; что остальным пришлось сразу прикусить язык. А бабка Суакай из благодариости, что ие стали возра-

жать ей, разлила старушкам еще по чашке свежезаваренного крепкого чаю и начала убеждать в справедливости своих подозрений.

У старика Шахнта по прозвищу «Воробышек» были две внучки Бибекай и Гулькай, погодки Янеш и Емеш. Этот вечно занятый делом, маленький, сухонький, бойкий на язык старичок передал по наследству прозвище и всему своему роду, который пошел в него ростом и отличался таким же трудолюбием, ловкостью и неугомонностью. Потому это ласковое прозвище никого из них не обижало. Несмотря на свои восемьдесят шесть лет «Воробышек» не знает ни минуты покоя, проводя все дни у своего верстака, пристроенного в уголке двора. Там среди кучи стружек белеют лопаты, вилы, оглобли, кадки, колеса и разная посуда из дерева. Поделочную древесину ему возит из лесу сын Шахиморат. И он же раз в неделю выезжает на базар, нагрузив товаром длинную телегу с высокими бортами, приспособленную для перевозки бревен по узким лесным дорогам. Возвращается оттуда с провизией на неделю, накупив муки, сахару, чаю и другой мелочи. Но старика эта сторона дела уже не интересует. Он никогда не спросит: «Почем отдал, что купил?» Он предан своему ремеслу. Ему важно быть занятым работой и что-то полезное делать для людей, радуя их своим искусным трудом.

Маленькая Емеш, приходя к подружкам, Бибекай и Гулькай, любила подолгу торчать возле старика, наблюдая, как он работает, напевая себе под нос однообразную долгую песенку, которую всегда мог оборвать на полуслове. Старик тоже выделял Емеш за ее

смышленость не по летам, жалел и обычно старался раззадорить ее, рассмешить прибаутками.

— Эх, доченька-доченька, хоть и красивая ты, платье-то на тебе ситцевое да изношенное, — поддразнивает он девочку, зная, что она себя в обиду не даст.

— Нет, мое платье новое, шелковое, — не соглашается Емеш. — Мама сшила его к празднику ураза[1], видишь, какое оно красивое!

— У Гильмекай, дочки Кормош-бая, все платья шелковые, — продолжает старик Шахит как бы про себя. — А у тебя вот ни одного. Выходит, непорядок, дочка, непорядок в этом мире... Прости меня, грешного!..

— И у меня оба платья шелковые!

Как-то она увидела на дне сундука вышитый шелковый кисет, подаренный матерью отцу еще в девичестве, и с той поры поняла, что самая красивая вещь — это шелк, что все шелковое — самое лучшее.

— Ну что ты зря споришь? — подзуживает назойливый дед. — У тебя же все платья ситцевые, доченька.

— Нет, шелковые, шелковые! И платье мое, и стеганая накидка, и сапожки с оторочками — все из шелка! — кричит Емеш и сама пытается шутить над въедливым стариком. — Ой, да на тебе рубашка из грубой холстины! И перепачкал ты ее всю! Пересыпал опилками! Взгреет тебя твоя мама!

---

[1] Ураза — весенний пост; праздник в честь его окончания.

Старик Шахит трясется от смеха довольный тем, что Емеш себя в обиду не даст.

Порой дед, присев отдохнуть, рассказывает ей сказки. Ему нравится, что Емеш, хоть и мала, а слушать умеет. Умение слушать старших, по мнению старика, очень похвальное качество. Емеш готова без конца слушать его сказку про Козу и Волка, особенно те места, которые говорятся нараспев. Вот крадется голодный Волк за добычей:

Бабка и дедка
Крепко спят.
А ребенок малый
Хочет играть,
А в овчарне скачут
Пятеро козлят,
А в сарае пляшут
Пять жеребят,
А из сеней слышен
Визг щенят...
Остры зубы Волка
И голодный взгляд,
Хочет темной ночью
Он козлят сожрать...

А Емеш, затаив дыхание, слушает.

Такую картину во дворе старика Шахита бабка Суакай видела не раз, слышала даже, как он говаривал:

— До чего горазд этот ребеночек! Не будь девкой, славный был бы парень, хоть куда!..

Вспоминая обо всем этом, бабка Суакай проникается еще большей уверенностью.

— Он, только он мог сглазить, — повторила она.

— Известное дело — он. Очень уж зыркий его глаз. Не смотрит, а точно буравит,— поддерживали ее сидящие вокруг самовара старушки.

Было решено добыть клок одежды старика, опалить его и дать понюхать Емеш. И справиться с этим могла опять-таки только бабка Суакай. На другой день, с утра пораньше, оиа, прихватив негодный, выброшенный сыном топор, прибежала к старику Шахиту. Тот, не замечая ее, тихонько иапевая под нос свою извечную песенку, меиял обручи иа старом, россохшемся бочонке.

— Бог в помощь, корзаш, — приветливо обратилась бабка Суакай и с показиым интересом стала приглядываться к его работе.

— Что, старая, с топором ходишь? Али замышляешь дурное, хи-хи... — пошутил старик.

— Э-э, да топор без топорища и разбит весь. У моего Сахиуллы иикак руки ие доходят, посмотрел бы ты, корзаш...

Бабка Суакай подсунула старику ржавый топор, и, пока тот разглядывал его, покачивая головой, она, покрутившись около иего, изловчилась и выхватила кусок лохмотьев из его сплошь залатанных старых штанов. А старик, внимательно изучив топор, почему-то сразу погрустнел.

— Оставь до завтра. С иим малость поработать надо: заточить, топорище новое поставить... чтобы снова называть его топором, эхма...

— Пускай, пускай остается, — с готовиостью согласилась бабка. — Спасибо тебе, корзаш. Дай аллах, чтоб твои руки не зиали усталости... — и заторопилась иа улицу.

В тот же день бабка Суакай спалила добытый клок одежды старика Шахита перед самым иосом Емеш. Больная ианюхалась ды-

му, но ничего кроме новых страхов это ей не принесло. Болезнь не отпускала, горячечный бред продолжался как прежде. Неунывающая бабка Суакай тоже не думала отступать. Она хотела во что бы то ни стало поставить на ноги девочку и хотя бы тем облегчить участь семьи Байгильде.

«Как же изгнать хворь? Где взять средство? — ломала она голову. — О, аллах, научи, как быть».

Прошло еще несколько дней. Состояние девочки не улучшалось. Ранним утром к ним вбежала осунувшаяся и исхудавшая за последнее время бабка Суакай. Глаза ее светились надеждой и верой.

— Нет, девочку не сглазили! Ее испуг хватил! Сердце с перепугу соскочило с места, да-да!..

Байгильде хотел было возразить, сказать, что не надо трогать Емеш, у которой снова всю ночь продолжалась горячка, но бабка Суакай, не дав ему рта раскрыть, со свойственной ей самоуверенностью изрекла:

— Сердце малютки надо вернуть на место. Сейчас увидишь, как это делается...

Она медленно, с торжествующим лицом разжала свой кулак и поднесла к лицу Байгильде худую жилистую руку. На ладони лежал круглый, с голубиное яйцо, оловянный слиток.

— Видишь? Священное черное олово! Оно отольется и покажет нам на того, кто испугал ее. Потом образ этого злодея мы нацепим на ниточку, заговорим и повесим ей на шею. И тут-то сердечко снова вернется на свое место. Девочка наша, даст аллах, встанет на но-

ги! Понимаешь меня?! — И бабка Суакай начала распоряжаться Байгильде, как мальчишкой, хотя по его лицу было видно, что не нравится ему ворожба.— Бери дочку на руки. Держи ее головку... Сейчас вернем ее сердечко на место...

Бабка Суакай так горячо принялась за дело, что Байгильде ничего не оставалось, как без слов выполнить ее просьбу — он посадил девочку на колени и ласково прижал к груди, поражаясь ее раскаленному, как уголь, легкому тельцу. Байгильде грустным взглядом следил, как возится бабка у очага, готовясь к новому заговору. Что он мог сказать ей, желающей всей душой добра, но темной и беспомощной старушке? Что чует его сердце — дочка простужена или перегрелась на солнце. Но, боясь обидеть, не стал перечить своей первой помощнице в трудные для его семьи дни. Ведь порой она просиживает у них безвылазно день за днем, забыв напрочь о себе и своем доме, добровольно, бескорыстно взвалив на себя заботы чужих для нее людей. Что он делал бы без нее?! Потому он и смирился, решив, что особого вреда от ее заговора не будет. А бабка Суакай была в восторге: «О аллах, наш пропащий безбожник опомнился! Наконец-то человеком стал! Совсем покладистый, слава тебе, аллах!..»

— Сейчас сам увидишь, как полегчает нашей доченьке. Хворь как рукой снимет, — торопливо приговаривала она, возясь у печи.

Она в одном ковше расплавила олово, другим ковшом зачерпнула воды и стала водить им над головой Емеш, что-то бормоча себе под нос, видимо изображая чтение молитвы, потом

резко опрокинула олово в воду. От громкого шипения под ухом Емеш вздрогнула и забилась в плаче. Байгильде хотел было уложить дочку возле матери, чтобы она скорее успокоилась, но бабка Суакай остановила его.

— Погоди. Надо же сперва узнать, кто напугал ее. Не узнаем, придется повторить...

— Чушь это! Как можно верить гаданию? — не выдержал Байгильде. — Оставим, енге, хватит!..

— Э-э, не говори так, потерпи чуток, — успокоительным тоном продолжала бабка Суакай, увлеченная своим занятием. — Олово покажет нам на того, кто ее напугал...

Бабка долго рассматривала, вертя в руке, застывший в виде бесформенных брызг слиток.

— Похоже, что паук... Паука испугалась... Надо еще раз испробовать для верности.

Снова расплавив олово, она вылила его в холодную воду над головой Емеш. Девочка опять вздрогнула от шипения, испугалась и расплакалась. На сей раз кусок олова, по словам бабки, был больше похож на петуха. Получалось, что петух ее так сильно перепугал.

— Придется лить до тех пор, пока сердце не сядет на место, пока олово не отольется в виде сердечка, — объявила бабка Суакай.

Байгильде угрюмо молчал. Бабка, не обращая внимания на плач и крики Емеш, продолжала деловито отливать нужную форму. Наконец она достала из ковша с водой не очень разбрызгавшийся слиток, что можно было объяснить тем, что олово было не сильно ра-

зогрето, и не так резко опрокинула бабка расплавленное олово в воду.

— Ну вот, похоже на сердце. Слава аллаху, сердце встало на место! Скоро поправится, — сказала бабка Суакай и, продырявив слиток в тонком месте, вдела в него нитку и повесила на шею Емеш. Обессилевшая от плача Емеш уснула на руках отца. Бабка с гордостью посмотрела на Байгильде.

— Видишь, сват, как отошел ребенок? Я тебе что говорила?!

Сагура, не проронившая за все время ни слова, беззвучно плакала. После «лечения» Емеш начала бредить не только ночами, но и днем. К концу второй недели ей стало так плохо, что казалось, уж не выжить девочке. Но тут, на счастье, появился дед Шахит со шкурой только что зарезанного барана и завернул в нее Емеш.

— Пусть отогреется доченька. Ей пропотеть надо, — сказал он коротко. — Все будет хорошо...

И действительно, Емеш пропотела впервые за время долгой болезни и крепко уснула. Старик Шахит был необычайно доволен собой.

— Что я вам говорил! У дитя была простуда. Говорил, надо ей согреться, а вы не слушались. Ну и решил помочь ей сам. Совсем теплую шкуру принес. К сенокосу барана зарезали. Старушка моя еще бульону принесет. Теперь уж поправится...

Байгильде и Сагура с почтением внимали ему, не зная, как выразить свою благодарность. Старик Шахит, чтобы избавить их от неловкости, прибавил:

— Ладно, ладно... Раз нету своих овец, откуда быть шкуре? Известно же: бедность — не радость, болезнь — не корысть. Чего уж тут, говорится же, что от денег глаза разбегаются, а нет денег — ума не прибавляется, эхма!.. — и легонько зашаркал к выходу.

Может быть, в самом деле помогла теплая овечья шкура, а может, наступил перелом в болезни, но с того дня Емеш пошла на поправку. Жар спал, она уже могла сидеть возле матери, отгоняя от нее назойливых мух. Только ножки ее так ослабли, что было еще трудно выходить из дому. А старушки и бабки, как и раньше, навещали Сагуру, разделяя обрушившееся на семью горе. Те, что помоложе, хлопотали по дому, пекли хлеб, расчесывали девочкам косы, стирали за ними, а постарше отвлекали Сагуру разговорами от мыслей о своей болезни. Но все чаще в их речах звучали зловещие слова «засуха», «голод». Тревожными голосами они на все лады вздыхали и кручинились про то, что с весны не выпало ни капли дождя, что на небе ни облачка, что малые дети мрут от мыта, что уж сгорели на корню пашни и луга. Припоминали страшные истории минувших лет: как в такую же засуху смерть косила людей аулами, как люди ели кошек, собак, но выжить не могли. Особенно пугающими, как обычно, были рассказы бабки Суакай.

— Перед японской войной был еще один голодный год. Ой-ой-ой! Ну точно вчера было, перед глазами все так и стоит! Не приведи аллах еще раз увидеть. Чтоб провалиться мне, если лгу, в тот год на дорогах вместо столбов покойнички стояли! Видать, кто-то, чтоб стра-

щать людей, найдет мертвеца и ставит его ногами в сугроб, торчком... Снег-то тогда валом валил и студеио было — вот то был год!.. Люди, гоиимые голодом, брели, горемычные, толпами по дорогам из аула в аул и, где заставала их иелегкая, там и падали. А какой-то изверг, камениое сердце, выстраивал их, застывших, по обочинам заместо столбов. Или оии сами, силясь до последиего ие упасть, так и умирали стоя... Жуткая картииа! Торчали там и тут, пока не раздерут голодные волки. Не оставалось у живых сил, чтобы могилку вырыть... Да и что с иих взять-то было, с живых, — оии сами одиой ногой в могиле стояли. Никто не дивился этим столбам-мертвецам — видно, и кровь у людей заледенела давио, и душа покииула их тела — шли оии себе своей дорогой вдоль покойиичков, пока сами ие падали, сердечиые... О аллах! О иаваждеиие!..

«Эта бабка, видать, ие остановится, пока не убьет Сагуру», — озабочеиио думал Байгильде. Сегодня в ночь он вместе с Иштугаиом уходил в горы косить сено и сейчас, сидя у окиа иа табурете, подшивал сапоги сыиу. Ему удалось иаияться на поденную работу опять-таки к тому же Кормош-баю. Семья оставалась иа попечеиии бабки Суакай. Потому Байгильде крепился, чтоб ие разобидеть ее иекстати вырвавшимся словом.

— Килеи, зиаешь, почему аллах иасылает страшную засуху, а? — Бабка Суакай, оживившаяся от своего красочиого рассказа, низко склоиилась иад Сагурой, которая лежала ие шелохиувшись. Расширившийся в печали взгляд был устремлеи куда-то мимо бабки. — Оттого что грешников стало миого иа земле!

Мулла Ахмадулла говорнт, людн ие призиают нн царя, нн баев, ин мулл. В Петербурге фабричные люди на самого пресветлого царя руку поднялн, да-да, не на кого-ибудь там, а иа царя! Народ свихнулся, с дубьем супротив царя с боярами пошел. Где это видаио! Это же все равно, что против волн аллаха идти! Аллах будто не знает, кому быть бедиым, кому — богатым. Он же сказал, что только самых любимых рабов своих сделает сирыми н убогими. Взять вот тебя, Сагура-килен! Ты же раб божий, ближе всех к иему, потому-то иесешь все тяготы, терпишь все лншеиия. Всевышннй, испытав тебя, даст за твое терпеине в раю лучшее место. Что иам этот бреииый мнр? Мы здесь мимолетиые гости. Как-инбудь уж стерпим, только бы не отнял аллах рая на том свете, в иашем вечиом пристаиище. А люди такие есть — иесогласиые с провндением аллаха! Им подавай рай сейчас, иа земле! Вот как! Мулла Ахмадулла говорит, коли иарод вольиичает, чего ж аллаху ие придумать для иарода кару?..

— Еиге, — не сдержавшись, остаиовил поток ее речей Байгильде. — То, о чем говорит мулла, ведь случнлось в Петербурге в пятом году. Ныие как-иикак одинадцатый год идет. Выходнт, запоздал аллах со своим иаказаиием-то? Разве плачут сегодня, если били год назад?! Да и царь, думаю, ие спал, а давно за все воздал кому хотел. Благо у него и сила, и власть... Ои-то небось и без помощи аллаха хорошо управляется с иепослушными...

Бабка Суакай растеряиио вытаращила глаза, потрясеииая такнм кощунством, а Байгнльде тем же иезлобнвым тоиом добавил:

— Енге, отвечай-ка, чего наш всевышний горой стоит за царя и баев, а? Или он тоже из их роду, одним миром они мазаны, что ли?

Бабка Суакай, едва не теряя рассудка, вскричала:

— Опомнись, остановись, бесстыжий! Проси прощения у аллаха! Покайся скорее, безбожник!..

— Ладно, покаюсь, енге. Только вот невдомек мне, чего медлит сам мулла Ахмадулла? Ведь так легко стать возлюбленным аллаха! Живи своим трудом, не вымогай, а он так и рыщет повсюду, где бы урвать побольше, где бы разжиться. Ведь верно, енге?..

Бабка Суакай вскочила и бросилась вон из дома.

— Богоотступник, пакостник! С тобой и сама, того гляди, согрешишь. Тьфу, тьфу!..

— Ну зачем, отец, дразнишь бедную старушку? Не надо... — с мольбой тихо сказала Сагура. — Обидится и больше не придет... Что тогда? У нас же никого здесь нет... И сам уходишь...

— Она добрая... Нас любит, — неожиданно вмешался в разговор старший Иштуган, сидевший у ног матери, поджидая, когда отец починит его сапоги. Байгильде удивленно взглянул на сына. «Смотри-ка, подрос сынок... Голос подает...» — отметил он про себя не без удовольствия, но в голосе его прозвучала досада.

— Разбередила душу бабка. Сколько можно молчать? — Он, махнув рукой, встал, бросил в ноги Иштугану залатанные сапоги. — Обувайся, сынок, пошли... Успеть бы добраться и поработать с часок до первого чаю.

Иштуган сунул ноги в сапоги, немного потоптался у края урындыка и, мягко ступая, оглядываясь на мать, как-то боком вышел из дому.

— Поберегись, сынок, косу под ноги не бросай, — напутствовала Сагура. — На Урале в горах змей много...

Емеш, пристроившаяся возле матери, устремила широко раскрытые глаза на отца. Байгильде погладил ее головку, ласково похлопал по спине.

— Маму одну не бросай, доченька, ладно?

Легонько провел ладонью по впалым щекам и безжизненным рукам Сагуры.

— Не поддавайся, мать, крепись...

Затем он с какою-то поспешностью выскочил на улицу. В доме сразу стало темно и пусто. Сагура, не издавая ни звука, смотрела невидящим взглядом на дверь, за которой исчезли муж и сын. Емеш слабыми после болезни ручонками замахала полотенцем, отгоняя от матери мух, но быстро притомилась, привалилась к матери, склонила голову на подушку и сразу уснула. Сагура, снедаемая мучительным недугом, осталась наедине со своими горестными думами.

V

Чередой потянулись беспросветные, томительные дни. Емеш уже оправилась после болезни и целыми днями пропадала где-то вместе с Янеш. Дождей все не было. Солнце припекало яростнее и безжалостнее. Пришла пора жатвы. Но убирать было нечего. Истощенные, никогда не знавшие отдыха земли бедня-

ков мертвенно чернели под маревом. Над ними клубилась по ветру мелкая черная пыль. Там пшеница выгорела на корню. Но байские поля, что в низинах, не поддались засухе. Здесь стояла хоть и невысокая, но густая пшеница с налившимся красноватым колосом. Простой люд поражался этому и сетовал, что аллах отбирает у бедняка последний кусок:

— Кабы и мы с осени пронахали поглубже, как баи, а весной отсеялись пораньше, да будь у нас привычная к нашим засушливым землям пшеница — белая или красная безостая, тогда и у нас уродился бы какой-нибудь урожай... С нашими-то клячами разве управишься к сроку? И целины нам не поднять... Одна остается нам доля — помирать...

Люди в слезах вымаливали у аллаха дождя, приносили ему в жертву овец, угощая порой своим последним бараном муллу Ахмадуллу. Не помогали и брошенные в Большой Ик семьдесят черных камешков, заговоренных муллой за большое подношение, — дождя не было. Кто-то пустил слух, что во всем виноваты куры, у которых под крыльями нет пуха, а торчит лишь розовая кожа. Оказывается, они своими крыльями разгоняют облака, не давая им пролиться на землю дождем! Надо скорее переловить всех зловредных кур и отдать мулле. Он окропит их, свернет им шеи и ночью утопит в реке. Тогда-то и пойдут дожди! И однажды с утра в ауле поднялся куриный переполох. Дети, женщины, гонялись по улицам за своими курами. Те кудахтали, шарахались, перелетали через изгороди. И какую курицу ни поймай — у нее под крылом голая кожа с вылезшими от жары и бескормицы

перьями. Все облезлые курицы угодили в казан муллы Ахмадуллы. Но дождя не было и в помине. Раскаленное солнце выжигало все живое. По ночам даже не выпадала роса. Поползли слухи о грядущих новых бедах. Люди впали в уныние, перестали общаться друг с другом. Молодые подались на сторону в поисках куска хлеба и работы, чувствуя, как немилосердно приближается голод и норовит ухватить за горло своими жестокими когтями. Стало не до чужих бед. Лишь бы выжить самим. Бабки и соседки уже не засиживались около Сагуры. Почерневшие под палящим солнцем, они с пересохшими губами появлялись ненадолго, как тени, перебрасывались привычными словами и так же тихо уходили.

— Как здоровье, килен? Вроде бы лучше сегодня выглядишь,— утешали они тоном, которым уже никого не обманешь. — Уж скоро пошлет тебе аллах спасение от недуга, совпадет наша молитва с возгласом твоего ангела-хранителя «аминь» и пойдешь на поправку, не горюй, килен... Не теряй надежды... Аллах милостив...

После той стычки с Байгильде даже бабка Суакай стала реже заходить к ним. Ей не хотелось попадаться ему на глаза. При встречах она предпочитала отмалчиваться, чтобы не согрешить, слушая его безбожные речи.

В один из таких печальных дней Байгильде не пошел на свою поденщину — косить в горах сено для Кормош-бая. Остался с ним дома и Иштуган. Они оба почему-то не отходили от больной. Была все время рядом и Бибеш. Сагура лишь изредка произносила что-то невнятным голосом и снова замолкала. Она,

казалось, таяла на глазах, как догорающая свеча. Янеш и Емеш, словно чувствуя, как надвигается что-то непоправимое, тоже было пристроились возле матери, но отец услал их.

— Идите, дети, на улицу. Поиграйте... Сегодня я посижу вместо вас.

Девочки молча друг за дружкой, как гусята, поплелись к дверям. На улице Янеш взяла сестренку за руку.

— Пойдем, хылу, к дедушке Шахиту...

Старика Шахита они увидели на привычном месте — у верстака под навесом и, обрадованные, быстренько подбежали и уселись рядом с ним на бревне.

— А, пришли, девочки-цветочки,— приветливо встретил их старик. — Спасибо, что не забываете деда.

— Отец нас на улицу послал, — ответила невесело Янеш.

— А мы сюда пришли, — добавила Емеш.

— Вот и хорошо... — сказал дед дрожащим голосом и примолк, пряча взгляд.

Наступило молчание. Старик Шахит сегодня не шутил с Емеш, не забавлял ее смешными прибаутками, только порой, оторвавшись от работы, бросал по сторонам какой-то отсутствующий взгляд и, тряхнув головой, приговаривал тягуче:

— Э-хе-хе!.. Времена!.. Выпало и на вашу долю, доченьки, да... Какие времена!..

Емеш, конечно, ничего не понимала, но ей стало почему-то вдруг тоскливо. Она потихоньку от деда потянула сестру за рукав.

— Уйдем отсюда, Янеш!.. Уйдем!..

Янеш не отвечала. Вскоре из аласыка выскочили Бибекай и Гулькай.

— Купаться! — весело прокричала издали Бибекай. — Побежали, Янеш, на речку!..

— Нет, давай здесь поиграем,— тихо сказала Янеш. — Емеш еще нельзя купаться, она долго болела...

— Ну, ладно, — согласилась Бибекай. — Во что будем играть?

— Не знаю... — уныло протянула Янеш.

Дети вышли за ворота. На улице было пусто, безветренно, жарко. Никого не тянуло побегать. Словно всем вдруг передалось настроение Янеш. С серьезным видом они задумчиво топтались на одном месте.

— Пойдемте тогда на Красный Яр искать бусинки! Смотрите, сколько их я нашла вчера! Даже разноцветные! — наконец нарушила тишину Гулькай. — Красивые, видать из кашмау [1]...

Она сняла с шеи ниточку из цветных бусинок и дала полюбоваться девочкам.

— Правда, красиво!..

— Да... — согласилась с нею Янеш. — Только там сейчас уж нет бусинок.

— Есть, — возразила Бибекай. — Мой дедушка говорит, на том месте при Салават-батыре и Емельке-батыре стоял богатый аул, не то что сейчас! Его сожгли дотла по приказу бабки-царицы. И сгорели все украшения. Там под золой и сейчас лежат бусы, жемчуга и кораллы!..

— Все я знаю, — перебила Янеш. — Суакай-инэй рассказывала...

Да и кто не знает здесь об этом пепелище, которое с годами, теряя свой красноватый от-

[1] Кашмау — женский головной убор.

тенок, все больше сравнивалось по цвету с землей! Янеш много раз находила там и кораллы, и бусы, и серебряные монеты с изображениями бабки-царицы. Но все же сегодня ее не тянуло туда. Она сказала:

— Жарко, а туда идти далеко. Лучше пойдем на свалку Кормош-олатая [1]. Там много битой посуды. Соберем черепки и поиграем где-нибудь в тенечке, ладно?

Бибекай уступила. Они с Янеш взяли за руки своих сестренок и зашагали в верхний конец аула, где высился под зеленой крытой железом крышей дом Кормош-бая. Жизнь за сверкающими голубой краской резными воротами была для девочек неописуемо таинственна, но подсмотреть, что происходит у бая во дворе, им еще не доводилось. И на этот раз они свернули с улицы в проулок и подались к куче мусора, выбрасываемого через байский забор. Здесь валялось много битой посуды, пустых спичечных коробков, бутылок из-под дорогих вин. Но внимание девочек привлекало совсем другое. Поверх мусора были разбросаны крупные, с кулачок Емеш, сочные, черные ягоды. Что это?! Девочки никогда в жизни не видывали такого чуда. Они застыли в нерешительности, разглядывая ягоды. Было непонятно, кому взбрело в голову выбросить такое добро. Первой не стерпела Бибекай.

— Постой... А ну-ка попробую только на язычок, сладкая ли, — сказала она и прямехонько отправила ягоду в рот.

---

[1] Олата́й — дедушка.

— Мамочка, объедение, ух! — воскликнула она, крепко жмурясь. — Чуть язык не проглотила!

Гулькай тоже схватила одну ягоду вслед за сестрой.

— Угу... Сладенькая!..

Из задних ворот вышел кучер Кормош-бая. Увидев девчонок, приготовившихся накинуться, как голодные галчата, на ягоды, он сердито закричал:

— Гей! Прочь отсюда, дурьи головы! Это же объедки сына Кормош-бая! Вот пристанет к вам его дурная болезнь!

Девочки в паническом ужасе отпрянули от кучи и бросились бежать.

— Злая кара за отца пала. Сыночек-то заживо гниет... Лицо и шея в гнойных свищах. Не дай, аллах, нашим детям такой напасти...— пугающим шепотом говорили между собой старушки.

Страх и отвращение охватили девочек. Особенно плохо было Бибекай и Гулькай, успевшим проглотить по ягодке. Они так долго плевались, что у них пересохло во рту и пропал голос. Однако шустрая Бибекай и тут быстро нашла путь к спасению.

— Знаете, — многозначительно объявила она. — Бабушка моя говорит, что тому, кто съест нечаянно какую-нибудь погань, надо произнести «бисмиллу»[1] и сорок раз сплюнуть. Тогда и болезнь не прилипнет, и греха не будет; можно не бояться ни шайтанов, ни духов. Мы с сестричкой сейчас так и сделаем, чтобы уберечься от заразы, правда?!

---

[1] Бисмилла́ — молитва.

Бибекай прочла бисмиллу и, сбиваясь со счета, наспех сплюнула сорок раз. Гулькай старательно повторяла все, что делала сестра. У них немного отлегло от сердца, и они заторопились домой. У Емеш подступила к горлу тошнота, разболелась голова, видно сказывалась недавняя болезнь. Она еле шла.

Янеш стоило большого труда приволочь ее до ворот. Она не чаяла, когда уложит Емеш возле матери и избавится от нее. Но необычная картина у себя во дворе заставила их остановиться.

Перед домом толпились старушки, женщины, молодые и старые, и, что совсем было непривычно, мужчины и старики. У порога стояли бабка Суакай с сыном Сахнуллой, каким-то образом оказался и старик Шахит с сыном Шахмоном. С сильно озабоченным видом, с печалью на лицах люди входили и выходили из дома, о чем-то тихо переговаривались, не поднимая глаз. Из-за дверей слышался заунывный голос. Так читают только коран.

— Муэдзин уже второй раз начинает ясин [1], — шепчет бабка Суакай. — Да примет ее к себе господь за благочестие.

— Уготовь, аллах, ей, страдалице, место в раю. На этом свете не повидала счастья, пусть хоть на том свете изведает, — приговаривает старенькая Залифа, бабушка Бибекай.

Старик Шахит стоит сильно сгорбясь, опираясь на палку, прислонившись спиной к дверному косяку, и, будто обиженный на кого-то, грустно повторяет:

---

[1] Ясин — упокойная молитва.

— Молодой уходит, совсем молодой... Всего-то ведь тридцать два года... Самое время жить да жить... Нужда, нужда извела... Нищета сгубила, нищета...

Янеш и Емеш с недоумением смотрели по сторонам, вслушиваясь в приглушенный говор взрослых. И вдруг, словно поняв, что происходит, бросились в дом.

Отец, Иштуган, Бибеш сидели у ног матери в тех же позах, что и утром. Глаза Бибеш были красные. Муэдзин, который восседал у изголовья Сагуры на подушках, подогнув под себя ноги, нараспев протянул последние слова ясина, провозгласил:

— А-ми-инь!.. — и замолк.

Янеш и Емеш влезли на урындык, разом припали к матери и в один голос заплакали.

— Ой, мама! Мамочка!..

Сагура с усилием широко раскрыла потускневшие глаза и в последний раз окинула дочерей глубоким, проникновенным взглядом. Отяжелевшие веки сомкнулись. По тонкому высохшему лицу пробежала похожая на плач мучительная судорога. Но глаза остались сухими. Через какое-то время она, приоткрыв глаза, одними губами, едва слышно, прерывающимся голосом попросила:

— Деточки... идите... поиграйте на улице...

— Янеш, доченька, возьми сестричку, идите к Бибекай! Скорее же, — заторопил Байгильде.

Дети, будто догадываясь о приближении неотвратимого несчастья, застыли, как вкопанные, не желая расставаться с матерью. Байгильде, беря их по одному на руки, выставил за дверь.

— Поиграйте, доченьки, поиграйте...

Янеш и Емеш, всхлипывая, дошли до ворот, постояли и тут же кинулись назад. Опять взобрались на урындык, встали возле матери.

— Мама!

— Мамочка!..

Но мать уже ничего не ответила, не открыла глаз. Она сейчас просто лежала перед ними, безмолвная, как отлитая из воска фигура. Две толстые косы, идущие от головы до самых пят, прямые густые брови, капризно надутые, как у ребенка, губы даже в этот миг ясно говорили о ее былой удивительной красоте.

Иштуган и Бибеш с рыданиями бросились из дома. Байгильде, чтобы скрыть слезы от дочерей, повернулся к ним спиной.

— Идите, доченьки, побудьте на улице, — сказал бабка Суакай. — Мама ваша спит.

Янеш не ответила, только начала еще сильнее всхлипывать. А Емеш перестала плакать, широко раскрытыми глазами, не мигая, долго смотрела на мать и каким-то на удивление спокойным голосом объявила:

— Нет, не спит! Моя мама умерла. Нет у меня больше мамы.

Пришедшие проститься взрослые вздрогнули, переглянулись между собой и только покачали головами. Бабка Суакай суеверно залепетала:

— Да что же это такое творится?! Слыхано ль, чтоб из уст младенца такое вырвалось?! Никак, судный день настает...

Ее никто не поддержал. Все в доме оцепенели, подавленные напомнившим о себе безжалостным законом природы. Неожиданно, нарушив тишину, прогремели раскаты грома.

Впервые за лето тяжелая черная туча заслонила собой солнце. Редкие крупные капли, горькие, как слезы покойной Сагуры, начали взбивать рассохшуюся пыльную землю, стучать по окнам. Потерявшие было дар речи, поникшие люди оживились, заспешили на улицу. Сняв шапки, подставили головы дождю. В сердце каждого проснулась надежда, глаза с мольбой были обращены к небу.

— Гляньте. Как мы не заметили? Откуда взялась эта туча?

— Святая наша Сагура! В час ее кончины всевышний послал нам, оставшимся в живых, дождь!.. Слава аллаху!..

— О великий, всемогущий, чтим твою благодать!

— Дай нам щедрого живительного дождя!

— Коли досыта напоит землю, может, и наша пшеница отойдет, даст немного зерна...

Из домов повыскакивали дети и с визгом стали носиться по улице, прося дождя.

Дождик лей!
Дождик лей!
Будет жить веселей.
Будет нам урожай,
Будет пышным каравай! —

пели одни, им вторили другие:

Дождик лей! Дождик лей!
Нам воды не жалей!
Бочки полные кати,
Дай же хлебу подрасти!

Но дождь не пролился ливнем, как того желали дети, и не напоил землю досыта, как желали взрослые. И кончился он так же внезапно, как начался, не прибив даже придо-

рожной пыли. На небе опять засверкало солнце, и под его раскаленными лучами миг улетучились редкие капли. Воздух разогрелся, и стало душно пуще прежнего. На окнах от дождя появились крупные белые подтеки, отчего стушевались и переполошились даже видавшие виды старики:

— Соленый дождь выпал. Нет, не будет пользы от него...

А бабка Суакай так осерчала, что в сердцах посетовала на бога:

— Э-эх ты, аллах! Неужто это все, что смог дать нам за долгие месяцы ожиданий? В ответ на все наши просьбы, мольбу... Али капли воды пожалел для нас, своих бедных рабов!..

— Ради деток, ради вот этих сироток, — добавил старик Шахит, указывая растерянным взглядом на Янеш и Емеш. — Напоил бы ты землю досыта! Не слышишь ты наш плач, не слышишь, всеблагостный аллах!

Его слова неожиданно для него самого прозвучали горькой иронией над божьей благодатью. Он с досады, тряхнув головой, проговорил:

— Идите, старушки, обмывать покойницу. А ты, Байгильде, веди парней могилку копать...

Байгильде, ничего не видя перед собой, вскинул лопату на плечо и направился к кладбищу, осыпая проклятиями злую судьбу, отнявшую у малых деток мать, лишившую веры неунывающую бабку Суакай, от которой еще никому не доводилось слышать жалоб на жизнь. За ним тронулись двое-трое мужчин. Дед Шахит засеменил в лавку Кормош-бая,

купить белую бязь на саван. Бибеш и Иштуган, залитые слезами, встали у тела матери. Перед домом остались лишь Янеш и Емеш.

«Сиротки... сиротки... сиротки...»— как описать воздействие этого слова, когда его произносят впервые при самих осиротевших детях! До Емеш только сейчас, когда она осталась вдвоем с сестрой, как будто дошел истинный смысл случившегося, и она с плачем запричитала:

— Ой, мама моя, мамочка!

Янеш обняла ее тонкими ручонками, стала успокаивать.

— Не плачь, хылу, не надо...

Но тут же расплакалась и сама. Присоединившись к ним, тоскливо и надрывно завыл сидевший на завалинке пес Кашкар. Словно и он переживал вместе с ними горечь неизбывной утраты...

VI

После сорокового поминального дня Байгильде поехал в аул Ильсегул, выпросив у Кормош-бая лошадь с условием, что отработает за это на поденщине. Там ему сосватали бездетную разведенку по имени Сарбимял.

— И расторопна, и работяща, и за словом в карман не лезет, — хвалили сваты. — Все у нее есть: дом, земля, скот и птица. Детей, жаль, у нее нет, но тебе они ни к чему — своих хватает.

Байгильде подумал, что такая женщина сможет полюбить его детей, коли своих нет, и станет для них настоящей матерью. Правда, старик Шахит отговаривал его.

— Да за тебя еще любая девушка пойдет. Разве тридцать пять лет — возраст для мужчины? В стариху говаривали: «Езжай по дороге — пусть будет в объезд, женись иа девушке — пусть будет слепой». Девушка привыкиет к тебе, родиой стаиет. Полюбит тебя и детей твоих, к ним ласкова будет. А с разведеикой, зиай, хлопот ие оберешься.

Разные слухи ходили в ауле про Сарбиямал. Рассказывали, что оиа была единствеииым ребенком в семье, росла балованиой и строптивой, будто отец, желая, чтоб дочь была пристроена, целых семь раз выдавал ее замуж, ио она всякий раз убегала домой. «Коиечио, больше ие иашлось охотииков свататься, — строили догадки, — иначе, кто по своей воле пойдет за вдовца с кучей детей!» Высказывались опасения, что молодая, видно, надеется иа свою власть и хочет пустить по миру детей: «Зря ведь ие пойдет такая бывалая! Неспроста, ой неспроста все это, хлебиут горя бедные дети Сагуры, худо им будет, ой как худо!..»

Но не в этом крылась причиие, по которой «ярая мужененавистница» Сарбиямал так иеожидаиио решилась иавесить иа свою шею четырех чужих детей.

Родители Сарбиямал были ие богаты, ио и не бедны. Упрямая и своеиравиая Сарбиямал еще совсем юиой связалась с первым драчуиом в ауле, сорви-головой Ахметшой. К иему с молодых лет пристала кличка конокрада, да и отец его Шымбай-Кущтаи был известеи своими темиыми делишками. Чтоб разорвать эту порочащую связь, выдали Сарбиямал замуж за джигита с добрым иравом из соседие-

го аула. Но Сарбиямал, прослышав, будто Ахметша намеревается жениться на ней, сбежала от мужа, пройдя пешком десять верст в трескучий мороз, и снова стала встречаться с Ахметшой. Однако сватов он не присылал.

Отец и мать еще раза два выдавали дочку, но каждое новое замужество Сарбиямал кончалось одним и тем же — обманутая своим Ахметшой возвращалась в родительский дом. Оттого она и заслужила кличку «беглая Сарбиямал».

Родители со стыда за свою неудачницу-дочь перестали показываться на людях, ссылаясь на болезни. А позднее, когда Ахметша женился на другой, Сарбиямал от позора, не сладив со своими чувствами, сбежала и из родительского дома. Она нанялась стряпухой к купчихе Батыйме-тутай[1] из соседнего аула Якуп, знаменитого большими базарами.

Батыйма была пышной вдовой, известной на всю округу своим постоялым двором и складами кирпичной кладки. Торговала она чаем, сахаром и мануфактурой — всем, что продается и покупается. Об ее доме шла худая слава, там собиралась самая разношерстная публика: Батыйма сводничала, устраивала сердечные дела, приваживала богатых стариков и завлекала молодых красоток. Но Сарбиямал это не трогало, потому что вряд ли можно было отыскать лучшее место для встреч с дорогим для нее Ахметшой. А тот и в самом деле с той поры зачастил в дом Батыймы-тутай.

---

[1] Тутай — обращение, которое добавляют башкиры к имени татарки.

За те годы, что Сарбиямал проработала у купчихи, она выучилась готовить на любой вкус, шить, свободно говорить по-русски и по-татарски. Здесь же она впервые узнала, какую власть имеют деньги, как добывают их, не брезгуя ради наживы обманом и хитростью. Ей захотелось и самой стать похожей на Батыйму, иметь большой богатый дом и подобно баям свысока поглядывать на других.

Когда в прошлую зиму умерли ее родители, она вернулась в свой аул, уверенная, что началось ее превращение в Батыйму. Но жизнь диктовала свое: чтоб стать купчихой нужны были деньги, а чтоб управляться с оставшимся от родителей хозяйством нужны были мужские руки. Как же ей мечтать о больших деньгах, когда не находился для нее даже самый никудышный муж — так широко разошлась молва о Сарбиямал, что охотников свататься к ней не было. И был бы просто смех ожидать ей помощи от Ахметши, который раз в кои веки прокрадывался к ней, хоронясь от собственной тени. Сарбиямал пребывала в растерянности.

И в это время она прослышала про вдовца Байгильде, оставшегося с четырьмя детьми на руках. Решив не упускать свой шанс, она при первом же намеке с его стороны ухватилась за него, и, поручив свой дом и добро дальнему родственнику, укатила на телеге нового мужа в его аул Исайбет.

«Съезжу, осмотрюсь, разведаю... Авось удастся уговорить его перебраться в Ильсегул. Сам-то мужик красивый, здоровый, видать, работящий... В хозяйстве и дети сгодятся»,— рассуждала она.

— Едем же скорее, муженек, к тебе, — сказала она наутро Байгильде.— А добро мое потом перевезем. Ах, как не терпится хоть глазком одним взглянуть на детишек! Теперь ведь они и мои дети. Если бы ты знал, как я люблю детей! Увижу маленького на улице и млею. И конфетку ему сую и приголублю. За это, может, всевышний и не дает мне своих детей, мстит...— В ее голосе слышались слезы.

Байгильде растрогался, стал утешать жену:

— Ну что ты, что ты, не плачь, милая. Мои дети будут тебе как родные. Как родную мать будут любить. Я им так и накажу, вот увидишь...

VII

Бабка Суакай с утра пришла помочь Бибеш прибрать дом к приезду мачехи. Приодела детишек, расчесала и заплела им косы, обстирала, привела в порядок их одежду. Но вид ее, вопреки обычному, был невесел.

— Эх-хе-хе!.. Кто не знал родовых мук, тому как познать сладость материнства?.. Такая разве пожалеет, приголубит сирых детишек, — ворчала она, кряхтя и вздыхая. А детям наказала: — Мачеха она и есть мачеха, дети. Родную мать не заменит. Вы ее, дети, не зовите мамой. Кто она вам? Просто тетка. Вот и зовите ее так — апай!

Управясь по дому, она дрожащим голосом сказала:

— Теперь уж, деточки мои, сами встречайте их, а я не могу. Нет мочи видеть, как входит чужая баба в дом моей Сагуры-килен, — и торопливо засеменила из дому.

Дети шли за нею до ворот, упрашивая не покидать их. Со смертью матери они неотступно ходили друг за другом, как осиротевшие ягнята, словно боялись отстать или потеряться. Следя взглядом за уходящей бабкой Суакай, они понуро выстроились у ворот. На улице было пусто, как и у них дома. Аул будто вымер. Мужчины разбрелись кто куда в поисках хлеба и работы. А женщины с детьми сейчас бродят, как тени, по лугам и тугаям в надежде набрать хоть горстку лебеды, запасают на зиму хмель, боярышник, калину и коренья. На улице лишь изредка мелькнет сгорбленная фигура старика да оставшаяся без надзора мелкота, вроде детей Байгильде.

Рано — к середине августа — пожелтевшая листва и выгоревшая трава придавали аулу заброшенный вид. Ощущение запустения усиливалось от несущихся вдоль пустынной улицы шаров перекати-поле. Их сюда пригонял суховей с окрестных сыртов. Громадные, слипшиеся пыльные комья, похожие на гигантских мохнатых пауков, то угрожающе застывали на месте, то кружили в странном зловещем танце, то, будто ошалев от дикой радости, подпрыгивая, едва касаясь земли, неслись дальше. Один из них, самый громадный, весь ощетинившийся, растопыренный, большими прыжками подскочил к детям, постоял, подрагивая, напротив них, потом внезапно опять взвился и, приплясывая, укатил по ветру. Казалось, он дразнил детей и радовался, видя их несчастные лица.

Иштуган, вместе с сестрами следивший за зловещим танцем шаров перекати-поле, шум-

но вздохнул, глуховато по-взрослому произнес:

— Не видел и не слышал, чтоб когда-нибудь такие громадные перекати-поле гуляли по нашей улице...

Непонятное чудное зрелище вселило в души детей новую смуту и тревогу. Под палящими лучами солнца, с пересохшими от жары губами, они нерешительно топтались у ворот — так лодка, брошенная посреди реки без руля, плывет, не ведая, куда и когда прибьет ее течением...

— Едут! — вдруг вскрикнула не своим голосом Бибеш.

— Они, — сказал Иштуган, быстро отводя в сторону длинную створку ворот.

— Ой-й! — вырвалось у Янеш. В ее голосе прозвучало что-то вроде отчаяния. Емеш словно впала в оцепенение.

Припустив ленивой трусцой рыжего жеребца Кормош-бая, с верхнего конца аула выехал на свою улицу Байгильде. По левую его руку сидела в цветастом кашемировом платке, ниспадающем до пояса, молодая женщина.

— Мачеха! — в один голос произнесли девочки и, как вспугнутая волком стайка жеребят, кинулись в дом прятаться.

У ворот остался только Иштуган. Его здесь удерживала радость встречи с конем. Он с нетерпением ждал той минуты, когда ухватит коня за поводья; воображал, как будет возиться с ним, распрягать, поить, а потом верхом помчит на нем до дома Кормош-бая. Конь был его сокровенной мечтой. Какой же он парень, если нет у него коня?! Другие мальчишки с пяти лет верхом... А ему уже двенад-

цать! Если б только был у них свой конь! Как он берег бы его, холил, как носился бы вскачь по улице! Когда отец нанялся к Кормош-баю ради стригунка — Иштуган возликовал в душе. Ему чудилось, что сбывается его затаенная мечта. Но отец потерял эту работу. Мать умерла. И его надежда рухнула. Иштуган теперь даже боится вспоминать о былой мечте, потому что она, как и дума о матери, для него тяжела и невыносима.

Так что ему приходится пока довольствоваться малым — изредка перепадающей радостью проскакать на чужом коне.

Рыжий жеребец протащил с грохотом телегу во двор и беспокойно заржал. Иштуган, не помня себя от радости, подскочил к нему.

— Тпр-ру, рыжик!

— Вот, сынок, привез вам мать, — как-то виновато произнес Байгильде. — Подойди к ней, сынок.

Иштуган, все внимание которого было приковано к коню, даже не услышал слов отца. Для него во всем мире были сейчас только двое: он сам да этот рыжик.

Байгильде повел жену в дом. Девочки забились по углам. Емеш протиснулась за сундук со сложенной на нем горкой из одеял и подушек и замерла, затаив дыхание.

Сарбиямал была пышущей здоровьем женщиной, на вид лет двадцати пяти или тридцати, с румянцем во всю щеку. На ней было алое кисейное платье на манер оренбургских купчих, с подолом из сплошных оборок, со шлейфом, с фонариками на плечах, с туго зауженными от локтя до запястья рукавами, с оборочками, ленточками и прошивками на

груди. Ноги ее были обуты в новенькие черные сапожки на высоком каблуке, на голове — с яркими цветами на желтом фоне кашемировая шаль — любимый наряд девушек и женщин. В походке, в движениях сквозило дерзкое упрямство, каприз. Она была полна той женской отваги и броской красоты, которые не могут не нравиться мужчинам. Байгильде она тоже понравилась сразу. Особенно его привлекла ее бьющая через край энергия и цветущий вид, звучный твердый голос, уверенные быстрые движения и жесты.

«Мы с Сагурой, покойной, были чересчур кроткими и робкими... А смирному всегда тяжелее... Эта же любого за пояс заткнет... — подумал Байгильде. — Лишь бы к детям не была сурова».

Сарбиямал по-хозяйски оглядела дом, твердым шагом прошлась по комнате. Байгильде же почему-то, наоборот, оробел.

— Доченьки, — едва выдавил он. — Доченьки, где вы?.. Выходите же, покажитесь матери.

Первой из-за печи вышла Бибеш. За нею показалась Янеш.

— Ах-ах! Неужто это мои доченьки? Бедненькие, до чего малюсенькие и тощенькие!— Сарбиямал громко расхохоталась и протянула детям руку. — Давайте знакомиться. Как вас зовут?

Дети ошарашенно молчали. За них ответил Байгильде.

— Старшая — Бибигайша, средняя — Янбике, а вон из-за сундука выглядывает самая маленькая — Гульемеш. Мы их зовем просто — Бибеш, Янеш, Емеш...

Неизвестно почему, Сарбиямал первым делом остановила свое внимание на Емеш, посматривавшую на нее из-за своего укрытия встревоженным и перепуганным взглядом.

— Ага, еще одна! Ах-ах, что ж ты так уставилась, глупенькая! Иди сюда, к своей мамочке!

В доме, где привыкли к тихому, мягкому, как бархат, голосу Сагуры, громогласность Сарбиямал всех испугала.

— Ха-ха, вот дикарка! — шутя погрозила Сарбиямал пальцем, видя, что Емеш даже не пошевелилась. — Чисто дикая коза!..

— Стесняется, — Байгильде словно просил прощения за дочку.— Пообвыкнет, потом привяжется...

— Пообвыкнет?! Нет, приручу! Сразу видать, этих детей никто не воспитывал!

Сарбиямал скинула с головы шаль, бросила ее на урзу [1], прошла и села на урындык. Сладко улыбаясь, окинула поочередно детей испытующим взглядом. Но улыбались только ее губы, а глаза, круглые, маленькие, сведенные к переносице, поблескивали из глубины холодным огоньком. Дети видели только ее колючий взгляд, слышали только ее зычный резкий голос, потому она показалась им злой и некрасивой.

А Емеш вообразила, что к ним в дом пришла в образе молодой женщины сама мэскэй-абей [2], и ее охватил панический ужас. Накануне всю ночь напролет бабка Суакай, чтобы

---

[1] Урза — поперечный шест для развешивания одежды.

[2] Мэскэй-абей — ведьма, колдунья.

утешить как-то детей, рассказывала им сказки про батыров, сирот и злых мачех. Одна из этих сказок особенно запомнилась Емеш. В ней будто говорилось про то, что ждет их впереди.

«Давным-давно жили да были старик со старухой,— певуче и печально вела свою сказку бабка Суакай. — И было у них двое детей: дочь — красавица и сын — молодец. Но захворала старушка и умерла. Взял старик по соседству в другом ауле себе жену, а детям — мачеху... Мачеха же оказалась самой настоящей мэскэй-абей. Как пришла в дом, так сразу слегла, притворилась больной, чтоб хитростью съесть детей. Привел старик лекарей, те лечили ее и заговорами, и заклинаниями, а злодейка притворялась, что ей только хуже с каждым днем.

Наконец собрался старик в дорогу и пошел искать по белу свету снадобье от недуга. А навстречу ему попался пророк Хызыр-Ильяс, покровитель странников и бедных путников. На самом же деле это была его жена мэскэй-абей, которая приняла образ пророка.

— Ассал-ля-ма-га-лей-кум! Куда путь держишь, бедный человек?

Поведал старик про свое горе. А распроклятая мэскэй-абей в образе пророка советует ему зарезать сына и накормить его сердцем свою жену и при этом добавляет:

— Иначе твоя старуха не поправится. Такова воля аллаха. Другого выхода у тебя нет, иди себе домой.

Возвратился он убитый горем, а мэскэй-абей уже давно прибежала, лежит, жалобно стонет.

— Ой! Худо мне, совсем худо!.. Видать, смертный час мой настал!.. Ну старик, отвечай скорее, нашел ли, чем спасти свою бедную жену?

— Нет, не нашел,— тихо сказал старик.— Видно, нет такого средства...

— А не попадался ли тебе в дороге какой-нибудь святой?— стала допытываться она, заглядывая ему в глаза.

— Нет...

— Обманываешь! По глазам вижу. Тебе святой посланник аллаха повстречался, волю аллаха передал. А ты не хочешь, чтоб я встала на ноги!

И прикинулась она, что помирает. Не пойдешь же против воли аллаха — пришлось старику зарезать сына. Сестрица собрала кости братца, обглоданные мачехой, завернула в белую тряпицу и схоронила под белою березой. Наутро ее братец ожил, превратясь в жаворонка, и с песней вспорхнул в небо. Говорят, от него пошли все жаворонки. Потому так хватает за душу их нежное пение. Однажды этот пасынок, ставший жаворонком, подлетел к отчему дому и запел:

В котле вода клокочет,
Отец мой ножик точит,
А мачеха есть хочет,
«Режь пасынка!» — кричит...

Затем влетел в окошко, сел отцу на плечо и говорит:

— Отец, отец, открой рот!

Отец от изумления открыл рот, а сынок сунул ему на ложечке масла. Потом подлетел к сестричке и попросил:

— Сестрица, сестрица, открой свой ротик!

Сестра признала родной голос братца, открыла рот. Он дал ей ложечку меда. Напоследок подлетел к мачехе и сказал:

— Тетка, тетка, открой рот!

Мачеха кинулась на него, широко разинув пасть, чтобы проглотить. Но пасынок швырнул ей в глотку ворох иголок. Мэскэй-абей подавилась и рухнула замертво, а жаворонок вылетел из дому и со звонкой песенкой опять взмыл высоко-высоко к самому солнцу...»

Жуткая сказка тяжелым камнем запала в душу детей. А маленькая Емеш решила, что нет ничего страшнее неродной матери. Потому-то она не хотела сейчас вылезать из-за сундука.

Байгильде, продолжавший стоять у порога, теребя шапку, будто он тоже стал чужим в своем доме, тихо попросил:

— Бибеш, доченька, поставь-ка самовар.

— Он вскипел...

— Тогда неси его, во рту с дороги пересохло.

Бибеш постелила старенькую, но опрятную белую полотняную скатерть. Внесла на подносе чашки, хлеб, молоко. Иштуган, управившийся к тому времени с лошадью, притащил из аласыка большой натертый до блеска медный самовар. Осталось только всем рассесться по местам.

У них в семье, впрочем, наверное, как и в любой семье, за едой у каждого было свое определенное место: по правую сторону урындыка, у окна, на возвышении — почетном месте, называемом «туром», на маленькой подушке сидел отец, по левую руку от него

на краю урындыка, возле самовара было место матери; отсюда удобно разливать и подавать чай. Напротив матери, у другого края урындыка лицом к ней сидела Бибеш, а напротив отца, замыкая квадрат, сидел Иштуган. Между Бибеш и Иштуганом сидела Янеш, между отцом и братом — Емеш.

И сейчас все уселись на свои места. Не было продолжавшей прятаться Емеш, да пустовало место покойной матери. Туда и направилась выходившая мыть руки Сарбиямал. Но в эту минуту Емеш, забыв все страхи, выскочила из-за сундука и взобралась на место матери.

— Уходи, черная тетка! Не садись на место моей мамы. Не пущу...— сказала она глухим голосом, а у самой глаза полны слез — вот-вот расплачется.

Байгильде и Сарбиямал от неожиданности оторопели. Было бы нехорошо довести до слез самую маленькую в день появления мачехи, хотя, казалось, нельзя было бы и оставить без внимания такую дерзость. Немного помешкав, Байгильде пересел на левую сторону.

— Ладно... Пускай так будет с этого дня... Давай, Сарбиямал, здесь сядем. Пусть Емеш сидит с краю, коли нравится...

— Мне же несподручно будет чай разливать,— запротестовала было Сарбиямал, но Байгильде остановил ее:

— Да уж как-нибудь приловчишься.

Сарбиямал молча села по левую сторону. Иштугану, Янеш и Бибеш тоже пришлось пересесть. Таким образом впервые был нарушен годами заведенный в доме порядок.

После чаю Сарбиямал стала привязываться к Емеш. То ли она думала задобрить маленькую упрямую девчонку, то ли посмеяться над нею в отместку за дерзость.

— Иди же ко мне, доченька, приласкаю тебя. Я теперь твоя мама,— говорила она сладким голосом.— А ты моя дочка.

Емеш боязливо отшатывалась от нее. Мачеха же начала ловить ее. Все слова и жесты человека, не знавшего детей, были деланными, неуклюжими. Байгильде смущенно и обеспокоенно наблюдал за шутовством жены.

Вот Емеш, убегая от мачехи, снова залезла за сундук. Сарбиямал настигла ее, выволокла за руку, силком усадила себе на колени.

— Ага, попалась, бука! Будешь прятаться? Ну, скажи «мама». Кто твоя мама? Я... запомни, я тебе мать!

Емеш отбивалась. Но где уж вырваться малому дитяти из твердых и цепких рук взрослого! Сарбиямал разошлась. Она прижала голову Емеш к своей груди. Видно, было ей невдомек, что так можно и задушить ребенка.

Емеш затрепыхалась, как рыба, выброшенная на берег, но освободиться не могла. И когда ей уже нечем было дышать, она укусила Сарбиямал.

— Ой-ой!.. Проклятая, чтоб зубы твои повыпадали,— взвизгнула Сарбиямал, отшвырнув Емеш на пол.

Она тут же вскочила, нацелясь добавить ногой. Но в то же самое мгновение между нею и Емеш бросилась Бибеш. Черный сапожок на высоком каблуке больно ударил ее в бок. Потрясенная жестокой выходкой мачехи, Бибеш боли не почувствовала. Взяв на руки

Емеш, успокаивая и утешая ее, она вышла из дома. Иштуган и Янеш потянулись следом. И недобрая мачеха, и позволивший ей мучить беззащитную сестренку родной отец сейчас показались им одинаково далекими посторонними людьми. Они забрались в аласык и притихшие долго сидели без движения. А в доме как полноправная хозяйка кричала и бесновалась молодая жена. Ей не понравилось, что Бибеш заступилась за младшую сестренку.

— Нечего держать дома взрослую девку! Выдай замуж! Другие, глядя на нее, тоже на голову сядут! Чтоб не было ее дома, пусть не путается под ногами!

— Мало ей еще годков-то. Ведь всего четырнадцать... — слабо возражал Байгильде.

— Вот еще, мало! Нечего больше ждать. Выросла, хватит! Если не отдашь ее замуж, не стану жить у тебя! Слышишь? Не стану! — твердила она.

Байгильде были незнакомы семейные ссоры и, впервые столкнувшись в своем доме с руганью, он начисто потерял голову. Он стоял перед Сарбиямал, заложив руки за спину, с устремленным мимо нее куда-то удивленным взглядом. Как ему быть, чем успокоить жену?!

VIII

Спустя недели две после приезда мачехи к воротам Байгильде подкатил на новеньком тарантасе, с запряженным в него породистым иноходцем, рыжебородый мужчина в засаленной черной бархатной тюбетейке, в ичигах — сапогах из мягкой кожи и галошах, в длиннополом черном казакине. Сойдя с тарантаса, он

зашагал к Байгильде, издали приветствуя протяжным возгласом:

— Ассалямагалейкум!

Емеш испуганно забилась в аласык. Незнакомец чем-то напомнил ей муллу Ахмадуллу, который пускал кровь ее матери. А Бибеш и Янеш, наоборот, уставились на него, соображая, кто бы это мог быть. С чего-то обрадовавшаяся Сарбиямал, с непривычной мягкостью в голосе и игривым хихиканьем промурлыкала:

— Бибеш, доченька, ступай в аласык. Взрослой девочке негоже заглядываться на незнакомых мужчин,— а сама, продолжая радушно улыбаться, пошла навстречу гостю.

— Проходи, проходи в тур, Хисбулла-суфый[1], добро пожаловать! Заходи в дом, желанным гостем будешь! — Она мимоходом ущипнула ничего не понимающего Байгильде.— Отец, ты что как воды в рот набрал!.. Милости просим, проходи в дом, суфый! Иштуган, сынок, распряги коня и дай овса!

Сыпя распоряжениями, Сарбиямал сама провела суфыя в дом, усадила на урындык, подложив подушки.

— Пока вы будете беседовать, я приготовлю чай,— сказала она с довольным видом и, покачивая бедрами и переваливаясь, как утка, удалилась в аласык.

У Байгильде не было желания развлекать разговорами незваного гостя. Он хмуро молчал, погрузив мозолистые пальцы в широкую курчавую бороду и сведя густые черные брови. Скользнув задумчивым взглядом по акку-

---

[1] Суфый — святой, набожный.

ратной рыжей бородке гостя, по прикрытой тюбетейкой чисто выбритой голове, Байгильде не без удовольствия отметил про себя:

«Любо-дорого посмотреть, как по-стариковски расселся этот гость. Никак полжизни провалялся на пыльном полу медресе».

На самом же деле Хисбулле еще не было тридцати, но по одежде, манере держаться он показался Байгильде мужчиной в летах. Такое впечатление усиливалось оттого, что, следуя наставлениям матери, бабки Таибы, он тщился изображать перед Байгильде богатого, ученого, твердо стоящего на ногах человека, по этой же причине он старался первым завязать чинный мужской разговор.

— Ну вот и ла-адно!.. Как житье-бытье? Как хозяйство, скот? Как говорится, все ли живы-здоровы: дети, родные? Ну, хуш!..— уже в который раз начинал он речь теми же словами, что обычно произносит мулла, входя в дом, и в ответ на односложное «хорошо», не зная, как продолжать разговор с неразговорчивым угрюмым хозяином, только ерзал на подушке и покрякивал, как мулла:— Бэракалла! Бэракалла [1]!..

Как назло все нужные слова вместе с наставлениями матери у него вылетели вон из головы.

Тут кстати для него подоспел чай. Сарбиямал уселась перед самоваром и без умолку тараторила про то, как денно и нощно печется она о своих новых дочерях. Войдя в роль добросердечной матери, которая души не чает в детях, она помянула недобрым словом рас-

[1] Бэракалла — слава аллаху.

путных жен, не дорожащих своими мужьями, и запричитала о несчастной доле брошенных мужей. Расчувствовавшись от своих причитаний, она даже прослезилась и с кроткой улыбкой поглядела на гостя, как бы ожидая одобрения. А Хисбулла смог поддержать Сарбиямал опять-таки лишь своим «бэракалла», сопровождая восклицание неуклюжим покачиванием.

«Похоже, в медресе не сумели вдолбить других слов в его глупую башку... Чего он привалил сюда, как снег на голову? Каким ветром занесло?» — неприязненно размышлял Байгильде.

— Отец, я вижу, ты не знаешь нашего дорогого гостя! Я забыла познакомить! Он из моего Ильсегула, — голос Сарбиямал звучал радостно и приветливо.— Сын уважаемой всеми бабки Таибы Хисбулла...

Она пошла расхваливать Хисбуллу, приписывая ему всевозможные достоинства. Оказывается, у шакерта[1] Хисбуллы, большого разумника, была очень красивая жена по имени Салима. Но явился к ней бес-искуситель и начал совращать. Причем бес принял не чей-нибудь там образ, а образ родного брата Хисбуллы, Хаммата-батыра. Салима напропалую крутила шуры-муры, а потом и вовсе ушла к Хаммату. Хисбулла, добрая душа, простил их, сказал: «Живите как можете, аллах вам судья».

— Сам понимаешь, Байгильде, такому святому человеку нужна скромная, покладистая девушка, чтобы была она верной женой, а где

[1] Шакерт — ученик, выпускник медресе.

он найдет лучше нашей Бибеш?! Вот и приехал к нам свататься,— закончила Сарбиямал.

«Эка, куда хватил! Бесстыжий! И этому дяде тоже девушку подавай! Сам, видать же, ей в отцы годится»,— осуждающе подумал Байгильде. Его рассердило и то, что Хисбулла, в нарушение обычаев, явился напрямик в дом, не посватавшись, не известив о приезде, и то, что он, мужчина в летах, польстился на девочку. Ему захотелось встать и тотчас же выгнать его с позором из дома. Но он лишь сурово пробурчал, глядя не на Хисбуллу, а на Сарбиямал:

— Нет у меня дочери для такого старого жениха!

— Ах-ах! Какой же он старый?! Разница-то меж ними — всего десяток годков! Разве много? Велика беда! — опять начала сглаживать дело Сарбиямал.— Бог даст, обживутся, притрутся, станут как погодки. Пусть бы и старик сватался! Что плохого? Не зря говорят: «У старого за пазухой калач припасен». Отец, не отнимай счастья у своей дочери! Образумься.

А Хисбулла добродушно поглядывал на Байгильде и Сарбиямал с нескладной улыбкой на лице. Кроме своего «бэракалла» он все равно ничего не смог бы добавить. А это слово — он понимал — сейчас было бы некстати. Признаться, ему было все едино: отдаст ли свою дочь Байгильде или нет. Если бы мать не накостыляла ему по шее, он ни за что не осмелился бы сам ехать свататься.

Байгильде понял, чьими стараниями затеяно сватовство и почему так смело ввалился

к нему этот бритоголовый человек. Он горько усмехнулся.

— Ты, Сарбнямал, не договорила поговорки: «У старого калач припасен, да кровь из калача сочится, у молодца в руке кнут, да с него мед каплет». Забыла, что ли?..

— «Рядом со старым деревом, как за щитом, молодое сто лет проживет». Вот как говорят,— возразила Сарбнямал.— Об этом ты слышал?

Но, как она ни уговаривала мужа, пустив в ход все свое красноречие, Байгильде своего согласия не дал. Хисбулла, ничуть не опечаленный, уехал, а в доме поднялась невиданная буря. Не стало покоя ни днем, ни ночью.

— Голод идет. На что надеешься? Как перезимуешь с такой оравой детей?.. Ведь помрем с голодухи, ей-ей!.. И чего я пошла за такого нестоящего мужчину?! Тебе ли, бестолковому, судить о Хисбулле?! Он же и смирный, и ученый, и умный. В полном достатке живет, не тебе чета! А ты, чурбан, даже не понял, какую честь оказали, посватавшись за твою никчемную дочь. Не отдашь свою Бибеш за Хисбуллу, ни дня не останусь здесь. Уйду, слышишь?!

Поначалу Байгильде пытался разубедить ее, но потом плюнул: «Пусть чешет языком».

Но Сарбнямал знала, что делала. Она снова послала весточку бабке Танбе: «Присылай Хисбуллу. Пусть калыма не жалеет, и девчонка ваша».

А самому Байгильде она прожужжала все уши:

— Помни, Хисбулла-суфый приедет, чтоб не отказывал. Или Бибеш, или я! Не отдашь

ему Бибеш — уеду. Живи как хочешь со своими сиротками!

И Байгильде заколебался. И Бибеш жалко, и без жены нельзя. Надеяться привести в дом другую жену при такой ватаге детей было трудно. Сарбиямал ловко воспользовалась его нерешительностью. Следуя поговорке «куй железо, пока горячо», она не стала дожидаться, когда Байгильде сам найдет выход из сложившегося положения. И вот на пороге опять возник Хисбулла, которому бабка Таиба сказала, что без невестки она его в дом не пустит.

Сарбиямал встретила его с распростертыми объятиями:

— Милости просим, зятек, проходи, проходи в дом!

Затем она, не давая Байгильде раскрыть рта, принялась готовить Бибеш к выданью. А когда Хисбулла по рассеянности вручил Сарбиямал предназначавшиеся невестке в подарок от бабки Таибы немецкие серебряные талеры для сулпы-накосников и два серебряных браслета, то у нее от радости будто крылья выросли. Появились во дворе удивленные соседи.

— Не успела остыть земля на могиле матери, как дочь ее, словно скотину, первому встречному продают! — возмутились они.

— Что затеваешь, Байгильде? Одумайся! — пытался отговаривать старик Шахит. — Губишь девочку. Погляди на нее, подрастет — красавицей же будет. Себе ровню, доброго молодца найдет!..

Ему вторила бабка Суакай:

— Слыханное ли дело — девчонку, словно бабу, в телегу брошенного женой спешат посадить! Бога не боитесь, так людей бы постыдились! Недаром говорят: «Если в доме мачеха, то и отец только мачехин муж». Вот как ты, неверный, печешься о детях! Поперек горла собственные дети встали!

Но уговоры были напрасны. Байгильде молчал, низко опустив голову.

— Отдаем! За богатого отдаем! — кричала Сарбиямал.— А вам какое дело до чужой дочки?! Убирайтесь, чтоб духу вашего не было!

— От злой бабы и бес бежит. Нам ли найти на нее управу? — сказали соседи, уходя восвояси.

Сарбиямал схватила за руку зарывшуюся в сено Бибеш, проволокла ее, всю в слезах, вихрем по двору и втащила в аласык.

— Волосы расчеши, албасты [1]! Чтоб быстро!

Бибеш уткнулась лицом в угол, дрожа и всхлипывая. Тогда Сарбиямал схватила ее за локоть, усадила на лавку и взялась причесывать сама. Бибеш сидела перед нею — такая маленькая, худенькая, ноги не достают до земли, плечи остренькие, грудь плоская, — ну, совсем еще нет в ней ничего девического, женственного. Разве что только волосы! Густые и длинные, как у покойной матери, они сейчас распустились по плечам и совсем скрыли ее хрупкую фигурку. Из больших синих глаз, светящихся печалью, лились безутешные слезы. А Сарбиямал всего этого не видела и не

[1] Албасты — злой дух, страшило.

чувствовала, словно перед нею была живая кукла.

Заплетя ей косы, Сарбиямал принялась насильно наряжать Бибеш в свадебные одежды, привезенные женихом. На почерневшие, потрескавшиеся от ходьбы босиком маленькие ножки надела большие кожаные сапоги, натянула на нее красное сатиновое платье с оборочками и, как Бибеш ни отбивалась, повязала ей на голову кашемировый платок, а сверху набросила цветастую шелковую шаль. Это означало, что детство Бибеш кончилось и стала она мужнею женой.

Сарбиямал одна справилась с тем, что согласно обычаю было делом молодых невесток — подготовила Бибеш к выданью и, посадив ее под замок в аласыке, взялась за остальных. К этому времени уже начало темнеть, в домах зажглись огоньки.

Она закинула на навес подушку — там, на сене, с утра, не спускаясь даже поесть, валялся в бессильном плаче Иштуган.

— Здесь и будешь спать, — крикнула она ему.

Остановившись около Байгильде, в тяжелом раздумье сидевшего у крыльца, она строго сказала:

— Молодым постелю в доме. Янеш и Емеш будут спать с ними. Малы еще, что они понимают! — И быстро добавила, как бы заранее отметая возражения: — Сами ляжем в аласыке.

Байгильде не ответил.

— Ты молчишь, а дело уж сделано! — злорадно вставила Сарбиямал. И впрямь, Байгильде в молчании разрешил трудный для се-

бя вопрос, связанный с замужеством дочери, не оказалось у него и никаких хлопот, возникающих при соблюдении обычая соединения молодых.

На вечерний чай пришел муэдзин, прочел полагающуюся при бракосочетании молитву — никах, и теперь уж ходу назад не было. Сарбиямал ввела полуживую от горя и страха Бибеш в дом, вручила ее зятю и заперла за ними снаружи дверь.

Утром после чая Хисбулла собрался в обратную дорогу.

— Там мать одна. Ждет не дождется своей невестки, — несмело сказал он с виноватой улыбкой.

Посиневшую, распухшую от слез Бибеш Сарбиямал усадила в тарантас и удовлетворенно хихикнула:

— Прощай, зятек, дай бог тебе здоровья!

Байгильде не проронил ни слова. Иштуган не показывался. Не было никого из близких и соседей — никто не хотел своим посещением поддержать Байгильде, продавшего юную дочь.

Хисбулла вспомнил про совет матери, что надо изображать богатого жениха, кашлянул и с достоинством изрек:

— Но, юрга[1]! Поехали!..

Ҡаурый жеребец — будто того и ждал — заржал, встрепенулся от головы до хвоста и, пританцовывая, горделиво вылетел за ворота. Янеш и Емеш, крутившиеся возле тарантаса, до последней минуты не догадываясь о случившемся, побежали к воротам и долго смотре-

[1] Юрга — иноходец.

ли вслед своей старшей сестре, пока не растворилась в дорожной пыли согнувшаяся, как ивовая ветка, ее маленькая фигурка. У Емеш навсегда остался в памяти последний взгляд Бибеш, переполненный безутешной тоской. Недалеко от девочек стояла улыбающаяся, довольная Сарбиямал.

Вдруг она кинулась обратно во двор, вынесла из аласыка ведро золы и вытрясла его на дорогу.

— Зола тебе вслед! Чтоб не воротилась никогда! — радостно пропела она.

Порывом сухого горячего ветра золу отбросило назад и осыпало ее с головы до пят.

— Ай, проклятая, в глаза набилась!.. Ой, мои глазоньки... — заголосила Сарбиямал.— Не даст покоя негодная девчонка, не даст, назад возвернется!..

Она поспешила в аласык, отмыть лицо. А Байгильде, пошатываясь, пошел по следу тарантаса, который увез его Бибеш. Чуть позже дети увидели его уже за аулом, бредущего по большаку, с безвольно опущенными руками и низко склоненной головой. О чем он думал, куда брел? Детям было неведомо...

Ночевать отец не вернулся. Объявился он только на другой день к полудню. Пьяный. Дети, впервые в жизни видя такое, с ужасом обступили его. А он, не замечая их, с нелепыми ужимками и кривой ухмылкой, бормоча каким-то чужим глухим голосом, полез обниматься к Сарбиямал.

— Ну, нравлюсь ли я тебе, душенька?! Чего еще хочешь, говори! Я все исполню как надо! Говори же, себя погублю, а исполню! Я решительный, захотел — и дочку родную

продал! И пропил, ха-ха-ха!.. Говори же, чего хочешь от меня?

Сарбиямал ничуть не удивилась. Наоборот, с чего-то развеселилась, заливисто захохотала, вторя пьяному мужу. Уселась к нему на колени, обхватив его за шею. Не привыкшие к развязному поведению взрослых, дети разбрелись по сторонам. И мачеха, и отец вызвали у них чувство отвращения.

На другой день Байгильде снова с утра исчез из дома и вернулся к вечеру пьяным. Потом пьянство стало его обычным занятием. О детях, казалось, он забыл. Только бабка Суакай по-прежнему опекала их. Купала, расчесывала им волосы, поила молоком, катыком [1]. Она сокрушалась, что их отец встал на плохую дорожку, которая, по ее словам, не доведет его до добра.

— С горя он заделался таким, бедолага. Беда не приходит одна. Не устоял перед молодой женой, запродал девоньку, а теперь со стыда к питью пристрастился...

Иногда, видно, чтоб утешить себя и детей, она говорила с надеждой:

— Ну да ладно, перестанет. Вот кончатся денежки и куда ему деваться? Язык мой не повернулся бы против него, кабы не болела я за него душой, кабы не шел он против обычаев и нравов отцов и дедов. Никто же не пьет, да еще как он — средь бела дня, без стыда и совести на виду у всех людей! Окромя Байгильде не видывала таких, и не дай бог увидеть!..

---

[1] Катык — сквашенное молоко.

Байгильде продолжал пить и шататься пьяным по аулу, пока однажды не пришел домой жестоко побитый, с кровоподтеками на лице, в разодранной одежде. Он провалялся с неделю, ни с кем не разговаривая. Только жутко стонал по ночам и плевал кровью. Забегая днем домой, Янеш и Емеш иногда слышали, как он говорил сам с собой:

— Как же это? Как быть теперь?

Девочки не понимали, чем озабочен отец. Но порою со страхом думали, что он полежит вот так еще немного, полежит — и так же, как мать, вдруг возьмет и умрет...

Как-то днем, когда они сидели, скорчившись, на завалинке, неожиданно раздался звон бубенцов и со стороны сырта на их улицу вылетела вороная тройка. Дети кинулись к воротам, чтобы увидеть, куда она направляется, но к их удивлению разгоряченные вороные жеребцы остановились напротив них. С пролетки в тот же миг соскочили трое с винтовками и саблями в черных мундирах, с блестящими пуговицами. Двое быстро проследовали в дом, а третий куда-то ушел и скоро вернулся в сопровождении старосты и слепого Сапыя. Произнося странные для детей слова «понятой», «обыск», они тоже прошли в дом. Напуганные Янеш и Емеш с раскрытыми ртами смотрели, как те трое, толкая перед собой отца, вывели его из дому и посадили в пролетку. Тройка так же внезапно рванула с места и скрылась, как и появилась. Дети опомнились и, почуяв, что за этим кроется нечто ужасное, громко заплакали. Сарбиямал, которая тоже вышла за ворота и спокойно поглядывала по сторо-

нам с невозмутимым видом, повернулась к ним и прикрикнула:

— Не скулите! На себя накличете!

Девочки снова взобрались на завалинку. Не решаясь плакать, они только всхлипывали. Иштуган с утра ушел на рыбалку и все никак не возвращался. Соседи не заходили во двор, чтобы утешить плачущих детей, лишь молча поглядывали на них из-за плетня. А как же иначе? Ведь это дети человека, чем-то провинившегося перед властями! Конечно, будь дома дедушка Шахит, он не побоялся бы, пришел, успокоил бы девочек. Но сейчас он в лесу, дерет лыко, гнет из вяза круги и дуги. Нет в ауле и их бабушки Суакай. Она, как обычно в такое время, бродит по тугаю, собирая ягоды.

Девочки снова увидели отца только через несколько дней. Был он хмурый и сильно осунувшийся. Вслед за ним ввалились какие-то посторонние люди и унесли с собой самовар, перины, кошмы, паласы, тюфяки, оставив на урындыке и в сундуке лишь никуда не годное старье, увели они и единственную козу, которую уберегла покойная Сагура от муллы Ахмадуллы.

— Вот тебе и конфискация! — посмеивались эти люди, покидая дом. — Одна рвань и рухлядь!..

Девочкам было непонятно, отчего на свете есть такие жестокие и злые люди, которые мучают их отца. Они не могли даже плакать. Только смотрели удивленно на остановившегося в дверях отца. Ах, как страшно видеть отца приниженным и жалким!

Опустевший дом принял сиротливый вид. Укладываясь спать, Байгильде упавшим голосом спросил жену:

— Что ж теперь делать-то будем? Приказано ведь в двадцать четыре часа уйти из аула и даже из волости. Ну за что?!

Сарбиямал резко оборвала:

— За язык твой длинный, знать, присудили! Зря, что ли, дан человеку частокол из тридцати двух зубов? Распустил язык — пеняй на себя, вот что!

— Куда деваться-то будем, спрашиваю я...

— Сам знаешь... Забыл про мой аул? Он же в другой волости. И дом мой пустует! — быстро ответила Сарбиямал. Было видно, что она для себя уже решила этот вопрос.

— Вон оно как оборачивается...

— А что? — бойко продолжала Сарбиямал. — Там хозяйство мое брошенное. Мы давно бы могли переехать, только не решалась я предложить тебе. А сейчас, сам видишь, ничего другого не остается. Слава богу, говори, что жена такая попалась... Куда бы ты побрел?.. Да и что здесь у тебя остается, кроме этой развалюхи? Не дом, а курятник. А у меня — полный добра, большой дом! И лошадь, и корова — все как водится...

— А дети?— задумчиво произнес Байгильде. — Куда их дену?

— С собою возьмем. По хозяйству помогут, — снисходительно согласилась Сарбиямал.

— Да... возьмем... — отозвался Байгильде. — Только одолеют ли они пешком путь в полсотню верст?

— А лошадь для чего? У меня ж там резвая кобыла есть. Вот что, поди-ка приведи ее, прямо сейчас же ступай за нею, быстро! За ночь дойдешь.

Голос Сарбиямал звучал все более властно.

Байгильде надолго задумался.

— Да, ничего больше не остается. Другого выхода нет... — безнадежно проговорил он. — Ладно, быть по-твоему, Сарбиямал,— и пошел к выходу.

— Чтоб к обеду здесь был, — напутствовала его Сарбиямал.

К детям, слышавшим весь разговор, долго не приходил сон...

IX

Янеш и Емеш на другой день спозаранку отправились к бабке Суакай проститься перед отъездом. Сердца у девочек колотились, а в глубине зрачков словно застыло тревожное ожидание большой беды. Казалось, они втайне надеются на чью-то помощь и защиту. Но бабка Суакай встретила их со слезами.

— Ах, мои деточки, за что такая напасть, только-только мать родную потеряли, а нынче и со своим аулом и родными-близкими проститься час пришел! Эх, аллах, аллах, за что караешь малых детушек, за что мстишь им, не пойму я, прости рабу свою, аллах,— причитала она с заплаканным лицом, тем временем выставляя перед сестрами в деревянных чашках катык, смородину. — Ешьте, деточки. Только вчера набрала в тугае. Целое ведро черной смородины за какой-то час. Ягоды нынче много уродилось. Только поспевай со-

бирать. В засушливый год всегда так бывает. Будто земля не может родить за раз и хлеба, и ягод... Неисповедимы пути твои, аллах. Где уж понять тебя нам, простым смертным...

Девочки не узнавали свою бабку Суакай, превратившуюся как-то неожиданно в плаксивую старушку и сразу потускневшую, слившуюся с окружающей их безрадостной жизнью. Они даже забыли о поставленном перед ними угощении. А тут за ними уже прислали Иштугана.

— Янеш, Емеш, идемте домой, — сказал он тоскливо. — Уезжаем.

— Не торопи, сынок. Присаживайся. Поешь чего-нибудь на дорожку, — пригласила его бабка.

Иштуган послушно присел на край урындыка. Но за ягодами не потянулся. Он не мог есть. Бабка Суакай бросила взгляд на его пересохшие побелевшие губы.

— Может, айрану [1] дать, сынок?

— Да, в горле пересохло, инэй [2]!

Бабка Суакай приготовила ему большой тустак [3] айрана с родниковой водой. Иштуган осушил его в один прием.

— Как истомился сыночек, о аллах! — опять тяжело заохала бабка Суакай и принялась в сердцах ругать Кормош-бая и слепого Сапыя.

— Они, злодеи, сгубили нашего Байгильде. Только они. Кормош-бай подал в суд, возведя на него всякую напраслину, а слепой Сапый —

[1] Айран — напиток из сквашенного молока.

[2] Инэй — обращение к старшей родственнице.

[3] Тустак — деревянная чаша (ковш) с резной ручкой.

продажная душа, как водится, руку приложил, будто и видел, хотя не видит, и слышал, хотя, конечно же, ничего не слыхивал. Ему-то что? Чужой головы жалко? Или свое брюхо дороже? Знамо, брюхо. Этим он и живет. Где нужен ложный донос — там он и свидетель. И ослеп ведь он неспроста — за ложные клятвы лишился глаз. Разве знались бы с ним баи, разве жил бы он, слепой, припеваючи, как бай, да еще с двумя женами, если бы почем зря не продавал бедных и беззащитных?! Грех в жилу ему идет, от грехов своих навар снимает! Эх, аллах, почто же одни погрязшие в зле и корысти блаженствуют на земле, а добрые люди мучаются?.. О, господи... Я и сама небось грешной стану, ропща на дела твои земные... И смолчала бы, да душа ноет... О аллах, дай терпенье нам, грешным рабам твоим... дай нам послушание...

Бабка Суакай вдруг запнулась и, испугавшись, что сгоряча наговорила лишнего, смиренно продолжила:

— От самого Байгильде тоже идет. Он и раньше всякое болтал. Наслушается неверных, шляясь по шахтам-рудникам. А тут еще с горя по Сагуре и Бибеш запил — так язык у него вконец развязался...

Наконец она притихла, погладила ребятишек, ласково похлопала их по спинам.

— Ну уж ладно, детки, идите, что поделаешь... Возвращайтесь. Заждались вас... — с грустью заключила она, не имея более сил спорить с судьбой, и печально прибавила: — Говорят «не пройдя дорог своей судьбы, ты к райским кущам не придешь». Уж, видно, на роду написано. Многое еще повидаете, детки.

Испить и отведать всего еще доведется вам на чужой стороне...

Дети неохотно поднялись. Иштуган поблагодарил бабку за угощение и первым вышел на улицу. Бабка Суакай пошла вместе с детьми.

— Невестка слепого Сапыя, говорят, на сносях. К ней иду. Не хочется, а иду. Ждет ведь, наверное, томится. Она ж не виновата. а дитя — тем более... Так вот, детки... — И бабка поспешила вниз по улице.

Дети Байгильде остановились посреди улицы и проводили ее долгим взглядом. Она шла летящей походкой с раздувающимися на ветру широкими рукавами и подолом легкого серого платьица на своей сухонькой маленькой фигурке, похожая на снующие по улицам аула пересохшие шары перекати-поля. Им чудилось, что и она так же прокатится по улице, как эти перекати-поле, чуть замедляя на миг шаги то тут, то там, а потом исчезнет навсегда из глаз, и не останется даже следа от их доброй бабушки...

Байгильде загрузил в телегу уцелевший от конфискации жалкий скарб, заколотил досками крест-накрест окна и двери, и они выехали из аула.

Янеш и Емеш сели поверх поклажи на телегу. Иштуган правил лошадью. Байгильде и Сарбиямал шли пешком. Пес Кашкар остановился у ворот, встревоженным взглядом окинул покидающих свой дом и тонко завыл. Иштуган забеспокоился, начал звать его.

— Кашкар, Кашкар!

Но пес не подошел. Не откликался он и на зов Байгильде. Остановив телегу у околицы,

Байгильде с Иштуганом пошли назад, чтоб забрать с собою Кашкара. Но ни лаской, ни окриком они не смогли заманить его. Даже за куском хлеба не пошел. Невиданное дело! В любое другое время собака неотступно следовала за ними сама, но сегодня она, словно чуя, что хозяева уходят навсегда, не пожелала вместе с ними бросить родной дом. Когда отец и сын поворачивали назад к дому, Кашкар радостно вилял хвостом, когда же они начинали манить его, звать, он отходил в глубь двора, ложился под навес и рычал. А когда они, отчаявшись, удалялись, махнув рукой, снова выходил за ворота и принимался жалобно скулить и выть, словно изливал свою тоску и обиду на людскую забывчивость, на ту легкость, с которой бросают они родной очаг. Так повторилось несколько раз. Но Кашкар так и не пошел за ними. Опечаленные хозяева повернули от дома.

— Не хочет он, сынок, идти, — грустно сказал Байгильде. — Надо ехать, пойдем...

Иштуган нехотя взобрался на арбу. Его уже не радовало то, что у них теперь своя лошадь, что ему выпало счастье сидеть кучером.

— Даже собака, и та не хочет бросать свою землю! А нам вот приходится.., — с горечью вздохнул Байгильде.

— Не говори, страсть какая беда! — по обыкновению резко возразила Сарбиямал. — Скажи мне, что здесь у тебя свое, родное? Ни земли, ни кровных и близких родных — ничего и никого у тебя нет! Хоть бы один заступился за тебя, слово молвил! Был бы ты им дорог, не дали бы вышвырнуть из родного аула по наговору!

Что ои мог возразить? Конечно, тяжело выслушивать такие слова! Но в иих была правда.

Признаться, Байгильде и в самом деле, как отрезаииый ломоть, был совсем одииок в своем ауле. Не было у иего здесь ии одного близкого родствеииика, и потому он ничего не зиал про свой род, хотя согласио обычаю мужчине полагалось зиать свою родословиую до седьмого колеиа.

По словам старика Шахита выходило, что ои, Байгильде, как и все исаибетовцы, потомок семи отважиых братьев — Умбета, Туюмбета, Якшыумбета, Толомбета, Акумбета, Байумбета, Исанбета, живших когда-то далеко от этих мест в широких раздольиых степях — там, где заходит солице. Семь батыров дали начало семи славиым родам, сильиым дружбой, воииствеииым и гордым, надежиым защитиикам родной земли от набегов чужеземцев. В те далекие годы каждый род с весны до осеии разъезжал по своим живописиым кочевьям вдоль рек Агидели, Караидели, Яика, Ашкадара, Большого Ика... Их ие останавливали сотии верст пути. И, коиечио, ие было среди иих безлошадиых. В шесть лет мальчик влезал на коия. Зазорным считалось трястись рядом со своей старушкой иа телеге, если тебе ие перевалило за шестьдесят. С шести до шестидесяти в седле... Мужчииа был только воином, мужем. Сыиа растили джигитом. Джигит испытывался в сражеиии. О героях, сложивших голову в боях за свободу, слагались песии, живущие и поиыне.

«Не зря же, — любил повторять Шахит, — башкирские полки в числе первых вошли в

Париж и взяли ключи от города. Сам Наполеон испытал крепость наших булатных клинков! Да, не срамили мы честь и славу своих родов!»

Ратные дела и житейские заботы обсуждались аксакалами на йыйынах — собраниях одного или нескольких родов. Из самых дальних владений рода съезжались роды и на праздники, тогда устраивались байге — скачки, состязания мудрецов, сэсэнов, певцов, танцоров, кураистов... Джигиты соревновались в борьбе, в джигитовке, в смекалке и находчивости... Да, байге были не просто играми, а праздником всего рода: веселым, незабываемым...

Байгильде горько усмехнулся своим воспоминаниям: «На кого похож я, прямой потомок батыров? Бездомный, изгнанный по закону... А взять других — такие же несчастные, раздавленные... От семи родов осталось семь крохотных жалких аулов...»

На землю пала ночь. Тускло, как волчьи глаза, поблескивали желтые звезды. Надоедливо стрекотали кузнечики. Пугая приунывших детей, где-то мрачно ухала сова и, мельтеша крыльями, проносились летучие мыши. Примолкла даже бойкая Сарбиямал. Лошадь шла лениво, пощипывая высокую сухую траву, росшую на обочине дороги. Байгильде плелся за телегой, заложив руки за спину и склонив голову. Он пытался думать о том, что ждет его с детьми в чужом краю, вспоминал прошлое, но каждый раз спотыкался на одном и том же вопросе: «За что же?.. Как мне быть теперь?..» И, опустошенный, только безнадежно взмахивал рукой.

— Хоть бы детей пожалели, если не боятся аллаха! А чего баям его бояться?! Они ведь верные слуги аллаха, праведно вершат его мирские дела!.. — вдруг вырвалось у Байгильде.

— Что с тобой? На ходу, что ли, спишь? — участливо спросила удивленная Сарбиямал.— Детей разбудишь...

Она взяла его за руку, и они молча пошли рядом, слушая скрип колес да хруст сухой травы на зубах коня.

* * *

Роды Акембетов, Исанбетов и Байембетов еще продолжали кочевать, когда другие, старшие роды, привыкнув к своим насиженным местам, стали все реже выезжать в дальние кочевья. Заявившись хлебопашеством, они, по сути дела, перешли на оседлую жизнь. Позже последовал царский указ, что надо поделить все земли между родами и аулами. Когда начался этот дележ, роды Акембетов, Байембетов и Исанбетов, кочевавшие в долине Большого Ика, осели в этих краях, вынужденные бросить земли и зимние дома в родной стороне. Со временем земли стало не хватать даже, чтобы вволю кочевать, и роды, выбравшие земли у Большого Ика, тоже занялись хлебопашеством. А их аулы начали называться по именам основателей родов.

Хаелмыш, дед Байгильде, был из рода Толомбетов, оставшегося в степях за Оренбургом. Но, отчего-то под старость, он надумал перебраться ближе к своим сородичам — акембетовцам, бейембетовцам и исанбетов-

цам. Роднее всех ему казались исанбетовцы, потому он оказался в их ауле. Но по сложившемуся обычаю земли ему не полагалось.

— Твоя земля в Толомбете, в твоих степях, а не здесь, — сказали ему сородичи. — Как жить-то будешь?

— Ну да ладно, — ответил старик Хаелмыш. — Человеку много ли земли надо? А умру, так на кладбище место найдете ведь?

Старику, видевшему на своем веку только голую степь, понравились живописные берега Большого Ика. Но без земли он быстро разорился. Табун коней, стада коров и овец, которые он пригнал с собой, — все ушло по ветру. Хаелмыш умер в бедности. Его сын Махмут, отец Байгильде, и хотел бы вернуться на родину, да уж не мог. Не пройти было ему пешком с детьми путь в несколько сот верст. Потом вспыхнула холера и унесла отца и мать Байгильде в один день. Кто-то на кладбище у изголовья Махмута водрузил большой серый камень и выбил на его неотесанной поверхности: «Махмут ибни Хаелмыш, из рода Толомбетов; Хаелмыш ибни Казмаш, Казмаш ибни Иргали, Иргали ибни Байгали, Байгали ибни Янгали, Янгали ибни Толомбет». Неровные строки перечисляли до седьмого колена предков Махмута, дальше шли годы рождения и смерти и в конце стояло «Аминь».

И больше ничего о самом себе, об отцах и дедах, кроме того, что написано на этом омытом дождями, изъеденном трещинами надгробном камне, Байгильде не знает. Оставшись без отца и матери, он мальчиком ушел на заработки, или, как говорят в народе, стал зимогором. За это время умерли и другие род-

ные. Сейчас у него не осталось никого. Правда, есть два родственника — старик Шахит и бабка Суакай, но какие узы родства связывают его с ними, где сходятся ветви, уж никто не знает.

Старик Шахит не раз втолковывал ему, что своими глазами видел шэжэрэ[1], в котором вроде написано, будто он, Байгильде, является прямым потомком Бииш-батыра из рода Толомбета. После поимки Бииш-батыра его родичи рассеялись кто куда, спасаясь от преследований царских карателей, их аулы были сожжены, а их земля была захвачена верными царю тарханами. Наверное, уж никогда не узнать Байгильде, где тут истина, где вымысел. Он мало верил в то, что где-то далеко у него есть своя земля, есть родные и свой род. Да и не манила его никогда чужая сторона. Он сросся сердцем с аулом в долине Большого Ика, который один и мил, и дорог ему. Потому трудно передать словами боль и тоску на душе Байгильде, оставляющего свой Исанбет, быть может, навсегда.

Уж сколько раз на своем веку покидал он его. Но всегда при первой же возможности возвращался обратно. Сможет ли он вернуться и на этот раз? Или на всю жизнь ему заказан путь назад?

Впервые Байгильде ушел из аула в поисках хлеба и работы в двенадцать лет. Его единственный брат шагал рядом с ним — босоногий мальчишка десяти лет, на открытом лице которого светились большие удивленные глаза. Стояло лето. Недавно они схоронили

[1] Шэжэрэ — генеалогическое дерево, родословная.

своих родителей. В этот день, оставив дома, в маленькой плетеной мазанке, свою единственную сестру — пятнадцатилетнюю Гульгайшу, они с братом уходили странствовать в мир.

— Байгильде-мырза [1], зачем бросаешь меня одну? Хоть бы за какого старичка выдал, что ли! — с укором сказала ему перед расставанием Гульгайша.

Бойкая, озорная, с круглым миловидным лицом, рослая и в то же время бесхитростная, как дитя, Гульгайша, хотя она была сейчас самой старшей в семье, все же понимала, что Байгильде, оставшийся за старшего мужчину, — теперь один в ответе за всех и должен устроить ее судьбу. А что мог ответить ей двенадцатилетний мальчик? Ничем не утешив сестру, лишь понуро опустил голову и ушел из дому.

Прошагав десять-пятнадцать верст, мальчики подошли к роднику передохнуть. Там же сидел, перекусывая размоченными в воде просяными лепешками, низкорослый мужичок с круглыми и добрыми, как у голубя, глазами. Он был до того тощ, что кадык на его тонкой шее выпирал, как гвоздь. Жилистые руки были красные, видимо, от жары. Одет он был по-праздничному: в кожаных сапогах, черном сатиновом казакине, перепоясанном алым кушаком; невзирая на жару, на голове возвышалась отороченная мехом шапка. Странно было одно, что он в таком наряде был без коня. Байгильде с любопытством посмотрел на красную бородавку, свисавшую с его подбородка, и, поощренный его добродушным простоватым

[1] Мырза — младший брат.

лицом и уважительным взглядом, вдруг осмелился обратиться к нему с вопросом:

— Агай[1], ты откуда?.. Куда идешь?..

— Из аула Елякле, — со вздохом охотно ответил тот. — Жена померла, три мои девочки осиротели, так-то вот, мырза... Хочу найти им добрую мать, потому и в дороге...

Байгильде в тот же миг вспомнил про Гульгайшу, просившую выдать ее замуж, и у него вырвалось:

— Мою сестру бери, агай, а то она совсем одна...

Краснея и смущаясь от своих же слов, Байгильде рассказал коротко про свое житье-бытье. Мужичку, с вниманием слушавшему его, по всей видимости, пришлись по душе слова Байгильде. Он, помолчав, вдруг с теплотой в голосе проговорил:

— Пошли, мырза, к вам...

Вскоре все трое повернули назад в Исанбет. А к заходу солнца они сидели в крохотной мазанке Байгильде и пили чай. Маленький хозяин выпил несколько чашек, промочив горло, серьезным тоном произнес:

— Вот, апай, я нашел тебе мужа.

Гульгайша, разливавшая чай, сидя с краю урындыка на месте хозяйки, не запротестовала, спокойно, нисколько не стесняясь, огляделa с головы до ног густо раскрасневшегося мужичка.

— Ну, согласна за него? — повеселев, спросил Байгильде.

— Ага! А ведь он совсем не плох, — ответила по-простому Гульгайша и весело засмея-

[1] Агай — брат, дядя.

лась, словно это была какая-то смешная игра. — Тебя как зовут?

— Котлоахмет, — отвечал тот, глядя вниз.

— Ага, очень даже красивое имя, — беспечно улыбнулась Гульгайша. Затем спросила: — Если я пойду за тебя, ты что дашь моему брату?

— Нет у меня ничего... Три дочки, избаплетенка... да вот пара рук, чтоб работать...

Помолчав, он достал из дорожного мешка осьмуху чая и неловко протянул Гульгайше.

— Разве что вот это...

— И то ладно. Давай сюда, — снова оживилась Гульгайша.

Она выхватила пачку чая из рук Котлоахмета, высыпала ее всю в чайник. Налив крепкого чаю, подала Котлоахмету.

— Пей, осьмушка, — сказала она, ставя перед ним чашку, и опять рассмеялась.

На другой день Котлоахмет увел Гульгайшу в свой аул Елякле. А Байгильде с братом тоже вышли в путь, еще не зная, что ждет их впереди.

Котлоахмет и Гульгайша прожили вместе долгую жизнь. Хотя бедность не оставляла их, жили они весело и дружно. Неунывающая Гульгайша — щедрая натура — словно теплым огоньком осветила маленький домик Котлоахмета. Ни дети, ни муж при ней не чувствовали себя обойденными судьбой. Тихая мирная радость вошла с нею в семью. Гульгайша без попреков, в ласке и заботе, растила девочек Котлоахмета. И сама нарожала ему десяток парней и девчонок. Только она так и не забыла шутливое прозвище, которое дала мужу в первый день знакомства.

— Садись за стол, осьмушка.

— На, возьми чистую рубаху, осьмушка.

Но Котлоахмета это нисколько не обижало. Потому что в устах Гульгайши прозвище звучало скорее вызовом безжалостной судьбе, а не насмешкой над мужем. Конечно же, она не хотела этим выразить чувства сожаления или раскаяния за то, что связала свою жизнь с бедняком. Ведь не она же и не он выдумали бедность на земле! А насколько тяжелее было бы переносить беспросветную нужду без доброй светлой шутки Гульгайши.

Она жила вполне довольная своей жизнью и в ладах с самой собой. Ни бедность, вечно следующая по пятам, ни надвигающаяся старость не нарушали спокойствия ее духа и уверенности. Даже возраст мало изменил ее внешность, словно время было бессильно перед ней. При самой скромной пище она сохраняла ту же пышность тела и все так же был ясен взгляд ее добрых глаз и приветливо ее круглое миловидное лицо...

Сколько воды утекло с тех пор, как она ушла из дому! Чего только не наваливалось на голову Байгильде за эти годы! Куда только не забрасывала судьба, кому только не служил он! Потерялся его единственный брат, когда они бродили зимогорами. Надеясь найти его, в каких городах не перебывал он — и в Верхнеуральске, и в Оренбурге, и в Златоусте, и Бузулуке, работая там кем придется: каменщиком, плотником, грузчиком. Но не нашел, видно, далеко забросила брата немилосердная судьбина. А сам Байгильде не забыл родной аул. Вернулся в Исанбет, обзавелся семьей. Бывали у него и счастливые, и несча-

стливые времена, как у всех людей. Но так плохо, как сейчас, пожалуй, не было. Легко ли даже просто сказать: выгнали из дому!

* * *

Надругательство, совершенное над Байгильде, с точки зрения людей вроде Кормошбая, муллы Ахмадуллы, слепого Сапыя, было вполне понятным нормальным явлением. Они давно замышляли использовать послушный в их руках закон, чтобы избавиться от Байгильде, видя, как нравится, особенно молодым, оброненное им к месту разящее острое словцо, обращенное против богатеев. Байгильде, конечно, не мог зайти дальше своих насмешек и колкостей, но баи из чувства мести слали ложные доносы, выдавая его за человека, опасного для веры и царя. Они всегда поступали так со всеми, кто был не с ними. Число бумаг против него росло. Когда же представился еще один случай, то он оказался последним — чаша весов с доносами сильно перетянула, — и Байгильде был осужден к высылке.

Произошло это так. Байгильде в базарный день слонялся, как ошалевший стригунок, по улицам большого русского села, пропивая деньги, что дал ему Хисбулла. Он, непьющий, как говорится, выпивая на грош, куражился на рубль. Оказавшись у большого дома за церковью, в котором жил кожевник Червяк, он увидел три тарантаса с запряженными в них породистыми жеребцами, которые нетерпеливо приплясывали, отгоняя назойливых мух и слепней. По богато отделанным серебром сбруям и лоснящемуся крупу коней не-

трудно было догадаться, кто их хозяева. Да и было известно многим, что у Червяка частенько гостят по базарным дням ильсегульские бай.

«Ага, здесь и мулла Ахмадулла, и Кормош-бай, и с ними же слепой Сапый. Запрятались подальше от чужих глаз и закладывают за воротник. Сыграю-ка я с вами шутку, расскажу людям, что вы за святоши!» — подумал он и ввалился в дом, желая покуражиться над баями.

На столе была гора закуски, под ногами валялись опорожненные белоголовки. Изрядно нагрузившиеся гости уставились на Байгильде насупившимися взглядами. Мулла Ахмадулла, не успевший убрать свой стакан, прикрыл его ладонями.

— Эй, зимогор, чего тебе? — нарушил тишину хозяин дома.

Байгильде беспечно расхохотался, словно не к нему был обращен вопрос.

— Мулла-агай, разве водка — райская гурия? Прямо обеими руками стакан обхватил!

— Тьфу, безбожник, сатана ты, Байгильде... — забормотал мулла.

Из-за стола тяжело поднял свое грузное тело Кормош-бай.

— Лентяй, бездельник! Пить умеешь, а долги не платишь! А ну, где деньги за десять фунтов муки!

— Десять? Когда я брал их у тебя?

— Когда жена твоя померла. Забыл? Забыл, как умолял, выпрашивал, обещал отработать?

— А-а, вот о чем!.. — улыбнулся Байгильде. — Ты, агай, чуток ошибся. Пять фунтов

брал я, а не десять, и не себе, а вот ему, нашему мулле-агаю. Он просил подать ему бишбармак, чтоб прочитать суру из корана на седьмой поминальный день. Вся мука и вышла, ха-ха-ха!.. Наш мулла-агай молодец! Сначала выпустил всю кровь моей Сагуре, потом накушался бишбармаку на ее поминках, чудеса!..

— Безбожник! Иблис! Бунтовщик! — выкрикивал мулла, елозя на стуле и подергиваясь, будто подливая масла в огонь.

Слепой Сапый, возведя свои бельма к потолку, делал вид, что происходящее его никак не касается. Червяк тоже молчал, потому что разговор пошел по-башкирски. А Кормош-бай продолжал петушиться, все ближе подступая к Байгильде:

— Плати, говорю тебе, бродяга! Отдавай долг! Добра не жди, зимогор!

Байгильде вдруг перестал смеяться, поглядел на сидящих за столом, на Кормош-бая и с ненавистью выкрикнул ему в лицо:

— Не торопи, Кормош-бай! Придет день, я за все расплачусь с тобой. Разрази меня гром, расплачусь... Только ты, бай, не очень торопи с долгом... Не то ведь брюхо может лопнуть...

— Ах ты, блоха! За такие слова тебя мало в Сибири сгноить, слышишь?! — хрипло прорычал Кормош-бай.

— Слышу, — с каким-то безразличием ответил Байгильде. — Мне уж все равно. Я теперь не боюсь ни бога, ни черта. А вот ты когда-нибудь да лопнешь! Помяни мое слово — лопнешь! — И он повернул к выходу. Но разъяренный Кормош-бай с быстротой рыси

схватил стул и обрушил его на голову Байгильде. Тот, оглушенный ударом, рухнул на пол. А мулла Ахмадулла и кожевник Червяк, будто только того и ждали, кинулись топтать его.

Когда Байгильде очнулся и открыл глаза, он увидел возле себя незнакомую золотоволосую женщину с голубыми глазами и мальчика с такими же ясными, как летнее небо, глазами, лицо которого было сплошь усеяно крупными веснушками. Мальчик опускал жесткие холщовые полотенца в ведро с ключевой, холодной до озноба водой, отжимал и протягивал златоволосой женщине. А она прикладывала их к голове и груди Байгильде.

«Где я? А эти двое, может, ангелы?.. Нет, я где-то их видел...» — думает Байгильде.

— Мама, он глядит! — радостно шепчет мальчуган. — Он живой!..

— Принеси молока, сыночек, — мягко говорит мать. — Может, полегчает ему.

Байгильде понял, что лежит в избе своего друга Никиты. Но сказать ничего не мог — будто каким-то тяжелым жерновом сдавило ему грудь.

— Ну вот, пришел в себя, — печально улыбнулась Марфа. — Ишь, как разукрасили тебя... Живого места нет. На твое счастье Никита тебя увидал, иначе пришлось бы тебе проститься с белым светом... На, знаком, пей, силы прибудут...

Она подносит ко рту Байгильде кружку молока. Он, захлебываясь, с какой-то жадностью выпивает и жестом просит еще. Мальчик приносит вторую кружку. Ему помогают подняться, сесть.

— Как я попал к вам?

— Никита привез. Мы с Алешей весь вечер бились, чтоб привести тебя в чувство.

— У Червяка тебя побили, дяденька. Здорово побили, — широко раскрыв голубые глаза, в которых от жалости чуть не проступали слезы, заговорил Алеша. — Ты же в беспамятстве был, отец тебя спас.

— Никита вбежал в дом хозяина на шум, — продолжала Марфа. — Видит, ты лежишь, а тебя топчут. Сгоряча выкрикнул: «Убьете же человека!» А те ему: «Не человек он, а смутьян, безбожник!» Цыкнули на Никиту, чтоб молчал, вытолкали за дверь. Потом, видно, очухались, бросили тебя в телегу и велели Никите вывалить тебя на базарной площади. Сами хохочут, дескать, там, на базаре, много пьяной голытьбы валяется, чем Байгильде их хуже. А Никита привез тебя сюда и тут же назад уехал, чтоб не прогневать хозяина. Каждый день Червяк грозится прогнать нас. А без работы нам, безземельным,— значит, с голодухи помирать, сам знаешь...

— Мама, почему богатые такие злые? — воскликнул Алеша, а мать только горько улыбнулась в ответ.

Отлежавшись у Никиты, Байгильде на третий день, едва передвигая ноги, зашагал в свой аул. Голова раскалывалась, давило грудь, он с трудом хватал воздух.

— Легкие, видно, отбили, — прощаясь, сочувственно говорила Марфа. — Кумысом бы тебе полечиться, да где его взять нам, бедным?..

— Ничего, — ободряюще подмигнул Никита. — Раз кости целы, мясо нарастет!

— Нам, дружок, не привыкать, — старался не подать виду Байгильде. — Спасибо, что поставили на ноги, жизнь спасли... Век помнить буду.

Вечером того же дня, когда был избит Байгильде, Кормош-бай, сидя у Червяка, сочинил вместе с его сыном-гимназистом прошение, в котором Байгильде обвинялся во всех смертных грехах: в неверии, в неуважении к особе царя, растлении молодежи и непослушании властям. В прошении, подписанном таким уважаемым, значительным человеком, как Кормош-бай, и подтвержденном свидетелями муллой Ахмадуллой и слепым Сапыем, говорилось, что надо незамедлительно выслать из аула опасного для веры и нации бунтовщика. Судьи, кроме того, получившие от Кормош-бая десяток баранов, не стали откладывать дело в долгий ящик и вынесли скорый приговор: имущество Байгильде конфисковать, а самого выгнать из волости в двадцать четыре часа. Сегодня решение суда претворялось в жизнь.

Байгильде, заложив руки за спину, шел за телегой, не поднимая глаз с пыльной дороги. Он никак не мог заставить себя не думать о судебном произволе.

«Как собаку выгнали... как собаку... Что говорю?! Вот мой Кашкар захотел и остался дома. Его никто не может неволить».

* * *

...Да, Кашкар не изменил своей привязанности к родному дому. Байгильде было до

слез жалко расставаться с ним. Он свыкся с ним, как с верным другом. Совсем маленьким щенком принес он его в дом, и покойная Сагура заботливо выхаживала его. Любил Байгильде ходить с ним на охоту за лисицами и зайцами. И не было случая, чтоб Кашкар не пошел за хозяином в любую даль. А вот сегодня наотрез отказался идти, словно чувствуя, что хозяева навсегда покидают аул.

Позже, найдя какой-то предлог, Байгильде по первому же санному пути вернулся за Кашкаром в свой Исанбет. Отощавший, лохматый, ставший тонким, как спичка, и казавшийся из-за этого при своем громадном росте очень неуклюжим, Кашкар лежал у порога, уронив еще больше вытянувшуюся морду на костлявые лапы. При появлении Байгильде он вскочил, завизжал от радости. Упершись передними лапами в плечо хозяина, вылизал ему лицо и руки. Длинное его тело, казалось, еще больше вытянулось, стало невесомым, а во взгляде появилась глубокая печаль и обида.

«Приехал? Навсегда?» — казалось, с надеждой и сомнением вопрошали его глаза.

Радостно виляя хвостом, пес брал из рук Байгильде хлеб, ласкался, но за ним не шел. Только Байгильде начинал зазывать Кашкара на улицу, как тот, наоборот, поворачивал назад, снова ложился на порог дома и следил оттуда за хозяином недоверчивым и грустным взглядом, словно желая сказать: «Ты опять уйдешь... Знаю... И я опять останусь один»... Байгильде уговаривал, просил, но заманить с собою так и не смог. Отчаявшись, решил потащить за собой, надев на него ошейник. Но

Кашкар, рыча, отпрыгнул от него и залег в глубине двора. Огорченный Байгильде уехал обратно с пустыми руками. Соседи первое время подкармливали Кашкара, принося объедки. Потом их самих пригнул голод, стало не до собаки. В другие годы Кашкар обычно отъедался в такую пору, гоняя зайцев по первому снегу, но сейчас, словно боясь упустить момент возвращения хозяев, он не осмеливался покидать двор. Только долгими ночами выходил на улицу, садился у ворот и печально выл, то ли оплакивая свою судьбу и судьбу хозяев, то ли осуждая людское непостоянство. Пришла суровая зима. Кашкар все еще был жив на удивление суеверным соседям, которые, заслышав его вой, теперь начинали пугливо озираться, уж не оборотень ли это?

Но дни Кашкара уже были сочтены. В одну из ночей, когда на землю пал лютый декабрьский мороз, Кашкар, не вставая со своего порога, завыл в последний раз, посылая прощальный упрек безжалостному миру, отнявшему у него и любимую хозяйку Сагуру, и лучшего друга Байгильде, и, устало уронив осунувшуюся острую морду на передние лапы, закрыл навсегда умные печальные глаза...

Поднявшийся к утру неистовый буран пригнал с сыртов горы снега и засыпал весь двор Байгильде вровень с крышей... Но долго еще чудилось людям зимними ночами, будто несется над аулом его протяжный вой.

В ауле пошли суеверные слухи, будто это не Кашкар, а сама Сагура оплакивает своих детей, увезенных на чужбину, приходя по но-

чам к своему угасшему очагу. Говорили, что своими глазами видели, как она, чарующе красивая, сидит при лунном свете на расчищенном крыльце, раскидав по плечам черные, как туча, волосы, и плачет. Так со смертью Кашкара маленький опустевший дом с забитыми крест-накрест окнами превратился в таинственное место, которое даже при свете дня женщины и дети старательно обходили сторонкой. Ближе к весне, в глухую полночь из этого двора вдруг послышались голоса и стук топора. Сильно всполошившиеся соседи подумали, что в дом вселяются духи, и, заткнув уши, зашептали слова молитвы. Утром они, не увидев дома Байгильде, перепугались еще больше. За одну ночь начисто исчезли все ветхие постройки во дворе Байгильде и сам дом. Образовавшийся, как по волшебству, пустырь для суеверных людей стал настоящим заколдованным местом.

— Конечно, нечистое это дело, — говорил старик Шахит, посмеиваясь над их страхами, — только джин этот такой же двуногий, как и мы с тобою. У него и имя есть — Кормош-бай. Он кричал на сходе, что Байгильде не расплатился с ним за пять фунтов муки. Вот и решил в отместку разобрать дом Байгильде на дрова. Лошади и работнички у бая есть. А теперь за милую душу сухими дровами печи топит.

Нашлись любопытные, что ходили на задний двор Кормош-бая и своими глазами видели в байском дровяном сарае заполняющие его по крышу жиденькие трухлявые бревна. Наваленные вкось и вкривь, с беспорядочно

торчащими концами, они, казалось, топорщились, лежали ощетинившись, под стать своему непокорному хозяину.

Теперь как бы рвалась и последняя нить, еще как-то связывавшая Байгильде с родным аулом. Сможет ли он когда-нибудь опять вернуться в свой Исанбет?.. Будет ли у него здесь снова свой дом?..

Часть вторая

Чище горного ручья ты, светлой юности пора.
Ты сверкающая зелень, ты лучистая заря.

Г. Тукай

I

Муж Таибы, добрый и безответный человек, имел слабое здоровье и, возможно, по этой причине считал единственно достойным для себя занятием игру на курае. Он не пропускал ни одного состязания кураистов в дни больших праздников, гордился, что был там не из последних. Таиба привыкла надеяться на свои силы. Но полной мерой она хлебнула все тяготы жизни, когда муж погиб в русско-японскую войну где-то под Порт-Артуром, оставив ее вдовой с тремя малыми детьми, и на ее неокрепшие плечи свалились все заботы о семье. Смолоду старательная и работящая, не любящая сетовать на судьбу, она не чуралась никакого труда. Наравне с мужчинами она выходила на все полевые работы. И хлеб сеяла, и сено косила, и дрова из дальнего леса возила. И в доме у нее всегда была особая чистота и порядок. И дети ходили, хотя и в

домотканых, но выделяющихся белизной льняных рубашках, в кожаных сапогах, в черных бархатных тюбетейках. Она не хотела, чтоб они чувствовали безотцовщину и у людей был повод попрекнуть их сиротством.

— Выше голову! Не приучайтесь, сынки, к людской жалости, — любила повторять она.

Двое сыновей пошли в мать. Такие же смелые, гордые и крепкого сложения. Хаммат, самый старший, в семнадцать лет уже был признанным первым силачом округи. А когда он возмужал, то мало кто осмеливался на сабантуях выйти против него на круг померяться силой. Ростом в сажень, с могучей грудью и орлиным взором, он получил имя Хамматбатыр. Про него говорили, что он сам тянет плуг, а не лошадь, оттого и раньше других кончает сев.

Кроме пшеницы Хаммат сеял подсолнух, арбузы, сажал картофель, что было редкостью для башкир в этих краях. Он сам готовил поле под посевы, нянчился со всходами, будто с ребенком, оттого и урожай собирал добрый, и в доме был полный достаток. Упорство и трудолюбие батыра тоже нравилось односельчанам. Лишь немногие, оправдывая свою леность, старались навести тень на плетень:

— Даже картуф[1] сажает! Кто же ест его? Ведь сейчас не голод и не война. Бабка Танба сама корпела в поле от зари до зари, уподобясь русским, а нынче и ее сыночек туда же! К лицу ли нам, мусульманам, надрываться ради жалких благ в этом бренном мире!

[1] Картуф — картофель.

— Пусть болтают, а ты знай, трудись, — внушала бабка Таиба сыну. — Лентяев и аллах не любит.

Сейчас у Хаммата жена и двое детей. Живет он отдельно от матери, по соседству с домом Сарбиямал.

Младший сын бабки Таибы Закир внешне ничем не уступал брату Хаммату. И быть бы ему во всем не хуже его, если бы, по выражению матери, он не отбился от рук. Уговоры и побои не помогали. Был он веселым и неприручаемым, как олененок, вертким, как жеребенок. Мать пробовала даже отдать его в медресе, чтоб мулла наставил на правильный путь, но он проходил туда от силы года два, да и то часто пропускал дни занятий. Ему быстро приелись нескончаемые проповеди и наставления муллы Габбаса о потустороннем мире, о рае и аде, наскучила унылая безрадостная жизнь и сидение на пыльном полу медресе. Выучившись читать и писать, он потерял интерес к учебе и заявил, что ноги его больше не будет в медресе. Мать и бранила и лупила его, но не смогла сломить его упрямства.

— Будешь есть падаль или нет — не станешь каргой [1], корпишь или не корпишь над кораном — не станешь муллой, — посмеивался Закир; в отличие от старших братьев он имел привычку пререкаться с матерью.

За такие рассуждения ему только крепче перепадало от матери, но он все равно стоял на своем и так же, как Хаммат, рано бросил медресе.

---

[1] Карга — ворона.

С малых лет Закир пристрастился к книгам. Выменивал их у коробейников на куриные яйца, которые таскал из дому. «Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра», «Лейла и Меджнун», «Буз джигит» были его любимыми книгами. Из-за любви же к чтению он однажды пропал из дому на целое лето. Нанялся к коробейнику за харчи таскать его ящик из аула в аул. Прочитав все его книги, он вернулся к осени домой, невероятно худой, почерневший, как житель пустыни араб.

Сыновей бабка Танба, конечно, любила, но не давала им спуску, была с ними крута и строга. «Дай им волю — не станут людьми», — полагала она. Потому Закира, после долгого отсутствия, дома ждали побои. Мать выпорола настоящей ременной плетью, а не ивовым прутиком, как раньше.

— Вот тебе за книги! Вот тебе за коробейника! — приговаривала она, стегая его, как коня. А он только посмеивался.

— Не лупи по голове, мама, лупи по заду! Того гляди, выбьешь из башки все, что я с таким трудом скопил за лето.

Но уроков бабки Танбы хватило ненадолго. Закир чуть пришел в себя, обзавелся обновой и снова сбежал. Было ему в ту пору всего пятнадцать лет от роду. Обосновался он в Оренбурге. Он полюбил город с его напряженной жизнью. Нравилось ему то ощущение перемен и надежд на обновление, которые чувствовались в воздухе большого города. Веселый и смелый по натуре, жаждущий изведать беспокойным сердцем новое, Закир не мог довольствоваться размеренной жизнью аула. Но, не имея денег и определенного ре-

месла, он в то же время не мог стать в полном смысле горожанином, не мог войти в шумный, сложный ритм города. И как был, так и остался зимогором. Хозяева при надобности использовали его единственное, данное природой богатство — неутомимость рук в труде, а когда нужда в нем отпадала — выбрасывали на улицу. И опять он бродил по городу, пока не застревал в том месте, где была нужна его сила. Но как бы то ни было, в аул еще не приходили дурные вести про него, значит не стал вором, не пустился в разгул, не пошел по плохой дорожке. И Таиба утешалась лишь этим.

Неустроенная жизнь Закира продолжалась до начала первой мировой войны. Понадобились солдаты — и его быстро отыскали на городских улицах и отправили на фронт.

Средний сын бабки Таибы Хисбулла был больше похож на отца. Такой же рыжий, краснолицый, с мягким и покладистым характером. И даже ростом он пошел в отца — был меньше своих братьев. Мулла Габбас особо выделял его среди шакертов — учеников медресе и, называя его «почтительным и смиренным», тешил сердце матери. Он говорил:

— Муллой станет... Хороший человек выйдет. Пусть только учится.

И как бы ни приходилось туго, бабка Таиба старалась дать ему доучиться. «Хоть один сынок в люди выйдет. Жизнь вольготную познает», — думала она. Но Хисбулла не оправдал надежд матери и своего наставника, муллы Габбаса. Провалявшись десяток зим на пыльном полу медресе, он даже не выучился толком читать и писать. Все, что он вынес оттуда, — добытое зубрежкой знание азбуки

и догматов корана. Бестолковость и простодушный нрав мешали ему стать муллой, а чалма и мягкие сапоги (ичиги) с калошами — стать настоящим, упорным в труде крестьянином. Мать пробовала и так и сяк вывести его из этой негодной середины, а не справившись, решила женить на боевой девке с характером и чтоб жили они сами по себе своим хозяйством, своим домом. В соседнем ауле Таиба нашла подходящую невесту, стройную черноглазую девушку по имени Салима, которую подружки и джигиты называли ласково — Салимекай.

Когда Салимекай идет по воду,
Счастливец ветер треплет косы ей.
Когда Салимекай смыкает очи,
Счастливец месяц склоняется над ней, —

пели песни про ее красоту.

Хисбулла, худо ли, бедно, успел завоевать в округе известность как «шакерт» и «суфый», потому сватовство «ученого» джигита родители Салимы сочли за большую честь. Сама Салима еще не знала, что такое любовь, но верила, что достойна большого счастья и ее суженым будет необыкновенный батыр-джигит, светлый образ которого порой видела во сне. Когда о сватовстве Хисбуллы сказали и ей, она сразу решила, еще не видя его, что пришел наконец он — давно живущий в ее воображении, тот единственный джигит. По этой причине с ее стороны отказа не последовало. Но в первый же день замужества она поняла свою ошибку и затосковала, как птица, попавшая в клетку. А с годами, чем больше расцве-

тала она, становилась женственней, тем острее чувствовала глубокую неудовлетворенность. Ей и самой было непонятно свое состояние. В самом деле, рядом муж, а душа ее где-то на стороне, словно чего-то ищет, на что-то надеется...

«Чего же мне недостает? — недоумевала она, — Хисбулла добрый, слова грубого не скажет. И в хозяйстве все у него есть. И Таиба, прослывшая суровой свекровью, не изводит. Наоборот, изо всех сил старается угодить, чтоб полюбила ее дом, ее сына. Все подружки, знакомые только завидуют и твердят: «Счастливая ты, Салимекай, в добрый дом попала». Так чего же мне надо? Может ли девушка мечтать о большем?.. А может, это от того, что детей у меня нет? Был бы ребенок — сердце, может, успокоилось бы...

Салима, конечно, давно знала, чего ей не хватает, и в то же время боялась признаться самой себе, страшилась ясности. Но как назло, вопреки ее воле, одна навязчивая дума неотступно следовала за ней.

«Вот он, единственный, кого я так ждала, так желала встретить. Я люблю его, люблю... Почему он взял не меня, а эту коротышку?.. Эх, жизнь!.. Разве ты дана человеку только для таких вот горьких сожалений?..»

Тем человеком, который зажег в душе Салимы пожар и пробудил раскаяния и сожаления, был ее деверь Хаммат-батыр. Лишь она увидела его, у нее будто все оборвалось внутри. Орлиным взглядом, ясным лицом, веселыми шутками, богатырским сложением он покорил ее сердце. Хотя Хаммат был старше Хисбуллы всего лишь на два года, он выгля-

дел уверенным в себе, зрелым мужчиной. Стоило ей увидеть его, услышать его низкий бархатный голос, как она приходила в замешательство. Боясь выдать свои чувства, она при встречах с ним прикрывала лицо платком. Старалась не смотреть на него, не разговаривать с ним. Но по чуть заметному дрожанию ее пальцев, придерживающих кончики платка, по мгновенно вспыхивающему лицу, становящемуся от этого еще краше, по тому, как торопливо она пробегает мимо него, чуткий и внимательный Хаммат уже догадывался обо всем и осознавал, как невольно в его сердце вызревает какое-то неизведанное, незнакомое, но удивительно сладостное чувство, как оно охватывает все его существо. Потому, наверно, и были часты их случайные встречи. Пойдет Салимекай по воду, и он ведет коня на водопой. Взберется Салима на крышу лабаза за сеном для коров — он лихо промчит верхом по проулку. Или нежданно открывается дверь аласыка и раздается его голос:

— Мать, приготовь-ка айрану, дай сыну напиться. Оммекай куда-то запропастилась.

Хаммат пьет айран, беседует с матерью, а Салима чувствует на себе его пылкий озорной взгляд и не знает, как быть. Не смотрит на него; гремит посудой, чтоб не слышать его голос, уходит. А после сама же себя укоряет, что не насмотрелась на него вдоволь, ведь стоило лишь чуть приподнять платок, не убегать сразу...

Так прошло еще два года. Салима уже не считалась молодой невесткой и ходила с непокрытой головой, не пряча перед каждым встречным лицо в платок. Освободившись от

девичьей угловатости, она превратилась в бойкую на язык решительную женщину, с смелым взглядом и стройным гибким станом.

Но вспыхнувшее однажды в сердце пламя любви не погасло. Напротив, с годами оно разрасталось, угрожая вырваться на свободу. Да и Хаммат с каждым днем все больше убеждался в том, как много места занимает в его сердце Салима. Но никому не было известно, когда и как вырвутся наружу их чувства.

А разрешилось все самым неожиданным образом.

Стояли жаркие дни сенокоса. Оба сына бабки Таибы с семьями выехали в тугаи Большого Ика. В такое время люди денно и нощно заготавливают сено. Сена в тот год уродилось богато. Даже лошадь могла затеряться в высокой траве. Хаммат и Хисбулла перед сумерками оказались на соседних покосах. Оба скирдовали сено. Хаммат работал в этот вечер с особым задором. Целиком поддевая громадными деревянными вилами копну за копной, он, точно пушинку, забрасывал их на стог. Двое укладывающих сено на верхушке стога с трудом поспевали за ним. Смотрит Салима на Хаммата, и у нее растет раздражение на своего мужа. Салиме приходится ждать, стоя на стоге, пока муж неумело, маленькими клочками подцепит сено, пока подбросит его вверх...

«Родные братья... А какие разные! Небо и земля. О аллах, видно ты создал Хисбуллу только на мое несчастье...»

Она бросает ревнивый взгляд на жену Хаммата Оммогульсум, крутящуюся на стоге, как

веретено; маленькую, худенькую, с сияющими от счастья глазами.

«Недаром говорят, что червь лучшее яблоко точит. Ну разве пара ему она, баба с ноготок?!»

Разумеется, такие мысли приходят ей в голову не впервые. Но в эту минуту у нее внутри все восстало против несправедливости судьбы. Будто в каком-то ином свете она с особой остротой увидела собственное состояние, и вдруг то, что она имела в жизни — представилось тусклым, незначительным, а сердце сжалось от боли и досады. Ни одно движение Хаммата, ни один его жест не ускользали от ее внимания. Она в эту минуту завидует травинкам, прилипшим к его крутому лбу, к потной могучей груди.

«Быть бы мне этим душистым стебельком...» — мелькало в ее голове, а сердце сжималось от тоски.

Задумавшись, она перестала поспевать за рассыпающимися охапками, которые неуклюже подкидывал Хисбулла.

— Чего это с нею? Стоит разиня рот, кукла-растопыря! — поругивал ее Хисбулла, по обыкновению мыча себе под нос.

— Эй, клен! — гаркнул Хаммат. — Я научу тебя стоговать. Волчком будешь вертеться у меня!

Он, видно, тоже, хотя руки были в работе, успевал следить за братом и молодой невесткой.

Уж день был на исходе, а Хисбулла даже не закончил первый стог. Огорченный своей же нерасторопностью и видимым безразличием Салимы не только к себе, но и к работе, он

расстроился и вконец вымотался. Из этого положения его вызволил Хаммат.

Он словно на одном дыхании дометал свой второй стог и встал рядом с Хисбуллой. Под его насмешливым взглядом у Хисбуллы с Салимой дело и вовсе расклеилось. Сено из-под вил Хисбуллы летело в сторону, Салима кидалась за ним и промахивалась, не успевая ловить его на лету. Хаммат от души расхохотался и отобрал вилы у Хисбуллы.

— Ох, мырза, мырза! Сгубила тебя мать, отдав в медресе. Быть бы тебе удальцом сорви-головой, а вышел кто? Ой-ой! Давай, я дометаю твой стог. А ты запрягай мою лошадь, бери вилы-грабли и вези свою енге на покос у березняка Залифы. Да накажи своей енге, пусть чаю сготовит, — добавил он. — Поедим и авось при луне еще поработаем.

Хисбулла с облегчением тут же отдал вилы брату и, как послушный ребенок, направился к телеге.

— Ну, килен, — Хаммат озорно посмотрел на Салиму, — берегись!

И в тот же миг, поддев разом целую копну, метнул ее на стог. Салимекай на лету подхватила ее железными вилами и, бросив под ноги, притоптала.

— Ага, вот ты какая, притвора!.. Получается ведь!..

Он швырнул, нацепив на вилы еще больше сена. Она и на этот раз ловко приняла и уложила его в нужное место. И сено полетело! На Салиму обрушивались копна за копной, как разозленные пчелы. А она, не чувствуя под собой ног, птицей летала и приплясывала

иад стогом. Хаммат метал все чаще и чаще, ио Салима так же споро подхватывала сено и, притоптывая, укладывала. И впрямь казалось, будто не оиа, а какая-то волшебиая сила легко и радостио трудилась за иее, взмывала и кружила иад стогом.

Но вот и сложен стог. Салима теперь кажется совсем малеинькой иа вершине этого широкогрудого иеохватиого великана. Спокойиые лучи закатного солнца высветили ее лицо, оттеиили и удлиниили ее ресиицы. Подиявшийся к вечеру легкий ветерок ласково теребил алый кашемировый платок и облегающее гибкое тело тоненькое кисейиое платьице, словио хотел пробудить, вериуть к действительности отчего-то вдруг притихшую Салиму. Она смотрела иа заходящее за гору солице, превратившееся в большой кровавый шар, опоясаиный, как кушаком, узким темиым облачком, и с сожалеиием думала о пролетевших так быстро счастливых минутах.

— Килен, спускайся!— доиесся снизу иизкий и мягкий голос.

Салима вздрогиула, перевела взгляд иа землю. У подиожия стога, широко раскииув руки, стоял Хаммат, устремив иа нее ласковый, полиый какой-то волиующей неизвестиости взгляд. У иее закружилась перед глазами земля. От волиеиия оиа с трудом выговорила:

— Киињ сюда аркаи, кайиага [1].

— Нету аркаиа. Не нашел,— с широкой улыбкой отозвался Хаммат.— Съезжай! Не бойся, ие уроию...

---

[1] Кайнага — обращение к старшему родственнику.

Салима видела в двух шагах от него лежащую на телеге веревку и не сомневалась, что Хаммат солгал, но смолчала. Ошалев от буйной радости, сильной волной всколыхнувшей сердце, она звонко рассмеялась и, забыв об опасности, бросилась вниз со стога в другую от Хаммата сторону. Но Хаммат все равно успел подхватить невестку, не дав ей коснуться земли. Салимекай вдруг почувствовала, как обняли ее крепкие руки, как в лицо с силой ударило жаркое мужское дыхание, как рядом с ее сердцем нетерпеливо забилось другое сильное сердце. У нее перехватило дыхание, потемнело в глазах.

Хаммат еще мгновение подержал невестку у своей груди и осторожно опустил на землю.

— Эх, килен, килен. Так можно и голову потерять...

— Ну и пусть. Не жаль,— прошептала Салима, а про себя подумала: «Я бы согласилась упасть с луны, чтоб хоть разок коснуться головой твоей груди». Хаммат, будто поняв ее тайную мысль, с какой-то озабоченностью подтвердил:

— Да, может и так...

Охватившее их сердца томительное сладкое чувство, пугающее своей неотвратимостью, закружило, отняло язык и разум.

И Хаммат, зеленым юнцом женившийся по настоянию матери, и Салима, случайно оказавшаяся за Хисбуллой, раньше делали вид, что ничего не происходит, старались не выказывать своих чувств друг к другу. Но любовь не птица, ее в силках не удержишь. Вот и сейчас только возникла первая, самая маленькая возможность — любовь разрушила, смела

все преграды и вырвалась на свободу. И уже не было на свете силы, способной остановить ее.

Хаммат крепко стиснул руки Салимы, все еще стоявшей рядом с ним, опустив глаза, позабывшей про то, что надо поскорее бежать от деверя, и притянул ее к себе.

— Эх, килен! Килен!.. Я же люблю тебя, клянусь! Аллах свидетель — люблю!.. Умру я без тебя!..

Салима подняла на него взгляд, в котором была и ответная любовь, и нежность, и безотчетный страх. Ноги ее подкосились. Чтоб не упасть, она прислонилась к стогу. Побелевшие губы сами собой повторяли:

— И я... О аллах, и я...

Хаммат снова прижал к себе Салиму. Губы их слились. Весь мир исчез для них. На земле сейчас не было ничего, кроме истомившихся двух сердец...

Из этого сладкого забытья их пробудил крик Хисбуллы, завизжавшего, как зажатый в воротах козел:

— Талак! Талак! Талак!

И тем самым проблема разрешилась на удивление просто. При виде жены в объятиях брата, у обескураженного Хисбуллы сгоряча вырвалось троекратное «талак», а это означало, что отныне Салима свободна — освобождена согласно шариату[1] от супружеских обязанностей. По тому же шариату он, чтобы снова считаться ее мужем, должен был как бы заново жениться на ней с соблюдением обряда бракосочетания — совершением никаха.

---

[1] Шариат — свод мусульманских законов.

Но жениться на бывшей жене Салиме он мог лишь после того, как она будет выдана с соблюдением процедуры бракосочетания — совершением никаха за другого хотя бы на одну ночь и если новый муж разведет ее тем же троекратным «талак».

Хисбулла тут же понял свою оплошность и решил уладить дело полюбовно:

— Да, что уж там, агай... И с вашей стороны, и с моей ошибка вышла. Давай решим все мирно. Возьми ее, совершив никах, на вечер, а потом разведи. Я совершу никах и снова сделаю ее законной женой.

Хаммат, конечно, совершил весь положенный ритуал бракосочетания. Но разводиться с Салимой не стал.

Ровно через год, день в день, после этого события, когда поутихли в ауле вызванные им пересуды, Хисбулла привел Бибеш, которую выбрала для него Таиба.

II

Вторую неделю, не переставая, идут моросящие изнурительные дожди. Кажется, уже не будет им конца. Превратилась в жижу земля. Отсырели, пропитались водой, как губка, дома и надворные постройки. А солнца все нет и нет. Видно, ему тоже приелась серая пелена, застилающая землю, и оно скрывается где-то за теплыми горами. Осеннее небо как-то косо, неверно, привалилось к земле, грозя обрушиться, накрыть ее собой, и продолжает все лить да лить, похожее на хитрую бабенку, привыкшую обманывать слезами мужа. Знать, ему в радость гниющие на полях снопы проса, гре-

чихи, гороха, которые, подцепив кое-какую влагу от запоздалых дождей, немного налились зерном. Природа продолжала свое недоброе дело, начатое еще с весны,— несла народу голод. Не было даже ветра, который в другое время обязательно разметал бы, разорвал плотную пелену облаков, сплошь обложивших небо. Он сейчас тоже резвится там, где веселее, где больше света. А здесь лишь хмурое небо да грязь по колено! От этого месива под ногами, от серого однообразия растет безысходность и на душе Бибеш. Наворачиваются слезы, но плакать нельзя — она ж теперь жена и невестка, которая должна ухаживать за мужем, угождать свекрови, вести без помощников большое хозяйство. Как в мучительном сне, она по многу раз в день ходит за водой к Большому Ику, кормит скот, доит коров, варит сквашенное молоко, готовит из него корот [1], убирает дом и выполняет много других несчетных обязанностей по дому,— все это легло на ее неокрепшие плечи. Вдобавок ей надо раз в неделю топить баню, стирать, штопать, гладить... Но даже такая повторяющаяся изо дня в день однообразная работа не может заглушить в ее сердце боль за судьбу своих маленьких сестер.

«Кто защитит их, приласкает? Что с ними будет дальше? Ах, хоть бы одним глазком взглянуть на них!»— вздыхает она, и на душе у нее становится еще тяжелее. Ей чудится, что с тоски ее черной потемнел и сам небосвод, что было бы несправедливо, неестественно,

[1] Корот — твердый соленый сыр.

если б вдруг посветлело небо, засияло солнце, когда на душе камень...

В один из этих грустных дней Бибеш с утра осталась одна в доме. Хисбулла спозаранку собрался в поле, надеясь подсушить, если удастся, гречиху в овине.

— Возьми жену в помощь. Вдвоем будет легче! — говорила ему мать.

— Там, и одному-то делать нечего. Было б о чем говорить — какие-то два воза!..

— Вот дуралей! Одно ты умеешь: на свою голову бабу жалеть. Смотри, распустишь, и эта уйдет от тебя! Баба, думаешь, поймет твою доброту, олух!

Таиба продолжала браниться и после того, как Хисбулла уехал, пока сама не ушла вслед за сыном. Сегодня ее позвала к себе в гости Сарбиямал. Привыкшая поучать молодую невестку, бабка Таиба несколько раз поворачивала назад от ворот.

— Килен, я до вечера ухожу,— напоминала она.— В три дома приглашена. Смотри, чтоб без меня дела не стояли! Килен, говорю, не сиди сложа руки, работы много. Килен, не ленись, слышишь? Лентяев только черти любят...

Бибеш, выказывая послушание, в ответ только почтительно кивала головой. Ничего другого ей не оставалось. Таков пока ее удел. Надолго ли? Бибеш знает, что, согласно обычаю, через несколько лет после женитьбы родители выделяют старших сыновей — строят им дом и дают скот. Хисбулле давно пора зажить своим домом.

Но бабка Таиба, потеряв надежду на возвращение младшего «беспутного» Закира, сде-

лала хозяином в отчем доме Хисбуллу, передав ему свое добытое потом и кровью добро. Конечно, пока на словах. Настоящая голова всему, неограниченная хозяйка — по-прежнему она сама, без ее ведома Хисбулла и гвоздя вбить не может. Таиба не прочь была точно так же распоряжаться и в доме старшего сына, чтоб и там, в выделенном ею хозяйстве, ничего не предпринималось без ее совета. Но проводить в жизнь свое желание ей было нелегко. Хаммат, женившись на Салиме, лишний раз показал, что он достаточно самостоятелен и мало считается с мнением матери. Чтоб не повторить больше ошибки, бабка Таиба, с того дня, как Хисбулла привел Бибеш, решила крепко держать их обоих в руках. Она не могла простить себе, что не была крута с Салимой, что потакала ей и так распустила, что та осмелилась покрыть ее дом несмываемым позором. И Таиба не только на словах, но и на деле, по поводу и без повода, показывала, что впредь будет умнее и к Бибеш не будет никакого снисхождения. Сарбиямал со своей стороны при каждой встрече, как могла, настраивала бабку Таибу против Бибеш, подзуживая быть еще жестче к невестке.

— Нечего невесток баловать! И к Бибеш будь построже, не убудет. Даже к нам ее не пускай. Пусть не приучается шляться. Вожжи послабишь, потом горя не оберешься. Ух, до чего весь род у них упрямый!

Сарбиямал своего добилась. Уже третий месяц ее сестры в Ильсегуле, а Бибеш только раз повидала их. Возвратясь в родной аул, въехав в свой дом, Сарбиямал на радостях пригласила родню и соседей — бабку Таибу

с сыном и невесткой. Бибеш в тот день не дали даже словом обмолвиться со своими сестричками. Только издали увидела она, как поблескивали они полными слез глазенками. Бибеш посадили за один табын[1] со взрослыми и вместе со всеми проводили.

Бибеш надеялась, что ей предложат остаться хоть на денек с сестренками. По их виду чувствовалось, что нет рядом бабки Суакай и они предоставлены сами себе. Бибеш поухаживала бы за ними, отмыла бы в бане, привела в порядок их платья. И хотя по обычаю приходящую в гости замужнюю дочь родители приглашают остаться дома на несколько дней, никто, даже отец, не заикнулся об этом. И еще один раз довелось ей свидеться с сестренками, когда Янеш сама пришла проведать ее, ведя за руки Емеш. Но под осуждающим взглядом свекрови Бибеш не посмела заговорить с ними. А теперь уже до самой весны ей не свидеться с ними — с приходом зимы босоногая детвора будет поневоле сидеть дома. Не может она ни помочь им, ни спросить у кого-нибудь, как они живут там, родименькие...

Предавшаяся горестным раздумьям, Бибеш сидела одна в просторном, как поле, доме, уткнувшись лицом в рябое от дождя окно. И как дождевые капли по стеклу, так же беззвучно текли слезы по ее тонкому детскому лицу. Наплакавшись вдоволь, она немного успокоилась и с какой-то яростной отрешенностью принялась прибирать дом. Когда-то здесь носилась в хлопотах и заботах Салима,

[1] Табын — застолье, сбор.

лелея в своем горячем сердце надежду прижиться в этом суровом, безрадостном доме, привыкнуть к строгой свекрови, смириться с нелюбимым, неказистым мужем. Выскобленные ею дожелта стены сейчас покрыты пылью, паутиной, засижены мухами. Не радует взора и затоптанный пол. Чтоб вымыть и выскрести дом, в такие осенние дни принято устраивать омэ — приглашать девушек и молодых невесток. Под смех и шутку они легко, играючи отмывают дом, потом веселятся, поют, пляшут. Уходя, оставляют за собой пахнущий свежестью обновленный, будто только срубленный дом.

Свекровь говорила, что собирается на днях устроить омэ. «А чего ждать? Возьму и отмою сама! Дом не так уж закопчен. Сегодня вот эту большую половину кончу...» — подумала Бибеш и взялась за дело. Разогрела воду в казанах, приготовила щелочную воду, и поставив стул на стол, отскребла и отмыла потолок, затем принялась за стены, пол, урындык. Стало легче дышать. Будто с плеч свалился тяжелый груз.

Работа затянулась. Когда Бибеш вычистила сени и вымела пол, одновременно возвратились муж и свекровь, а следом за ними пришло стадо. Подоспело время ужина. Надо было успеть подоить корову. Она засуетилась, но управиться так же споро с остальными домашними делами ей не удалось. От усталости она еле стояла на ногах, в руках совсем не было сил... А свекрови показалось, что невестка ленится, и она принялась ругать за все: что плохо подоены коровы, осталось много молока в вымени, что к приходу уставшего

мужа не приготовлено ничего поесть, даже самовар не поставлен.

— Понадеялись на сиротку! Курам на смех! Все у нее тяп-ляп. Да и откуда ей было набраться уму-разуму? Что ль видела она, как еду готовят или работают по-настоящему?..— рот у бабки Таибы не закрывался. Она не желала замечать чистоты и света в доме. А присмотревшись, она вместо восхищения, наоборот, и за это стала изводить Бибеш.— А это зачем? Кто же с такой силой скребет? Видать же, истончила все стены! Небось всю паклю повыдирала, ух, бестолочь! — После встречи с Сарбиямал она всегда возвращалась озлобленной на Бибеш.

Наутро Бибеш не встала ко времени подоить коров. Таиба и кряхтела, и кашляла, чтоб добудиться, и ворочалась на урындыке, скрипя досками. Но Бибеш все спала. Тогда свекровь поднялась сама, грузно протопала в загон, подпустила телят к коровам и снова улеглась. Бибеш запоздало кинулась с ведрами в коровник; но там уже стояли с растопыренными ножками и туго набитыми животами довольные телята. Первое, что увидела Бибеш, когда, опустив голову, вошла с пустыми ведрами в дом,— это возвышающуюся посреди комнаты свекровь с плетью в руках и стоящего перед нею с видом провинившегося мальчишки дрожащего Хисбуллу.

— Разорить меня хотите! Всех четырех коров высосали телята! Ни капли молока не осталось. Если ты муж, на, возьми плеть, проучи свою жену! Чтоб неповадно было дрыхнуть по утрам. Слышишь? На плеть, держи!..

Бибеш в смятении выронила ведра и, перепугавшись, прижалась к печи, как суслик.

Хисбулла с покорным видом, не поднимая головы, бросил косой взгляд на притихшую за печкой Бибеш и сказал;

— Оставь, мать, не могу бить человека. Хочешь, побей меня.

Его мягкотелость и обозлила, и огорчила мать. А прячущаяся за печью, как малое дитя, Бибеш вызвала у нее даже участие. Но она, боясь испортить урок отходчивостью, принялась наотмашь хлестать своего сына, приговаривая в такт ударам:

— Вот тебе, болван! Вот за что тебя не любят бабы, вот тебе за твою сердобольность!.. Не будешь бить, жена за человека тебя принимать не будет!..

Бибеш, не видевшая в родном доме ссор, не слышавшая от отца с матерью резкого слова, в паническом ужасе, с пробудившейся на душе брезгливостью к бессловесному Хисбулле, бросилась вон. Ничего не соображая, не видя, что под ногами, она пробежала загон, задние ворота; проскочила, утопая в черной жиже, огороды, где недавно выбрали картошку, и понеслась дальше. Добежав до конца упирающейся в Мертвый Ик изгороди, которая заканчивалась высоким шестом с белеющим на его верхушке конским черепом, «стерегущим дом от злых речей и дурного глаза», она без сил обхватила его и горько заплакала.

Тяжелые думы сдавили голову. Не было сил идти дальше, да и куда пойдешь, кому скажешь?.. В это мгновенье чья-то рука нежно провела по ее голове и мягкий голос спросил:

— Отчего плачешь, родная? Не плачь!.. Не надо...

Бибеш вздрогнула от этих по-матерински ласковых, давно забытых слов и легкого прикосновения теплой руки, подняла глаза. Перед нею стояла красивая, стройная женщина. В ее улыбающихся глазах светилось участие, была в них еще и какая-то удаль.

— Не плачь, родная,— мягко повторила она.— Подрастешь, все образуется, все станет иначе. А пока терпи, не плачь...

— Ты кто?— спросила Бибеш, глядя на нее мокрыми покрасневшими глазами.

— Я-то? Обо мне ты еще узнаешь...

В ее голосе теперь почудилась скрытая грусть. Это еще больше поразило Бибеш.

«Кто ж она? Сама и веселая, и невеселая... И счастливая, и будто несчастливая...»

— Салимекай, где ты?.. Куда убежала?!— услышала она густой мужской голос.

— Ну прощай. Крепись, не раскисай,— сказала красивая женщина. — Я здесь, Хаммат! Уж и потерял! — и с шаловливой улыбкой на лице сбежала вниз к воде.

«Вот она какая, Салимекай!.. Красивая!..— забыв про свое горе, Бибеш смотрела ей вслед.— Не раскисай, крепись, говорила, кажется. Что она хотела этим сказать?..»

В ауле одни говорили, что Салима с Хамматом большие грешники, растоптали обычаи предков, преступили законы религии и чести, другие — что они счастливые люди, любящие друг друга, как Юсуф и Зулейха. Из этих рассказов Бибеш представляла Салиму то необузданной женщиной, принявшей на душу

несмываемый грех, то самой счастливой на свете, сильной и смелой, какие бывают только в сказках. Ей очень хотелось увидеть Салиму. А встретив ее, она с удивлением отметила, что это обыкновенная женщина, у которой в глазах и в голосе проскальзывает затаенная печаль.

«Неужто и таким, как она, бывает невесело?.. Неужто есть о чем тужить тем, кого молва называет самыми счастливыми?..»

«Все образуется, а пока терпи... Не поддавайся... Мама покойная тоже любила так говорить».

Бибеш выпрямилась. Вытерла концом платка заплаканное лицо.

«Да, пожалуй так, не надо поддаваться,— выдохнула она.— Свекровь не медведь, не съест...»— и с этой мыслью медленно пошла к дому.

* * *

Хаммат оставил дом и все хозяйство прежней жене Оммогульсум, и ему с Салимой пришлось заново обстраиваться и начинать жизнь на почти пустом месте. Год тогда выдался тяжелый, засушливый. Но разве бывают для любящих непреодолимые трудности? Правда, Танба упорно старалась помешать Хаммату жениться по обряду на опозорившей ее лучшего сына, шакерта Хисбуллу, и по ее понятиям, порочной женщине, которую она, будь это в ее власти, изгнала бы из аула. Когда у нее ничего из этого не вышло, она начала уговаривать Хаммата не бросать Оммогульсум, чтоб не остались ее любимые внук и внучка без отца.

— Ты что, не видал, как с двумя женами живут? Многоженство от самого пророка Мохамеда идет. Зачем тебе, дурень, уходить из дому вслед за ней, беспутной, бросая свою верную жену, двух деточек-жеребятушек, все свое добро?! Видно, тебя лошадь в голову лягнула, иначе бы не артачился!

Но Хаммат с Салимой не пожелали ни с кем делить свое счастье. Решили стерпеть трудности, но не запятнать свою вырвавшуюся на свободу, как весенний поток, первую любовь. Словно два жаворонка, они с песнею трудились от зари до зари возле своего нового гнездышка. Вдвоем делали любое дело — пилили, строгали. Окрыленные любовью сердца не знали печали и сомнений, а руки — усталости.

Отец Салимы поначалу тоже осуждал дочь, подумывал даже отречься от нее. Но, как-никак, все же родное дитя, и, видя ее счастье, простил, дал в приданое лошадь, корову, коз, овец и тем помог Хаммату и Салиме начать новую жизнь. Дружная работа дала свои плоды. Прошел всего год, как они поженились, а у них уже был пусть маленький, но аккуратный дом, и в нем — полный достаток. Правда, Хаммату приходилось работать на два дома. Хоть и развелся он с женой, но ради детей вспахал и засеял старое поле. Ради них же заготовил сено и дрова на зиму. Чем больше приходилось ему работать и сложнее становилась жизнь, тем сильнее росло в нем упорство, желание все превозмочь. Казалось, любовь к Салиме открыла ему заново радость бытия и удесятерила его силы, словно проснулся дремавший в нем доныне неисчерпае-

мый источник. Он с удивлением обнаружил, что жизнь хороша во всех проявлениях. Он ни на минуту не сомневался в своей любви, не было у него и места для раздумий — он горел в этом волшебном огне. Салима, окрыленная тем же чувством, не мыслила для себя жизни без Хаммата. Ревнуя даже к ветерку, теребящему его волосы, она терзалась одним лишь вопросом: так же сильно любима она или нет? Правда, в последнее время в ее душу стала закрадываться тревога. Шли дни и месяцы, и тревога эта росла, напоминая о себе болью в груди.

Из-за нее временами на Салиму находит грусть, наворачиваются на глаза слезы, из-за нее порою она, оставаясь дома одна, напевает печальные песни. Случается, средь ночи, когда Хаммат беспечно спит глубоким богатырским сном, она вдруг просыпается от пришедшей откуда-то душевной боли и подолгу лежит без сна. Но пока даже себе Салима не отдавала отчета в причине той тревоги, что омрачала ее счастье.

Отчего неспокойно на душе? Хаммат, без которого не жить ей, рядом с нею. Из-за нее он отказался от дома, от семьи, не испугался попреков и сплетен. Так чего не хватает ей, Салиме? Неужто ее сердце чует какую-то далекую, но неминучую беду? Неужто готовит судьба удар? Кто же хочет вмешаться, отнять ее счастье? Нет, нет... Этому не бывать!..»

Как-то ночью она непроизвольно вскрикнула, не сдержавшись от нахлынувшей на сердце боли.

— А? Что говоришь, милая?— сквозь сон откликнулся Хаммат.

— Ничего... Страшный сон привиделся...— Она повернулась к нему и уткнулась лицом в его широкую грудь.

— Спи, моя милая, не бойся...— Хаммат бережно, как ребенка, прижал ее к себе.

Первопричиной тревог Салимы, конечно же, был сам Хаммат — он любил своих детей. Что ни говори, а от прежней жены у него и сын, и дочь. Он не забывает их. Семилетний Байрас всегда крутится у его ног. Хаммат повсюду водит его за собой. Этой весной сын уже не слезал с коня, за которым шел отец с плугом. Да и без того на каждом шагу и Таиба, и все соседи только и твердят Хаммату, что сын — вылитый отец, тоже будет батыром. А выдастся случай — начинают корить Хаммата, дескать, можно ли жену, подарившую такого сына, променять на бездетную пустышку. Правда, Хаммат только снисходительно улыбается в ответ. Пусть он охладел к бывшей жене, но Салима видит, что к детям он никогда не остынет. Разве не замечает она, с какой гордостью вспыхивают у него глаза, когда кто-нибудь заводит речь о его детях, хваля дочь за красоту, а сына — за боевитость? Что может противопоставить этому Салима кроме своей беспокойной любви?! Когда же она сама принесет Хаммату сына, такого же точно, как Байрас, похожего силой на медвежонка, с острым, как у беркута, взглядом?

А если сбудутся худшие предчувствия и не будет у нее детей, сможет ли она удержать Хаммата? И молодость, и красота проходят. А дети только растут да расцветают!.. В них и живет и продолжается твоя любовь и ра-

дость... Ежели пресытится Хаммат жить с нею, бездетной, что тогда?!

Прошел год совместной жизни с Хamматом. Потерявшая надежду на своего ребенка, отчаявшаяся Салима была рада тому, что им пришлось из-за недорода в своем краю, когда у них тоже выгорела вся пшеница, покинуть Ильсегул и наняться к помещику Тимашеву. Ее саму ужасала такая радость. Она в смятении и стыдила и ругала себя:

«Эх, бессовестная! Людям тошно жить, а ты веселишься. Очнись. Не накликать бы беды на свою голову!..» Но подавить свою радость не могла. Она согласилась бы терпеть любые муки, лишь бы никогда не возвращаться назад в свой аул. Лишь бы был рядом ее Хаммат, лишь бы избавиться ей от страха, что придется с кем-то делить его любовь...

А Хаммат, не подозревавший о тревоге в душе жены, в это лето не мог надивиться и нарадоваться выносливости, старанию и проворности Салимы в работе. Из ее уст не вырвалось слова недовольства. На лице не отразилось даже тени усталости или печали. А ведь она наравне с мужчинами косила сено, валила лес, убирала хлеб. Ни одним движением она не выдала, как тяжело ей работать и ночевать под открытым небом в лесу и в поле. Напротив, у нее с каждым днем только прибавлялось приветливости, силы и сноровки в работе. В минуты отдыха она становилась заботливой женой, умеющей присмотреть за собой и мужем. А песней и шуткой всегда могла развеселить его. Любовь, которой дышала она, страстная и трепетная любовь, навсегда поселив-

шаяся в ее сердце, давала ей нескончаемое терпение и выдержку.

Настала поздняя, черная осень. Кончились полевые работы, и Салима с Хамматом отправились домой. Чтобы не мозолить людям глаза — лишний раз не идти вдвоем по улице, они возвращались по дороге вдоль Мертвого Ика, обходящей задние дворы. Тогда Бибеш и увидела впервые Салиму.

«Видно, это новая жена Хисбуллы»,— догадалась Салима при виде плачущей у знакомого забора девчонки, и ноги ее сами собой понесли к ней. Может, ее потянуло чисто женское любопытство, может, жалость. Произошла странная и неожиданная встреча. У Бибеш после нее появилось нечто вроде надежды: «Вот выдержала ведь Салима... и я как-нибудь перетерплю...» Салима же только разбередила себе душу. Вновь проснулись забытые за лето темные предчувствия.

«Какая маленькая девочка, бедненькая... Самое большее, лет двенадцать. Ничего, вытянется, окрепнет...»— нарочито медлительно, как бы нехотя рассуждала про себя Салима, стараясь таким образом заставить себя позабыть о встрече. Но неотвязные мысли увлекали ее глубже и глубже.

«Сможет ли, бедненькая, полюбить Хисбуллу или, на худой конец, привязаться...,— думала она.— Или, чуть встанет на ноги, осмотрится, поймет, что к чему и начнет искать свое счастье на стороне, и тогда прости-прощай!..»

И тут произошло то, чего боялась Салима — разом нахлынули давнишние тревоги: «Что скажет Хаммат, если Бибеш начнет рожать? Глупости! Как будто он уже не догадывается!

Больше года живем вместе. А все же... Если не будет детей у Бибеш, могут подумать, что и меня он, Хисбулла, испортил — в этом одно мое утешение... А может, и впрямь он такой...»

Бибеш никак не шла у нее из головы. Салима чувствовала, как исподволь просыпается в ее душе и злость, и зависть к этой маленькой девчонке, которая когда-нибудь да родит и опозорит, ославит ее! Салима ужаснулась, представив эту картину. А ведь когда она увидела ее возле изгороди, ничего кроме простого любопытства и сострадания у ней не было. Потому-то она, желая утешить, погладила ее головку, с жалостью смотрела на распухшее от слез лицо, торопливо говорила ей что-то. А сейчас... о аллах, чего только не приходит ей в голову! Неужто такой мстительной и завистливой стала она, Салима, что желает зла жалкой девчонке? Ох, аллах, знать не так легко разобраться даже в своих чувствах! А как же тогда понять другого, овладеть им, править его чувствами?.. Вот как узнать, что в эту минуту на уме у Хаммата?.. Кто знает, может торопится домой, оттого что соскучился по сыну, по дочке... По своей Ммекай?..»

— С кем ты была?— прервал Хаммат ход ее мыслей.— Твоя юная соперница, что ли?

— Да.

— Видно, не чужой еще тебе Хисбулла! Как на пожар бросилась к ней!— пошутил он.— Вот не подумал бы! Вот чего уж никак не ожидал... Ну расскажи, какая она из себя?

В ответ на его подтрунивания Салима без улыбки сказала:

— Какой будет — увидим. Пока что просто-напросто маленькая плакса.

— Ну? И всего-то?!

Салима немного прошагала молча и со смешком добавила:

— Может, и красавицей станет. Белолицая, большие яркие глаза... Похоже, добрая жена будет у Хисбуллы...

— Ну? — повторил Хаммат. — Смотри-ка... как везет Хисбулле на красивых...

Салима тяжело вздохнула.

— Да... так... Хоть эта чтоб ему была суждена...

До самого дома они больше не обмолвились ни словом. Разговор на эту тему им обоим не прибавлял радости.

III

Пошел четвертый год со дня переезда Байгильде со своей семьей в Ильсегул. Сегодня жаркий летний день. В воздухе стоит запах спелого хлеба, сладких арбузов, весело жужжат пчелы. В соседнем селе Якуп базарный день. Оттого и на улицах Ильсегула шумнее обычного. Грохочут нескончаемые вереницы порожних телег. На них с утра кыпсаки[1] везли из своего лесного горного края на базар плоды недельного труда: лопаты, сита, бочки, уголь, деготь, смолу, посуду для кумыса и корота: ижау, кэбэ, бешкэк[2], тустак; а теперь шумно возвращаются с выруч-

[1] Кыпсаки — родовое имя.

[2] Ижау — ковш; кэбэ — сосуд; бешкэк — сбивалка.

кой, которая, самое большое, состоит из одной-двух осьмух чая, фунта сахара да десятка фунтов муки. Некоторые попробовали с выручки горячительного и теперь гордо восседают на своих длинных телегах, распевая веселые песни. На холеных приплясывающих иноходцах едут богатые старики, которым по виду далеко за шестьдесят, но гордость не позволяет трястись на арбе рядом со своей старухой и внучками. Проходят улицей и просто пешие с поклажей. Немало, конечно, и тех, что лихо проносятся на вороных быстрых тройках. Словом, базарный день — сплошной праздник для ильсегуловской детворы; ей все равно на кого смотреть, на пешего или на конного,— все интересно. Янеш и Емеш в такой день тоже рвутся к подружкам на улицу. Но Сарбиямал не любит пускать их со двора. «Чего зря шляться? Ноги сбивать да языком чесать! За что терплю вас в своем доме?! Чтоб работали!» Все же сегодня девочки, хоть и поздновато, и день клонился к вечеру, получили немного свободы. Так что для них это на редкость счастливый день. Во-первых, вернулся отец, всю зиму и весну проработавший на золотых приисках. Во-вторых, он привез и мачехе, и им узорчатой синей кисен на платья. А теперь вот сама Сарбиямал разрешила им пойти на улицу. Видно, у нее неплохое настроение — ведь муж преподнес ей кусок алого сатина на платье, да еще тонкой кожи на сапоги и красный кашемировый платок. Вдобавок, он отдал ей весь свой заработок — на муку, сахар, чай...

Девочки долго топтались у ворот. «Куда идти? Во что поиграть?»

Улица уже затихла, только изредка проезжали с базара запоздалые путники. Возле полуразвалившегося, ушедшего одним углом в землю медресе муллы Габбаса ходил, почесываясь, шакерт Ульябай, напевающий свои непонятные, грустные песни.

В тех краях, где Йемен
На небо восходит,
И с меня, и с тебя
Глаз своих не сводит...

Вокруг него с визгом носилась ватага мальчишек.

— Спой еще, Ульябай-агай!

— Спой «Лейла-джаи»!

И всегда одно и то же: только покажется из дверей медресе этот странный, худой и высокий мужчина с видом святого странника, тонколицый, горбоносый, похожий на бедуина своей иссиня-черной бородкой, как его тут же обступают безжалостные мальчишки. Они неотступно ходят за ним по пятам, дразнят, а те, что позлее, даже науськивают на него собак.

А Ульябай, бесхитростный, как малое дитя, виновато, грустно улыбается, оглядывая ребят, и тихо, застенчиво спрашивает:

— Спеть, что ли, мне? Мулла-агай не осерчает ли на меня?— Потом пугливо добавляет.— Э, да не приставайте же, не надо мне петь. Мой мулла-агай побить же может.

— Спой! Спой! Не побьет! Не дадим в обиду!— хохочут мальчишки.— Он не посмеет драться при нас, ха-ха!..

Ульябай, смущенно улыбаясь, очень достойно отвечает:

— Разве?! Что ж, тогда спою,— и, воодушевляясь, как дервиш, затягивает высоким го-

лосом, покачиваясь в такт мелодии, свою бессменную тягучую песню:

В думах нежных о тебе
По ночам не сплю.
Я тебя, я тебя,
Лейла-джан, люблю!..

— Идем, хылу, туда. Послушаем Ульябай-агая,— сказала Янеш.

— Нет, я его боюсь! Лучше пойдем к Шаурекай.

Про Ульябая в ауле говаривали, будто учился он и в Бухаре, и в Самарканде; все хотелось ему постигнуть тайный смысл бытия, возвыситься до понимания деяний аллаха; но, как ни старался, так ничего и не познал — лишь рассудок потерял... Больше ничего примечательного о нем не знали. Этот всегда полураздетый человек, действительная история жизни которого никому не была известна, как и то, каким образом он дошел до такого состояния, всякий раз пробуждал в Емеш суеверный страх и сострадание. Она ни за что не смогла бы дразнить его, как другие дети, она даже боялась смотреть ему в глаза, боялась оказаться рядом.

Янеш не стала препираться, помня, как трудно переубедить Емеш, и привычно уступила ей. Они перешли улицу и очутились во дворе Шаурекай, где кроме глинобитного домика с плоской крышей да навеса на одну корову больше никаких построек не было. Отец Шауре, Халим-агай, считался в ауле первым плотником и, как помнится, только и делал, что строил дом за домом, с узорчатыми и резными воротами, ставнями, наличниками,

а сам же коротал век в неказистой на вид хибаре. Не было у него ни денег, ни времени, чтоб поставить себе хороший дом. Того, что зарабатывал своим нелегким плотницким трудом, едва хватало на еду и кое-какую одежонку. Девочки знали, что отца Шауре сейчас нет дома, он со своим старшим сыном Ахметом в лесу, готовит сруб для своего богатого соседа, старшины Собхана, в доме которого с утра до вечера пропадает и мать Шауре, готовя и подавая еду. И на весь день Шауре остается дома одна со своим маленьким братиком Хасаном. Другого брата Шауре — озорного непоседы Ахата, ровесника Иштугана, тоже никогда не увидишь дома. Не было его и сейчас. Должно быть, носился где-то со своим дружком Иштуганом. Шауре, которая томилась с плаксивым Хасаном, завидев подружек, прямо запрыгала от радости.

— Ой, пришли! Давайте играть! Хотите в «камешки сторожевые»? — затараторила она.— Я на перекате вчера пять одинаковых кругляшей подобрала. Вот они. Можем и в «хана» сыграть — еще целый подол красивых камней домой принесла... Чего молчите? Янеш! Емеш!..

— Мы уж насиделись дома. На улицу охота...— сказала Янеш, а Емеш добавила:

— В прятки играть!

Шауре погрустнела, посмотрела на тонконогого пузатого братика. Тот в одной длинной рубашке, прихваченной сзади узлом, ползал по урындыку.

— Мырза ведь при мне...

— Тогда просто погуляем,— предложила Емеш.

Шауре поманила Хасана.

— Иди ко мне, мыртый [1].

Тот подполз на четвереньках к краю урындыка и, просияв, обхватил сестренку за шею.

— Мама?.. Ням-ням!..

Шауре весело пошлепала его по голым ножкам.

— Нет, нет, к маме не пойдем. Алмабике-инэй будет сердиться. Тебе вместо ням-ням шлеп-шлеп даст. Бо-бо будет, понял? На улице погуляем.

За те четыре года, что прожили Янеш и Емеш в Ильсегуле, они больше ни с одной девочкой не смогли так сдружиться, как с Шауре. Она никогда не обижала, не называла их «пришлыми» и «чужаками». И домой к ней всегда можно было зайти без стеснения, не боясь застать там взрослых — ее родители возвращались только с темнотой. К тому же Шауре, будучи ровесницей Янеш, держалась и с Емеш как с ровней.

Выйдя на улицу, девочки немного замешкались. Емеш с укоризной глядела на Хасана, из-за которого им нельзя было ни побегать, ни поиграть. Но тут их внимание привлекли веселые голоса во дворе старшины Собхана.

— Кто-то приехал, интересно! Пойдемте посмотрим,— зашептала Шауре.

— Ага, — согласилась Емеш, и девочки пошли назад во двор Шауре.

Продравшись сквозь густые заросли крапивы, репейника и лебеды к высокому дощатому забору, отгораживающему от них двор старшины Собхана, девочки безошибочно

[1] Мыртый — братик.

вышли к знакомому месту. Там в рассохшихся досках было несколько круглых отверстий, которые они проделали раньше, выдавив пальцем готовые выпасть сучки. Усевшись под громадными листьями лопуха, они, затаив дыхание, прильнули к забору. По другую его сторону текла своим чередом обычная и праздничная жизнь. На крыльце стояли нарядные старшина Собхан и его жена Алмабике. На старшине была новая черная тройка; большие пухлые руки покоились в карманах брюк; толстые, короткие ноги были широко расставлены; круглый, как казан, живот обхватывала тяжелая серебряная цепочка от часов, свисающая из нагрудного кармана жилета; такой толстой цепочки больше нет ни у кого в Ильсегуле. Ощетинившимися рыжими усами, надменным насупившимся взглядом и бычьей шеей он походил на откормленного племенного быка. Высокая полногрудая Алмабике рядом с низкорослым мужем, который приходился только по плечо, показалась девочкам непомерно большой. Вызывало недоумение несоответствие ее крупного тела и маленькой головки, на которой, оттеняя нежное с тонкими чертами лицо, красовался расшитый жемчугом калфак — головной убор на манер богатых татарок.

— Ой, какая красивая Алмабике! — прошептала Шауре с восхищением.— Корона, как у царицы, да, Емеш?

Но внимание Емеш было приковано к ее дочери. Алтынбике играла на крыльце с большой, как настоящий ребенок, фарфоровой куклой, завернутой в шелковое одеяло. Завороженная чудной картиной, Емеш не могла от-

вести глаз. Кукла была необыкновенная: с синими глазами и розовым, как у маленьких детей, лицом, и сама Алтынбике в ярком платье, обвешанная монетами и кораллами, вместе со своей диковинной, будто живой куклой, казалась ей видением из сказок.

Только не могла понять Емеш, сама рано расставшаяся с детством, как может играть в куклы с таким упоением, точно малое дитя, взрослая девочка. Ей даже стало неловко и стыдно за нее. И выглядела Алтынбике много старше Емеш, хотя разница между ними была не больше двух лет.

— Поиграй, доченька, я отдохну. Поди к дедушке,— сюсюкала и говорила на все лады Алтынбике, крутясь возле отца и матери.— Скажи, доченька, «бабушка». Мама, посмотри, моя дочка уже разговаривает!

— Бесстыдница! — тихо проговорила Янеш с возмущением.— Как не совестно ей в куклы играть! Ведь эка вымахала!..

А Емеш так загляделась, что, забывшись, громко воскликнула с суеверным страхом:

— Ой, Шаурекай, она смотрит, как живая! Наверное, у нее душа есть?

— Ты что кричишь? Вдруг они почуют нас?! Алмабике-инэй тогда нам все волосы выдерет! Такого жару задаст!..

Снова стало тихо. Даже маленький Хасан не пищал, лишь сосредоточенно ковырял пальчиками сухую рассыпчатую землю. Как будто и он знал, что на этом месте лучше вести себя потише, прикусив язык.

Вдруг старшина громко крякнул, нагнав страху на девочек, и пронзительно прокричал:

— Идрис! Эй, иблис[1], запрягай коней!

Из заднего двора на крик, как медведь из берлоги, вывалился старик Идрис в своем домотканом сером чекмене, перетянутом вместо кушака веревкой, который он не снимает зимой и летом. Он всю жизнь ходил в кучерах и, казалось, от этого его руки вытянулись, доставая почти до земли, ладони стали большими, как лопаты, а пальцы — крючковатыми. Лохматый и неуклюжий, с заросшим лицом, сутулой спиной, косолапой походкой, он и в самом деле походил на медведя, и было похоже, что имел медвежью силу. Звали его Урус-Идрис. У него не было ни своего дома, ни земли. Не было никогда у него и семьи. Он жил, как сыч, один на всем белом свете. Немногие в ауле помнили его молодые годы. Когда-то он был лихим джигитом. Попав в солдаты, он пришелся по нраву одному офицеру, который взял его к себе денщиком. Полюбил его офицер за храбрость и честность, за исполнительность и сообразительность, за открытую душу и, может быть, еще за то, что Идрис, как и сам офицер, знал толк в лошадях.

— С таким денщиком забот не знаешь,— говорил этот офицер.— Кони для него, что дети малые. Самые злобные жеребцы в его руках становятся шелковыми. А захочешь купить коня — бери в советчики моего Идриску, не промахнешься!..

Долгие годы служил у него Идрис. Добрый попался ему хозяин. Не унижал, не измывался

[1] Иблис — сатана, черт.

над ним, как другие офицеры. Не забыл про него, даже выйдя в отставку.

— Идем, Идриска, ко мне жить. Скоротаешь у меня свой век, не ведая горя,— сказал офицер и повез Идриса в свое имение под Москвой.

Идрис не посмел отказать такому достойному человеку, а если признаться, ему тоже было жалко расставаться с таким приветливым человеком. Вскоре он свыкся с беззаботной жизнью в богатом доме. Офицер по холостяцкой привычке не засиживался в своем имении, разъезжал по столицам и по заграницам, а Идриса он сделал вроде доверенного лица у себя в имении. Так пролетали дни за днями и за годом год. Идрис словно позабыл, что есть у него родной аул, позабыл свой язык и свою веру. А хозяин по-прежнему был доволен им.

— Потеряешь сослепу пятак и тот не пропадет, когда возле тебя Идрис,— говорил он и с беспечной душой странствовал по свету.

Прижился совсем Идрис на новом месте, стал своим, привычным человеком в доме, но на склоне лет его вдруг потянуло назад в родную сторонку, на свой Урал. Видно, захотелось ему повидать напоследок отчий край, услышать родную речь, помереть на земле своих предков.

— Куда ж тебе ехать сейчас?! Ты же там с голоду живо ноги протянешь,— отговаривал его офицер.— Одумайся, Идриска! Живи, как жил!..

Но Идрис не внял увещеваниям и распростился со своим любимым хозяином. В ауле его, конечно, никто не ждал. Отец с матерью

были давно в могиле. Все родительское добро: скот и землю — прибрал к рукам муж его единственной сестры Алмабике старшина Собхан. Так что и приткнуться-то некуда было Идрису. С горя он ударился в запой. Спустил все свои сбережения и даже те денежки, что давал ему офицер на обратную дорогу со словами:

— Коли не выгорит ничего в ауле, так езжай назад.

Теперь Идрис при всем желании не смог бы уехать отсюда. Но, сказать по совести, он ни за что не посмел бы показаться в нынешнем виде перед столь уважаемым им человеком. Оборванного, опустившегося Идриса подобрал старшина Собхан и сделал своим кучером. Уж который год старик Идрис гнет спину на Собхана, живя где-то на задворках, в скотницкой, получая объедки с байского стола. И осталась у него единственная горькая отрада в жизни — напиться до упаду, если в кармане заводились монеты. Тогда он выходит за ворота байского дома, оборачивается, грозит кулаком и, распевая русские частушки, развалистой походкой уходит прочь из аула. Он, пока не пропьет последнюю копейку, будет валяться на улице, но не пойдет назад в свою скотницкую.

— Пригрел из жалости, как-никак родня, а он тебе за это в лицо плюет! Сатана проклятая! — сетовал на людях старшина, ища в глазах сочувствия. Но на его слова не обращали внимания. Слишком хорошо знали в ауле, по чьей милости оказался под старость лет без своего дома старик Идрис, знали и про то, что только боязнь огласки этого дела мешает старшине Собхану вышвырнуть старика на

улицу. Урус-Идрис пьет, гуляет на стороне, но приходит час склониться перед судьбой, и он тащится из последних сил назад, чтоб предстать с низко опущенной головой пред очи своего добренького зятя. И снова пуще прежнего старательно прислуживает ему. Когда же вновь становится невмочь, он опять уходит... Из-под шапки лихо торчат его длинные сизые волосы, в руках русская балалайка, а на лице умильная детская улыбка. Чтоб выказать солдатскую выправку, он выпячивает грудь, старается тверже шагать, но его выдают по-стариковски подгибающиеся в коленях ноги.

— Видишь русскую балалайку?! Мой офицер ее подарил! — кричит он гордо каждому встречному.— Знайте, милые люди, Идриска ваш с офицером на тройках вихрем носился!..

— Опять в запой ударился Урус-Идрис... Уж не остановится, пока с ног не свалится, бедняга...— переговариваются тогда в ауле.

А мальчишки, для которых в этом мире все забава, тут же обступают его.

— Сыграй, дедушка!..

— Спляши, на балалайке побренчи!

— Давай жарь свой вай-Дунай!

Идрис лихо бьет по струнам и приговаривает пьяным осипшим голосом:

Вы послушайте, ребята,
Что струна говорит.
Что струна говорит!
Да она жениться велит...
Ай, Дунай, вай, Дунай,
Дунай, веселый Дунай!

Дети гурьбой следуют за ним.

— Пой, пой, Урус-Идрис — олатай.

— Чокнутый Идрис!

— Как расхваливает свой Дунай! Настоящий урус! Ай-я-яй! — покачивают головами взрослые.— А по-башкирски ни одной песни не знает, старый грешник!

А старик Идрис расходится и без удержу сыплет частушку за частушкой.

Эх, мои родители,
Вы меня не любите,
Вы меня не любите,
Утром рано будите...

Но как бы крепко он ни напивался, все его песенки были по-детски незатейливые, не было в них ни разухабистости, ни сальностей. Видно, годы солдатчины не смогли вытравить из его души природную сдержанность. Старшина Собхан, якобы в шутку, называет его не Идрисом, а иблисом — сатаной. Вот и на сей раз он, упершись руками в толстые бока, повторил свою «шутку»:

— Эй, иблис! Тройку подавай к крыльцу, да живее!

Очень довольный собой, он переложил руки за спину, еще шире раздвинул свои короткие ноги и еще больше выпятил свое пузо-казан. Когда пролетка была подана, он медленно спустился с крыльца и с неприступным видом тяжело плюхнулся на мягкое сиденье. Следом за ним уселась и его жена. И приплясывающие вороные кони мигом вынесли их за ворота. Алтынбике с прижатой к себе куклой осталась на крыльце.

— В гости поехали,— прошептала Шауре.— Каждый вечер либо у них гости, либо сами едут в гости... А что это они свою Алтынбике

позабыли? Она ведь всегда при них, будто малый ребенок, которого нельзя оставить дома.

Емеш не ответила, она продолжала наблюдения за неведомым красочным миром. Оъезд тройки был лишь одним коротким эпизодом.

А таинственная и незнакомая сказка продолжалась... Ее внимание теперь было приковано к сыну старшины Хатыбалу. На его новехоньком, с иголочки, кителе блестели звездами медные пуговицы. Подражая отцу, он сунул руки в карманы и, поскрипывая черными лаковыми штиблетами, прошелся по двору, потом поднялся на крыльцо, встал на то же место, где только что стояли его родители. Походкой, осанкой, косым пробором напомаженных черных волос, тонкими вразлет усиками, бледным лицом он был так непохож на остальных джигитов аула, что показался в эту минуту Емеш самым совершенным воплощением мужской красоты и силы. Только его холодный и какой-то отчужденный взгляд зеленоватых глаз, такой же, как у старшины, все же не очень нравился Емеш, пробуждая в ее маленьком сердце недоверие и опаску.

Емеш знала, что Хатыбал учится в Ташхарае — так называли здесь двухэтажное каменное здание русско-башкирского училища в ауле Салям, что в десяти-пятнадцати верстах отсюда вверх по Большому Ику. В погожие дни сияющие большие окна Ташхарая видны даже из Ильсегула; он возвышается над маленькими башкирскими домиками, как горделивый лебедь в окружении тощих, облезлых кур. То, что Хатыбал один из всех ильсегуловских джигитов учится там, придавало ему

в глазах Емеш дополнительную таинственность, делало похожим на волшебного батыра.

Даже имя у него особенное, одно на весь аул: Хатыбал — купленный. Когда он появился на свет, его вправду выкупили у муллы, отдав за него коня. В дом его внесли через окно. Долгое время рядили в одежды из сорока заплат, а на уши вешали серебряную серьгу.

И все это делалось с одною лишь целью — провести аллаха, чтоб не забрал он его к себе, как всех других сыновей Собхана, которые умирали один за другим, чуть появляясь на белый свет, не доживая даже до года. Считалось, что причиной тому было богатство. Ведь у бедняков всегда куча детей, аллах ни одного не отнимает у них. Хотя бедняк, может, и рад был бы избавиться от лишнего рта. Вот пусть теперь сколько хочет смотрит аллах на Хатыбала, что он увидит? Ребенка в лохмотьях! И конечно, махнет рукой: «Ба, да это же сын бедняка! Кому такой нужен? Пусть живет, как может...» Как бы то ни было — аллах не отобрал Хатыбала. «К счастью ли это случилось или к несчастью, знает тоже только сам аллах»— говорят по этому поводу взрослые. А Емеш, глядя на него, подумала про себя: «Какие счастливые бывают дети — дорогие своим родителям! О аллах, зачем же я родилась на этот свет?!» Ей сразу стало грустно. Прикрыв руками глаза, она еще немного посидела у забора, потом вдруг быстро поднялась.

— Пойдем отсюда!..— грустно сказала она.

Девочки вышли на улицу. Мимо них во весь опор пронесся в тарантасе Усман-бай. Всем детям было хорошо известно, что Усман-

бай возвращается с базара навеселе и бывает в такое время очень добрым и ласковым.

— Побежали! Усман-бай приехал!

— Вон мальчишки опять раньше нас успели!

И впрямь, стайка звонкоголосых, босоногих мальчишек, что увивалась за Ульябаем, вслед за Усман-баем влетела к нему во двор. Шауре и Емеш, вбежав за ними, увидели, как две жены Усман-бая с двух сторон пытаются вытащить его из тарантаса, а он, сопротивляясь, отмахивается от них, как разобиженный ребенок.

В воротах появилась новая ребятня. Тут были и обе внучки бабушки Карасяс, Сабира и Самига, и сын Хаммата Байрас — все, привыкшие получать от Усман-бая гостинцы в базарный день. Своих детей у него не было, но он всегда возвращался с базара, набив карманы карамелью-тянучкой и монпансье. Детям показалось, что сегодня его карманы оттопыривались больше, чем всегда, и они с радостным визгом обступили тарантас.

— Здравствуй, бабай!

— Можно распрячь твоего коня?

— Дозволь мне! Я распрягу, бабай!..

Усман-бай с ласковой улыбкой поманил пальцем остановившихся поодаль от него Емеш и Шауре.

— Подходи поближе эй, чернокопытные! Что манпаси захотели, шельмецы? Получайте!..

Видно было, что он любит детей. Да и вообще, в отличие от старшины Собхана, муллы Габбаса, он не имел привычки запирать ворота. И добра у него поменьше, чем у тех, и работников он не может нанять, чтоб самому

лежать да покрикивать на них. Но по какой-то неизвестной причине народ причислил его к рангу баев. Возможно, это шло от его щедрости или широты натуры, которую он проявлял, будучи навеселе, а может, из-за того, что он, не имея детей, был беззаботен и ни о чем не тужил. По общему мнению, только истинный бай, человек живущий в полном достатке, может позволить себе быть таким веселым и беспечным, таким довольным судьбою.

Усман-бай и сейчас был в хорошем настроении. Продолжая возлежать на тарантасе, он тонко хихикал не приличествующим его богатырской фигуре петушиным голоском и пригоршнями разбрасывал карамель, выгребая ее из широких карманов.

— Нате, ешьте манпаси!.. Угощайтесь, галчата, хи-хи-хи!..

Дети, толкая и давясь, бросились на землю. Шауре, Янеш и Емеш старались не отставать от других. Усман-бай с удовольствием наблюдал. Дождавшись, когда дети выберут все карамельки из травы, он бросал новую горсть. Его и без того маленькие узкие глаза от смеха превращались в щелочки. А жены, бранясь, все пытались стащить его с тарантаса на землю.

— Иди же домой! Чаю с дороги попьешь, ведь устал,— внушала молодая жена.

— О аллах, опять напился, срамотище!.. Уже забыл, как давал зарок перед хазретом [1], что капли в рот не возьмешь! — причитала старшая жена.— Ведь уж сколько раз клялся! И опять слово свое нарушил, окаянный! Нака-

[1] Хазрет — духовный сан.

жет нас аллах, он накажет! Поплатишься, сохрани нас аллах!..

— Хи-хи-хи! — с удовольствием смеялся Усман-бай.— Нашли, чем связать меня! Для меня путы хазрета, что гнилое лыко! Раз и лопнули! Хи-хи!..

— Стыд-то какой! Скорее бы в дом, что ли, шел!..— продолжали ворчать жены.

— Это вам стыд и срам! Не можете вдвоем одного сынка мне родить,— беззлобно ответил Усман-бай, продолжая расшвыривать конфеты.

Наконец дети подобрали последнюю конфету, каждому досталось по две-три, а тем, кто половчее, и того больше. Байрас, который схватил больше всех, снисходительно поглядел на Емеш, державшую всего-навсего одну конфетку, и кинул ей две штуки.

— Это все, что набрала?! На, раззява, бери еще...

Пока Емеш в нерешительности соображала: брать — не брать, Моратша — сын Ахметши, как коршун, упал ей в ноги и схватил конфеты. Даже Шауре осудила подружку:

— Опять проморгала! Дают и то не можешь взять! Я с братиком на руках, а смотри: четыре штуки подобрала. Вот!

Емеш молча проглотила этот упрек. Они вышли за ворота и зашагали дальше. Миновали сверкающую свежей краской новую мечеть под зеленой крышей с высоким минаретом, оставили позади светлые громадные дома муллы Габбаса, Шымбая-Куштана, которые источали вокруг себя вкусные запахи еды, прошли полуразвалившееся пустое медресе, где летом, кроме тронутого Ульябая, не бы-

вает никого. У девчонок не было никакой цели, но они молча продолжали шагать вперед. Тонконогий Хасан, удобно примостившись на спине Шауре, тоже не нарушал тишины, потому что, как и девочки, был занят делом — сосал конфету. Ноги сами собой вынесли детей на край аула. Здесь улица упиралась в пологий склон Девичьей горы. По одну ее сторону стоял дом бабки Таибы, по другую — старика Шымбая. У дома Шымбая девочки непроизвольно замедлили шаги. От плотного без единой щели забора из потемневших от времени толстых стволов лиственницы и чернеющего за ним приземистого дома в глубине двора повеяло на Емеш привычным холодом. Ей всегда чудилось, что в этом доме живет зловещая темная сила. И на этот раз она, почувствовав знакомый холодок, прошептала:

— Уйдем поскорее отсюда.

Наверное, и Шауре была во власти тех же чувств, потому что вдруг стала припоминать какую-то пугающую непонятную историю.

— Говорят, у деда Шымбая его старший сын... И Сарбиямал-апай... Ну, как его... Этот вор Ахметша...— пугливо озираясь, заговорила она, но тут же осеклась, потому что им навстречу шел сам хозяин дома. Не поднимая глаз от земли,— что должно было означать его отрешенность от мирских забот, он кошачьи мягкими шагами дошел до ворот, тяжелые створки которых бесшумно открылись и закрылись за ним. Видимо, петли были хорошо смазаны. Девочки отпрянули от забора. Перейдя на другую сторону улицы, они расселись у ворот бабки Таибы. Емеш, у которой отлегло от сердца, мечтательно заговорила:

— Вот интересно будет, когда Бибеш-апай пойдет за водой и внезапно наткнется на нас... Ой, как обрадуется! Давайте подождем ее, посидим тихонечко...

Шауре устала таскать на себе братца и была рада присесть хоть где. Янеш только вздохнула. Она уже понимала, что Бибеш теперь не вольна в своих желаниях и не может остановиться возле них даже при встрече. Дети молчали. Янеш думала про Бибеш, Шауре — про то, как мать, придя с работы, избавит ее от забот о брате, а Емеш старалась постигнуть смысл слухов о старшине Шымбае и его сыне Ахметше, которыми полнился аул.

В здешних краях почти в любом ауле бывает один скользкий, как угорь, человек, который живет тем, что разными путями и хитростями сплавляет на сторону земли своих односельчан, оставляя многих и вовсе без земли. Кое-кто из них так же прост, как и те, чьи земли он распродает обманом, и вся его хитрость видна, как на ладони. А кое-кто, поднаторев, проделывает свои делишки так чисто и гладко, что к такому не подкопаешься, не схватишь за руку. Такие люди превращаются в самых близких помощников старшин, баев и мулл. Входя во вкус, они начинают продавать не только землю, но и сам народ, стараясь тянуть отовсюду, где можно, все обращая в прибыль для себя. Народ издавна с ненавистью говорит про таких людей «куштаи», что означает — верноподданный. Со временем это слово видоизменилось и стало нарицательным именем продажных льстивых людей. Шымбай был одним из этих сладкоречивых ловкачей — куштанов. Немало поел он казы-

ялы[1] на своем веку, сидя почетным гостем у старшины Собхана, муллы Габбаса и других баев, немало попотчевался он у помещиков Шодта и Тимашева и у оренбургских купцов, немало брал он от них дорогих подарков: и лучших коней, и лисьи шубы, и волчьи тулупы, и серебряные самовары, и сервизы с позолотой. Каждый богатей считал своим долгом отблагодарить Шымбая за проданные ему по дешевке земли односельчан.

Он любил обходить в русских деревнях по соседству с Ильсегулом и дома тех, кто победнее, чтоб попытаться еще раз получить от каждого за свои услуги самогонкой или серебром.

— Хи-хи! Знаком, кто землей тебя наделил, знаешь?! Кто посадил тебя на самые лучшие земли, может, помнишь?! — говорил он, сладко хихикая. — Я, так ведь, знаком?

Ныне он только во сне видит прошлые пирушки и подарки. Он уже перепродал все, что мог, и больше земли на продажу нет. Но Шымбай-Куштан из тех, которые и из оставшейся у аула толики земли умеют извлекать для себя немалую выгоду. Сколько земли есть у Ильсегула — она вся по-прежнему в его руках. Каждый год проходит она через его руки во время дележа пахотной земли и сенокосных угодий. И всякий раз урожайные земли, заливные луга с сенокосами достаются богатым и состоятельным людям, а истощенные, кочковатые земли — беднякам. И это еще куда бы ни шло — ведь сколько ни противятся

[1] Казы-ялы — домашняя колбаса из конины.

бедняки; сенокосы делятся по поголовью скота, а лес — по числу домов и труб во дворе.

Вот почему своими наделами довольны бывают только богатые.

— Опять счастье плывет в руки тех, кто счастлив от рождения, — печалятся бедные.— Делим, делим землю, тянем жребий, а лучшая земля все равно достается баям.

— Это все козни Шымбая-Куштана, для баев старается, ради магарыча. В другой раз его и близко нельзя подпускать к дележу.

Но проходит год, настает пора весенней пахоты, потом сенокоса, и, ко всеобщему недоумению, наделами опять заправляет Шымбай. И все повторяется сызнова.

Умение с выгодой для себя делить землю — только одна сторона деятельности старика Шымбая. Он не брезгует заниматься и грязными делишками, продавая один и тот же кусок земли по нескольку раз разным хозяевам из соседних русских деревень. Сталкивая между собой людей, он порождает распри, порой кончающиеся убийствами.

Этот верткий старик с благочестиво опущенными, как у суфыя, узкими зеленоватыми глазками, вечно снует из одного аула в другой, от одного человека к другому. Бесшумно приближается рысьей поступью к нужному ему человеку, что-то нашептывает и столь же незаметно исчезает. Только его видели в этом ауле, глядь, он уже в другом. Сегодня он на Троицком базаре, завтра на базаре в Крашенинниковке, а послезавтра базарный день в Красной мечети — значит, жди его там. Чем он занят, какие дела обделывает? Это никому не ведомо. Но если видят, как он с набряк-

шим багровым лицом медленно идет по улице, старательно держась прямо, точно аршин проглотил, то догадываются: сегодня выгорело у него еще одно темное дело.

— Видать, опять чью-нибудь землю или чью-то душу пропил этот куштан, — с горькой усмешкой шепотом переговариваются односельчане. Правда, теперь его чаще называют доносчиком. — Уж сколько людей сгубил злодей своими доносами... Скольких еще погубит... Ой-ой-й!..

Но никто не скажет об этом в лицо самому Шымбаю, наоборот, каждый в его присутствии старается держать язык за зубами. Стоит только рассевшимся на бревнах мужчинам увидеть идущего к ним Шымбая, как, не обращая внимания на его казалось бы самый добросердечный вид и кроткую улыбку, каждый норовит под каким-либо предлогом скорехонько уйти подальше от беды. Даже о его сыне — воре и конокраде, говорят с оглядкой. Если бы на месте Ахметши был кто-нибудь другой — его давно бы прибили, потому как таков здесь закон для вора. Воровство считается таким же позорным делом, как двурушничество, как ложь, клевета, обман, и чтоб не прививалась такая недостойная человека черта, наверное, применяется самая жестокая кара. Может, по этой причине здесь и в обыденной речи редко услышишь слова «обманул», «украл». Никому не приходит в голову, что у него могут взять что-нибудь без спросу, потому люди не знают, что такое держать на запоре дом, амбары или сундуки. Все привыкли верить друг другу на слово. Дом каждого раскрыт настежь, как сердце его хозяина. Вот

почему конокрад Ахметша с его воровскими связями не только у детей, но и у взрослых вызывает чувство отвращения. Каждый, словно боясь заразы, обходит этот дом и его хозяев. Не осмеливаясь поймать вора с поличным и кончить самосудом, люди делали вид, что не видят, не замечают ничего, лишь бы самим быть от греха подальше, а старику Шымбаю с сыном-вором ничего другого и не надо, чтоб свободно творить свое черное дело.

Конечно, все это было выше понимания маленькой Емеш.

— Нам домой пора,— сказала она.— Сарбиямал-апай небось уже ругается, что нас нет.

— А Бибеш-апай?! — воскликнула добродушная Шауре. — Надо же зайти проведать ее. Она ведь тоже скучает, хочет видеть вас.

Но Янеш уже встала вслед за Емеш.

— Нет, козагый [1] не любит, когда мы ходим. Как-то забежала я к ним, Сарбиямал-апай с какой-то просьбой послала. Так она тут же выпроводила Бибеш-апай из дома топить баню. Я за ней, а козагый мне: «Домой иди, козаса [2]. Сарбиямал тебя ждет. Килен некогда с тобой болтать». Ну я и пошла. Бибеш-апай только издали печально посмотрела на меня...

— Бедненькая, — протянула со вздохом Шауре. — Что ж поделаешь, раз к такой свекрови попала...

— Ма-ма, ням-ням... — залепетал Хасан.

---

[1] Козагый — сваха.

[2] Козаса — обращение к младшей родственнице снохи, невестки.

— Ой, мой братик есть захотел! А мамы еще дома нет. Она будет ждать приезда хозяев из гостей. И дом весь надо прибрать, и еду приготовить, одних коров подоить сколько времени уйдет! Бедная моя мамочка! — затараторила Шауре.

Девочки вышли на самую середину широкой улицы и не спеша зашагали обратно. У дома старшины возле наваленных с улицы длинных сосновых бревен собрались девчонки, чтоб, как всегда, похвастать друг перед дружкой гостинцами, полученными в базарный день.

— Сделаем вид, что не видим и не слышим этих хвастушек, — сказала Емеш, не поворачивая головы.

Но те нарочно изо всех сил старались привлечь к себе внимание. Алтынбике, сидевшая в центре кружка со знакомой фарфоровой куклой в руках, первой сорвалась с места и, махая над головой завернутыми в цветную бумажку длинными леденцами, закричала:

— Тю-тю-тю, вот конфеточки, красота! Сладенькие! А вам их не видать, бедненькие!

Запрыгала с пряником в руке дочка вора Ахметши злая Захира, задергалась с крендельками в руке кривляка и воображала Гульехан, дочка муллы Габбаса.

— Ой, как вкусно-вкусненько!..

— Смотрите, смотрите! Сейчас языки свои проглотите! Ха-ха!

Проголодавшийся Хасан, думая, что его угощают конфетами, потянулся к ним ручонкой.

— А-пай!.. Ням-ням...

Это еще больше раззадорило девочек. С присущим в этом возрасте детям жестоким эгоизмом они принялись дразнить еще злее.

— Ах, как вкусно, сахар-мед, а тебе не попадет!.. Хасану не дад-ут, ту-ту!..

Емеш и Шауре притворялись, что ничего не слышат, и тем сильнее задели тех. За такое высокомерие полагалось отплатить.

— Делают вид, что не замечают. Думают, мы не знаем, как у них слюнки текут. Прямо жалко их, такие гордые голодранцы! Ха-ха-ха! — прокричала с хохотом Алтынбике. А Захира с Гульехан переплюнули всех.

— Приблудшие, чужаки, убирайтесь вон!

— Заблудились ишаки, видно это чужаки!

— Побежали! — задыхаясь, прошептала, не вынеся такого поношения, Емеш. — Чтоб не слышать их!

Девочки дали стрекача. Вслед понеслось довольное улюлюканье.

— Что, досталось?! То-то же... Тю-тю! Лови зайцев!..

IV

Солнце уже село, пали сумерки. Подоспело время ужина. Янеш тут же сообразила, что может достаться от мачехи за столь долгое отсутствие, и быстро шмыгнула в аласык. А Емеш, боясь разреветься, глотая слезы, подсела к отцу, возившемуся с косой. Хотя она обычно сторонилась и отца, и мачехи, в эту минуту ей захотелось, чтоб отец чем-то утешил ее. А Байгильде все никак не заговаривал. Лишь изредка поглядывая на дочь внимательным взглядом, продолжал размеренно

отбивать косу. Емеш пододвинулась ближе к нему, следя за его движениями немигающим, широко открытым взглядом, и тоже молчала. Сумерки все сгущались. Небо на закате совсем потемнело. Выглянули редкие тусклые звезды. Байгильде наконец отбил косу и повесил на столб, где была сушилка для корота. Потом присел на прежнее место, обнял своими руками острые колени, посмотрел на свою разволнованную маленькую дочь.

— Ну, доченька, что у тебя?

Емеш, переполненная чувствами, боялась расплакаться и потому смолчала. Байгильде не повторил вопроса, только мягко провел горячими от работы ладонями по волосам дочери. Тем временем уже сгустилась ночь. На небо повыскакивали друг за другом звезды. Полная луна, лениво катящаяся по казавшемуся сегодня особенно высоким и необъятным ночному небу, наконец повисла точно над ними. Емеш запрокинула голову и до рези в глазах смотрела на луну. Небо и мир звезд всегда приносили ей успокоение.

— Атай[1], отчего это луна такая лохматая? Будто подсолнух в цвету, правда?

— Луна не лохматая, доченька. Это ты плохо видишь, глаза у тебя слабые, вот тебе и кажется... Я тоже в детстве плохо видел... Вот будут у меня деньги, куплю тебе очки и тогда ты увидишь, что луна совсем не похожа на подсолнух. Она круглая и гладкая.

Отец сегодня был как-то необычайно приветлив и разговорчив. И вечер был хороший. Где-то недалеко в густой траве кряхтел ко-

[1] Атай — папа, отец.

ростель. Он, казалось Емеш, завяз в болоте и просил помощи. А большой серый дрозд в ответ как бы поучал его:

— Смотри в оба! Смотри!..

— Вот как! Вот как! Пропали мы... — безнадежно приговаривала перепелка.

А какая-то пичужка дразнила не известную никому бабку Сайду:

— Сайда, сайда, сайда-баба, сайда-баба! — словно хотела сказать, что это бабка Сайда утопила коростеля в болоте.

Неожиданно откуда-то из-за далеких холмов едва слышно, безжизненно и печально долетело:

— Са-ак!.. Су-ук!..

Емеш вспомнила сказку «Сак-Сук» про двух разлученных родных братьев, которым не суждено было при жизни найти друг друга, и ее глаза наполнились слезами. Родная мать в приступе гнева прокляла своих детей, и те превратились в ночных птиц. Только опускается на землю ночь, оба брата Сак и Сук начинают звать друг друга. Тогда и слышат люди их крики: «Сак!.. Сук!..» Под утро они сближаются на голоса, но с рассветом перестают видеть и разлетаются в разные стороны. На другую ночь снова все повторяется. И так будет длиться всю их жизнь. Емеш смотрит на отца со слезами. Ей хочется спросить: «Неужели не будет конца мучениям двух бедных братьев?»

Байгильде перевел задумчивый взгляд на дочь, погладил ее волосы и тихо спросил:

— Емеш, видишь вон ту яркую звезду, что едва возвышается над горами?

— Да,— на всякий случай ответила Емеш. Она была счастлива, что отец сидит с нею рядом.

— Ее зовут Тансулпан[1]. А вот те бесчисленные звезды, которые сплошь усеяли все небо с севера на юг серебряной двухвостой змеей, называют Дорогой Птиц[2]. Говорят, по этой небесной тропе они совершают свои перелеты весной и осенью...

«Кто же проложил им эту дорожку? — изумилась Емеш, но промолчала. — Ах, если бы еще и видеть все, что отец показывает на небе!..»

— А вон то созвездие из семи звезд, образующее ковш, называют Етэгэном[3],— сказал он. — Семь звезд — это, говорят, семь волков. А на самом конце Малого Етэгэна[4] есть очень яркая звезда, это Железный Кол[5]. К ней серебряной цепочкой из маленьких звезд привязана одна желтоватая звезда, это Конь Соловко, и голубоватая звезда — это Конь Серко. Говорят, сошлись когда-то два батыра, один честный и добрый по имени Тогро-батыр, другой — лживый и коварный Алдар-батыр, привязали своих коней к Железному Колу. И с той поры бьются они. Проходит век за веком, один другого одолеть не могут. А их бедные кони все дожидаются на привязи. Семь волков пронюхали, что остались кони без хозяев, и каждую ночь гонятся за ними.

---

[1] Тансулпан — Венера, Зухра.
[2] Дорога Птиц — Млечный Путь.
[3] Етэгэн — Большая Медведица.
[4] Малый Етэгэн — Малая Медведица.
[5] Железный кол — Полярная звезда.

Кони, спасаясь от них, бегают вокруг Железного кола. Только с рассветом приходит к бедным коням отдых. Днем волки, боясь богатырей, не осмеливаются нападать. А ночью снова начинают охоту. Говорят, что уже тысячи лет идет эта погоня...

— А кто из батыров победит, атай? — в тон отцу тихо спросила Емеш. — Когда битве той придет конец?

— Этого я не знаю. Но верю, что победит Тогро-батыр.

— Почему?

— Почему, говоришь, дочка? — немного помолчав, переспросил Байгильде. Он сочинял эту сказку на ходу и ему приходилось сначала про себя обдумывать дальнейшее повествование. — В этой борьбе Тогро-батыр с каждым днем становится сильнее, а Алдар-батыр слабее. Раньше, давным-давно, говорят, когда они вступили в бой, сильнее был Алдар-батыр.

— А вдруг все же победит Алдар-батыр? — спросила в тревоге Емеш.

— Нет, доченька, этому не бывать,— успокоил ее отец. — Как бы силен и коварен ни был Алдар-батыр, ему придет конец.

— Почему? Ты же говоришь, Алдар-батыр был сильнее.

— Я еще не сказал тебе всего... Все добрые люди на земле желают победы Тогро-батыру. Потому всю их силу вбирает в себя Тогро-батыр.

— Тогда Алдар-батыр тоже вбирает силу плохих людей, а их больше!

— Нет, доченька, плохих людей все же меньше. Потом, правда всегда сильнее кривды. Значит, у кого силы больше, а? Вот так-то.

— А-а... — недоверчиво протянула Емеш и поспешила задать сильнее всего беспокоивший ее вопрос: — Атай, у нас есть там родные и близкие?..

— Где? На небе? — улыбнулся он, ибо этот вопрос никак не вязался со сказкой.

— Нет... В Исанбете, где же еще...— с обидой выдавила Емеш.

— А... есть... А то как же. Твой дедушка Шахит, твоя Суакай-инэй... — спотыкаясь перечислил Байгильде. — Ты их сама должна помнить, ведь тебе тогда было уже четыре годика и ты умела рассуждать, как большая... Они ближе, чем иные кровные родные... Там были внучки деда Шахита Бибекай и Гулькай... Умерли... Диву даюсь, как не пристала и к вам дурная болезнь сына Кормош-бая? Помнишь, доченька, про них? Про бедных Бибекай и Гулькай?..

Емеш покачала головой. Она сейчас и вправду плохо помнила свой родной аул. Прошлая ее жизнь там и люди, что были тогда рядом с нею, остались в памяти чем-то вроде старой, доброй сказки, которую она будто слышала когда-то. Ей и не верится, что она жила в Исанбете — таком далеком райском уголке. У Емеш нет охоты вспоминать былое, она сейчас спешит узнать у отца самое важное для нее сейчас:

— Атай! — выпалила она. — Почему мы не возвращаемся в свой аул?

Байгильде задумался, не зная, как ответить на волнующий и его самого вопрос. Потом, будто разговаривая сам с собой, едва слышно, но с убежденностью произнес:

— Вернемся, доченька, мы все равно вернемся!

— Когда? — нетерпеливо спросила Емеш.— Когда же поедем, атай?

— Скоро. Как только Тогро-батыр победит...

— А?!.. Ты только шутишь, — обиженно надулась Емеш.

Молчал и отец, уйдя в свои мысли. Что он еще может сказать своей требовательной, но пока что несмышленой дочке? А тем временем в голове Емеш возникает новый вопрос:

— Почему у нас нет земли? У всех есть! А мы почему-то безземельные, пришлые, приблудшие, чужаки-ишаки, да?!

Байгильде опять оказался прижатым этим прямым вопросом. Тут из аласыка выскочила Сарбиямал.

— Ах, цыганское отродье, Емеш! Приготовь к чаю место во дворе!

Емеш стремглав убежала. Байгильде тяжело вздохнул, протер рукой взмокший лоб. «Когда мы вернемся в свой аул?!» Не только для ребенка, но и для него самого это был мучительный вопрос.

«Как на него ответить?!»

На пушистой травке посреди двора появилась мягкая кошма. Емеш принесла даже подушку для отца. Вскоре на скатерти появилось все к чаю. Байгильде, Сарбиямал, Янеш и Емеш вчетвером уселись на кошме вокруг скатерти. Вечер был тих. Дул едва заметный ветерок. Вдруг вечерний покой нарушила переполошившаяся стая ворон и галок, разом взметнувшаяся в небо с высоких тополей за аулом, словно подброшенные в воздух рваные

шапки. Сарбиямал уже в который раз повторила, что она страсть как любит вороний переполох. Но это воронье карканье, к которому примешивается голос Сарбиямал, Емеш нисколько не нравится. У Байгильде тоже портится настроение. А вороны, со дня их переезда сюда, как назло, не переставая, кружат над их головами. Вот и сейчас только собрались за чаем, как воронье снова разбушевалось. Принялась за свое привычное брюзжание и Сарбиямал. К тому же у нее был хороший повод: дело к ночи, а Иштугана все нет. Он, видно, соскучился по своим друзьям за тот месяц, что был с отцом на лесосплаве, и никак не мог расстаться с ними.

— Всяких повидала, но такого лентяя, бездельника никогда, валлахи, не видела! — начала она. — Пришел, поел готовенького и опять вон из дома! У меня Андреевская казна [1], что ли? Тебе говорю, чтоб сыночек твой внял. Хочет есть — пусть работает. С меня хватит того, что холю и ращу себе на голову двух дармоедок!.. Янеш, чтоб провалилась! Чего все носом шмыгаешь?.. Ах-ах, Емеш, цыганское отродье, ты что так расчавкалась? Подавишься ведь! Разве так едят девочки?!

Конечно, она пилила детей с одной-единственной целью — спугнуть их из-за стола, чтоб не мешали спокойно пить чай. Этого она всегда добивалась легко и быстро. Девочки и сегодня не заставили ее долго трудиться: проглотили по кусочку хлеба, обжигаясь, допили чай и разом поднялись. Выйдя за ворота, они

[1] Андреевская казна — царская казна; здесь в смысле: денег куры не клюют.

уселись у изгороди. Байгильде, по обыкновению, пропустил мимо ушей придирки мачехи к детям. А Сарбиямал, недовольная его молчанием, расходилась все пуще. Ее причитания долетали до улицы.

— Ой, аллах, какая я несчастная! Явил бы аллах свою милость и дал бы мне на счастье своих детей!.. Нет же, приходится в расцвете лет нянчить чужих детей... Слыхано ли — троих сирот растить!.. Хоть бы одна померла, хоть бы вот эту меньшую аллах к себе взял! Да куда там! Недаром говорят — на сироте семь шкур...

Байгильде попробовал было ласковым словом ублажить разошедшуюся жену, но остановить ее было невозможно.

— А тебе-то чего меня жалеть. Не любишь меня — и все! Любил бы — оберегал. Не приволок бы за собой ораву голодных волчат. Ответь мне, с чего люди болтают, будто любил ты только свою Сагуру, а меня взял, чтоб было кому смотреть за сиротками? Ну?! Я же, бедная, поверила тебе... — Сарбиямал перешла на слезливый тон. — Ну, говори же! Чтоб правду только! Меня любишь или все свою покойницу забыть не можешь?!

Байгильде надо было найти такой ответ, чтобы не обидеть Сарбиямал и не коснуться памяти покойной жены, навеки унесшей с собой его сердце.

— Ну, что молчишь? Я кому говорю?!

Байгильде неловко улыбнулся.

— Она же умерла... Умерших как любить?.. Они ж... только в памяти живут...

— Так, так? Помнишь, значит, ее, тоскуешь? Дальше?

— Дальше что тут... Тебя люблю, стало быть...

Слова отца точно раскаленными щипцами сжали сердце маленькой Емеш. «Сказал, не любит мою маму, а любит только эту злую мачеху! Тогда и я не буду называть его отцом, не буду любить его больше, вот!..»

Маленькая упрямая девочка уже на другое утро выказала отцу свой нрав. Байгильде с Иштуганом собрались спозаранку на сенокос. Уже была запряжена лошадь, загружены косы, грабли, вилы. Иштуган держал вожжи. Рядом весело сновала Сарбиямал, собирая их в дорогу, может, довольная оттого, что наконец-то услышала долгожданное слово «люблю», которого она безуспешно допытывалась до этого, и теперь ее женская гордость была удовлетворена, а может, она была просто рада, что муж, не мешая их встречам с Ахметшой, вернувшись со сплава, на другой же день отправляется с ночевкой косить сено. Она набила довольно-таки большой мешок со всякой снедью, расщедрившись, приволокла с чердака целую связку казы — колбасы из конины.

— Вот! Хоть раз как следует поедите. Иштуган, смотри, чтоб казы не ел! Отцу только давай! Заруби себе на носу.

Пора уже выезжать, только Байгильде все никак не садится в телегу. Ему не дает покоя младшая дочь, которая почему-то дуется и молча с обидой в глазах смотрит на него издали.

— Емеш, доченька, подойди же ко мне! — мягко позвал он ее.

Емеш не сдвинулась с места, продолжая нсподлобья глядеть на него. Байгнльде сам подошел к ней. Расчувствовавшнсь, чего никогда за ним никто ие замечал, он захотел вдруг приласкать ее.

— Доченька, маленькая моя, за что же ты так сердншься на отца? Я же люблю тебя, моя крошка...

Он подхватил Емеш на рукн, словно младеица. Оиа стала вырываться, упираясь в его твердые плечн.

— Пустн меня!.. Пустн!

Байгнльде не мог понять, откуда столько яростн в этом малеиьком человечке. Ему это показалось забавным.

— Ого-го, какая грозная моя Емеш! И снльная! Чуть плечо мне не сломала...

Но Емеш на шутку ответнла злой н днкой выходкой, которую нельзя было ожндать от ребенка. Она вдруг вне себя обеими руками вцепилась в бороду отца и с ненавистью прошептала:

— Отпусти...

Было странно слышать сдавлениый шепот, вырвавшнйся нз грудн родного ребенка, видеть неуемное ожесточенне, бьющее из наполненных слезáмн глаз. Байгнльде с недоумением поглядел на дочь, мéдленно отпустнл ее на землю н, сгорбясь, побрел к телеге...

Сарбнямал, вндимо, торопясь сообщить Ахметше, что она снова свободна, прннаряднлась и выскочнла на улицу. Оставшнсь вдвоем, Яиеш со слезамн в глазах спроснла:

— Как ты могла?.. Совсем рехнулась!

— А почему он сказал, что ие любит маму? Пусть ие говорит!

— Ну и что... коли пришлось...

— Я его тоже не люблю. Пусть умрет... Раз мамы нет, пусть и его не будет!

Добрая Янеш онемела со страху. Придя в себя, она тихо сказала:

— Ты что, глупая, без отца куда мы денемся? Скажи «тауба»[1]! Ты, хылу, не желай смерти никому. Лучше проси аллаха, чтоб мачеха была к нам подобрее...

Емеш не ответила ей. Ее вниманием завладел звонкий, как серебро, голос.

Рыжий с звездочкой во лбу, да,
Гривой шелковой прядет,
Как не дам овса я вволю,
Так под ложечкой сосет...

Пел Байрас. Ему чуть больше десяти, а он так хорошо умеет петь. Емеш любит его слушать, особенно, когда он поет протяжные песни — озон-кюй.

В хозяйстве Оммогульсум всю мужскую работу выполняет сейчас этот крепкий, неунывающий, смуглый мальчик. Он и сейчас занят делом — сидя на земле, налаживает хомут. А песня так, для души. Кончив свою работу, он взобрался на плетень, подразнить Емеш.

Говорят, Емеш рябая,
Кто же этого не знает.

— Глупости, моя сестренка не рябая, — крикнула Янеш. — Это фельшел ей укол от оспы сделал. Вот!

А Байрас все продолжал нести свои «глупости». Ему отчего-то нравилось дразнить

[1] Тауба — заклинание (прости господи).

Емеш. Вот он опять придумал что-то новенькое:

Говорят, Емеш плаксива,
Говорят, она спесива... —

хотя и не слышал никогда, как она плачет. Потом, видя, что от Емеш сегодня ничего не добьешься, он, выкрикнув:

Говорят, Емеш немая,
Что с ней стало, мы не знаем! —

махнул рукой и спрыгнул с плетня.

Емеш отмолчалась. В другое время она нисколько не обиделась бы на его подтрунивания. Наоборот, ей был люб его веселый и общительный характер. Он был единственным из всех мальчишек, который никогда не обзывал их «безземельными». Но в эту минуту даже обычные штучки Байраса показались Емеш донельзя обидными и, чтоб не расплакаться на его глазах, она повернулась к нему спиной и стояла так, пока он не соскочил с плетня.

— Янеш, за что нас так не любят здесь? Дома̀ мачеха, на улице девчонки и мальчишки... И сиротки мы... и чужаки... и безземельные... уехать бы скорее...

— Ну и что, земли у нас нет — потому и безземельные, приехали сюда из другого аула — значит, чужаки, — равнодушно отвечала Янеш. — Людям рта не заткнешь. Тебе лишь бы изводить себя и других всякими пустяками!.. А вот бедного нашего отца ты сама как обидела!..

Емеш угрюмо молчала. Конечно, ей жалко отца. И жалко маму. Вспомнив мать, она еле сдержала рыдания. Янеш взяла ее за руку.

— Пойдем лучше, пока нет Сарбиямал-апай, на речку! Вон как печет!..

Девочки выбежали на улицу и как вкопанные остановились у ворот. На улицу откуда-то вылетел всадник. Яростно погоняя коня, он махал над головой красным лоскутом.

— Война!.. Война!.. Германцы объявили войну!..

Всадник, выкрикивая грозные слова, проскакал по улице из конца в конец и так же внезапно исчез, как появился. На улицу высыпали встревоженные люди.

— Война!.. Война!..

V

Старик Шахит долго крепился, не поддаваясь болезни, хотя ему становилось все хуже. Но об этом, кроме его старушки Залифы, поначалу никто не знал. А сам он, не обращая внимания на неизвестно откуда привалившую беду, как прежде, продолжал возиться целыми днями за своим верстаком возле навеса — там, где провел почти всю свою жизнь, мастеря бочонки, колеса, вилы... Потеряв в голодный год единственного коня, старик Шахит был вынужден согласиться на условия Кормош-бая — отдавать тому за бесценок весь свой товар. За это Кормош-бай давал лошадь, чтоб возить из дальнего леса материал для работы. Сын старика Шахита Шахиморат тоже батрачил у Кормош-бая. А Кормош-бай расширил свое дело: его сыновья торгуют ныне не только мануфактурой — аршинным товаром, но и всякой хозяйственной утварью, которую поставляют ему мастера вроде старика

Шахита, угодившие в его цепкие лапы по бедности и безлошадности.

Старик Шахит держался до последнего, не выпуская из рук топора и пилы, пока совсем не свалился с ног.

— Али приболел ты, дедушка? Вид что-то у тебя неважный, — спрашивали у него, но он ни разу не пожаловался.

— Старею, детки, — со стариковской мудростью во взгляде отвечал он. — Издревле говорят: мужчина в пятьдесят будет народу опорой, предводителем, в шестьдесят — аксакалом, в семьдесят — станет рыжим лисом, в восемьдесят — на коня не вскочит, а в девяносто — споткнется. Сказать по правде, не довелось мне стать ни предводителем, ни аксакалом, не стал и хитрым лисом, а вот пора споткнуться, ко всем одинаково приходит, оказывается...

Дед отшучивался и снова брался немощной рукой за топор. А люди, вздыхая, тихо переговаривались между собой:

— Не отвяжется уж эта болезнь! Ведь какое дело — ложка супа в глотке застревает.

— Эх, горемыка, без того всю жизнь прожил впроголодь, ни приодеться, ни досыта поесть. За что шлет аллах новые мучения?! Голодом морить вздумал! И кого ведь? Святой души человека!.. Не понять нам, смертным, твои деяния, прости нас, аллах!..

По народному поверью сужение пищевода — это такая болезнь, которая проходит сама, если безропотно перетерпишь ее, и не излечивается, если узнают другие. Поэтому издавна повелось не признаваться никому в этой болезни, и до самой смерти притворяться здо-

ровым. Старик Шахит, может, тоже верил в свое исцеление, а может, просто не хотел жаловаться, молчал из уважения к доброму обычаю, помогающему человеку сохранить спокойствие перед неизлечимым недугом. Как бы то ни было он до последнего дыхания скрывал от всех свою болезнь, а Залифа сама просто старалась не вдумываться в его состояние, и при людях сетовала на то, что ее старик тяжело перенес постигшее их горе, когда в голодный год разом умерли обе внучки, и оттого нынче немного сдал:

— Как не убиваться тут! Ведь в один день обеих деток зарыли в сыру землю. Поели грязных ягод и все тут.... Распухло горло, разошлась красная опухоль и удушила наших райских птичек... Были бы живы Бибекай и Гулькай, бегали, резвились бы возле нас, как утята.. О-о, аллах, откуда взять терпение? Кабы не эдакое горе, разве пригнуло бы моего старичка?!

* * *

Летний день. Небо обложено грозовыми тучами. В воздухе истома. На лике солнца кровавый туман. Над горами висит красноватое марево, похожее на хвостатую многоголовую аждаху [1], от которого щемит на сердце. Словно с полей войны, идущей где-то далеко отсюда, поднялась красным туманом к небу кровь погибших.

А в доме от душного воздуха еще тяжелее. Жара сдавливает грудь, подкатывает к горлу.

[1] Аждаха — змей, дракон.

Старушка Залифа, обессилевшая от изнуряющей жары, лежит на урындыке, изогнув коромыслом длинное тощее тело, и, поглядывая на своего старика, сетует на жизнь:

— О, господи, ведь уже год, как идет война. Скоро и мужиков в ауле не останется. И не кончится все никак. Что с нами-то будет, если Шахимората у нас отнимут? На кого ж мы останемся? Хоть бы пораньше война случилась, пока ты был здоров... Суакай-килен за своего Сахиуллу убивается, ему черед подошел. Заберут единственного сына!.. Разве пожалеют они кого-нибудь? Сейчас царю любой годится, и кривой, и хромой. Глаза зажмурил, чтоб не видеть слез людских, и хватает всех подряд...

Сахиуллу раньше-то ведь не брали. Его в детстве лошадь в колено лягнула, хромой же он... И Шахимorату нашему отсрочку давали из-за нас, стариков. Больше некому же смотреть за нами... О аллах, коли война затянется, кто же о нас, стариках, будет помнить?.. Умрешь — схоронить некому будет!.. Не дай, аллах...

Не отвечая на ее причитания, старик Шахит, облокотясь на подоконник, глядел на улицу, стиснув крепкие ровные зубы, ни один из которых еще не выпал, хотя ему уже за девяносто. Чего уж тут говорить? Печали и горести бабки не новы. Нет, наверное, сейчас в ауле дома, где не повторялись бы такие сетования. Да и поможешь ли тут вздохами... К тому же и состояние у него не такое, чтобы особо тревожиться по тому, что творится на свете. Но все же он не подает виду.

— Да не горюй, мать. Лучше вывела бы меня на улицу. Хочу посидеть на травке, как, бывало, раньше сиживал вечерами после дневного труда, хочу посмотреть на людей — это ведь тоже целая жизнь!.. — сказал он. Уж дней десять он передвигался только с помощью своей старушки.

— Ну, чего ты там не видел, на улице? Чего зря ходить? Берег бы лучше свои силенки, лежал бы себе тихонечко.

— Нет, не получается, мать.

— Ох, и беспокойный же ты.

— Ну выведи на улицу, мать, прошу тебя...

— Тогда переодеться надо. Не выйдешь ведь в таком виде на люди.

— Ладно, переодевай...

Опираясь одной рукой на плечи старушки, а другой на палку, старик Шахит с трудом дотащился до желанной травки на улице и опустился на землю. Черная бархатная тюбетейка на его голове была фасонисто сдвинута набок, поверх белоснежной на шнуровке рубахи был накинут черный елен.

— Ух и хорош наш аул!.. Гей!.. Как сад в цвету!.. — восхищенно сказал старик.

— Хорошего в нем мало, — спокойно возразила Залифа таким тоном, как будто разговор вели двое беззаботных людей, которых ничто не волновало. — Забыл, что ли, главная улица стала вдвое короче прежнего. От улиц Кызыл-Яр и Ярсык одно название осталось! А байские дома растут да растут, будто и войны нет никакой!..

— Все равно хорошо. Как-никак белый свет, а что может быть милее его?! Только жить бы да знать ему цену...

— Как же, узнаешь тут...

— Это верно, не узнать... Да, не узнать!.. Гей ты, судьба-судьбинушка!.. Гей ты, жизнь!.. Глядь, ан уж прошла она, а ты-то и не приметил, оказывается!..

Старик Шахит тягуче пропел эти слова и надолго затих, глядя потускневшими глазами куда-то вдаль. Казалось, он обходил мысленным взором весь долгий и по-своему даже счастливый жизненный путь. Старушка пыталась о чем-то говорить, но не могла отвлечь его от дум. Тут подошла к ним бабка Суакай.

— Как поживаете? Тебе уже лучше стало, корзаш?

Ее ясный, ласковый голос вырвал старика Шахита из сетей воспоминаний. Он с живостью, как вполне здоровый человек, отвечал:

— Хорошо. Спасибо. Со вчерашнего дня чувствую себя прямо-таки джигитом. Слава богу. Сама как поживаешь?

— Будто не знаешь, корзаш! — Суакай понуро махнула рукой.— Не узнать нам только одного никак, почто пришли мы в этот грешный мир? Наверно, чтоб познать мытарства. Тогда, четыре года назад, таких, как мы, бедняков голод морил. Ныне война... Когда сыновей у нас отнимут, тогда и вовсе хоть вой. Падай на землю и околевай... Вон кому хорошо живется.

Бабка Суакай бросила гневный взгляд в сторону муллы Ахмадуллы, Кормош-бая и слепого Саныя, степенно выходивших из мечети после обеденного намаза.

— Им все на пользу — и война и голод. Все едино жиреют. Вот думаю я порой, думаю, и приходит в голову, что бедный наш

Байгильде, может, за это их и не любил. Ведь пуще прежнего раздобрели, разбогатели они в голодный год! Скупая у бедняка за кусок хлеба и дом его, и землю! Не могу теперь я спокойно смотреть на этих кровопийц...

Залифа тронула ее за рукав.

— Нельзя же так, Суакбике. Каждому свое счастье отпущено. Что тут поделаешь... Коли такова воля всевышнего...

Бабка Суакай резко вскочила на ноги, сокрушенно всплеснула руками.

— Неужто не видит он сам, как лопатой загребают счастье одни подлые душонки? Мы, корзаш, выходит, грешные, а те святые?.. Как же смолчать, прости ты меня, аллах! Астагфирулла, тауба, тауба[1].. Тьфу, тьфу!..

— Эге, вон какая ты стала, Суакбике, — с горькой улыбкой на высохшем лице отозвался старик Шахит. — Не водились за тобой раньше такие речи, нет...

— Ох и скажешь, корзаш! Кто нес такое раньше, того за человека не считала! Помнишь, как нашему Байгильде житья не давала... Ой и глупая! Верила, что правы богатые, коли счастье само к ним с неба сыплется. Нынче я уж не та. Все надоело: и ненасытные баи, и своя ворожба... Много горя навалилось разом на нас, несчастных... Ой как много! — вздохнула тяжело бабка Суакай и стала прощаться. — Ну да ладно, Шахит корзаш, не поддавайся. Будьте оба здоровы. Я ведь шла в верхние тугаи хмелю набрать. Думаю, мука появится — и хмель сгодится...

---

[1] Астагфирулла, тауба, тауба — заклинание от греха.

Она невесело улыбнулась и засеменила вверх по улице. Старик Шахит смотрел ей вслед.

— Прощай, будь здорова, Суакбике, корзаш! Навек расстаемся... Прости, если что не так, не поминай лихом... — прошептал он. Потом перевел прослезившийся взгляд на свою старушку, с беспокойством наблюдавшую за ним. — Ну, мать, теперь веди домой... пора.

Смочив запекшиеся губы водой, он долго пролежал без движения на урындыке. Затем через силу поднялся, попросил у своей старушки нож, топор и, усевшись у окна, принялся насаживать на грабли новую рукоять. Эту работу он начал еще вчера, но не смог закончить из-за подступившей слабости. Залифа, поражаясь долготерпению своего старика, которому уж и глоток воды не лез в горло, воскликнула с острой горечью:

— Оставь же, не надо ничего, отец! Всю жизнь, всю душу отдал работе! О аллах, кто же на земле успел закончить свои дела?!

— Эх, мать, — усмехнулся старик Шахит. — Не знаешь, из-за нее, только из-за работы я и живу. Без нее я уже давным-давно лежал бы в могиле.

— Верно, что не знаю, откуда мне... Не хватает у меня разумения понять этакое вот терпение... — сказала старая и отвернулась, чтоб скрыть слезы. А он, насадив наконец грабли, прислонил их к приступку печи и лег навзничь. Отлежавшись, снова присел. Ему показалось, что и в самом деле ему сегодня чуть легче, чем вчера.

— Мать, вон то сито подай-ка сюда. Сей-

час оно новым станет. Видишь, по краям прорехи пошли.

Старуха Залифа, привычно ворча, принесла висевшее над очагом сито.

— Когда же отдыхать научишься?! Другой, коли нету сил, просто полежал бы. Что ж так изводишь себя, отец? Сколько дней уж ничего не ел...

Старик, не слушая ее сердобольные причитания, взялся за новое дело. Обливаясь холодным потом, он заново перетянул сито.

— На, старуха, повесь. Не будешь враз много муки набирать, не будешь снизу пальцами давить, когда просеиваешь, надолго хватит...

— Ладно, ладно, поберегу...

Залифа покрутила сито в руках, любуясь работой мужа.

— Как красиво все края заделал!.. О аллах, не руки у тебя, просто крылья, как у ангелов... — Старик не ответил. Пока Залифа, повернувшись к очагу, любовно поглаживая, вешала сито и незаметно утирала слезы, он лег на свое место, вытянулся, сложил руки на груди и закрыл глаза. Когда старушка повернулась к нему, он уже лежал погруженный в покой, с чуть приподнятой правой бровью, как бы озорно улыбаясь: «Ну, старушка, ловко я тебя провел?»

— Что же ты наделал, отец? — без слез запричитала Залифа, суетясь у его изголовья. — О аллах, как же так, даже не успели муллу позвать! Как же теперь быть-то, без ясина? Что же будет-то? — со страхом смотрела она на старика.

Старик Шахит так легко и естественно ушел из жизни, что немало повидавшая на своем веку бабка Залифа и та растерялась: бежать ли куда, плакать ли?.. А по улице, громко распевая под тальянку солдатские песни, проезжали рекруты.

Кабы снег валил клубами,
Кабы мчали сани сами,
Кабы Оренбург сгорел бы,
А солдатик уцелел бы!..

Им вторили провожавшие женщины и девушки:

Чтобы помнили вы, люди,
На горе маяк[1] воздвигнул,
Суждено — так та ж машина
Возвратит меня с чужбины...

Песня стихла вдалеке, и в дом вбежали Шахиморат и Сахиулла. В руках у них были повестки.

— И нам пришел черед!

Шахиморат присел у ног отца.

— Отец, слышишь, на фронт уходим!

Слова сына вырвали из оцепенения старушку-мать.

— Ах... — сказала она виновато, будто приходя в себя со сна. — Сынок, отец-то наш помер!..

— Помер?!

Шахиморат пощупал широкий лоб отца, погладил его руки, окинул удивленным взглядом мать и Сахиуллу.

---

[1] Маяк — сложенный из камней в память о ком-либо холмик на вершине.

— Умер... А я почему-то вернл, что не умрет он... Знал, что он тяжело болен, ио думал, никогда не умрет, ие нмеют права умнрать хорошие люди. Вот безумный...

— Да... — сказал дрогнувшим голосом Сахнулла. — Раз такое случнлось, давай, Шахнморат, пока мы оба здесь, схороним его...

Шахиморат постоял у ног отца н молча вышел вслед за Сахиуллой.

— Стариков известите, — иапомнила Залнфа. — Мулле, мазнну[1] тоже скажите. Пусть придут яназу[2] чнтать.

Смерть старнка Шахнта была такой же светлой, как и вся его жнзнь.

VI

Дом Сарбиямал стоял в ннжнем конце улнцы, там, где она упнралась в Большой Ик. Снаружн дом казался даже большнм, потому что был кокетлнво поставлен блнзко к улнце. Внутри его разделяла надвое дощатая перегородка. Меньшую часть дома с одннм окошком заннмали большая печь и очаг, а в бо́льшей, с пятью окнамн, исполняющей роль гостевого дома, — жнла сама Сарбнямал. Детям не разрешалось входить на большую половнну.

За окном осенняя иочь. Иштуган, Янеш и Емеш давно спят крепким сном в маленькой половине. А за перегородкой, утонув в мягких подушках н перннах, разложенных вдоль все-

[1] Мазин — муэдзин.
[2] Яназа — погребальная молнтва.

го громадного урыидыка, спит Сарбиямал. На улице иадоедливо моросит дождь.

— Шыбыр-шыбыр!.. Тап-топ!.. Сип-сяп!.. Тэс-тос!..

Виимая краем уха заунывной песеике осеннего дождя, Байгильде сидит с краю урыидыка. Бессоиица для иего привычиое дело. В голову лезут иазойливые, тревожиые, как этот осениий дождь, думы. Уже идет вторая военная осеиь. Мужчииы сейчас иа поле браии. Здесь большей частью только те, кто сумел сунуть взятку деиьгами или скотом. Ходят по аулу Хатыбал — сын старшины, Хусиулхак — сыи муллы Габбаса, вор Ахметша — сын Шымбая-Куштана. Но есть и такие, что, не откупаясь, остались дома. Скажем, вот Халим-агай, отец Шауре; ему давно уж должно быть в самом пекле войиы, да помешало увечье. Будучи пареиьком, ои, помогая отцу строить дом, свалился со стрехи, вывернул иогу в колеие, и с тех пор оиа так и осталась короче другой, отсюда и его кличка — Хромой Халим. Он ходит, припадая иа левую ногу и страино вихляясь при каждом шаге всем телом, как человек, махающий косой. Большое крепкое тело ему иикак ие удается при ходьбе держать прямо.

До сей поры Байгильде тоже сидел в белобилетииках. Побои Кормош-бая не прошли даром. По весие и осеии ои желтел, худел, исходил кашлем. Сарбиямал каждый раз упрекала его этой болезиью:

— Чахоточиый! Куда ты годишься! Даже в солдаты не берут!..

Но когда речь заходила о заработках, то тут она, естествеино, скидок на его хворь не

делала. Наоборот, старалась выжать все возможное из выгодной для нее ситуации, имея в доме две пары мужских рук, тогда как многие семьи остались и вовсе без мужиков. Доставалось и девочкам. Мачеха требовала, чтоб даже маленькая Емеш отрабатывала свой кусок хлеба. По этой причине Байгильде зиму проводит на рудниках, чернорабочим, сезонником, возвращается весной, чтоб засеять две-три десятины земли Сарбиямал, и тут же отправляется на лесосплав. По Большому Ику, Яику и Сакмаре вместе с лесом он доходит до самого Оренбурга. В городе работает на лесопильном заводе, потом с наступлением лета возвращается домой, заготавливает сено, убирает, молотит хлеб. Тут подходит осень, и Сарбиямал начинает снова ворчать!

— Чего дома сидеть? Иди на заработки. Твои дети! Ты и добывай им еду на каждый день. У меня не Андреевская казна! Хлеб растил ты на моей земле, что я, одна должна всех вас кормить! За хозяйством присмотреть, дрова подвезти одного Иштугана хватит, слышишь?..

И Байгильде без сожаления, скорее с радостью, уходил на рудники... Ради детей, чтоб не корила, не попрекала их мачеха куском хлеба. Чего только он не перевидел за это время: унижения, оскорбления, но терпел...

Он сидел сейчас у мокрого от дождя окна, а перед глазами вставало пережитое за эти годы. В такую же сырую осень, когда шел первый год после переезда в Ильсегул, он оказался в селе Мраковке, что одним концом примыкает к Ильсегулу и тянется вверх по Большому Ику еще на три-четыре версты.

Сарбиямал привела его к первому богачу Мраковки — жадному староверу Сергею Хитрову.

— Вот, знаком, твой работник! Зимою будет работать на тебя. А с весны до осени буду забирать себе. Если согласен, то за него много не попрошу.

— Ишь, какая умная! Ха-ха!...

— А то как же! Муж он мне. С весны в хозяйстве нужен. Сеять, косить...

Она, вдоволь поторговавшись, запродала его, как скот, и, довольная, рассказывала потом в Ильсегуле:

— Своего Байгильде к старому знакомому отца устроила. А кто возьмет в работники такого, который на крючке, под присмотром жандармов? — и добавляла вполголоса. — Он еще и чахоточный. Сам ни за что не найдет работу!

Старик Хитров был из тех богачей, что готовы за медный грош другому глаза выколоть. У него пятеро сыновей, восемь дочерей. Вместе с сыновьями, зятьями он занимал пол-Мраковки и владел половиной всех мраковских наделов. Кроме Федьки Рябого, перед самой войной выпущенного из кадетского корпуса в Оренбурге, ни один из его сыновей не ушел на войну. Старик знал, как оставить их при себе. Род Хитровых называл себя староверами, а всех остальных людей «погаными», брезгуя ими и ни во что их не ставя. «Поганому» они не предложат чашки чаю, не дадут воды из своего колодца. С людьми не общаются, встретившись на дороге, не ответят на приветствие. Отгородясь от всего мира высокими, плотными заборами, как жуки навоз-

ные, копошатся они в своих душных домах. Потому в работники к ним идут только совсем пропащие люди, вроде Байгильде. И при первой же возможности каждый спешит убежать из этой тюрьмы.

Слепая ноябрьская ночь. На улице сыплет вперемешку дождь со снегом. Байгильде разрешено спать в скотном доме для молодняка. Там, под самой крышей, были подвешены нары, специально для батраков.

Темень, сырость, вонь. Повизгивают ягнята, телята, поросята. Пищат мыши, что-то шуршит и скребется... Едкий воздух режет глаза, раздирает грудь. Байгильде стал задыхаться, по телу забегали мелкие холодные насекомые. Он не выдержал, спустился вниз, зажег спичку. И его всего передернуло от неописуемого отвращения.

Заплесневелые от сырости стены и потолок скотного дома были сплошь усеяны сороконожками, мокрицами и еще какими-то ужасными на вид ночными насекомыми. Зажигая спичку за спичкой, Байгильде озирался по сторонам. Всюду его взгляд упирался в сонмы омерзительно шевелящихся тварей.

От шипения спичек проснулись и замычали телята. Резкий запах испарений, показалось Байгильде, наполнил, пропитал его всего самого. Прокляв все на свете, он бросился вон. Но и во дворе стоял тот же непереносимый смрад. Он исторгался от пристроенных вплотную друг к другу скотных строений, от жижи и месива под ногами, не пересыхающего из-за обилия скота. Тут же у входа в скотный дом сгрудились свободно разгуливавшие по двору коровы, прислушиваясь к

мычанию своих телят и исторгая новое зловоние...

«Что делать?.. Куда бежать?!.. Не будь детишек, дня бы не прожил здесь. Ушел бы куда глаза глядят... Эх, детки, детки... связали вы меня по рукам и ногам...» Задыхаясь, он кинулся к воротам. «Надо на улицу! Хоть раз вдохнуть свежий воздух!..»

Но тяжелые, без единой щели, дубовые ворота под пудовыми замками, высоченные тесовые заборы надежно ограждали двор от внешнего мира. Сюда не только человеку, но и ветру было невозможно проникнуть. Байгильде с тоской поднимал глаза к далекому небу. Не было пути спасения из этой душной западни. А впереди долгая осенняя ночь.

Что ни говори, Байгильде был степной человек, привыкший к простору, к напоенному ароматами земли и трав чистому воздуху, и потому эта ночь была для него особенно ужасной. Правда, и аргамак[1] привыкает к своим путам. Может, со временем пообвык бы и Байгильде, с годами вовсе перестал бы замечать это едкое зловоние, этих тараканов и мокриц? Но он не смог пересилить себя. Едва рассвело и распахнулись ворота, пошел прочь отсюда. Он подался в Тубинские рудники, туда, где работал в молодости забойщиком. Он помнил, что рабочие бараки были не намного чище, но чувство товарищества, ощущение того, что ты не сам по себе, а член рабочей артели, помогало легче переносить невзгоды.

С той осени он начал снова работать на руднике сезонным рабочим. Привязанность к

[1] Аргамак — чистокровный скакун.

семье, к земле мешала ему превратиться в настоящего рабочего, а на один его заработок было нельзя прожить на руднике вместе со своей семьей. Так провел он эти годы: между аулом и шахтой. Шла война. Рабочих стали забирать в солдаты. Трудиться на руднике было все тяжелее. Хозяева заставляли оставшихся рабочих добывать больше руды. Рабочий день с двенадцати часов дошел до семнадцати, а заработки уменьшились. Денег перестало хватать на еду и одежду. Рабочие забастовали, требуя сократить рабочий день, увеличить оплату. Байгильде оказался в первых рядах забастовщиков.

— Богачи, — это паразиты, сосущие нашу кровь. Не передавишь их — не видать нам жизни! — вторил он товарищам.

Рабочих быстро усмирили, пользуясь суровыми законами военного времени... Байгильде был изгнан из шахты. Это случилось нынешней весной. Он вернулся в аул. Прошло лето, и вот теперь опять надо уходить. Кто знает, может, навсегда?.. Байгильде грустно улыбнулся своим мыслям, пощупал нагрудный карман.

«Повестка. И я, оказывается, кому-то нужен! А впрочем, зимаку-зимогору не все ли едино?.. Здесь заживо гнить.. Или там, на войне, убитому быть, и ворон глаза твои выклюет... Только вот детей жаль. Как будут жить без меня. Не прогонит ли их Сарбиямал? Надо бы поговорить с ней. Эх, если б позабыла она про несбыточную мечту разбогатеть, тогда б не гналась за копейкой и с детьми ладила бы... Сама работящая, и дети не чураются работы. Только жадность, жела-

ние стать богатой купчихой не дает ей покоя... Диву даешься, откуда это ей взбрело в голову.

Байгильде легонько потянул с Сарбиямал одеяло.

— Спишь?..

Но сегодня и к Сарбиямал не шел сон. Забравшись под перины, разнежась, как кошка, она поначалу долго ждала Байгильде, пробовала так и сяк привлечь его внимание. Потом начала вздыхать, крутиться с боку на бок.

— Жарко. Дышать нечем... Ложился бы уж... Сидишь, как истукан!.. — сказала наконец недовольно, но Байгильде упорно молчал, и она, рассердившись, сделала вид, что спит.

У нее сегодня тоже было неспокойно на душе. Она впервые задумалась над странным отношением к себе Байгильде.

«Каждый вечер одно и то же... Сядет у окна и ждет, чтоб я уснула. Или ляжет спиной ко мне. Сильно изменился в последние дни... Раньше... Когда женился, был не такой. А теперь? Противно, что ли, ему со мной? Не любит?.. Или пронюхал что насчет Ахметши? Тогда чего молчит, сказал бы, избил бы! А то и не ругает... и не поколотит... и не приласкает... Разве ж такой бывает муж?.. Разве так надо держать женщину, что — как огонь?!. Лучше бил бы до визга да любил бы до крика!.. Тогда б и я, глядишь, забыла своего Ахметшу... Да, да, своей холодностью он сам толкает меня на грех! Ну, хоть бы лег, что ли, приласкал разок!..»

Ее охватило нетерпение. И в ту самую минуту вдруг прозвучал голос Байгильде, в ко-

тором были и тепло, и ласка — забытые ею в последние годы.

— Сарбиямал, милая... Слышишь меня?..

Сарбиямал, будто приходя в себя ото сна, томно проворковала:

— А?.. Чего сказал, отец?..

Байгильде почувствовал, как его обдало теплой волной. Он вспомнил в это мгновение, что когда-то была мила и близка эта строптивая и своенравная женщина, как забывал он порой в ее объятиях обо всех тяготах жизни, как дарила она ему, пусть редкие, минуты отдыха и покоя. И удивился тому, что смог потом отвергнуть ее от себя.

«Не прояви я такое равнодушие к ней, может, и она с моими детьми была бы помягче... Но ведь... Ахметша?.. Да, он. Оттого и душа не лежит. Не могу улыбнуться ей, когда хочу, не могу смотреть на нее, ничего не могу... А может, все сплетни? Мало ли что болтают!.. Сам-то я ни разу не видел. Завтра с утра в дорогу. Сарбиямал и не узнает, что вправду мне нравилась... Чудно... Странно... Надо же такому случиться, чтоб после Сагуры терзалось сердце из-за такой женщины, а? Не поймешь человека...»

Сарбиямал отбросила одеяло.

— Ну, говори же! Что ж ты опять умолк, отец?!

— Хотел прилечь рядом...

— Ах!.. Спрашивает еще... Будто чужой!..

Словно боясь, что опять остынут его чувства к ней, Байгильде торопливо сбросил одежду и оказался под теплым одеялом в горячих объятиях трепещущей Сарбиямал...

Оии провели иочь без сиа, будто это была их первая иочь. Байгильде говорил, что любит ее, просит ждать его с фроита, не выгонять детей. Он просил ее бросить бессмысленную погоию за иаживой.

— Зачем тебе быть иеиасытной байбисе[1]? Будь бедиой, ио с чистым сердцем, открытой душой, и будешь дороже всех на свете для меия...

Ои иадеялся, Сарбиямал поймет сама, что желание зажить богатым домом, иабить его добром — пустая блажь, иапрасиые старания. Сарбиямал соглашалась со всем, что ои говорил. Впервые за их совместиую жизиь в ее глазах были искреииие слезы. Оиа была готова отдать десяток таких, как Ахметша, за одну эту ночь с Байгильде. «Ну, отчего он уезжает? Отчего их первая пылкая иочь... последняя...» — сокрушалась она. Но, к сожалению, это было лишь ее мииутной слабостью, иавеянной длиниой осеиией иочью.

Было ясио как божий деиь, что стоит показаться вору Ахметше, бросить иа нее повелевающий взгляд, и все чары рассеются, как дым.

А иа малой половиие, поперемеиио посапывая, мирио спали дети, ие подозревая, что их отец уходит иа войиу. Только, казалось, тревожнее съежились чериеющие окоииые проемы да громче иачали отстукивать барабаиную дробь дождевые капли.

— Тип-топ! Тас-тос! Тр-р-р!.. Тра-та-та!..

---

[1] Байбисе — богатая жена.

VII

Тимербай, единственный сын бабки Карасэс, был веселым джигитом, острым на язык, как и его мать. Односельчане, особенно молодежь, любили его за то, что он был искусным кураистом, певцом и сэсэном [1]. Они были готовы слушать его часами. Парни гурьбой ходили за Тимербаем, подолгу не возвращаясь с лугов, где он пас табун старшины Собхана. То, что Тимербай завладел умами молодых, очень не нравилось людям — вроде Шымбая-Куштана. И вот такие люди, давно забывшие, что такое совесть, поднаторевшие клеветой затравливать честного человека, чтоб тем возвыситься над ним, начали, готовя расправу, распускать слухи про Тимербая. Дескать, он развращает зеленых юнцов, натравливает их против царя и баев. Не раз ходил Шымбай-Куштан к самому старшине Собхану, донимая его рассказами про козни Тимербая.

— Э-э, турэ [2], зря ты его держишь, Тимербая-то, — будто нарочно растягивая слова, раззадоривал он старшину. — Он, э-э, воистину арестантик, как пить дать!.. Не веришь, выбери ночку — и туда... э-э, на верхние тугаи, где тополь кафыра Хабира. Заляг в кустах, послушай... тогда все сам поймешь... Я, что.. Одно скажу, конченный он, совсем пропащий. Не веришь мне, так сам его послушай...

— А ты слушал?

---

[1] Сэсэн — певец-импровизатор.

[2] Турэ — власть имущий, начальник.

— Уж сколько раз... Я ведь твой слуга. За твоими работничками поглядываю. Чтоб зла на тебя не таили, твое добро берегли. Так вот и служу тебе, бай...

— Ну и чего там услыхал?

— О тебе болтают, турэ... и такое!.. Знаешь, табуны твои к осени ближе к аулу подходят... э-э, говорю же, к тополю кафыра[1] Хабира... вот иди туда ночью и с-слушай... Ночью иди...

— Заладил: иди да иди! Боюсь, что ли, этого тополя?..

— Н-не знаю... Пос-смотрю, турэ, какой ты батыр?

Старшина, конечно, был не прочь сходить и послушать, о чем распинается там один из его пастухов. В душе он даже встрепенулся, как охотничья собака при виде дичи. Такое дело влекло его. Он любил сам учинять расправу. Одно останавливало — напоминание о тополе кафыра Хабира. Ему всегда чудилось, что этот могучий тополь, кричит ему:

— Ты убил человека!.. Безвинно кровь пролил!..

У него до сих пор звучат в ушах последние слова Хабира, стоит перед глазами его жгучий ненавидящий взгляд. Легче было бы, если этот тополь вдруг исчез, а он растет да хорошеет. Уж который год старшина Собхан мечтает срубить его. Но не браться же ему самому за топор. А никто из его работников не хочет поднять руку на это дерево. Считают, что посягнувшего на священное место, кто бы то ни был, ожидает беспощадное осуж-

[1] Кафыр — неверный, гяур.

дение народа. Этот величественный раскидистый тополь с той поры, как был назван тополем Хабира, стал неприкосновенным священным деревом, памятным местом. А теперь ему, самому старшине, придется тащиться именно к этому тополю, чтоб послушать речи Тимербая. Ночью... Одному...

Шли дни, а из головы старшины Собхана не шел разговор с Шымбаем. И вот наконец он решился; дождался ночи и, крепко сжав кулаки, величиной с большой ковш, стиснув до хруста зубы, направился верхом в Верхние туган — навстречу своему очередному злодеянию. В этом отныне был смысл его жизни — на зло громоздить зло, новой подлостью стараться перекрыть старую, чтоб выкинуть из памяти, прошлое, забыть ненавидящий взгляд Хабира.

Посреди просторного тугая, окруженного с одной стороны Большим Иком, с другой — изогнувшимся серпом Мертвым Иком, стоит на его самом возвышенном месте, гордо расправив могучие ветви, в шесть обхватов раскидистый тополь. Тополь Хабира. Кажется, в эту ночь с особым беспокойством шелестят его трепещущие серебряные листочки, словно таинственным шепотом ведут между собой нескончаемый спор о том, быть или не быть ныне беде? Может быть, они хотят поведать Тимербаю и его молодым друзьям, собравшимся у тополя, что к ним неслышно подкрался старшина Собхан и лежит рядом, в двух шагах от них, в густых зарослях, изготовясь, как рысь перед прыжком на жертву?..

Табун рассыпался по всему тугаю. Вокруг, кроме ржания кобыл, топота жеребцов, визга

жеребят, ничего не слышно. Будто смятый, месяц светит тускло, полусонно, едва проглядываясь из бездонной небесной пучины, как брошенный на дно моря белый камень-кругляш. Весело только одному теплому южному ветерку, который шаловливо носится по лугу, лаская легкими крыльями пышную траву в росе и трогая бессонные листья тополя. На горизонте за склоном Девичьей горы, словно припавшая к земле огромная птица, дремлет летняя заря, готовая вот-вот взмахнуть пышным крылом и взлететь к поднебесью. Да, уж близится утро...

А под тополем Хабира, вокруг тлеющего сухого, трухлявого пня, все еще сидят парни, скорее даже мальчишки, завороженно глядя на своего старшего брата Тимербая. Среди них Ахат и Иштуган, который второе лето живет в Ильсегуле. Ему, как и его лучшему дружку Ахату, брату Шауре, двенадцать лет. Они вместе ходят в ночное к Тимербаю, оба любят волшебные встречи у костра. Ни один из сидящих здесь мальчишек не мог даже представить, что их любимцу, Тимербаю-агаю, может грозить беда. А между тем старшина Собхан давно лежит под кустом, хотя и неудобно ему и больно его толстому животу, лежит, горя желанием подслушать, что замышляют против него «завистники-бедняки». Его пригнало сюда не стремление быть справедливым, не желание доискаться до истины. Нет, ему хочется раскусить, получше узнать свою будущую жертву, чтоб точнее нанести удар. К тому же такой случай доставляет ему какое-то звериное наслаждение, а впоследствии у него еще будет возможность поторго-

ваться со своей совестью, если она вдруг пожелает его пожурить.

«Сам же лез на рожон, — скажет тогда он. — Ведь что замышлял? Как хулил он меня!.. Дай такому волю, так он таких речей наговорит, таких дел натворит!..»

Беспечный Тимербай, переводя задумчивый взгляд то на тусклую луну, то на тлеющий огонек костра, то на быстроглазых парней, рассказывал обычные пастушьи истории про волков: как подкрадываются они к жеребятам, как кружат осенними ночами вокруг табуна, надеясь поживиться.

«Ух, пес, неужто почуял меня?.. Или этот сатана Шымбай вздумал посмеяться надо мной?» — злился старшина. Он повернулся на спину — на тугом большом животе долго лежать было тяжело. Для заплывших жиром ребер, привыкших к пуховым перинам, даже мягкая густая трава была, как жесткая доска, а теплая земля — холоднее камня. — «Уйти, что ли? А то ведь лежу на земле, не дай аллах, ненароком дух земли пришибить может...» — Собхана начали одолевать сомнения. А Тимербай все рассказывал про волчьи повадки, про то, как жеребцы-вожаки храбро защищают свой табун.

— Животные и те спасают детенышей, сородичей от волчьей пасти... а люди? Люди их сами бросают в пасть...

«Так, так!.. Давай!.. — возликовал старшина. — Надо ж и мне узнать, что ты за гусь!.. И чтоб решить для себя, охранять ли тебя от зверей или отдать им на съедение?..»

Тимербай тяжело вздохнул, помолчал и задумчиво произнес:

— Когда-то здесь, под этим тополем, наш святой мулла Габбас бросил на съедение волкам единственного брата... Насмерть забили его... А с волков какой спрос? Им бы лишь было кого резать, чем набить брюхо... Волки!.. Сколько крови пролили они...

«Ого, как ловко вывернул, смутьян! Вон ты каков, а? — промычал про себя старшина. — Знаю, что всякое болтает про меня его мать бабка Карасэс. Будто я в награду за голову Хабира звание старшины получил, будто все добро мое нажито потом и кровью несчастных, вроде Идриса... А теперь и сыночек ее туда же... Ладно... Волки так волки. Их клыки и твою шкуру могут изодрать...»

Тимербай начал рассказывать трагическую историю о Хабире, называя его батыром Хабиром, и это сильно резало слух старшины.

«Как смеет он называть этого кафыра батыром?» — возмущался он, ворочаясь, а сухие ветки больно кололи его пухлые бока.

Хотя эта история случилась четверть века назад, она не была забыта и поныне — жила, не умирая в памяти народной, переходя из уст в уста, из сердца в сердце, пробуждая гордую любовь к тем, кто пал за счастье людей, и ненависть к притеснителям и злодеям. Тимербай был тогда несмышленым мальчишкой, да и старшина Собхан не был тогда толстобрюхим баем, только мечтал он о деньгах, о власти, имел тощий вид и голодный взгляд и сам угодливо извивался в ногах у баев и мулл.

Хабир, младший брат муллы Габбаса, учился в одном из оренбургских медресе, где готовили самых фанатичных служителей веры.

Был еще жив их отец, мечтавший о высокой духовной карьере для сыновей.

Хабир был широкоплечий, могучего сложения джигит. Поражал его глубокий твердый взгляд, мужественное, словно точеное, лицо.

Стены затхлого медресе не могли в нем вытравить эти природные качества. Летом, пока гостил в ауле, он успевал на зависть худосочному Собхану и другим незадачливым парням завладеть вниманием красавиц аула. Да и кто не полюбит первого в ауле певца и борца! Однако учеба в медресе захватывала его все сильнее. Ему стало нравиться засиживаться над книгами. Как шахтер в алмазных копях, выискивал он в них крупицы знания и правды. Он пытался понять жизнь, познать мир. Муллы и хальфы — его учителя — любили Хабира за усердие, за ясный ум, прочили большое будущее. Надеялись, что он станет карыем [1], хазретом или даже ишаном [2]. Гордились за свое медресе, в котором раз в кои веки появился такой блестящий шакерт-ученик. А Хабир, стремясь к поставленной цели, вскоре обошел в знаниях своих наставников, но, не желая пробуждать у них зависть, держался почтительно и смиренно. Языки ему давались на удивление легко. В стенах медресе он усвоил арабский и фарси. Наизусть читал коран. Язык корана был ему понятен, как родной, но в нем он, к своему огорчению, не нашел того, что искал. Наоборот, чем глубже он постигал смысл

[1] Карый — знаток корана, читает его по памяти.
[2] Ишан — один из высших духовных сановников.

религиозных канонов, тем больше отдалялся от самой религии и терял веру в нее. Кончилось тем, что в последний год обучения, накануне исполнения заветной мечты любого шакерта стать муллой, Хабир вдруг исчез из медресе. Позже он объявился в Оренбургской духовной семинарии.

— Хабир стал кафыром!.. Отступился от веры!.. Русским продался!..

Эта весть, как гром средь ясного дня, переполошила весь мусульманский мир в крае. Всюду только и говорили о нем. Мечети проклинали его имя. Особое рвение проявил его родной брат мулла Габбас. Собрав в мечети народ, он со стенаниями читал свои вэгэзы-проповеди. Прокляв брата, он совершил обряд беддога — предал его анафеме. Мулла Габбас вместе с Собханом не раз ездил в Оренбург, горя желанием убить брата, но встретить Хабира на улицах не удавалось, а в семинарию его, естественно, не пускали.

А Хабир, ничего не зная об этом, не прислушиваясь к толкам и пересудам вокруг своего имени, постигал новую веру и продолжал тот же поиск, желая найти ответы на волнующие сердце вопросы. Он рос в Ильсегуле по соседству с русской деревней, в медресе тайком продолжал чтение русских книг, поэтому язык он знал хорошо.

Принявший по доброй воле христианство, башкирский парень был с любовью встречен в семинарии. Ему даже была назначена стипендия, но по прошествии нескольких лет, постигнув премудрости новой для себя религии, он понял, что и эта религия служит

богатым и власть имущим, а не простым людям. Преподаваемые в семинарии естественные предметы только утвердили его в этом. А знакомство с историей, философией, литературой пробудило в нем дремавший доселе бунтарский дух. Ему захотелось бежать и отсюда, чтобы поискать правду где-то в другом месте. Но бежать из семинарии оказалось труднее, чем из медресе. Наставники имели зоркий, внимательный глаз.

После окончания семинарии Хабира женили на засидевшейся дочери одного знатного священнослужителя. Он стал попом. Христианская религия своим внешним блеском, торжественным богослужением нравилась Хабиру. Когда он, облаченный в длинную рясу с золотыми позументами, ходил, распевая, по амвону, рассыпая кадилом благовония, то порою чувствовал себя великим артистом. Иногда он, забываясь, отдавался весь своим пылким сердцем церковной службе, сливался с нею воедино. В такие минуты прихожане, завороженные им, не сводили с него глаз, впадали в оцепенение. Его величавая фигура, громовой голос, сотрясающий церковные своды, длинные черные волосы, прямой открытый взгляд жгуче-черных глаз — все это способствовало возникновению в глазах верующих того особого ореола мощи и красоты, которым, по их мнению, мог быть наделен только божий избранник. К тому же женщины стали заглядываться на него и с иным интересом, вне всякой связи с религией. Успехи проповедей Хабира, конечно, не остались без внимания духовенства. В этом странном попе почувствовали силу, которая могла бы привлечь к церк-

ви косо поглядывающую на религию молодежь, и начали готовить его к отправке в духовную академию, чтоб мог он получить более высокий духовный сан.

Игра для Хабира кончилась. Пришел конец его увлечению христианской религией и пышной службой. Он понимал, что после академии пути назад уже не будет, а продолжать обманывать людей, разуверившись сам, он не хотел.

«Бежать, поискать, есть ли еще где другая правда», — решил он и, не мешкая, снова исчез, как в воду канул. Самые тщательные поиски ничего не дали. Наконец церковники пришли к выводу, что он убит мусульманами за вероотступничество. Успокоились и мусульмане, полагая, что сам аллах убил его, направив на него громы небесные, а затем зобани-ангелы тьмы, служители ада подхватили его, подняли высоко в небо и сбросили оттуда вниз, в самое пекло преисподней.

Мулла Габбас откликнулся на это событие длинной проповедью в мечети.

— Мучительная кара аллаха настигает каждого вероотступника, кафыра!..— вопил он перед правоверными.— О аллах, не дай рабам твоим отступиться!

Когда о Хабире забыли, наконец успокоился и мулла Габбас. Он боялся, что тень отступника-брата будет помехой на пути к новому званию — хазрету, с получением которого он становился бы главой всей общины в волости.

«Теперь я спасен,— утешал он себя.— Слава аллаху!» Но его торжество оказалось преждевременным. Прошло всего каких-то

три-четыре года, и один знакомый ходжа[1], возвращающийся домой после паломничества в Мекку и Медину, принес мулле Габбасу новую весть. По пути домой этот ходжа узнал от купцов, что Хабир, сняв рясу, какими-то неведомыми путями пробрался в Турцию и поступил в стамбульский дарелфонун — университет; когда же и туда дошли о нем вести с родины, он, почуяв, что над ним сгущаются тучи, бежал.

— Никто не знает, где он сейчас. Но думаю, он жив,— заключил ходжа.— Ведь Хабир и есть сам Иблис. В коране сказано, что он будет жить до дня страшного суда...

— О, рабби, тауба, тауба!— прошептал заклинание мулла Габбас.— Дозволь мне, аллах, самому расправиться с кафыром, отправить его душу в ад...

В его мозгу с необычайной остротой вспыхнула мысль о разбойниках, объявившихся с недавней поры на дорогах. Он устремил кверху взгляд, пощипывая жидкую козлиную бородку, и вдруг застыл, пораженный неожиданной догадкой: «А не с ними ли этот окаянный дьявол?!» Он похолодел и затрясся, в глазах вспыхнула злоба, цепкие пальцы сами собой сжались в кулак.— «Эх, попадись мне!.. Знал бы, как кончить с этим кафыром!..»

В тот год было много всяких слухов о разбойниках, появившихся на Урале. Впрочем, немало натворили они и дел. В одну ночь сгорели все скирды пшеницы, которые помещик Тимашев оставлял каждый год необмо-

[1] Ходжа — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку и Медину.

лоченными на случай засухи или подорожания хлеба,— только пепел взлетел к небу. Охватило страшным пламенем имение помещика немца Шодта, клещом впившегося в башкирские степи. То и дело грабили обозы купцов и торговцев, разъезжавших между Оренбургом и деревенскими базарами. Разбойники оставляли своим жертвам записки одного и того же содержания: «Месть за то, что грабишь народ. Усбай»[1]. Действия разбойников привлекли внимание и властей. Карательный отряд раз за разом безрезультатно прочесывал окрестные леса, с трудом продираясь сквозь густые чащи. Но насколько были необъятны просторы Южного Урала для смелых разбойников, разъезжавших на быстрых, выносливых башкирских конях с маленькими круглыми копытцами, настолько же они были тесны и труднопроходимы для их преследователей.

Простые люди не боялись мстителей. Преспокойно жил в своем барском доме и Крашенинников, хотя от многих соседних имений осталась лишь зола. В народе ходил слух, будто Усбай — ученый человек — не велел трогать его за любовь к башкирам и за его книги, рассказывающие про их тяжелое житье-бытье. Все это придавало какое-то благородство облику разбойников, о них говорили даже с гордостью, не скрывая радости оттого, что их никак не могут выловить.

Говорили, что летом разбойники обитают где-то в сердце гор, а зимуют в пещерах Моразым и Шульган, которых боятся каратели.

[1] Усбай — мститель.

Ходили слухи, будто эти пещеры имеют ходы и выходы во все концы света, про которые знает только их атаман Усбай... О его красоте и храбрости сочинялись легенды. В них он представал и богатырем, которому Большой Ик перейти — лишь ноги по щиколотку замочить, и святым, который как Хазыр-Ильяс[1], усталому дает коня, а истомившемуся — воду.

Было видно по лихим набегам разбойников, что они мстят баям за добытое неправедными путями добро и стоят на стороне обездоленных. Народ признал их своими защитниками. Иногда приходили вести о том или другом храбреце, которого нужда и притеснения привели на Урал к разбойникам. Но никто не догадывался, что под кличкой Усбая скрывается Хабир. Не знали даже самые близкие в его отряде. Хабир опасался, что его прошлое оттолкнет товарищей и позволит муллам и баям восстановить против него народ. Впрочем, трудно было признать в нынешнем атамане, немногословном, с большой окладистой бородой, длинными волосами и суровым лицом, прежнего жизнерадостного джигита. Однако сам Хабир жил в тревоге. Он постоянно был начеку, боясь быть узнанным. Отряд разрастался, и рано или поздно его тайна могла раскрыться. Появись знакомый односельчанин — и тогда конец его планам и надеждам.

Во многих краях перебыл Хабир за свою жизнь. Но всюду он встречал алчность и жес-

[1] Хызыр-Ильяс — странствующий пророк, помогающий путнику.

токость одних, забитость и нищету других. Порою ему начинало казаться, что такое устройство жизни с неравными возможностями идет от самой немощи человеческого разума. Он впадал в уныние, видя, что нет на земле пути к справедливости. Богатые довольны своим богатством, им больше ничего не надо, думал он, а бедные смирились со своими невзгодами и готовы вечно тянуть свою лямку. Наконец он понял, что изменить ничего нельзя, и удалился в глухие дебри Урала, решив прожить остаток жизни в лесу отшельником. Но и туда доходил стон народа. В лесистых ущельях было немало вышибленных из жизни, озлобленных людей. Хабир, по привычке долго не думая, встал на путь разбоя. Внезапные набеги и грабежи, омрачающие безоблачную жизнь баев и помещиков, опустошения богатых имений тешили ожесточившееся сердце Хабира.

Его спутники восхищались тем, как искусно наперед продумывал ходы атаман, не теряя головы в минуты опасности, как он храбр во время набега. Уважали его ровное обращение со всеми и заботу. Правда, иногда у них вызывали недоумение его замкнутость, нежелание говорить о себе. Ничего, кроме его клички, люди не знали, а расспрашивать боялись. Хабир, видя, как растет его отряд и обретает новый смысл борьба, начатая им из одного чувства мести, как появляются решительные джигиты, начал задумываться над тем, что народ, вопреки его представлению, не пал духом, не желает мириться со своим жалким существованием и только поведи его — поднимется на борьбу за свое счастье. Он стал

мечтать о том, чтобы поднять, как в далекие годы, восстание против баев и царя. Он знал, как это делалось встарь — тогда говорили напрямую с народом, из аула в аул, из рода в род ходили глашатаи, призывая народ к борьбе за свои права. Конечно, Хабир жил прошлым. Он не знал истории классовой борьбы, не знал, что такое его народ сейчас, на новом историческом этапе, не знал, как повести его. Он и не задумывался над этими вопросами, доверяясь своему бунтарскому сердцу. В конце концов Хабир пришел к выводу, что надо раскрыться своему родному брату — мулле Габбасу, заодно обсудить с ним свои планы. «Если брат признает во мне брата, своего Хабира, — думал он, — я смогу жить не таясь. Никто не назовет меня обманщиком. Люди охотнее пойдут за мной. Если же Габбас встанет на мою сторону, будет хорошо, ибо люди привычно верят мулле, слово муллы для них весомее.» И однажды ночью, не сказав никому ни слова, он поехал в Ильсегул. Ему даже не могло прийти в голову, что мулла Габбас жаждет крови и давно лелеет мечту о мести своему единственному брату. «Ну, сначала поругает, посердится, а потом простит. Не поможет, так по крайней мере, не выдаст»,— надеялся он. И точно, мулла Габбас встретил его как нельзя лучше. Поставил перед ним еду, напитки. Делая вид, что ничего не знает, стал приветливо расспрашивать Хабира, как жил тот все эти годы.

— Ну, к добру пусть будет наша встреча, мырза... Рассказывай, где был, что видел... говори же...

Скрестив ноги, мулла Габбас с радушным лицом сидел напротив брата. А тем временем один из его сыновей летел к старшине с запиской: «Кафыр Хабир у меня. Поспеши, если хочешь получить благодарение аллаха и награду от властей».

Собхан, и не мечтавший о такой удаче, тут же явился, прихватив на всякий случай Шымбая-Куштана. Хабир не успел опомниться, как был оглушен сукмаром[1]. На другое утро связанного по рукам и ногам Хабира они подтащили к раскидистому тополю и насмерть забили камнями. А мулла Габбас приговаривал:

— Бейте... Не жалейте его, мусульмане!.. Убить кафыра — праведное дело! Откуп за все свои грехи! Прямая дорога в рай открыта перед тем, кто убьет кафыра. Так сказал пророк... Гей, молодец! Гей, верный мусульманин! — благословлял он каждый удар озверевшей толпы во главе с Собханом и Шымбаем.

Собхан особо усердствовал потому, что даже привязанный к дереву, истекающий кровью, полуживой Хабир, казалось, был сильнее его, оставался непокоренным и грозным.

— Бей, дикарь, бей, я все равно не умру!.. Всюду найду, спать спокойно не будешь!.. Запомни!..— крикнул ему Хабир.

Его большие черные глаза горели ненавистью.

---

[1] Сукмар — плеть с ядром, пулькой на конце, нагайка.

Мулла Габбас не позволил хоронить Хабира на кладбище.

— Кафыру нет места на мусульманском кладбище. На свалке средь мусора заройте!

Жители Ильсегула выполнили его требования. Но с того дня это место перестало быть свалкой. Ни один человек больше не свозил сюда мусор, и потому вскоре все здесь покрылось пышной зеленью.

Мулле Габбасу объявили, что столь исключительным усердием в поимке и убийстве опасного преступника и кафыра он заслужил звание хазрета, но возведение братоубийцы в сан хазрета может уронить авторитет религии.

— Разве мулла в открытую совершает такое дело?— отчитывали его.— Зачем было торчать на виду у народа, когда убивали твоего брата? Зачем кричать повсюду, что сам поймал и выдал брата?

Потому Габбас так и остался простым муллой. А Собхан был отмечен. Его сделали старшиной. И по сей день он бессменно на этом посту...

Вот какую историю вспомнил Тимербай. Не все он знал про Хабира, но в голосе звучало преклонение перед памятью героя, защищавшего народ, и презрение к его убийцам Собхану и мулле Габбасу. В сердцах беспокойных мальчишек Иштугана и Ахата этот рассказ остался навсегда как песня, зовущая к борьбе.

Тимербай помолчал, вместе с ним примолкли и остальные, погрузившись в свои думы. Старшина Собхан, лежа в своем укрытии, трясся от ярости.

«Поглядите-ка на этого недоноска!.. Что он несет, а? И как говорит ведь, а?.. Молокососов на меня натравливает, пес!.. Выскочить бы, придушить! Но я подожду, ну давай же, что еще сболтнешь, смутьян?»

И все же он не усидел. Дрожа от негодования, вскочил с места и заковылял к Озонголу, где оставил на привязи коня. Уже сидя в седле, он еще долго продолжал выкрикивать угрозы:

— Ну, смотри у меня, рвань! Покажу тебе воров!.. Конокрадом сам станешь! Пощады не жди! Гнить тебе в Сибири, паршивец!..

Тишину первым нарушил Иштуган.

— Когда я вырасту, буду бить баев и бояр, как Хабир-агай...

— И я,— встрепенулся Ахат.

— Хабир вот поплатился, поверив родному брату...— как бы рассуждая вслух, сказал Тимербай.— Разве можно доверяться коварным людям?! Пусть такие будут тебе даже родным братом, даже отцом... .

Тимербай заговорил о конокрадах. Полные приключений рассказы о них казались небылицами. Но о чем бы ни шла речь, Тимербай умел преподнести это самым занимательным образом и сделать порой неожиданный вывод. Он вспоминал о ночных поединках, когда ему приходилось схватываться сразу с несколькими бандитами, отбивать от них коней старшины. Меланхоличная луна поднялась выше и, лежа на боку, тоже словно внимала его словам.

— Конечно, одни становятся конокрадами, пока это сходит безнаказанно, из озорства, другие — от жадности. Воруют иногда и по

бедности. Но все же добрые люди за такое дело не берутся. От воровства и до предательства, и до убийства ведь один шаг. А трудно ли сделать его, этот последний шаг?..— Тимербай огляделся по сторонам, прислушался к похрустыванию сухих веток под копытами коней, к их всхрапыванию и опять повел размеренное повествование.— Вот этот табун, вы думаете, весь добыт честным путем?.. Э-эх, ничего вы не знаете...

В иную ночь к табуну невесть откуда сразу прибавляется до десятка чужих коней, только диву даешься!.. Смотришь, вокруг табуна скачут люди в капюшонах, в куляпере[1]. Думаешь, конокрады, гонишься за ними, туда-сюда... Кричишь... А утром сосчитаешь коней — стало больше! Недоумеваешь, всплескиваешь руками... А говорить нельзя. Хочешь жить — прикуси язык... Вот как бывает, друзья, на свете... Трудно найти разницу между баем и вором... Не знаю, как другие, а я...

Внезапно с треском сломалась сухая ветка.

— Кто это?! — Тимербай вскочил. Но больше не раздалось ни звука!.. Слышно было только, как лениво и мерно жуют кони. Тимербай успокоился и снова сел к костру.— Видать, под копыто ветка попала. Если б был чужой, табунный жеребец недовольно заржал бы.

— Тимербай-агай, сыграй на курае или спой,— попросил Ахат. Он хоть и был здесь

---

[1] Куляпере — островерхая меховая шапка, закрывающая шею и уши.

младшим по возрасту, зато больше других любил песни и пляски.

— Спой, спой, агай! — раздались еще голоса.

— Ну ладно, коли так,— с улыбкой сказал Тимербай. Он устроился поудобнее, прислонясь спиной к тополю Хабира.— О многом сегодня поговорили мы, пусть к добру будет. И впрямь, придется песней отвести душу, братишки...

Поплевав на пальцы, он провел ими по кураю, чтоб смочить его. Вдохнул полной грудью, порывисто произнес:

— Песня батыров — «Урал»... — И над Большим Иком, над Озонголом, над тугаями Мертвого Ика понеслась вечно живая, безбрежная песня курая. Все смолкло вокруг. Даже кони, перестав жевать, подняли головы и, казалось, тоже слушали эту волшебную мелодию.

«Наверное, только пастухи умеют так задушевно играть на курае... Может, жизнь на просторе средь лугов делает их певцами, кураистами»,— думал Иштуган, зачарованно глядя на Тимербая. В его взгляде, как и во взглядах других парней,— задумчивость.

Потом Тимербай оставил курай и запел... Мягкий, как шелк, свободный, как весенний ветер, его голос то погружал слушателей в мир беспредельной тоски, то заполнял притихший тугай половодьем буйных пылких страстей, то поднимался ввысь, уводя за собой в бездонную голубую пустоту... Парни не шевелились. А в табуне нашлись новые любители музыки — к огню приблизилось еще несколько коней. Тимербай, видя, что парни

находятся под впечатлением озон-кюя [1], чтобы расшевелить их, запел частушки, тут же сочиняя их на ходу.

Хатыбал бай. Сам баев сын,
Он мерит все на свой аршин.
Любой прочтет на лбу его:
«Продажный бай» — его клеймо.

Слушатели дружно засмеялись, а Тимербай, воодушевляясь, продолжал:

Ахметша имеет право
Воровать — за ним закон.
Конокрад ведь от расправы
Старшиной опять спасен!..

Тимербай верил в силу песни, знал, что если он споет сегодня один, то завтра подхватят те, кому ненавистен старшина. Ему казалось, что этим он хоть как-то мстит злобному хозяину.

Но торжествовал он недолго. Старшина Собхан сдержал свое слово. Тем же летом по его наущению вор Ахметша и Хатыбал увели двух коней из охраняемого Тимербаем табуна, продали их на дальнем базаре, а выручку вернули старшине. Конокрадство приписали Тимербаю, его избили и отвезли в оренбургскую тюрьму. Односельчане не смогли отвести от Тимербая напраслину. Только сложили в память о нем песню:

Алмазом, верно, гранят камни те,
Что в перстень дорогой вправляют.
Джигитов лучших с нами рядом нет,
Их без вины в Сибирь, на смерть ссылают...

[1] Озон-кюй — протяжная, напевная мелодия.

Тихо и пустынно стало возле тополя Хабира. Люди иачали избегать «проклятого» места. Но иногда, в редкие свободиые минуты, приходят сюда два друга — Иштугаи и Ахат. Они молча сидят под тополем, вспоминают отважиых батыров — Хабира и Тимербая, мечтают о том времеии, когда подрастут и станут такими же батырами-джигитами...

VIII

Жеиа Тимербая, Базыян, была очеиь молода. Она впервые столкнулась с горем и с тем, что может существовать в мире беззакоиие и торжествовать иеслыхаииое злодейство. Тяжело переиесла она расправу над Тимербаем. Потеряв счет долгим диям, оиа жила словио впотьмах, бормоча в безутешиом горе только имя мужа. Ведь оиа, сколько помиила себя, столько же любила его. А тут ии с того ни с сего оклеветали, оболгали, не пожалели, бессердечные, ии детей малых, ни мать-старуху, ни жены и жизнь ее молодую! Такое иеправедиое дело, такая ужасающая жестокость!..

Дочери Тимербая Сабира и Самига тоже ходили в слезах, горюя вместе с матерью. Крепилась одна старушка мать Карасэс. Ни словом, ни жестом ие выдала она своих переживаний, никто ие слышал от иее жалоб на судьбу. Не занималась и тщетными уговорами, чтобы успокоить невестку. Только чаще, чем всегда, стала она повторять одиу песенку.

Нам растить-лелеять наших соколят,
С гордою улыбкой в путь их провожать...
Скрой слезу, что радовать нам своих врагов?
Головы поднимем выше облаков...

Карасэс-абей даже не напевала, а скорее просто наговаривала эту песенку. Словно призывала свою невестку оставаться гордой и в горе. Что пользы плакаться? Только врагов тешить да себя изводить! Нет, будто говорила свекровь, пусть лучше душа из меня вон, лишь бы не выдать свою слабость перед лицом недругов!

Таков был жизненный принцип Карасэс-абей, и такой же она хотела видеть свою невестку — гордой и стойкой перед невзгодами.

— Э-э-эх... Слишком молода ты еще, килен. Жить да жить тебе, впереди еще вон сколько! На все насмотришься... Надо уж попривыкнуть,— говорила она.— Э-эх... И чего только не выпадает на долю человеческую... И чего только не переживет он... Кто стерпит — тот победит.

— Легко сказать, а как не плакать,— отвечала невестка, сильнее заливаясь слезами.— Как ты можешь держаться?.. Не понимаю...

Однажды свекровь с невесткой проговорили всю ночь, точнее, говорила одна бабка, вспоминая свое пережитое, перевиданное.

...Ночь. Кругом темень. Пятилинейная лампа, висящая на матице, тускло мерцает над сундуком, на котором сидит Базыян с прильнувшими к ней дочками. Девочки мерно дышат, положа головки на колени матери и грея босые ножки о теплую печь. Их бабушка, закутавшаяся в пуховую шаль, сидит напротив них на краю урындыка. И течет ее речь, грустная, как эта безлунная ночь за окном, и полная надежды и веры в неминуемый рассвет.

— Э-эх, молодость!.. Все может вылететь из памяти, но молодость, она всегда с тобой... Как день вчерашний она!.. В ауле нашем было двое девушек с именем Карасэс. Мою тезку звали Грязнулей Карасэс, а меня — Бойкой Карасэс, назовут же... Сказать по правде, конечно, я ртом ворон не ловила. Как стукнуло мне семнадцать, решили выдать за байского сынка из нашего аула, за Рябого Шафика. Мне самой был мил кузнец Галиулла. Бай обещал богатый калым. Моя мать, покойная, так в него и вцепилась.

— Не пойдешь за этого Шафика — в девках останешься. Ни за кого больше не выдам. Стыда не оберешься, когда засидишься, да поздно будет!

Всю жизнь она, бедная, только глаза зарила на чужое богатство, а тут такой случай! И отец, покойный, да будет он в раю, тоже уговаривал:

— Байбисэ будешь, глупая. Только руки в боки да работничками повелевать! Большим домом и жить-то веселее. Считаться с тобою люди будут, несмышленая!

— Что с того, пускай рябой! Лицо, что ли, миска, чтоб в нем еду подавать? Даже в песне поется про красавицу, сердце которой рябой обворожил! А ты, бестолковая, плюешь на свое счастье,— увещевала меня мать.

А я им одно:

— Делайте, что хотите, а я за Галиуллу пойду! Силой выдадите — потом на дне Большого Ика найдете!..

Эх, молодость! Надо же придумать такое — топиться. А я ведь так и решила тогда. А Шафик тот еще был известен своим рас-

путством. Сам-то сопливый юнец, а успел сгубить не одну девушку. Полагал, что от байского сынка все девки без ума, потому приставал к каждой встречной...

А я его, поганого, видеть не могла! На что его богатство? Ежели человек стоящий, то он богат не скотом, а душой, сердцем своим. Такого и полюбить можно, а таких, как Рябой Шафик...— Карасэс-абей с отвращением передернула плечами и махнула рукой.— Сохрани от таких... А мать, покойная, зная, каков Шафик, все равно так и норовила отдать за него.

— Сама по любви вышла, а потом всю жизнь в бедности мыкалась,— говорила она. А отец мой, покойный, чистый праведник, только чтоб матери потрафить, поддакивал ей. Потом все же сказал:

— Ладно. Говорят же, саму себя раба бьет. Коли не хочешь, неволить не станем. Иди, дочка, за зимогора, да потом на нас за это не гневайся.

И вышла я за своего Галиуллу. Не был он баем, но джигит был хоть куда. И пел, и плясал, и на курае играл... Но больше всего любил он, покойный, петь песню «Харэсэс»[1].

Ну посиди ж, дай заплести твою косу.
Не уходи, дай поглядеть твою красу.
Светловолосая, твой нежный взгляд
Дороже жизни, дороже всех наград...

От его пения, бывало, расчувствуются все, а он сам обязательно, бывало, скажет в конце:

[1] Харэсэс — светловолосая.

— Песня-то, Карасэс, про тебя, про твои светлые волосы поется. Напрасно прозвали тебя Карасэс[1]. Неужто не видели, что будешь светловолосой?

Карасэс-абей опять тихо протянула свое «э-эх, жизнь...», и при этом лицо ее посветлело, морщины разгладились, она словно сразу помолодела на десяток лет. С легкой улыбкой она продолжала:

— Знали бы вы, какой мастер — кузнец это был! Рассказывали, что от дедов по наследству идет у него это искусство. Деды будто еще Салавату-батыру ковали булатные сабли. Не знаю, где тут правда, где выдумка, а вот ножи, топоры, вилы да косы его были одно загляденье. А если коня подковать, другого такого мастера было не сыскать.

Жили мы с ним воркуя, как голубки, и с песней, будто соловушки, да недолго пожили вместе... Точно в сказочной стране: год пролетел, как месяц; месяц — как день, а день — как одно дыхание. Э-эй!.. Что на свете милее, чем жизнь с любимым?.. Чай, по любви вышла сама за моего Тимербая, знаешь...

— Как в песне поется, полюбили друг друга с двенадцати лет...— вздохнула Базыян, густо покраснев.— Глаз друг от друга оторвать не могли... А вот не судьба вместе жизнь прожить, видно...

Базыян смахнула рукой слезу и почтительно посмотрела на свекровь. А свекровь все так же тихо, певуче продолжала повесть о своей жизни, то задумываясь и печалясь, то

[1] Карасэс — черноволосая.

светло улыбаясь воспоминаниям своей молодости, смешной и наивной.

— Были мы с Галиуллой не богаты. А кто, как говорится, разбогател честным трудом? Но в доме был достаток, потому что трудились, не зная лени и усталости. Счастье свое берегли, на чужое не зарились... Двое сыновей росло. Один краше другого... Только не на долгую радость все было, э-эй... В нашей жизни, видать, и счастье дается человеку только затем, чтоб отнять его потом, чтоб оставить на сердце раны... Бывает порой и так: все у людей есть, и скота и земли вдоволь, а вот счастья настоящего им не дано изведать! Мы же... давай скажем, слава богу!.. Поблагодарим судьбу за нашу долю счастливую и не будем хныкать, да, килен?..

Базыян в знак согласия кивнула головой. А старушка чуть помолчала, будто прислушиваясь к ночной тишине.

— Скажу тебе, не случись войны с турками, мы с Галиуллой век бы жили счастливо, да... Не знаешь, что пошлет тебе судьба твоя... На горе наше война пришла и, как всегда, позвала первыми наших джигитов. Ушел с ними и Галиулла... Вот так. Во все времена рядом с русским солдатом шагал наш башкирский джигит. Знал, видно, царь-батюшка силу наших полков...

— А вернулся он, бедный?.. Живой?..

Карасэс-абей была довольна. В невестке стал просыпаться интерес к жизни.

— Нет, килен. Погиб мой Галиулла совсем молодым,— грустно пропела бабка Карасэс.— Осталась я одна, вдовой... А была я такой же молодой, как ты сейчас, килен...

— Нелегко и тебе было...

— А как же...— вполголоса произнесла бабка Карасэс.— Была я, как говорится, в самом соку. Про таких у иас говорили: играет, как кобылица. Может оттого, не успела я выплакать все слезы по Галиулле, а в доме — уже сваты. Одии хочет второй женой взять. Другой, бесноватый, обещает развестись со своей единственной. А свекровь и свекор против того, чтобы отпускать от себя работящую невестку, у которой и добра в достатке. Стали уговаривать они идти к их старшему сыну второй женой.

— Что хотите думайте, ио идти в разлучницы, проливать чужие слезы ие хочу,— сказала я им.— Зачем я буду портить кому-то жизнь?

— Тогда берем тебя к Самигулле,—говорят они.

А Самигулла был их меньшой сын. Совсем мальчишка...

Бабка Карасэс умолкла, а Базыян, заинтересовавшись рассказом, то и дело поглядывала иа нее выжидающе.

— Тут уж мие было все равно,— тихо произнесла бабка Карасэс, возвратившись к действительности из далекого моря воспоминаний.— Лишь бы ие оставаться вдовой, чтоб не судачили злые языки. «За кого ни пойди, такого, как Галиулла, ие встретить»,— думала я. Так вот взяли меия снова в жены-невестки. Было мне в ту пору двадцать четыре, а ему, бедолаге, верно, не больше пятнадцати... Стал он, покойный, отцом моему красавцу Тимербаю, твоим свекром, килеи...

— Да...— вздохнула Базыян почему-то с облегчением.

Карасэс-абей тихонько усмехнулась:

— Стал мне мужем мой деверь Самигулла, а куда ж деваться, коли мулла прочитал никах,— считается, что муж есть. А так: дите и есть дите. Со сверстниками день-деньской играет, купается, рыбачит. Я, несчастная, веду свое большое хозяйство одна. Некогда погоревать, поплакать. Коли живешь, тебе и хлеб нужен, чай, и сахар, и дрова. Сама пшеницу сею, сама же и сено кошу, из лесу дрова везу. Все на меня свалилось одну.

А парням в ауле моя жизнь с Самигуллой была поводом для потехи и шуток. Его замучили насмешками и поучениями. Кое-какие остряки учили всяким глупостям... Говорю же, не жизнь это была, а смех и горе... Бедный мой Самигулла, да будет ему пухом земля... Помню один забавный случай из той поры, клен...

— Рассказывай. Слушаю тебя и вроде легче на душе становится.

— Так вот,— повела дальше бабка Карасэс.— Вернулась я как-то из лесу с дровами, уже темнеть начало, спешу сготовить что-нибудь поесть, кручусь возле казана у очага. В дверях появляется Самигулла, в руках — ивовый прут. Губы надуты, носом шмыгает. Думаю, решил игрушку себе смастерить, пусть тешится дитя, прикинулась, будто не вижу. Наклонилась над очагом. И вдруг этот сосунок, так называемый муж, со всего размаху, со свистом как хлестанет меня этим прутом, аж искры из глаз посыпались! Сама не заметила, как закричала не своим голосом, с

перепугу-то. Гибким прутом да когда на тебе одно тонкое платьице! Уж точно, он мне во всю спину кровавый рубец посадил.

— Взял да ударил?! Злой, знать, был,— всплеснула руками Базыян.— Ни с того, ни с сего, а?

— Откуда!.. — добродушно засмеялась бабка Карасэс.— За всю жизнь больше меня пальцем не тронул. Тогда он дитя ведь был, поддался науськиванию брата своего, который ради смеха подучил: «Муж должен бить жену. А ты, Самигулла, почему не дубасишь? Иди и сейчас же побей. Она ж тебя, конечно, и за мужа не признает! Жены любят тех, кто их бьет».

Ну и поверил ему мой Самигулла. Стеганул. Потом сам же испугался, метнулся на урындык, запрятался в углу под волчий тулуп Галиуллы и заревел. «Не сердись, енге,— говорит он, забыв, что жена я ему, а не сноха.— Я не хотел. Брат велел. Больше не буду!..»

— Что ж мне делать. Хочется и плакать от боли, и смеяться над ним. Да-а, и смех и грех...

Откинув голову назад, Карасэс беззвучно рассмеялась. На лице невестки тоже мелькнула улыбка.

— От первого мужа, Галиуллы, двое детей, от второго — десять, всего двенадцать детей послал мне аллах. Двое первых вскоре приказали долго жить. Один помер от оспы, другой — от простуды. Не было у меня времени сидеть около деточек, держать их, как наседка, под крылышком... Работа, все работа... И за себя, и за мужа. От Самигуллы были все

дочери и только один сыночек, мой Тимербай. А теперь и его отняли у нас враги, не вынесли... О, аллах, где ты бываешь, когда на земле творится зло? Какой был сыночек! В душе — ничего, кроме добра к людям!.. А таким, как старшина, добрые люди — точно соринка в глазу. Э-эй!.. Аллах, каким выродкам доверяешь ты судьбу своих рабов!..

Бабка Карасэс прикусила язык и с тревогой метнула взгляд на сноху. Хотела утешить, а тут, на тебе, подвела снова к Тимербаю! Но Базыян молчала. Взгляд ее был устремлен на дрожащий огонек лампы, а руки легонько поглаживали волосы заснувших на ее коленях девочек. Мыслями она была в далекой Сибири, там, где был Тимербай. «Каково ему там? Ах, отчего не даны человеку крылья?»— думала она. Свекровь, словно отвечая на ее немой вопрос, задумчиво заключила:

— На то и дан человеку разум, чтоб он умел терпеть. Тех, кто сгибается от горя, кто от радости теряет голову, так скрутит, что потом и головы не поднимешь, не разогнешься... Ведь и радость, и горе — не вечны. Кто выдюжит, тот победит...

Базыян задумчиво повторила:

— Да-да... Кто выдюжит, тот победит, говоришь... Крепиться надо ради наших невинных детей...

Бабка Карасэс, вполголоса напевая свою неизменную песню, принялась готовить на урындыке постель, чтобы уложить внучек.

Скрой слезу, что радовать нам своих врагов,
Головы поднимем выше облаков...

IX

В Ильсегуле обычай собираться для веселых игр с песиями и плясками идет из далекой стариины, когда иа землях Яика, Сакмара, Большого Ика, которые заиимают сейчас окрестиые аулы и деревии, кочевали предки живущих здесь ииые людей. Правда, и в эти дии ииые выезжают иа кочевья в прекрасиые долииы Казмаша и Кызылташа. Навериое, оставались и другие места для кочевий ближе к самым горам, где еще ие было аулов, ио кочевая жизиь все равио уж давио коичилась. Давила бедиость и религия. Стаиовилось все меиьше иастоящих певцов и кураистов, все реже собирались люди вместе. Но все же до войиы, когда в мире было поспокойиее, иаходились среди жителей аула смелые иатуры, которые, преиебрегая запретами муллы, забывая иа время про оседлавшую их иужду, отдавали свои дома для веселья и игр. Если появлялся заезжий кураист, то дом забивался до отказа: приходили даже люди старшего возраста. Тогда уж мулла ие осмеливался врываться к иим с криками. А сейчас войиа. Джигиты и мужчииы иа фроите. Девушки, молодые иевестки, в особеииости солдатки, боясь кривотолков, ие показывают вечерами иоса иа улицу. Так что ыиешией зелеиой молодежи и собраться-то иегде, хотя без песен, без веселья ей и жизиь ие жизиь. Остается слоияться скучиыми вечерами по аулу. Но сегодия у Ахата гость — из соседиего аула приехал родствеииик, гармоиист Тухват. Такой случай! Как тут ие повеселиться! Но кто им уступит иа вечер свой дом? На Сарбиямал ие-

чего надеяться. У Ахата самого можно бы собраться, да у них грозный сосед — сам старшина Собхан. Да и жена его Алмабике тоже хороша! Влетела, как разъяренная аждаха, стоило только Тухвату гармонь в руки взять.

— Постыдились бы, щенки, заводить своего шайтана под ухом старшины-олатая! Чтоб тише воды, ниже травы были, слышите?!

«В своем доме ты не хозяин. А больше и собраться-то негде»,— вот что беспокоило Ахата и Иштугана, уже в который раз безуспешно прошагавших сверху вниз всю улицу и потерявших надежду, что им удастся найти дом для игр. Улицы были пусты, только гулко хрустел под ногами снег. Неожиданно навстречу им показалась Салима, жена Хаммата-батыра. Нарядные зеленые ведра, словно пританцовывая, плавно покачивались на коромысле. Лицо ее от мороза разрумянилось, как спелая вишня. Джигиты уступили ей узкую тропку.

— Здравствуй! Как живешь, енге? Хаммат-агай что пишет?..

Салима остановилась, переложила тяжелое гибкое коромысло с ведрами на другое плечо.

— Здравствуйте... От Хаммата письмо уже второй день лежит, нечитанное...— с досадой сказала она и тихо попросила с ожиданием в глазах.— Может, прочитаешь его мне, Иштуган-мырза? То писем не было — душа болела, теперь письмо есть и снова душа болит — прочесть некому... Глаза есть, а слепая...

— Нашла чему печалиться! Прочтем,— Иштуган озорно улыбнулся.— Нам, лихим мо-

лодцам, такое по плечу! Это ие лес рубить, верио, Ахат?!

Ахат, притопывая от холода, бодро откликиулся:

— А как же!

— И вправду, сделай милость, найдешь время, зайди, почитай! — Салима от радости, ие разбирая дороги, поспешила к дому.

— Да чего об этом говорить, еиге! Тоже дело!.. Хочешь, сейчас прочту! — крикиул ей вслед Иштугаи.

— Хочу ли?! Ой, аллах, второй деиь сои ие сои, еда ие еда...

— Тогда мы идем! — ответил ей Иштугаи и весело подмигиул Ахату.— Заодио попросим уступить иам свой дом для игр!

— Ага,— обрадовался Ахат, иачавший сильиее приплясывать от мороза.— Может и получиться. Салима-еиге — самостоятельиая. Надумает, так ие откажет.

Домик Салимы иебольшой, ио опрятиый и теплый. Намерзшиеся иа ветру ребята с удовольствием скииули шапки, распахиули бешметы.

— Проходите, садитесь иа урыидык,— пригласила хозяйка. А сама быстреиько поставила ведра иа скамеечку между печкой и урыидыком, иакрыла их свежевымытой, отскоблеииой дожелта сосиовой доской и достала из-за иагрудиика толстый коиверт.

— Вот оио, мырза! На сердце иошу.

— От Хаммат-агая?..

— А то от кого же!— Салима вся засияла.— Накаиуие присиилось, что идем мы с иим по поляне. Жаркое солице палит. Вокруг

цветы. Знать, на счастье было. Сон в руку. Просыпаюсь, а тут письмо от него!..

В прошлый раз Хаммат писал, что учится у одного солдата русской грамоте. Иштуган хорошо помнит все письма. Поэтому он с интересом стал рассматривать буквы на конверте. Крупные, сильно вдавленные, они торчали вкось и вкривь, как сучья на дереве.

Медлительность Иштугана была непереносима для Салимы. Сдержав волнение, она кротко повторила со вздохом:

— Читай, мырза. Не терпится. От ожидания сердце вот-вот выскочит из груди!..

Хаммат писал по-книжному, как учили в медресе, на языке, скорее близком к татарскому. И по его письму трудно было представить его самого, неунывающего и рассудительного, меткого на красное словцо.

«Благодетельной, законной супруге моей Салиме, свету очей ясных, шлет низкие поклоны и многие приветы пока живой и невредимый ее муж Хаммат...»

С большим напряжением по слогам читал Иштуган на этом чужом ему языке. На полписьма были расписаны такие же низкие поклоны и приветы «добросердечной матери», «драгоценным детям», «любезным братьям, меньшим и старшим», «дорогой родне всей, всем соседям». Далее было несколько строк о себе, состоящих из самых общих фраз: «За последнее время четырежды ходили в бой. По воле господней пока здоров...» Но заключали письмо песни. И только по ним можно было признать настоящего живого Хаммата, с его мыслями, желаниями и беспокойным сердцем.

Эта часть письма начиналась со строк о любви, о разлуке:

Оставил я долины Ика,
Рассветы с журавлиным криком.
Чужое небо в тучах низких,
А я над письмами грущу...

После других куплетов-беитов такого же содержания Хаммат приводил солдатские беиты:

Германцы бьют картечью,
Дым стелется над сечью,
Один без рук, другой без ног,
Кто жив — тот изувечен.

Попадались и очень злые припевки:

Солнце выйдет — так сияет
Жесть на крыше, ай-я-яй!
Доконает нас, дождемся,
Распроклятый Николай!

Салиме понравились те песни, что были в начале письма, а парням — что в конце. Песни про любовь, думали они, написаны просто, чтобы угодить Салиме. Им трудно было представить, что подобные песни всерьез могут волновать такого богатырски сложенного, мужественного человека.

Прочтя несколько раз письмо, Иштуган лег животом вниз на урындыке и, методично слюнявя карандаш, начал писать Хаммату ответ под диктовку Салимы. Письмо содержало, как и полагается, приветы, по меньшей мере, от половины аула, а заканчивалось тоже песнями.

Бросишь ленточку на речку,
Не потонет — поплывет.

Дни проходят, я жду встречи,
Что ж любимый не идет? —

вывел Иштуган первый куплет и с тою же старательностью пошел их выстраивать друг за другом, потея и отирая рукавом крутой лоб.

— Хватит, енге! Письмо уже готово. Испеклось!

— Погоди, мырза! Напиши еще одну песню. Для него сама сочиняла. Припиши, мырза, ладно?

— Ладно уж, енге, давай. Как раз немножко места осталось...

Иштуган послюнявил карандаш, приготовился, но неожиданно для него Салима запела в полный голос, страстно и печально:

Говорят, что в Ике вкусная вода,
Отчего ж в ней горечь чувствую тогда?
Без тебя проходят юные года —
Так бежит по реченьке быстрая волна...

В песне звучала тайная печаль летних вечеров, грусть любящего тоскующего сердца и неудержимый порыв, как у птицы, вырвавшейся на волю. Песня кончилась. Салима смущенно и виновато посмотрела на Иштугана блестящими от слез глазами.

— Вставь в письмо, ладно, мырза?

По правилу, Салима должна была всех, кто в ауле младше Хаммата, называть кайнешом [1], но, наверное, помня, что Иштуган подобно родному брату, чуть что — тут как тут, всегда готов помочь ей, она называла его по-родственному — братом, мырзой. Тем са-

[1] Кайнеш — младший брат мужа; вообще младшие родственники по мужу.

мым она не оставляла места для шутлнвых вольных речей, которые почтн приняты, что лн, в общенин кайнеша с невесткой.

Иштуган вывел на конверте адрес русскимн буквами н решнл, что теперь можно попробовать обратнться со своей просьбой.

— Енге, нельзя лн у тебя вечером устроить нгры? Всем так хочется повеселиться, а собраться негде...

— И гармоннст есть! — вступил в разговор Ахат.— Такой парень, во! За душу берет. Не хочешь, а ноги сами так и тащат тебя в круг!

Такая неожнданная просьба несколько смутила Салнму. «Чем обернется потом? Свекровь, как она посмотрит?.. Оммогульсум будет рада, наврет с трн короба н Хаммату весточку отошлет. Иштуган такой славный, как ему отказать?.. Ахат вон как глазкамн умоляюще моргает, прямо жалко паренька. По лицу внднo, что так и рвется в пляс, бедненький...

— Пробудем недолго, спляшем по кругу и все! — не отступал Иштуган.

— И шуметь совсем не будем, енге,— вторил Ахат.

Наконец Салима отмахнулась от сомнений:

— Ладно. Веселнтесь. И будь что будет!

— А что будет?! Попляшем и больше ничего! — пошутнл обрадованный Иштуган.— Не бойся, енге!

— Ух, как попляшем!— от радости притопнул на месте Ахат.— Енге, всем весело будет!

Приятели, ие чувствуя под ногами земли, выскочили на улицу. Надо было сообщить парням и девушкам радостную весть. Но Иштугаиа иа улице тут же подцепила жена Тимербая. Ей тоже надо было прочитать и написать письмо. Пришлось Ахату одному взять на себя приятный долг: разнести по аулу весть о том, что будет вечер, будут игры.

Иштуган любил читать письма Тимербая, потому что иикто другой не писал таким простым, понятным всем разговорным языком. Его письма создавали иллюзию, будто он сам сидит рядом и разговаривает с тобой с глазу на глаз — так легко читались они. Одно было жаль — письма из Сибири приходили раз в полгода. Сегодняшнее письмо было иаписано накаиуне выхода из тюремной больницы. В конверт был вложен отдельный лист с надписью «Моим милым дочуркам», на котором были нарисованы кошки, а под ними — переписаииое от руки стихотворение Тукая «Мяубике». Иштуган иачал со стихов. Базыян с дочерьми и бабка Карасэс сидели на урындыке, подобрав под себя ноги, и с большим уважением смотрели на Иштугана. Возле Самиги дремал, делая вид, что слушает, ее любимец — большой пятиистый кот. Иштугаи читал иараспев:

К передним лапкам ои припал головкой,
разлегся, чтоб уснуть...
Потом во сие мышей и крыс он ловнт, —
нм правя «высший суд»...

Девочки были в восторге от рисуиков.

Тимербай писал: «Со сломанной иогой я попал в больиицу. Лежать было тоскливо, время будто встало. Но тут, откуда ни возьмись,

появился рядом на нарах паренек из Казани, как и я, сосланный ни за что, по доносу баев. Уж как ему удалось протащить сюда книжку, не знаю, но благодаря ему здесь оказались стихи Тукая. Я читал и перечитывал, пока наизусть все не выучил. В тюремной больнице есть врач, чудесный человек. Николай Иванович. Он давал мне бумагу и карандаш. От нечего делать я начал срисовывать с той книжицы картинки. Стало получаться. Начал я тогда и сам рисовать. Как-то нарисовал самого Николая Ивановича, правда, показать не осмеливался, но он увидел сам, когда я спал, и сказал:

«Тимерка, учили бы тебя сызмальства, вышел бы из тебя художник». Дескать, я научился бы тогда рисовать по-настоящему.

«Талант у тебя, талант!»— приговаривал он.

Что это такое, я не знаю, но похвала врача — дело большое. Он здесь уважаемый человек. Слов на ветер не бросает. Потом он принес мне цветные карандаши. «Рисуй,— сказал он.— Может, толк какой будет».

А на что это мне? Вот разве что скоротать время в больнице. Порой за рисованием не заметишь, как день прошел. Понял я здесь, что рисование не пустяк. У нас в ауле мулла Габбас за такое дело объявил бы безбожником, велел бы камнями закидать...»

— Еще бы...— грустно протянула Базыян.— Обвинить безвинного, убить — для них одна потеха.

— Чего уж там говорить! — тяжело вздохнула Карасэс.— Что ни сделай наши детки, все едино — грех! А у ихних деток все шито-

крыто. Вот эти двое, Хуснулхак и Хатыбал, чего только не вытворяют, бесстыжие! Надсмехаются над солдатками! Худая слава идет за ними по пятам, а вины у них никакой! Два года не доходили письма от жен к своим мужьям-солдатам. Бедные солдатки по простоте душевной в свои конверты вкладывали деньги. Оказалось, что Хуснулхак, когда вез почту через лес, прощупывал, просматривал конверты на солнце, деньги себе забирал, а разорванные письма засовывал в дупло. Как стали люди подозревать неладное, так мулла Габбас быстро отобрал у сынка почту. И на этом все! Тем и отделался. Если бы кто другой воровал, что было бы?!

— То-то, я смотрю, он без дела слоняется,— сказала Базыян с презрением.— Вот он каков, свинья!.. Я ведь тоже отправляла с письмом денежки. То-то мой Тимербай ни разу не обмолвился...

Базыян и раньше терпеть не могла Хуснулхака, вечно слоняющегося по аулу.

— Ух, опять пучеглазый идет! Чего это крючконосому не сидится дома?— ругала она, видя его в окно.— Все на войне! А этот торчит у чужих ворот!

Теперь ее ненависть к нему вспыхнула с новой силой.

— Воровать рублевки, которые слали солдатки на фронт мужьям, отрывая кусок ото рта своих детишек?! Самое последнее дело!— задыхаясь, проговорила она. — Как такое можно простить?!— Ей никак не удавалось остановить свое внимание на письме. Тут и Карасэс присоединилась к ней с тяжелой кручиной:

— Ничего не поделаешь, килен. И старшина, и урядник — все в их руках... На них управы нет. И украдут — не воры. А моего невинного сыночка обозвали вором, ославили и в Сибирь сослали... Где уж тут быть правде?! Эх, аллах, нет доброты и справедливости в твоем мире!.. Эти слова, как побрякушки, выдуманы, видать, затем, чтоб тешить таких, как мы, простачков...

От этих разговоров показалось, что в доме сгустился сумрак. Желая разогнать грустные мысли, Иштуган начал перечитывать то место, где Тимербай мечтал о спокойной счастливой жизни после возвращения домой.

«Кто знает, может, когда-нибудь и мы заживем, как люди... Потерпите еще, придут эти дни... Детей берегите, чтоб увидели они...» — прочел Иштуган и у него самого от проснувшейся в груди надежды сильнее забилось сердце. Он словно обрел крылья.

Но Базыян остудила его пыл:

— Сущее дитя, наш Тимербай... Весь мир идет вверх тормашками, сам гниет на каторге, а ему и дела нет, он, видите ли, верит в лучшую жизнь! Для этого надо быть или дитем неразумным, или блаженным.

Три года тяжелой жизни очень сильно изменили Базыян. Теперь она, как и свекровь, умеет высказаться к месту, постоять за себя, ей по плечу работа и в поле и дома. Она уравновешенная добрая мать и верная жена. Лишь одно отличает ее от Тимербая и его матери — она не приукрашивает свою жизнь несбыточными мечтами, не расцвечивает ее надеждами, не забивает голову ожиданием счастья. Она принимает жизнь такой, как она

есть. Оттого частенько называет Тимербая и свою свекровь «малыми детьми».

— Да, или дитя, или блаженный...— повторила она, вздыхая.— А такому жить всегда тяжелей...

Карасэс задумалась. Ее светлые глаза со вниманием наблюдали за невесткой.

— Нет, килен,— суховато заговорила она.— Не то говоришь. Как жить без надежд? Если ты зовешься человеком, то не можешь не мечтать, не думать о будущем, как бы там ни было тяжело. Бывает, ты хочешь одно — ан выходит другое, ну что ж, бывает... А отнимать у человека веру в лучшее — это жестоко...

— Говорю же, сын весь в тебя,—беззлобно вставила Базыян.

Отказавшись от поданного чая, Иштуган выбежал на улицу. Ему надо было управиться с делами по хозяйству и скорее бежать на игры! Но он опять выбрал окольный путь.

«Завтра, конечно, придется ехать за сеном или за дровами. Уж коли вырвался из дому, заодно навещу-ка Бибеш. Давно не видел»,— подумал он и понесся в верхний конец аула.

Бибеш дома не было. На урындыке восседала грузная бабка Таиба.

— Ах, как кстати ты заявился, сват,— обрадовалась она.— Так ты мне нужен! Вот письмо от твоего свата Закира. Вся извелась, оттого что некому прочитать его,— приговаривала она, вынимая из-под подушки явно зачитанное письмо. Хисбулла, как пить дать, уже раз пять читал его бабке Таибе, и только из-за своего беспокойного характера ей не терпелось послушать его еще. Но Иштуган,

привыкший безропотно исполнять просьбы старших, не стал перечить.

— Мой бедный Хисбулла так тянет слова, словно коран читает, а не письмо. Я ничего не понимаю. А когда читаешь ты, будто сам Закир встает передо мной...

Бабка Таиба была довольна. А у Иштугана письма Закира не вызывали интереса. В них всегда была одна пустая бравада. И в этом письме были те же воинственные куплетики:

Прошли Галицию с боями,
Врага разбили у Карпат.
На рубежах Отчизны славу
Кует российский наш солдат.

Читаешь дальше и опять то же самое:

Удал и храбр солдат российский.
Пусть плачут те, в ком силы нет.

Такого рода песенки были в ходу года два назад, теперь они всем осточертели. Только богачи еще кричат о войне до победного конца и те, кто поет под их дудочку. А Закир продолжал играть в войну с прежним увлечением, как ребенок, нашедший наконец любимую игрушку, и своими письмами вселял тревогу в сердце матери.

— Ай, какой безрассудный! Видно, сломя голову лезет в пекло, под пули и ядра, и все тут!..

Не довольствуясь тем, что писал по ее настоянию Хисбулла, она усадила теперь за письмо Иштугана.

— И еще, сынок, береги себя. И еще, не подставляй голову под вражеские пули. И еще, не будь отчаянным, сынок, не будь опрометчивым,— наставляла она сына.

«Странные этн старые люди... Как же ему воевать и еще беречь себя? Чудио...», — думал про себя Иштуган. Но все же, сколько раз бабка Таиба говорнла свое «н еще», столько раз он вставлял его в пнсьмо. Пнсьмо вышло длнииое-предлннное. Но Бибеш все не приходила. Она хлопотала на заднем дворе за изгородью, возле Мертвого Ика, таская воду н растаплнвая баию. Расстроеиный тем, что не удалось увндеться с сестрой, которой приходилось нелегко под иеусыпным присмотром жестокосердной свекрови, Иштуган вышел на крыльцо, иемиого постоял. Но сестра так н не появнлась. Впередн у иего было еще достаточио хлопот. Уже стемиело. Короткий зимнні деиь прошел, и тусклое солнце залезло спать в свою теплую нору за дальнимн горами.

* * *

Пришло время засветить огонь. Дом Салимы уже был полои гостей. Не было только Иштугана.

— Вндио, мачеха ие отпускает,— сказал Ахат.— Начнем без иего!

Тухват, юный, безусый пареиек, лихо растяиул гармошку.

Германцы бьют картечью,
Дым стелется над сечью, —

звоико запел Ахат, вставляя в старую, знакомую всем мелодию песни новые слова, прочнтанные только что в письме Хаммата.

Летят гранаты, пули —
Лихая круговерть!

Солдаты приуныли —
Гуляет рядом смерть.

К нему присоединились хором остальные парни:

В пыльной буре, в пыльной буре
Оренбурга улицы,
У солдата одна доля —
По окопам мыкаться...

Начались пляски. Друг за дружкой лихо вылетали в круг, никто не заставлял упрашивать. Тут Ахат был недосягаем. Он вертелся волчком, прыгал почти до потолка, плясал и вприсядку, и лежа на боку, и на спине — и чего только не вытворял он легким гибким телом! Длинные полы и рукава бешмета, доставшегося ему от старшего брата, ушедшего на войну, и даже лыко на поясе вместо кушака — не могли помешать его огневой пляске. Только слышались дружные возгласы восхищения. Ахата еще до войны взрослые принимали в свои игры за умение плясать, а теперь, в кругу своих сверстников, ему, конечно, не было равных.

Ахат плясал самозабвенно, видно нацелясь переплясать гармониста. Но и гармонист, даром, что молод, не хотел уступать первенства, хоть запарился и раскраснелся. В присутствующих заговорил азарт. Одни болели за танцора, другие за гармониста. Попеременно шли прибаутки:

Одно зерно, два зерна,
Отец, мне нужна жена.
Она мне на радость будет.
У тебя ж невестка будет!
Гоп-гоп, выходи!..

Рви гармошку, крепче жарь!
Коль «Перовский» [1], ног не жаль!
Ты сыграешь, я спляшу,
Сердце милой иссушу!..
Да-да! Говори!

Вдруг раздался сильный стук в дверь. Разом все стихло. Ахат бросился к двери.

— Иштуган пришел, джигиты!

Но вместо Иштугана на пороге показалась белая чалма, величиной с доброю тыкву. Под чалмой болталась длинная, жиденькая, как осенний ковыль, козлиная бородка. Ахат в ужасе отпрянул назад. За ним пузом вперед ввалился мулла Габбас.

— Ах, мерзавцы! Ах, поганцы! Вот где устроили свой чертов пир!

Все молча попятились от него. Мулла Габбас завизжал громче, чтоб сильнее напугать дрогнувших парней.

— Я покажу вам, вы попляшете у меня, паршивцы! Разворошу ваш чертов змеевник!— И начал засучивать рукава чекменя. В этот момент снова приоткрылась дверь. На сей раз действительно пришел Иштуган.

Он только сейчас вырвался из дома, угодив под горячую руку мачехи.

— Ага, еще один паскудник подоспел!— вскричал мулла.

— А что, олатай?— ответил Иштуган.— Пришли вроде кстати. Давай сядем, в ногах правды нет.

— Не заговаривай зубы, паршивец! Знаю тебя! Если хочешь, чтоб меньше тебе попало, тащи сюда живо прут!

---

[1] «Перовский» — плясовая башкирских конников 1812 года.

— Прутик, да? — почесал Иштуган затылок и покорно согласился. — Можно. Сейчас мы его доставим, мулла-олатай, в самом лучшем виде, — и шмыгнул в темноту.

«Повезло, улизнул» — подумала Салима, прятавшаяся за печкой. Рядом прятались две солдатки, набравшиеся смелости посмотреть на игры. А у Ахата от злости перехватило дыхание: «Вот тебе и друг!.. Вот тебе и товарищ!..»

— Неси живее! — прокричал вслед мулла, перегородив дверь громадным, как казан, пузом, чтоб ни одна душа не выскочила из дома. Иштуган обернулся мигом. В руках у него была веточка, короче локтя.

— Вот тебе, олатай, прутик! — угодливо произнес он. — Смотри, как гнется. Прямо свистит. Задай им жару, чтобы неповадно было, олатай!..

Ахат чуть не заорал на него: «Предатель!» Растерялась и Салима: «Ужель вправду хочет, чтоб попало товарищам?» При неверном свете закоптившейся пятилинейной лампы они не видели самого прута.

Взбешенный мулла швырнул прут в лицо Иштугана.

— Болван! Не мог найти хуже?! Куда он годится?! Тащи настоящий прут!

— А-а, тебе дубина, стало быть, нужна, мулла-олатай, — с тою же угодливостью залепетал Иштуган. — Так бы и говорил. А то прутик да прутик...

— Конечно, дубина нужна! Тащи быстрее! Бегом!

— Бегу, олатай! Такую дубину притащу...

Салима и Ахат, сидя за печью, кипели негодованием. Они начали сомневаться — не сам ли Иштуган и донес мулле про игры?

«Вот это да! Что же, выходит, верные люди все под землю провалились!»

Иштуган пропал надолго. Когда у муллы иссякло всякое терпение, дверь, наконец, широко распахнулась. На пороге стоял Иштуган, держа вывернутую из саней оглоблю. Не входя в дом, он просунул ее вовнутрь. Один конец оглобли уперся в край урындыка, а другой остался на улице. Дверь перестала закрываться. Иштуган услужливо проговорил:

— Вот, олатай, дубина что надо! Давай лупи!

— Ах ты, нечестивец, тварь поганая! Решил поиздеваться надо мной! — Мулла взвизгнул и кинулся на Иштугана, но тот ловко увернулся и исчез.

— Вы что, заснули?! Путь открыт! — донесся его голос.

Только сейчас дошло до джигитов, что Иштуган строил козни, желая выручить их из ловушки, выманив муллу из дома. Довольные его хитростью, они с хохотом проскочили мимо растерявшегося муллы, хватающегося руками за воздух. Остались только дрожащие, спрятавшиеся за печью солдатки и брошенная на урындыке гармонь. Она попала на глаза взбесившемуся мулле.

— Нечестивцы!.. — он схватил гармонь.— Бесова штука, что ты здесь лежишь?

— Бу-Бу! Ту-ту! — ответила гармонь.

Мулла, разъярясь, начал дергать ее. А гармонь, обиженная такой грубостью, продолжала дразнить муллу.

— Бу-бу-бу-у! Ту-ту-ту! Уф-уф-уф!..

Мулла бросил гармоиь иа пол, пнул ногой и прннялся топтать. Салнма не могла снестн такого надругательства. От злости она позабыла о страхе, выскочила из-за печи н кочергой сбила чалму с головы муллы.

— Хватнт беситься, старый хрыч! Коли такой герой, иди воюй с германцами!

— Ведьма проклятая!.. — зашипел струсившнй мулла. — Не махай кочергой...

Ои считал себя божьим помазаиником, которому и слова против иельзя сказать — иначе будет грех. Простой народ, особеиио не вдававшийся в каноны веры, верил ему. И вдруг такое уинзительиое обращенне! Поэтому мулла даже не успел возмутнться выходкой Салнмы; растерялся, позабыл иаслать ей тысячу проклятнй ада. А Салнма огрела его еще раз по спиие кочергой и вытолкала из дома.

— Башку тебе оторвать мало! — кричала она. — В другой раз ие суйся не в свое дело!

— Проклятая! — сдавлеино промычал мулла. — Отдай чалму, бесова кукла!..

Салнма подцепила кочергой чалму и вышвыриула за дверь.

— На! Еще явишься, смотри, сдеру штаны и намотаю иа твою глупую башку вместо чалмы!..

Парни, попрятавшиеся в глубине двора, увндели, как ловко оиа обошлась с муллой, и дружио загоготали.

— Ах, мерзавцы!.. Нечестивцы!.. — разорялся мулла, вновь обретя свою чалму. — Не мусульмане вы, а выродки человеческие! Кафыры!.. Иблисы!..

Ответом был новый хохот. Мулла, безнадежно махнув рукой, поплелся к воротам... Так закончилось первое столкновение муллы Габбаса с подросшей за время войны молодежью аула.

X

С уходом Байгильде на фронт Сарбиямал начисто забыла, что обещала не гнаться за богатством; ее обещания тут же вылетели из головы, рассеялись, как зола по ветру.

«Ему, зимогору, был бы кусок хлеба и ладно, остальное для него — трын-трава, а туда же, берется рассуждать про чужое добро», — морщилась недовольная Сарбиямал, с досадой вспоминая ту последнюю ночь, когда, расчувствовавшись в объятиях мужа, соглашалась с ним во всем. И случилось обратное тому, что хотел Байгильде: в его отсутствие возросло влияние Ахметши, который умел распалять у Сарбиямал страсть к наживе. Теперь она, не желая отставать от баев, стала наравне с ними ездить в Оренбург. Выезжая в ближние аулы, она, чтоб профорсить, сажала кучером Иштугана, но в город, по примеру своего Ахметши, выезжала всегда одна, дабы пасынок не пронюхал про ее барыши.

В связи с войной цены на продукты поднялись. Сарбиямал возила в город масло, мясо, пшеницу. Она обзавелась парой лошадей, двумя-тремя коровами, десятком овец и коз.

Изменилась она сама и внешне. Полная, покачивающаяся при ходьбе из стороны в сторону, она стала походить на откормленную до лоска утку. Подражая купчихе Батыйме-ту-

тай, на которую по-прежнему хотела походить, она при случае копировала и ее речь: кряхтела, говорила неторопливо, назидательно, зычным гортанным голосом.

— Аха, да-да... Мы-то все богатеем понемножку... А что же делать, коли само в руки плывет... Новые баи, да-да... кхе-кхе...

Но до Батыймы-тутай ей было так же далеко, как до неба. Ее неприглядный дом с тусклыми оконцами, на которых всю зиму держалась наледь толщиной с палец, небольшой доход от продажи в базарный день — уж никак не позволяли ей потягаться даже с баями средней руки. Сарбиямал и сама, видно, чувствовала тщетность своих усилий, а свое растущее раздражение срывала на детях.

И сегодня она уже с утра бросалась на детей и, не находя себе места, кружила по дому. Наконец собралась уйти к жене муэдзина Бабисаре-абыстай. Вывалив перед Емеш большую охапку овечьей шерсти, она сказала:

— Чтобы до вечера вычесала, распушила! Завтра отдам валять.

За окном беснуется январский буран. В мрачной холодной комнатке сидит одна Емеш. Янеш возится со скотом, таскает воду. Иштуган отослан в лес за дровами. Его целыми днями не бывает дома. С утра уезжает за дровами, за сеном или за соломой, если же все это им привезено, то Сарбиямал отправляет его в тугаи за тополиными и ивовыми ветками, приговаривая:

— Вывалишь в загон. Чтоб живо привез! Подкинешь козам и овцам — сено сбережется!

И в трескучие морозы, и в проиизывающий до мозга костей жгучий ветер, и в застилающий глаза бураи — всегда где-то ходит с поручеиием Иштугаи. «Ои хоть иа свободе. Не то что я деиь-деиьской под злым взглядом мачехи, — думает Емеш. — Коиечио, мужчииам всегда легче. Захотел — запряг лошадь и поехал в лес или, как отец, взял да и ушел иа войиу...»

Емеш теребила шерсть, сидя в своем углу иа голом урыидыке. Мачеха дием ие стелет сюда ии кошмы, ии паласа. Все это, как велеио ею, убраио иа урыи. Но Емеш привычиа к холоду. Посииели руки и иоги, а ей хоть бы что! Спешит закоичить свою работу до прихода мачехи. Прошло уже миого времеии, ио шерсти ие убавлялось. Все так же возвышалась оиа копиой иад ее головкой. Тоикие пальцы заиыли от усталости. Она встала, чтоб иемиого отогреться, прошла в большую половииу. Но и здесь было сумрачио и холодио. С окиа, выходящего иа улицу, Емеш соскребла заглушкой от самовара сиег, собрала его в комок, бросила в таз. Потом растопила дыхаиием прозрачиую иаледь и в образовавшийся крохотиый глазок стала смотреть иа улицу. Не имея теплой одежды, оиа с осеии сидела безвылазио дома.

Взгляд Емеш остаиовился иа домике Шауре. Малеиький домик под крышу был заиесеи сиегом. Из трубы ие шел дым. Калитка, сбитая из двух-трех жердей, осталась под снегом, и над ией проходит узеиькая тропка. Видать, за всю зиму к иим ии разу ие заезжали иа саиях. И пеших ходит мало. Да и кому там особеиио ходить...

Дома сидит, конечно, одна Шауре с братиком Хасаном. Ее родители и младший брат Ахат, как и Иштуган, днем не бывают дома, а ее старший брат Ахмет с первого дня войны на фронте. У Шауре, подобно Емеш, всего одно платьице, и потому она тоже всю зиму томится дома. Для них обеих зима и бесконечно длинна, и враждебно-угрюма. Но все же Шауре счастливей: есть и мать и отец. Потом она здесь своя, не «пришлая». Живет в родном ауле, среди родни. И не гляди, что они уж такие бедные — вышли они из самого богатого рода, из «чернопузых»...

Емеш перевела взгляд дальше. У старшины Собхана расчищено и выметено от середины улицы до новеньких голубых резных ворот. И до самых ворот идет широкая черная проторенная дорога — значит, здесь беспрестанно ездят и скот ходит. Из обоих домов старшины в глубине просторного двора слева и справа от ворот и всех скотных домов поднимается вверх к белесому небу желтоватый дым.

«Мясо варится... Гостей созвали... Алтынбике-хвастунишка, наверное, растянула рот до ушей, прыгает возле них. Как тогда, летом, играет с фарфоровой куклой... Фу, ребеночек! «Чернопузая»! — подумала Емеш, и ей в голову пришел вопрос: почему старшину Собхана, муллу Габбаса, старика Шымбая называют «чернопузыми»? Из-за того ли, что они богатые, злые или много едят? Но родители Шаурекай тоже из их рода. А вот Карасэсинэй, Хаммат-агай из «войлочно-пузых». Емеш знает, за что их так прозвали. Карасэсабей рассказывала, что когда-то давно на

сход в день выборов старшины один бедный тощий старичок явился, намотав себе под чекмень войлочную кошму. Народ хохочет, спрашивает, зачем он это сделал. А он им отвечает:

— Старшиной всегда выбирают такого, у кого шея, как у быка, а живот с добрый казан. Авось, думаю, и меня выберут, коли у меня есть пузо.

С тех пор род этого старика называют «войлочнопузым».

Емеш помнит, как говорила бабушка Карасэс:

— В былые времена наши отцы и деды давали своим родам другие имена. Были роды Волка, Медведя, Сокола... И роды прежде были сильные, могучие, а теперь что? «Чернопузые», «войлочнопузые»... Нашли чем хвастаться, стыдно произнести, где уж тут быть настоящим родам?!

А вот Емеш была бы рада-радешенька принадлежать к любому роду, даже к войлочнопузым. Но не дано, они же пришлые. Ни аула у них, ни рода, ни матери нету...

Емеш отвела взгляд от улицы. Она замерзла, сжалась в комочек. На душе стало тоскливо.

«Ни матери нет у нас... — повторила она про себя. — Отчего же так рано умерла моя мама? У всех девочек есть мамы. У меня одной нет. Никто не назовет меня деточкой, моей девочкой, никому я не могу сказать мама. Если б хоть раз мне отозвалась моя мама. Если б хоть раз она погладила мою голову, сказала бы: «Что, моя девочка?..» Ах, какая счастливая была бы тогда я! Даже

могла бы умереть ради этого — нисколько не пожалела бы...»

— Ах-ах! Цыганское отродье! Ты чего расселась на моем урындыке, дармоедка! — раздался резкий окрик мачехи. — Как ты посмела зайти сюда!

Емеш очнулась, бросилась к себе в малую половину, села за работу. Но все же не избежала увесистых кулаков разгневанной Сарбиямал.

— Посмотрите-ка на эту распроклятую, как она тут расселась без меня! Я покажу тебе как бездельничать, дармоедка!

Сарбиямал схватила скалку, дотянулась до глубины урындыка и стукнула ею по голове Емеш.

— Смотри, если не кончишь сегодня, я из тебя душу вытрясу!

Затем растопыренными пальцами приподняла многослойный подол платья из красного сатина в сплошных оборках и, сотрясая им воздух, протопала в большую половину. Емеш с лихорадочной быстротой задвигала руками, подушечки пальцев, отмывшиеся было о лед, тут же снова покрылись липкой черной серой. Появилась, уже в который раз, Янеш с коромыслом на худых плечах. Высокие ведра волочились по земле. На дне и по краям ведра, на дырявой подошве ее сапожек, сквозь которые проглядывали голые посиневшие ступни, — всюду пристыл лед. На выбившихся из-под старой шали волосах белел иней, а голые, без варежек, руки были багрово-синими от мороза.

— Ах-ах!.. Ты что так долго шлялась, грязнуля? С горы, небось, все каталась, под-

лая девка! — пронзительно завизжала Сарбиямал и привычным движением опустила сверху тяжелый кулак на Янеш.

Янеш неловко отшатнулась, желая увернуться из-под кулака мачехи, у нее разъехались ноги, и она упала на пол.

— Ах, раскоряка никудышная! Дармоедка!.. — с этим криком Сарбиямал подняла ее, ухватив за волосы, сунула в руки ведра и вышвырнула на улицу, ткнув напоследок.

— Иди снова! Не обернешься мигом, пеняй на себя!

Сарбиямал вроде бы держит свое обещание, данное Байгильде, — не выбрасывает детей на улицу, но с каждым днем растет ее беспричинная ярость к ним.

Янеш с громким плачем поплелась к воротам. Емеш казалось, что она слышит, как шуршит и трется о тонкие голые ноги сестры заледеневшее на ветру насквозь мокрое платье.

«Будь у меня во что обуться, я бы помогла», — с жалостью к сестре думала она, со слезами на глазах продолжая теребить шерсть.

— По льду каталась, душа из нее вон, проклятая!— продолжала ругаться Сарбиямал.— Вот сносит сапоги, босая по снегу пойдет...

Кататься по прозрачному льду на реке, скатываться на лед с высокого берега — кому может не нравиться эта веселая игра девочек? Сарбиямал, конечно, знает, что Янеш не до игры, что в драных подметках не покатаешься. Но ей непременно надо к чему-то привязаться. Вот опять она завизжала пуще прежнего.

— Куда смотришь, цыганское отродье! Не видишь, вода на полу, вытри!

Без окрика Сарбиямал браться за дело нельзя — можешь получить затрещину, поэтому Емеш сидела в ожидании, когда ей прикажут вытереть пол. Из-за налипшего к косякам двери льда она зимой никогда плотно не закрывалась, и оттуда поддувало морозным воздухом. Вода на полу стала быстро пристывать. Емеш, растапливая тонкие льдинки босыми ногами, несколько раз протерла пол досуха. А Сарбиямал, накинув на плечи пышную пуховую шаль, взгромоздилась на большой сундук возле печи, вытянув вперед ноги, обутые в черные новые валеночки, и по заведенному ею обычаю принялась поминать и хаять весь род Емеш, начиная от отцов и дедов. Выходило у нее всегда так, что на свете хуже всех Емеш, Янеш, Иштуган, а лучше всех она сама, Сарбиямал.

— Э-эх, хоть бы пооколевали друг за другом, что ли! Кому они нужны? Сердце кровью обливается при одном взгляде на этих никудышных тварей. Добрые детки уже давно перемерли бы, видя, как мучают других людей...

Один из козлят, носившихся вприпрыжку с печки на урындык и с урындыка на пол, запрыгнул к ней на подол, и ее лицо тут же просияло.

— Ах, черненький шалунишка! Замерз, что ли? Полежи, погрею! — она уложила черного, как смоль, козленка на свои колени и прикрыла уголком шали. Тот закрыл глаза и, жуя жвачку, блаженно затих. — Ах, мой лас-

ковый, золотой!.. — ворковала над ним Сарбиямал.

Завидуя счастью черного козленка, на сундук запрыгнул кучерявый белый барашек. Ему тоже нашлось место на теплом подоле Сарбиямал.

— Беленький, светленький! Ясненький, кудрявенький!..

Сарбиямал с материнской нежностью лелеет и холит свою живность и хочет, чтобы дети в этом следовали ей. Будь то маленький барашек, гусь или даже коза, от которой весь прок — шерсти клок и потому большинство хозяев на нее просто не обращают внимания, — все они у Сарбиямал накормлены и ухожены. Ей в радость смотреть за ними. Про свою скотину и птицу она говорит любовно: «Моя коза», «моя корова»... Даже старого подслеповатого облезлого кота Мраубая она называет не иначе как «мой Мраубай», хотя тот почему-то недолюбливает свою хозяйку. И сейчас стоило Сарбиямал, потревожив спящего кота, начать гладить его большими ладонями, приговаривая «мой Мраубай», как он в ответ, недовольный тем, что его взяли на колени, вытаращил зеленые глаза и, промяукав гортанно:

— Мыр-р-рау! — оттолкнулся от нее лапами и соскочил на пол.

— Проклятый, как ногу процарапал когтями! Чтоб пусто тебе было! — выругалась Сарбиямал и в назидание Емеш стала, уже в который раз, повторять свою любимую притчу про собаку и кошку. — Когда на том свете аллах спрашивает у собаки, как присматривал за нею хозяин, то собака всегда говорит одно:

«Не бил, ласкал, кормил». Хотя хозяин, может, и бил и держал впроголодь. А кошка наговаривает, будто и били и морили голодом ее. Потому-то и ест она, закрыв глаза, чтобы потом доложить всевышнему, что не видела, как кормили. Вот они какие подлые, кошки!

О чем бы ни вела речь Сарбиямал, конец у нее известен. И сейчас она злость к коту перенесла на Емеш.

— А вы чем лучше Мраубая? Волками смотрите за мое доброе отношение к вам, что кормлю, при себе держу вас, дармоедок!..

Сарбиямал снова села на любимого конька. Но, на счастье Емеш, к мачехе подскочил и встал перед ней, как вкопанный, ее самый любимый козленок — с голубой отметиной, с двойными сережками, востроухий, с подрагивающим всегда, как лист тополя, белым хвостиком. Не пожелал отстать от него и другой такой же милый козленок, но с черной отметиной. Они оба до этого спали на урындыке. Сарбиямал поочередно брала их на руки, гладила, кормила с руки хлебом. А первый ее любимчик — с голубой отметиной, который умел приласкаться как никто другой, даже взял из рук хозяйки сахар и захрустел им, покачивая головкой и потряхивая своими сережками. Такие веселые и милые козлятки! Как хочется Емеш тоже ласкать и гладить их! Поиграть бы с ними, попрыгать наперегонки, да нельзя, Сарбиямал не разрешает ей даже смотреть на них.

— Сглазишь! Не смотри на моих козлят! — то и дело покрикивает она.

Случай, после которого Сарбиямал стала верить, что у Емеш дурной глаз, произошел года два назад, когда ей было всего около семи лет. А до того она сколько хотела играла с козлятами, укладывала их спать на своих коленях — они так приятно грели ее. Сейчас же не смей даже взглянуть на них. Подойдет к тебе козленок, потянет за подол, предлагая поиграть, а тебе надо делать вид, что тебя это не касается. Легко ли ей? Емеш, правда, рада тому, что не приходится ласкать глупых ягнят Сарбиямал и ее крикливого теленка с вздутым животом... А вот не полюбоваться веселыми козлятами она не может, ой как трудно не смотреть на них! И этот печальный случай, конечно же, приключился только затем, чтоб добавить Емеш несчастий.

Ярким весенним днем у Сарбиямал появился новый утиный выводок.

— А ну-ка, быстро выройте яму, за домом в саду,— приказала она Янеш и Емеш.— Сделаем для утят озерко! На Большой Ик их не пустишь — коршун забьет.

Девочки копали целый день и вырыли довольно большую круглую яму, глубиной себе до пояса. С переката натаскали в старом дырявом тазу гальку. Сарбиямал ею выложила дно. Сверху набросала красивых белых камешков. Весь другой день Янеш и Емеш таскали воду с речки. И наконец озеро было готово. Селезень в ярких зеленоватых перьях с пушистым хвостом и маленькая невзрачная серая уточка, приплясывая у краешка «озера», начали учить утят плавать. Шли дни. Девочки каждое утро наполняли яму водой. А днем там резвились утята. Емеш должна

была весь день присматривать за ними. Это было нудное и надоедливое занятие. За зиму она уже насиделась, ей бы теперь побегать по лугу, поиграть с подружками. А утятам хоть бы что, не понимая ее страданий, весело плавают, выходят на «бережок», бьют крыльями, отряхивая воду; вытянув вперед похожий на ручку от ложки клюв, гоняются за мухами, щиплют траву; расшалившись, делая вид, что охотятся за жучками и мухами, хватают клювом растрескавшиеся пальцы на ее ногах. Наплававшись, начинают нырять. Над водой торчат только острые хвостики да черные лапки. Потом, усталые, вылезают на берег, чтоб устроить драку из-за корма — крупяной болтанки, смешанной с вареными яйцами и творогом. Поев, они обычно говорят:

— Сип-сип!.. Бип-бип!.. — сообщая о желании поспать.

— Бак-бак! Бак-бак!.. — ласково приговаривает тогда мама-утка, собирая утят под свое крылышко. Селезень становится возле них, искоса поглядывая на небосвод и озираясь по сторонам. А их всех сторожит Емеш. Часто Сарбиямал забывает за весь день принести ей кусок хлеба.

Скоро к уткам прибавилось два новых гусиных семейства. Емеш совсем отчаялась вырваться из своего плена. Задумчиво глядя на снующих у ног утят, гусят и прибегающих сюда же цыплят, она просиживала долгие дни, уходя в свои думы.

Отчего у утят такой некрасивый, неуклюжий клюв? И сами такие прожорливые! Никогда не могут наесться. Чего им ни даешь, все заглатывают не жуя. Цыплята — те по-

началу очень красивенькие. Клювик у них, как шило, глазки веселенькие. Сами, точно желтые бабочки, а лапки, как два красных цветочка. Почему потом из них выходят такие некрасивые курицы? Зачем они растут? Оставались бы маленькими и красивыми! Неужели и все другое, даже вот это дерево, так же растет и умирает? А может, где-то не так?.. Неужто нельзя остановить рост, пока не переросли, не состарились? Выходит, и я буду расти, стариться... потом умру?.. Уй, как страшно! Лучше бы не родиться мне!..

К Емеш, ушедшей с головой в свои раздумья, непонятные и сложные, приковылял гусенок.

— Бип-бип! Бип?! — пропищал он и ухватил ее за лодыжку.

— Иди-ка, — сказала Емеш, тихонечко отпихывая его в сторону.— Я же не говорю, что ты плохой. Ты красивый. У тебя все на месте. Почему ты щиплешься?

— Га-га-га! — рассердилась гусыня.

— Канк! Канк! — трубно прокричал гусак и, с шипением вытянув шею, ущипнул Емеш за ногу. Да вдобавок ударил ее крылом.

Эти крупные длинношеие гуси с хохолком и сине-бурыми крыльями, которых Сарбиямал называет «голландскими», под стать своей хозяйке, очень злые и сварливые. Емеш частенько достается от них. На гусиный переполох в сад прибежала Сарбиямал.

— Ах-ах! Что с моими утятами?! Куда ты смотрела, лопни твои глаза! — завопила она. Емеш испуганно вскочила:

— А что с ними, апай?

— Не видишь, их крутит! Что за напасть, откуда навалилась эта вертячка? Ой-ой, что же мне делать?! — запричитала Сарбиямал.

Растерянная Емеш, не понимая, в чем дело, поочередно переводила взгляд то на мачеху, то на утят. Утята уже давно кружили возле своего «озерка», как-то странно вывернув головки. Она думала, что они просто затеяли новую игру. Видя, как паникует мачеха, она тоже перепугалась. «Вправду ведь, смотрика, что с ними?» Но ответа на ее вопрос уже не понадобилось. Утята под «охи» и «ахи» Сарбиямал, не обращая внимания на ее крики и проклятия, покружились, покружились и друг за другом попадали замертво на землю. Из всего выводка не осталось ни одного.

— Только ты могла сглазить, цыганское отродье! Так смотрела, словно хотела проглотить их, чтоб повылазили твои глаза!.. Теперь знаю, у кого черный глаз, только попробуй погубить еще кого-нибудь! Глаза выколю!

Сарбиямал плакала, кляня и ругая Емеш. А Емеш, словно в чем-то была виновата, застыла перед мачехой, склонив голову и упершись взглядом на свои тонкие грязные ноги. В эту минуту ей было очень жалко и утят, и мачеху...

С того времени Сарбиямал не разрешает ей смотреть на свою скотину, впрочем, и на себя тоже. У нее появился еще один повод, чтоб травить Емеш.

— Не смотри в упор! Не гляди прямо! Что таращишься, лупоглазая!

Только Емеш кончила возиться с полом, как возвратилась посиневшая, окоченевшая

Янеш. Ее взбившиеся волосы, подол платья заледенели.

— Эх, отребье, выродок человеческий! Еле ноги передвигаешь, дармоедка! — встретила ее Сарбиямал, сверля выпученными от злости глазами.

— Оставь у двери, оставь! — горячо прошептала Емеш, боясь, что сестра снова упадет, и сама по одному перетащила ведра на скамеечку. Янеш, всхлипывая от боли в обмороженных руках и ногах, пошла было за сестрой, но Сарбиямал остановила ее:

— Куда?! Иди принеси дров! Печь затопишь! Не видишь, темнеет!

— Я сама принесу, апай! — проговорила Емеш и, не дождавшись ответа Сарбиямал, в одном платье, босая, с непокрытой головой выбежала на улицу. На заднем дворе в летнем загоне лежали наколотые Иштуганом дрова. Хотя ей не внове было пробегать это расстояние каждый день, она поняла, выскочив наружу, что в такой мороз пройтись с охапкой дров будет нелегко. Но у нее была только одна мысль — дать отогреться сестре, пусть даже самую малость. Чтобы принести больше поленьев, она прижала их к себе длинной поперечной палкой, которую ухватила обеими руками. Как назло, тяжелая охапка тянула назад, длинные поленья задевали снег. Путь от загона до дому ей показался бесконечным. Ступни примерзали, чудилось, что при каждом шаге на снегу остается слой кожи. Жгучий ветер, кружа, задирал ситцевое платье, острый январский снег иглами впивался в ее маленькое худое тельце. Но Емеш, не бросив дрова, дошла до порога. Руки ее

были заняты, она не могла потянуть дверь на себя.

— Откройте! — тихо сказала она. На ее голос к дверям метнулась Янеш. Но Сарбиямал отбросила ее.

— Не открывай, путь постоит! Будет знать, как лезть не в свое дело! Когда не просят!

— Откройте! — повторила Емеш. — Окоченела я!

— Хоть окочурься! — прокричала Сарбиямал. — Ишь, какая шустрая! Нашелся добренький защитничек!

Вслед за этим Емеш услышала рыдания и грохот. Что-то плашмя упало на пол, и следом раздался пронзительный крик. Видно, Сарбиямал пинком отбросила Янеш, пытавшуюся помочь сестренке. Но дверь Янеш все же открыла. Емеш вошла молча, стиснув зубы. На улице перед порогом на обледеневшем снегу остался кровавый отпечаток двух маленьких растрескавшихся ступней...

Емеш отнесла дрова к печке, быстренько взобралась на урындык и прикрыла ноги подолом платья. В тепле ноги заныли сильнее, чем на снегу. Емеш захотелось громко заплакать на весь свет, но она только крепче стиснула зубы. Зачем плакать, когда некому пожалеть, некому помочь ей?! Только легкоранимая Янеш, не сдерживаясь, продолжала оплакивать себя и свою сестренку.

У нее от рыданий распухли глаза и лицо. На ненависть, жестокость и проклятия немилосердной жизни она отвечала только солеными слезами. Пали сумерки. Сарбиямал ни битьем, ни руганью не могла утихомирить Янеш, потому сама пошла за коровой, завела

ее в дверь, взяла новенькое ведро из белой жести и начала доить. Корова, высунув длинный язык, принялась, мыча, вылизывать привязанного перед ней теленка. Емеш было интересно видеть, как злая и бодливая корова, которая летом не упускала случая накинуться на нее, стараясь поддеть мордой и отшвырнуть в сторону, теперь столь любовно облизывает своего теленочка. Из-под рук Сарбиямал непрерывно струилось молоко, рождая звонкую веселую мелодию. Молоко росло и пенилось в ведре. Ни одна женщина в ауле не доит так быстро, в таком свойственном ей одной бодром ритме. Когда она просеивает муку, то ее пальцы тоже отбивают веселую дробь. Даже ее переваливающаяся, на вид неуклюжая походка тоже, кажется, повторяет все время один и тот же знакомый веселый мотив. В каждом движении этой бессердечной, но работящей женщины Емеш слышится только свой, характерный той работе, которой она занята, ритм, как бы своя музыка. Порой она своей работой даже завораживает Емеш, пробуждает в девочке желание подражать ей, чтоб у нее тоже все получалось легко, весело, радостно.

Из-за своей беспокойной, интересующейся всем натуры Емеш успела забыть про обмороженные ступни, и ее опять потянуло посмотреть, как доит мачеха, как пляшут молочные струи над ведерком под загадочный, притягательный мотив. Она осторожно приблизилась и, затаив дыхание от страха и любопытства, стала наблюдать из-за печки.

Как хочется и ей подоить так же, чтоб струилось из-под пальцев и пело пенящееся

молоко! Когда же она подрастет?! А впрочем, надо ли ей расти, когда она и сейчас умеет доить точно так же, как мачеха. Прошлым летом она же подоила козу — знает, что такое дойка. С первого же раза у нее получилось не хуже, чем у мачехи... Летним вечером они с Шауре бегали по улице. Было уже поздненько. На улице не осталось никого, кроме коз возле мечети и гусей, белыми облачками лежащих на зеленой улице перед своими воротами, — летом их обычно не загоняют во двор. Шауре схватила за рога козу, забравшуюся на завалинку мечети, и сказала:

— Емеш, подержи. Я хочу подоить. Никогда не пробовала.

— Нельзя. Это не наша коза, — поначалу возражала Емеш, но желание подоить победило страх. Они подоили еще несколько лежащих рядом коз. Емеш старалась, чтобы молоко струилось и билось о землю, рождая такие же ритмичные звуки, что и у мачехи. Было очень интересно. Они сговорились назавтра снова подоить коз — надо же когда-нибудь им научиться доить! Шауре, придя домой, не удержалась и похвасталась тем, что умеет доить, однако мать сильно осерчала.

— Большой грех — лить на землю молоко. Доить чужую козу — двойной грех. Вот будете за это обе гореть в аду!

И больше они не доили. Им не хотелось гореть в аду. Но, если будет надо, подоить козу они смогут!

«Эх, подоить бы корову!..»

— Чего уставилась, цыганское отродье?!

Хочешь сглазить молоко у моей коровы и мои пальцы, злодейка?!

Глаза Емеш встретились со злобным взглядом Сарбиямал, которая выглядывала из-под коровы, и она, сжавшись в комок, опустила глаза, залезла на урындык и села напротив огня. Янеш, выплакав все слезы, растопила печь, и стало тепло и светло.

— Ноги не болят, хылу? — жалостливо прошептала Янеш.

— Нет, болит в груди...

Обе молча глядели на пламя. Сидеть у огня тоже очень нравится Емеш. Поэтому она забыла обидные до слез слова мачехи. Поначалу сырые дрова не разгорались и лежали, тяжело вздыхая, пуская белый пар. Потом и их охватило пламя, они повеселели, затрещали, загудели. Синевато-красное пламя закружилось в печи, и не помещаясь в ней, будто желая слизать Емеш, стало выбрасывать наружу красные язычки. Потом огонь медленно угас, раскаленные угли потускнели, посерели и, наконец, вспыхнув последним ярким пламенем, пробудив, как всегда, в душе Емеш бесконечную жалость, погасли, обратились в золу...

Ну отчего нельзя сделать так, чтобы всегда-всегда горел этот огонь? Сидеть бы, греться перед ним всегда-всегда... Да недолго такая благодать длится. И теплое лето, не успеешь глазом моргнуть, пролетает... А вот зиме и несчастьям Емеш и Янеш нет ни конца, ни края...

Пока Емеш горевала об этом, Янеш перекрыла вьюшку и плотно прикрыла печную дверцу. В их маленькую половину вступила

темнота — вязкая, до боли в глазах, кромешная тьма. Хоть бы разрешила мачеха засветить огонь!..

Янеш отвела корову, заперла на ночь скот, дала сена. Сели за вечерний чай. Сарбиямал, привычно насупив брови, начала поминать Иштугана, ушедшего с утра в лес за дровами.

— Назло мне запропастился. Что ему лошадь?! Не своя — не жалко.

Девочки поспешили уйти с глаз долой.

— Ложитесь. Нечего зря мой керосин жечь! — приказала она, а сама долго сидела за чаем. Громко рыгнув, она пробормотала:

— Бэракалла![1] Спасибо тебе, господи, за еду, что не забываешь нас, — и, приговаривая еще что-то, убрала со скатерти остатки ужина, разостлала перины, одеяла и завалилась спать.

Янеш и Емеш положили на жесткий палас две крохотные подушки, доставшиеся им от матери, и, свернувшись в клубок, укрылись одним на двоих старым лоскутным одеялом, которое тоже было от матери. Из окон и дверей задувал поднявшийся к ночи буран. Очень скоро дома стало холодно и зябко, как в заброшенном сарае. Забиравшийся под крышу и в ставни ветер выл и свистел, навевая уныние и печаль. Старое одеяло не могло сразу отогреть закоченевших девочек и их заледеневшие сердца. Натрудившаяся за день Янеш залезла с головой под одеяло и, согрев себя дыханием, погрузилась в тяжелый сон. В темноте осталась бодрствовать лишь одна Емеш.

---

[1] Бэракалла — слава тебе, аллах!

Каждую ночь ее одолевают всякие страхи. Она лежит, не шевелясь, в их власти и погружается в сон тоже под их гнетом. А утром ее, разбитую ото сна, будит зычный голос Сарбиямал:

— Янеш, вставай, поди за водой! Присмотри за скотиной! Емеш, цыганское отродье, прибери урындык, подмети пол!

По этой причине Емеш никогда не высыпалась вдоволь. Сейчас к ней опять не шел сон, беспокоил брат: «Почему его нет до сих пор? Заблудился? Замерз под снегом? Волки напали?»

От таких дум на душе у нее становится совсем зябко. Ей слышится тревога в непрестанном хлопанье ставен и непонятная тоска в протяжном реве злых холодных ветров за окном. Доски под нею сегодня тоже кажутся жестче, чем всегда, и ветхое одеяло тоньше обычного. Из соседней большой половины, где сладко спит, как кошка, утонув в пуховых перинах, Сарбиямал, доносится размеренное: «Уф!.. Пуф!..» — в котором Емеш тоже улавливает угрозу. Ей кажется, что стоит ей сделать только одно движение, и она очутится в ледяных объятиях зимней стужи с ее жестокими ветрами, снежными буранами и потеряется навсегда. Она крепко зажмуривается, чтобы освободиться от наваждения, перестать думать об этом. Ей вспоминается рассказанная отцом сказка о битве двух небесных батыров. Вслед за сказкой перед глазами возникает отец. Она вспоминала, как когда-то желала его смерти, и содрогнулась вся.

«Как повернулся язык на такое?! О, аллах, лишь бы не исполнилось мое ужасное

пожелание... Только бы вернулся он живой. Если умрет отец, не вернется из леса брат, мачеха ведь выкинет нас... И мы тогда замерзнем на снегу...»

Пронзительный вой бурана усиливал ее тревогу. Желание думать о чем-то веселом не помогало. Она уже совсем извелась.

«Скорее рассвело бы, что ли! Когда же придет рассвет?..»

На горизонте зарделась тусклая заря. Бессонная ночь прошла. Буран утих. Но в их доме пока было темно. Толстый лед на окнах не пропускал первые слабые утренние лучи. Емеш потеряла терпение. Сердце комком подступило к горлу. Она привстала.

«Брата моего все нет и нет. Он же не вернулся!..»

Словно услышав биение ее отчаявшегося сердечка, в тот же миг со страшным скрежетом распахнулись ворота. Визжа и хрустя по снегу, проехали во двор тяжелые сани.

«Брат вернулся!.. Мой брат не умер!..»

Емеш стремглав соскочила на пол, зажгла лампу и широко распахнула входную дверь, чтобы броситься навстречу брату. Но он уже сам вбежал, проскрипев по плотному снегу, с головы до пят весь в инее, лицо до кончиков ушей было того же цвета, что и одежда, — белое. Бешеная радость Емеш сменилась новым страхом.

— Агай! — вскрикнула она. — Агай, у тебя все лицо обморожено!.. Белое-пребелое!..

— Поземка была сильная. Сбился с дороги, потом нашел, — невозмутимо сказал Иштуган.

Отодрав налипший комьями поверх сапог снег, он растер им себе нос, лицо и уши. Скоро проснулась Сарбиямал.

— Ах-ах! Дольше, видно, никак не смог проездить, лодырь! Все норовишь меня без лошади оставить, арестант. Сгубить мою вороную хочешь!

Емеш, зная, что другим концом палки сейчас пройдутся по ней, шмыгнула под одеяло и, успокоенная, тут же уснула.

XI

На другой день Сарбиямал пригласила в гости Бибисару-абыстай. Вместе с матерью пришла и Айхылу. Сарбиямал разрешила Иштугану остаться дома. Тот от неожиданно привалившего счастья ходил сам не свой.

Единственной дочери муэдзина Айхылу с лицом цвета алой розы, веселой и шаловливой, как жеребеночек, только исполнилось семнадцать. Но красотой, умелыми руками она затмевала своих сверстниц и других невест. Ни одна девушка не могла соперничать с ней в вязании пуховых оренбургских шалей. Самые мягкие, пушистые, узорчатые шали в ауле вязала она. Вязание шалей — было украшением ее девической поры. Ее образ в глазах людей был связан именно с этим рукоделием. Идет ли она к подружкам на девичьи посиделки или в поле — всегда прихватит свою работу, надеясь заняться ею в свободную минуту. Над этой ее привычкой любили подшучивать:

«Джигитам снится Айхылу, а ей снятся спицы».

Вздыхающих по ней джигитов становилось больше. Да и невозможно было оторвать взгляд от ее нежного стройного стана, от тонких бровей.

Айхылу[1] — луна на небе,
С ее лика льется свет,
Рядом с ней бледнеют звезды,
Как же нам не побледнеть! —

— пели джигиты. Трудно было не петь о ней, когда само имя ее просилось в песню.

Заглядывался на Айхылу и отпрыск старшины Собхана Хатыбал. Большинство джигитов было на фронте, и потому он мог считать себя, старшинского сынка, первостатейным женихом не только в Ильсегуле, но и во всей Оренбургской губернии. Он воображал, что еще не родилась та девушка, которая могла бы отвергнуть его. У него было тайное желание, не выказывая поначалу серьезных намерений по отношению к Айхылу, поиграть с ней, увлечь, вселить надежду, а потом потянуть со сватовством и, сбив с нее и ее родителей наперед всякую спесь, понаслаждаться страданиями девушки, ее растущим изумлением и недоумением. С этой целью Хатыбал в каждый свой приезд из Ташхарая к отцу на побывку находил повод навестить муэдзина, чтоб подобно метеору промелькнуть перед Айхылу при полном параде — в блестящих штиблетах со скрипом, в черном мундире с медными пуговицами. Конечно, сын старшины нисколько не был увлечен ею. Уже давно привыкший жить, довольствуясь короткими

[1] Айхылу — лунная красавица.

любовными утехами, он смотрел с пренебрежением на настоящую любовь, считая ее уделом деревенских простачков. Но сознавать, что такая-то первая красавица сохнет по нему, давая от ворот поворот другим женихам, ему было бы очень даже лестно. Он тешил себя чувством превосходства над нею и самодовольно предвкушал, как вскоре начнет страдать Айхылу от тайной любви к нему. Правда, при встречах с ней он ограничивался подергиванием бровей да подмигиванием, глубоко убежденный, что этого с лихвой хватит, чтобы довести до радостного исступления и держать в постоянном ожидании дочь какого-то там муэдзина.

Чрезмерная самовлюбленность и самодовольство не позволяли ему увидеть, какое отвращение вспыхивает в глазах Айхылу при одном его появлении. Ей и на самом деле были противны его походка и повадки, его напомаженные лоснящиеся волосы, тонкие усики, свисающие из-под носа, как пиявки, его вылизанный мундирчик. Когда же он начинал дергать бровями или сощуривался, вперяя в нее пустой бессмысленный взгляд, то на ее душу накатывалась волна ненависти и омерзения. Она тогда спешила поскорее спрятаться от него, бежать. А Хатыбалу только того и надо, он при этом похихикивал, весьма польщенный тем, как легко смутил девушку, «пронзил ее сердце огнем».

Муэдзин и Бибисара-абыстай были на вершине счастья и переполнены гордостью: сам Хатыбал проявляет внимание к их дочери. О радость, Айхылу — невестка старшины!.. Скорее бы только сватов слали...

У Айхылу же были совсем другие думы: «Лучше умереть, чем идти за Хатыбала. Ненавижу его, не полюблю его ни за что!.. Вот Иштуган — настоящий джигит.. И ровня...»

Она часто думала об Иштугане. Когда видела его, высокого, худощавого, горбоносого, как его отец, и с такими же чуточку грустными черными глазами будто с поволокой, то ее охватывала какая-то непонятная светлая радость. Она была готова вечно смотреть на него. Если Иштуган идет по улице — Айхылу всегда у окна. Когда же ей не удавалось за весь день хоть раз встретиться с ним на улице, улыбнуться ему, окинуть его шаловливым взглядом, у нее тоскливо становилось на душе. А Иштуган, словно чувствуя это, раз семь на дню проходит мимо ее дома. Вчера они повстречались у реки. Айхылу полоскала белье, а Иштуган привел поить коня. Они впервые оказались наедине, потому оба смутились. А собравшись уходить, Иштуган вдруг засуетился, раскраснелся и сунул ей в руку записку.

— На, прочти... Давно ношу с собой, никак не мог передать.

— Не надо... Мама рассердится, — Айхылу зарделась, но письмо взяла и припрятала под алмизеу [1].

С той минуты Айхылу потеряла голову. Она то веселилась и безудержно смеялась, то грустила и на ее глаза наворачивались слезы, то, закутавшись в шаль, надолго погружалась в глубокое раздумье. Мать диви-

[1] Алмизеу — нагрудное украшение овальной формы.

лась дочери: то ничего не слышит, то отвечает невпопад, и милое личико Айхылу то бледнеет, то краснеет. Лежащая под алмизеу у сердца маленькая бумажка отняла у нее покой. И никак не может остаться одна, чтоб узнать, что там: обеспокоенная Бибисара-абыстай ни на шаг не отходила от дочери.

— Или заболела, доченька? Что с тобою, ты такая невеселая? Может, от холодной воды? Зря я тебя с бельем на речку посылала...

Настал вечер. Удастся ли ей хоть сейчас прочесть письмо? Мать взяла кумган [1], вышла во двор. Отец еще не вернулся с вечернего намаза из мечети. Сейчас она одна в доме, в аш-ойе [2]. Взяв в руки письмо, она подсела к очагу.

Отец выучил ее читать на тот случай, если она выйдет замуж за муллу — тогда она, как и ее мать, могла бы зваться «абыстай» и обучать грамоте девочек. Айхылу сейчас бесконечно рада этому. Кто бы прочитал тогда ей письмо Иштугана?!

— Ай-ай-хы-лу... лю-лю-блю... те-бя... рад ка-каждой в-в-стре-че... — читала она по слогам, раскрасневшись от напряжения.

Дочитав нелегко давшееся письмо, она прижала его к груди и долго сидела, покачиваясь в такт зазвучавшей в сердце таинственной мелодии. Она не заметила, как вошел отец. А тот, увидев бумажку в руках дочери, сразу заподозрил неладное.

— Что за бумажка, дочка?

---

[1] Кумган — кувшин с длинным узким горлышком.
[2] Аш-ой — дом, служащий столовой, обычно у семьи среднего достатка.

— А это так...— растерялась она, не успев припрятать письмо.

Ничего не подозревавший отец схватил письмо, пробежал по нему глазами и побагровел.

— Дунгыз [1]! — проговорил он обычное для духовенства ругательство и швырнул письмо в печь.

Оно вспыхнуло ярким пламенем и погасло, превратившись в черный пепел.

— Ой, что ты наделал, атай!.. — помимо воли воскликнула Айхылу.

— Увижу еще письмо, знай, голову оторву, дунгыз!

Торопливо вбежала, гремя кумганом, Бибисара-абыстай и, узнав, что произошло, накинулась на мужа:

— Твердила я тебе, зачем девчонке грамота! Не учи, говорила! Зачем ей читать и писать! Не послушался меня. А что ж теперь ей не переписываться с джигитами?! Вот на свою голову и накликал! Что, по-твоему, муллы зря говорят, что нельзя девочек учить грамоте, а?!

— Было бы хоть от человека письмо... А то от голодранца, безземельного! Тьфу! — досадовал муэдзин, чуть не выкрикнув: «Қабы от Хатыбала — другое дело!»

— Я накажу Сарбиямал, пусть всыплет она босяку, — кипятилась Бибисара-абыстай.. — Пусть укажет его место! А то разошелся, сопляк!

Айхылу молчала. Родители, видя в ее спокойствии какую-то угрозу чести семьи, долго

[1] Дунгыз — свинья.

не могли успокоиться. Только вдоволь накричавшись и наохавшись, они, уставшие, удалились в новый дом, обсудить без горячки из ряда вон выходящее событие, оставив Айхылу в темноте, с заплаканным лицом сидящую возле догоревшей печи.

На другой же день ее мать Бибисара-абыстай позвала Сарбиямал и держала с нею долгий совет. Айхылу показалось странным, что Сарбиямал, уходя, пригласила назавтра их обеих с матерью в гости. Чувствуя тут какой-то подвох, она пыталась отговориться:

— Неприлично мне вместе со старшими по гостям ходить. Люди смеяться будут... — Но ее в то же время и манила надежда увидеть Иштугана.

* * *

— Ах, пожалуйста, милости просим, проходите, проходите в тур! — радушно причитая, встретила их Сарбиямал. — Проходите же! Хылу, снимай одежду! — При этом она даже похлопала по спине Айхылу. — До чего ты славная и сладкая! Прямо хоть клади на язычок и глотай!..

— Спасибо, Сарбиямал, не беспокойся уж. — Бибисара-абыстай, потирая замерзшие руки, воссела на пышно взбитые пуховые подушки.

— Как я рада вам! Хорошо, что уважили мою просьбу, не заставили долго упрашивать, сразу пришли, — весело хлопотала Сарбиямал.

В честь дорогих гостей, как сказала Сарбиямал, был оставлен дома даже Иштуган.

Он охотно помогал ей. Нарубил дров для дома и для бани. Пробил в Мертвом Ике прорубь, чтоб не ходить Янеш далеко за водой. Сама Сарбиямал крутилась у очага, жаря бэрэмэсы[1], баурсаки[2], раскатывая тесто к бишбармаку. А Бибисара-абыстай от нечего делать подсела к Емеш, которая вязала шерстяные носки для мачехи, и начала обстоятельнейшим образом рассказывать ей свои бесконечные, пугающие душу ребенка истории про рай и ад, про ожидающие грешников страшные наказания на том свете. Она считала, что первая обязанность абыстай — жены священнослужителя — и даже святой долг — говорить с каждой девочкой о вере и читать наставления. Сегодня слушать ее некому, кроме Емеш. А ее собственная дочь, чтоб не слышать приевшиеся россказни, ушла в большую половину дома и села возле окна с вязанием. Пока подоспела еда, прошло изрядное время. Бибисара-абыстай с необычным наслаждением расписывала изощренные мучения и пытки, которым будет подвергнут даже за ничтожные грехи человек на том свете. У Емеш останавливалось дыхание, темнело перед глазами. Она с тоскою думала о том, что и на том свете не видать ей лучшей доли, но слушала с широко раскрытыми глазами.

— И настанет Судный день. Все мертвецы оживут и выстроятся у моста Сират[3]. Кто

---

[1] Бэрэмэс — пирожки с начинкой.
[2] Баурсак — катышки из теста, жаренные в масле.
[3] Сират — буквально: очередь.

постился в уразу, приносил в жертву скот — тот сядет верхом на свой скот и проскачет вихрем по мосту Сират, что тоньше волоска и острее сабли, прямо в рай. А кто не жертвовал, у того пятки посекутся о саблю, и полетит он кувырком вниз прямо в жерло кипящего ада...

— Выходит, рай открыт только для баев, абыстай-инэй? — взволнованно воскликнула Емеш.

— Вовсе нет! Вот уж глупости! — рассердилась абыстай. — Кто тебе сказал?

А на глаза девочки уже стали наворачиваться слезы. Она с отчаяньем сказала:

— Если нету у человека овец? Если работает он с утра до ночи и некогда ему читать намаз? А если еще и читать он не умеет? Вот я же не умею читать. Может, выучилась бы, никто ведь не учит! Почему аллах не сотворил всех людей богатыми, а, абыстай-инэй?

У Бибисары-абыстай перекосило лицо.

— Замолчи, бесстыдница... Скажи «астагафирулла», проси прощения, безбожница. Кто обсуждает его творения? Это же грех! Думать — знай — дело шайтана! Тебя, дитя малое, с ноготок, сам шайтан натравливает задавать такие коварные вопросы, тауба, тауба, тауба!..

Емеш склонила свою «грешную» голову и смолкла. Ей стало страшно. Она ж никогда не перестает думать. Да еще к тому же ее думы всегда касаются деяний аллаха. Что делать ей? Отчего аллах не сотворил человека, который не умел бы мыслить?.. Таким, как птицы... звери... А вдруг и они думают?!

Подоспела баня. «Открывать» ее всегда поручается гостю. Сарбиямал и Бибисара-абыстай пошли первыми.

— Пускай поговорят,— подмигнула Бибисара-абыстай подружке. — Я сказала дочке, что скоро от Хатыбала сваты прибудут, что мы склоняемся дать свое родительское благословение.

— Айхылу от радости в пляс, наверное, пустилась, а?

— Она скромная, трудно понять. Надеемся, что и она рада.

— А как же!

— Сейчас она расскажет обо всем Иштугану. Пусть джигит сам поразмыслит, каково ему тягаться с Хатыбалом! Верно?..

— Ага. Так ему и надо. Это остудит его пыл. А то как ушел Байгильде, хозяином в моем доме заделался. Осмеливается мечтать о женитьбе, бездельник!..

Две подружки парились, обсуждая судьбы молодых. Янеш без устали таскала им воду. Емеш, Иштуган и Айхылу были в доме.

Айхылу сидела, прислонившись спиной к беленой стене. Казалось, ее фигура выточена самым искусным мастером. Сочные, как спелая вишня, губы плотно сжаты. Глаза смотрят куда-то вдаль. Прямой взгляд изобличает сильную волю. За движениями ее тонких длинных пальцев невозможно уследить. Под нежный звон отполированных до блеска стальных спиц, которые словно спешат угнаться за ее беспокойными мыслями, тает и убывает, подергиваясь, подрагивая, лежащий возле нее клубок, а шаль все растет, ее узоры вырисовываются все четче.

Емеш и Иштуган сидят напротив и с восторгом смотрят на прекрасное лицо Айхылу, на волшебные ее руки, рождающие красоту, и льющееся из-под них пушистое кружево. Временами Айхылу тоже забывается, перестает вязать. Ее глаза встречаются с грустным, ожидающим взглядом Иштугана. И кажется, что это тоже длится долго-долго... Лицо Айхылу вспыхивает, она, смущенно улыбаясь, отводит свой взор, и пальцы ее снова продолжают свой быстрый бег. Когда она улыбается, на щеках и на подбородке возникают маленькие ямочки. От фарфорово-белых зубов падает на лицо жемчужный отсвет. И верится, что с этой улыбкой в мрачный, неуютный, похожий на усыпанный осенними листьями лес дом Сарбиямал, пропитавщийся напряженной предгрозовой тишиной, которая разражается только бранью его хозяйки, сегодня сошел один из ясноликих небожителей, о которых рассказывала Бибисара-абыстай, и от его нежных крыльев, сотворенных из лучей, веет в доме теплом и отрадой.

«Э-эх, было бы в нашем доме всегда только так приятно...» — мечтательно вздыхает Емеш.

Айхылу мягко погладила по спинке Емеш, лукаво взглянула на Иштугана, спросила:

— Очень уж ты упорно рассматриваешь мои спицы. Вязать хочешь, бикэс[1]? Могу научить...

«Бикэс!.. Ведь так говорят только енге!.. Неужели Айхылу-апай будет моей енге?!..

---

[1] Бикэс — золовка, младшая сестра мужа.

О боже, не сон ли это? Эх, была бы у меня и вправду такая красивая енге!»

От сильного волнения у Емеш перехватило дыхание:

— Да, хочу... очень...

Айхылу снова улыбнулась ей так ласково, с такой любовью, что у Емеш даже заныло сердце.

— Ну, тогда принеси быстренько клубочек шерсти и спицы. Когда учишься вязать, годятся обычные спицы и шерсть.

Емеш мысленно добавила про себя к ее словам «бикэс» и, как козленок, вприпрыжку побежала на половину мачехи.

Айхылу и Иштуган остались вдвоем. Ошалев от неожиданного счастья, они молчали. Алым цветом пробилось на их щеках волнение сердец, затуманился от счастья взгляд. О, как много надо успеть им сказать друг другу. Иштуган чуть коснулся руки Айхылу, продолжавшей вязать с тем же усердием.

— Айхылу, прочла?.. Письмо...

В ее глазах появились слезы...

— Меня за Хатыбала хотят отдать...

— Сватов прислали?!

— Не знаю. Мама говорит, будто были. Сам он все время торчит у нас, таращится... Боюсь я его, Иштуган! Укради меня! Увези хоть на край света, слышишь!.. Бежим!..

Иштуган горько усмехнулся:

— Пешком?!

Айхылу порывисто схватила его за локоть, обратив к нему умоляющий взгляд.

— Найди коня!.. Джигиту ль не найти коня?! Иштуган, ведь наше счастье на волоске!..

Емеш иелегко было отыскать в суидуке среди свертков и узелков тоикие чулочиые спицы и моток шерсти, иелегко было ей и отважиться взять без спросу. Оиа то клала иазад спицы и клубочек шерсти, то снова брала их в руки. Но желаиие иаучиться вязать шаль все же превозмогло. Оиа по-взрослому махиула рукой:

— Э-э, побьет так побьет! — и выбежала иа другую половину. — Вот, енге!.. Ой, апай!..

Иштугаи, пораженный иеожидаиной вестью, иичего ие мог ответить Айхылу и потому с облегчеиием вздохнул при появлеиии Емеш.

«Подумать иадо, без спешки, посоветоваться, может, какой выход иайдется...— вертелось у иего в голове. И даже мелькиула отчаяииая мысль: — А иет, так и себя и ее убью!..»

Айхылу, стараясь казаться перед Емеш по-прежиему веселой, улыбнулась ей и погрозила пальцем:

— Ай-я-яй, баловиица! Чуть ие оговорилась ведь, да? Хотела назвать меия «еиге»?

— Пусть сбудется... — сказал Иштуган и, смутясь от своих же слов, покрасиел. Емеш от радости и какого-то стыда завертела в руках клубок.

— Ну ладио...— вздохиула Айхылу, с укором поглядела иа Иштугаиа и обратилась к Емеш. — Давай, бикэс, садись, поучу.

На ее подрагивающих, как крылья бабочки, густых ресиицах застыли крохотиые, светлые, как утреняя роса иа цветке, слезы. На лице же Иштугаиа, стоящего возле иее у края урыидыка, была озабочениость. Айхылу почувствовала стесиение от изумлеиио глядя-

щей на нее во все глаза Емеш, смахнула слезу батистовым платочком, красиво вышитым по уголкам шелком. И опять ее лицо осветилось улыбкой.

— Ну-ка, бикэс, давай сюда клубок. Садись ближе, вот так... Говорят, ты уже вяжешь. Другие в твои годы еще и спиц не умеют держать... Сейчас я тебе покажу, как вяжут боковины шали, ее узоры, язычки-листочки по краям, а середину вязать ты уже умеешь.

От таких непривычно теплых, ободряющих слов повеселел вместе с Емеш и Иштуган. Из нагрудного кармана казакина он тоже вытащил расшитый шелком платочек и приложил его ко лбу. Видно, ему стало жарко.

«Конечно, этот красивый платочек моему агаю подарила Айхылу-апай...» — обрадовалась за брата Емеш. Она знала, что девушки дарят своим избранникам вышитые ими платочки или кисеты, а те в ответ — кольца, откованные из монет, зеркальце, духи или душистое мыло. Вдруг она забеспокоилась: «Бедный братик, что он-то подарит ей? Мыло и розовое масло купить ведь у него денег нет... Умел бы он хоть, как другие, сам кольца ковать...»

Но Айхылу не дала ей поразмышлять на эту тему. Ласково обняв Емеш за худенькие плечи, усадила ее ближе к себе и стала внимательно показывать, как начинают первые петельки, в какую сторону они растут, куда надо их прибавлять, куда уменьшать. Емеш схватывала на лету все ее объяснения. Она уже имела опыт, поэтому понять, как вяжут шаль, оказалось нетрудно, и, только Айхылу

показала все приемы, как она сама, взяв в руки спицы, тут же уверенной рукой пошла вязать дальше.

Сарбиямал, увидев, что Емеш учится полезному делу, из которого может выйти прок, не рассердилась за взятые без спросу спицы и шерсть, напротив — она тут же решила про себя: «Научится, себе на кусок хлеба начнет зарабатывать». А вслух сказала:

— Учись, польза будет!

Радости Емеш в тот день не было конца. Она будет вязать шали!.. Такие же красивые, как Айхылу-апай. Ее, Емеш, перестанут попрекать дармоедкой!

Этот счастливый день промелькнул, как один миг. Будто осеннее солнце, которое показывается на миг и тут же скрывается в облаках. Гости начали собираться домой. Напоследок снова вместе сели за чай. По заранее продуманному плану Бибисара-абыстай с умильным лицом заговорила про то, как они рады, что Айхылу скоро будет пристроена.

— Каждый день шлют сватов, подружка. Извелись мы с ними. Просят и просят Айхылу. Прямо сладу нету, каждый день идут и идут!.. Говорят, будто Хатыбал с ума сходит.

— Такой почет! Сам старшина хочет породниться! — воскликнула Сарбиямал, выказывая неподдельное удивление. Она играла заранее условленную роль. — Счастливая Айхылу! Ведь Хатыбал жених хоть куда!

— И не говори! Приглянулась наша маленькая девчушка такому видному джигиту! Говорят сваты, без нее он жить не может, умрет, коли не отдадут Айхылу... Вот как...

— Поглядите-ка, пожалуйста! Своему избраннику аллах дает на земле то, что другой надеется получить только на небе! Вот чудо-то! Счастье само привалило к вам!

— Да, Сарбиямал, только тем и заняты, что сидим дома да встречаем сватов. Подумали-подумали и решили мы вручить свою судьбу аллаху и согласиться...

— А как же иначе!

— И нашему отцу и мне жених нравится. Надеемся, с божьей помощью, и доченька наша будет им довольна.

Бибисара-абыстай гордо выпячивала свою и без того высокую грудь, но не забывала поглядывать на дочь и Иштугана, а Сарбиямал деловито поддакивала.

— Как же, ка-ак... Чтоб такой завидный жених да не понравился... Добро ведь под ногами не валяется, одних коней у него целый табун! А сам Хатыбал и родовитый, и наружности завидной, и ученый! — тараторила Сарбиямал, распаляясь. — Первый джигит в волости! Он, говорят, и бисырем[1] может стать, вот как! Кто же отвернется от своего счастья?!

— Да будет так! Аминь. Чтоб всегда у тебя во рту мед да масло были, Сарбиямал. Спасибо за добрые слова, — поблагодарила абыстай подружку и, бросив суровый взгляд в сторону Иштугана, изрекла: — Хатыбал говорит, кто посмеет встать между мною и Айхылу, тому будет смерть от моей руки!..

— Да неужто правда, страх какой! — сделала испуганное лицо Сарбиямал. — С него

[1] Бисырь — писарь.

может статься такое. Лихой джигит. Говорят, у него и левольвер есть.

— А что?! Может статься. Ну есть — и ладно. Неповадно будет всякой шушере возле нашей дочки ошиваться!

— Да разве кто осмелится, абыстай? Разве может какой джигит потягаться с Хатыбалом? Кто захочет людей смешить?!

У Емеш, слушавшей разговоры взрослых стоя, прислонясь к печи, дрогнуло сердце: «Почему за Хатыбала? Она ведь любит моего брата!.. И он... Айхылу-апай даже назвала меня бикэс!» Она с недоумением и с обидой смотрела то на Айхылу, то на брата, но те оба сидели, низко опустив головы, пряча глаза под опущенными ресницами. Невозможно было понять, как подействовали на них эти речи, о чем они думают в эту минуту. Нет, нет! Все равно видать. У Айхылу на длинных ресницах дрожат, словно не решаясь упасть, слезы. И Иштуган побледнел, и както четче стали выделяться пробивающиеся усы. Его пальцы, поддерживающие блюдце, заметно подрагивают. А Бибисара-абыстай и Сарбиямал надтреснутыми, нудными и бездушными голосами опять повели разговор о том, сколько у Хатыбала табунов, сколько отар овец, коров, сколько калыма заплатит он, какие подарки поднесет родителям невесты. Последнее тоже было известно: отцу невесты обещан волчий тулуп, а Бибисаре-абыстай — лисья шуба.

«Хотя бы одно слово вставил Иштуган-агай! Сказал бы: «Я люблю Айхылу, и все тут». Айхылу-апай тоже молчит. Тахир и Зухра такими не были... До последнего вздоха не

смирялись. И Кузыйкурпэс с Маянхылу так же... А может, только в сказках люди бывают смелыми?» — с огорчением размышляла Емеш. Но вопреки ее ожиданиям ничего не произошло.

После чая Бибисара-абыстай увела дочку домой. Сарбиямал и Иштуган пошли проводить их до ворот. Емеш прильнула к окну и смотрела вслед гостям, пока они, миновав переулок старшины Собхана, не затерялись в снежном буране. Когда Сарбиямал показалась снова в дверях, Емеш уже сидела в своем углу урындыка, склонясь над вязаньем. Иштугана с нею не было. Он пошел к Ахату и до полуночи бродил с ним по улице в буран. Оба окоченели, но так и не пришли к единому мнению. Иштуган говорил, что пойдет на все, но не уступит Хатыбалу Айхылу.

— Пойми, Ахат, не хочу я без нее жить на свете! Был бы конь, увез бы Айхылу! Эх, коня бы мне!

— Глупость это — терять голову из-за девчонок,— говорил ему рассудительный Ахат.— Я бы ни за что так не кипятился. Ну что в них, в девчонках? Было бы из-за чего убиваться!..

— Посмотрим, когда сам влюбишься...

— Нашел себе кого! Дочку муэдзина! Не отдаст ни за что Бибисара-абыстай.

— Ну это еще посмотрим... Может, Айхылу отца уговорит?..

— Нечего тут смотреть. Бибисара-абыстай готовит ее для бая или для муллы. А муж, что ли, поперек нее пойдет?

На это Иштугану возразить было нечего. Известно всем, что у Козы Муэдзина нет сво-

его мнения. Женившись, будучи сам бедным шакертом, на богатой невесте, на этой самой Бибисаре-абыстай, он с первого же дня потерял все: и свой голос, и свое мнение. Даже азан[1] пять раз на дню он кричит с минарета не своим голосом, а голосом козла, зажатого в воротах. Потерял он и свое имя, став для всех Козой Муэдзином. Это шутливое прозвище заменило на всю жизнь ему свое собственное имя. Так что же было от него ожидать!

— Тебе надо поскорее выбросить ее из головы и забыть, — задумчиво произнес Ахат.

— А я не хочу без нее жить,— повторил Иштуган,— не хочу...

Так ничего и не придумав, они разошлись по домам.

XII

Хатыбал, сын старшины Собхана, учился поначалу в медресе муллы Габбаса, а потом — в русско-башкирском училище в Ташхарае. Просиживая по лености и бестолковости в каждом классе по два года, он не заметил, как прошло детство, отрочество, как пришла и прошла юность — то время, когда тебя еще считают джигитом. Его сверстники уже успели обзавестись семьями, ведут свое хозяйство. А он все так же продолжает бегать за каждой юбкой, привязываясь к юным девушкам, завидуя счастью молодых парней, и бесцельно слоняется по улицам, не давая проходу солдаткам.

[1] Азан — призыв к молитве.

— Успеется. Невесты не убегут,— говорит он родителям, настаивающим на женитьбе.

Как оказалось, Бибисара-абыстай хвастала впустую. Сваты от Хатыбала не шли. А сам он продолжал травить душу Бибисары-абыстай, околачиваясь все время поблизости. Айхылу с Иштуганом, видя, что ничего не происходит, тоже успокоились. Юность богата надеждами — они опять начали верить, что когда-нибудь будут вместе. Прошел еще один тяжелый военный год. И за этот отрезок времени все вокруг неузнаваемо переменилось: и жизнь и люди. Буквально на каждом шагу, во всем чувствовалось жестокое дыхание войны, идущей далеко на западе. Она принесла стране тяжелые лишения. Народ бедствовал. С фронтовыми письмами, песнями, баитами каждый день в аул врывался запах пороха, дыма и крови. Горе, как прожорливая безжалостная птица, махая черным крылом, садилось на крышу то одного, то другого дома. Семьи получали короткие весточки: «тяжело ранен», «попал в плен», «погиб», «пал за отечество». И навеки безутешное, неизбывное горе охватывало сердца. Люди становились молчаливее и ожесточеннее. Все чаще было слышно, как поносят войну и проклинают тех, кто ее затеял. А приходящие из города новые слова: «буржуй», «забастовка», «революция»— усиливали эти настроения и будоражили жизнь в ауле. Каждый чего-то ждал, как будто к чему-то готовился. В глазах людей стали появляться искорки какой-то необъяснимой надежды, начали поговаривать, что войне скоро конец... В воздухе будто запахло очистительной грозой.

«Надо спешить, а то не успеешь пожить,— решил Хатыбал.— Довольно резвиться».

В ауле снова пошли слухи о сватовстве Хатыбала, и снова закручинились Иштуган и Айхылу. В один из этих дней к Сарбиямал, вернувшейся накануне после удачной поездки в город, пришла с самого утра старушка Карасэс.

Сарбиямал, следуя обычаю, приняла гостью с приветливым лицом.

— Проходи, енге... Садись в тур. Как хорошо, что вспомнила про нас,— разлюбезничалась она.— Только-только говорила детям, что-то Карасэс-енге нету, не с кем посидеть, душу отвести...

Гостья оставила у порога палочку, мягкие белые валенки с подвернутыми короткими голенищами, поднялась на урындык, села на подушки, которые подложила ей Емеш.

— Так мягче будет, садись, инэй!

— Спасибо, дочка, расти большая! — сказала Карасэс-абей, затем произнесла благословение. — Хуш, ну к добру! — проведя ладонями по глазам, бровям, лицу, перешла к расспросам.— Как поживаете, дети? Ты, Сарбиямал, вы, доченьки, все ли хорошо у вас? Здоровы ли? Скотинка, птица, хозяйство ваше как? Письма от Байгильде, нашего зятя, приходят ли? Иштуган где? — И закончила теми словами, которые обычно говорят при неожиданном приходе.— Дай, думаю, зайду-ка к Сарбиямал, узнаю, что в мире творится, чаю с городскими гостинцами отведаю.

Сарбиямал тут же захлопотала:

— Ох, заслушалась, сижу, глупая! Янеш, доченька, быстренько самовар поставь!

При посторонних у нее всегда ласковый голос, и для тех, кто не знает Сарбиямал,— она образец добросердечной матери. Правда, она догадывается, что Карасэс знает про ее уловки, но привычка — вторая натура — подводит Сарбиямал перед этой многоопытной старушкой.

— Не надо, Сарбиямал, торопить,— мягко сказала она.— Я пришла к тебе посидеть. Дел у меня, сама знаешь, никаких...

Янеш стремительно внесла клокочущий медный самовар, поставила его на медный поднос у края урындыка. Емеш расстелила скатерть, выстроила чашки на черном подносе с крупными узорами. Сарбиямал взяла из шкафа фарфоровый чайник с синими цветочками, который выставляется ею только для гостей, медленно всыпала туда с верхом несколько чайных ложек китайского чая номер сто пять, чуть придерживая в руке ложечку, чтоб обратить на это внимание Карасэс-абей; шумной струей набрала кипятку и поставила чайник сверху на конфорку. Со дна сундука достала сахар и монпансье, из шкафа — смородиновый как [1], сливочное и топленое масло, выискала где-то розовые засохшие пряники. Без жадности изрезала пышный, как пуховая подушка, оренбургский калач. И даже позвала девочек:

— Доченьки, идите же пить чай!

Девочки, соскучившиеся по ласковым словам Карасэс, обрадованные, присели рядом со взрослыми.

---

[1] Как — высушенная на доске тертая смородина.

Сарбиямал налила себе и гостье крепкого чаю со сливками.

— Выпьем, пока не остыл, енге.

— Пейте, дочурки, небось, успели проголодаться,— произнесла она очень нежно, подавая им чай с пропущенным через сепаратор молоком, и, сама же любуясь своей добротой к сироткам, скромно потупясь, поглядела на Қарасэс-абей. Дескать, видит ли гостья?! И, чтоб явить свое милосердие во всей красе, она вместо испекаемого ею только для девочек просяного хлеба положила перед ними несколько огрызков пшеничного хлеба, успевшего заплесневеть оттого, что долго пролежал завернутым в скатерть, и подала каждой на кончике чайной ложки сливочного масла с воробьиный клюв.— Ешьте, дочурки, наедайтесь.

Тут Сарбиямал вспомнила скверную привычку Емеш, которая с голоду будет умирать, но объедки не возьмет в рот,— отрезала маленький кусок калача и подала ей. Немного помедлив, дала такой же кусочек и Янеш, которая от радости забыла, что при людях полагается есть медленно, и в один миг проглотила свою долю калача, сдобрив его маслом. Янеш посидела было еще, надеясь, что опять перепадет что-нибудь, но, встретив злой взгляд Сарбиямал, поняла тщетность надежды и встала с урындыка. А Емеш неспешно выпила свою чашку, растерла свою порцию масла на ладони, смазала им потрескавшиеся руки, лицо, губы и, сказав с усмешкой:

— И мы будто масла поели,— пошла вслед за Янеш в свою половину дома.

Сарбиямал чуть не забыла про свою личину, выставляемую напоказ гостям, и едва сдержалась, чтобы не испортить игры.

— Вот слышала, енге?! — сказала она стальным голосом.— Видела?! Не зря говорят: «Выходишь теленка без матки — в доме еда будет, вырастишь сиротинку — труды твои прахом пойдут». Хлеба ей подавай только что нарезанного, а то объедки, скажет! Масла дашь — на лицо мажет, дрянь этакая! Ох и злющая эта Емеш! Остальным далеко до этой маленькой. У нее, у злодейки, только одна дума — чем бы больнее меня уколоть!

Карасэс-абей молча выслушала ее сетования и голосом, в котором звучало не осуждение, а скорее даже любование, начала совсем не то, что от нее ожидали:

— А она обещает быть ух какой красавицей, эта Гульемеш. И ресницы-то у нее загнутые, и глазки, будто сурмяные, большие и круглые, и зубы маленькие выстроились, как нитка жемчуга... Знаешь, Сарбиямал: «Изо рта, где зубам тесно, слова не выдавишь, во рту, где зубы редкие, слова не удержишь», — говорили в старину. Видать сейчас, что не сломит ее суровая жизнь, молча будет гнуть свое. Уж дай ей только подрасти, с божьей помощью, болтать не будет — дело знать будет... Боже мой, все у нее на месте, у деточки! Коли надумает господь дать, то дает полной мерой рабам своим!.. Глаза такие рассудительные, разумные... Лишь бы жива была да счастлива... Пусть аллах сам хранит ее, так-то вот, Сарбиямал... Ты растишь доброго человека, аллах воздаст тебе сполна!..

Сарбиямал чуть было не выкрикнула: «Кому

она нужна да и зачем ей жить?» А старушка, как бы разговаривая сама с собой, продолжала:

— А волос у нее какой!.. Словно накрутил их кто из черного шелка! Вьются, как круги в омуте! И личико тонкое. Отлили его, что ли, из воска? Бровки, погляди-ка, какие... как расходятся дугой... Ведь совсем еще ребенок. А подрастет... тогда увидишь, помянешь мои слова!..— Старушка, улыбаясь, радостно поглядела голубыми глазами куда-то вдаль и неожиданно заключила:— В мать свою покойную она, видать, красотой пошла. Говорят, не было ей равных в ауле, ни краше, ни трудолюбивее...

Такое славословие вывело из себя Сарбиямал.

— Откуда ты все это взяла, енге, чем же она на мать похожа?— выпалила она неожиданно для самой себя.— Мать у нее, говорят, была такая тщедушная, уродливая, что не приведи господь. А эту, такую смуглую, от какого-нибудь заезжего цыгана родила, не иначе! Нравом, видом — она чистая цыганка! Откуда в ней такая гордость и надменность на пустом месте? Ой-ой-ой, она у меня во где сидит! Такую злодейку еще поискать надо. Видать же, лицом ни в кого из братьев-сестер не пошла!..

— Не надо, Сарбиямал. Не клевещи на мертвых,— сурово остановила ее Карасэс.— Кто видел Сагуру, скажет, что Гульемеш вылитая мать.

Емеш возликовала, услышав эти слова через дощатую перегородку. Часто бессонными ночами она умоляла бога, чтоб он за

одну ночь сделал ее похожей на отца, сестер и братьев, чтоб Сарбиямал перестала на каждом шагу обзывать ее цыганским отродьем. Это ведь так унизительно! А сейчас Карасэс-инэй говорит: «Гульемеш похожа на мать!» Может ли быть бо́льшая похвала?! Сердце ее забилось гулко. И называет Карасэс-инэй ее полным именем, значит уже есть за что!

Лицо Сарбиямал потемнело, улыбка сошла, в глазах разгорелся лютый огонь, дыхание перехватило, и она не могла выговорить ни слова. А старушка, не обращая на нее внимания, ровным голосом вела свою речь, напоминающую плавное течение полноводной реки.

— Красота, Сарбиямал, дивная штука... Э-эх!.. Была и я когда-то молода и красива, да, в самом деле! А теперь кому скажешь об этом? Не поверят, засмеют... «Девушки все такие красивые, откуда же берутся старые ведьмы?»— говорят, поражаются джигиты. Это верно. Не заметишь никогда, в какой миг уходит твоя красота!.. Ге-ей ты, юная пора! Гей ты, пора цветения!.. Да...

Сарбиямал и в молодости, и сейчас не могла похвастать особой красотой, ей стало казаться, что бабка хочет мстительно разбередить в ней зависть. Она неодобрительно вскидывала на нее взгляд. Но бабка смотрела все так же мимо нее, в недоступный и неведомый для Сарбиямал мир красоты — сама прямая, величественная и гордая, лицо озарено каким-то таинственным светом.

«На что она намекает? Куда тянет ниточку? Не понимаю...— терялась в догадках Сар-

биямал.— Не просто так ведь пришла... Все кружит, водит вокруг да около...»

У Сарбиямал никогда не хватало терпения спокойно выслушать Карасэс-абей, которая обычно не говорит напрямик, подводит издалека и подолгу плетет свои кружева, словно петляет по горным тропкам. А Емеш, наоборот, нравится иносказательная манера говорить: слушай, думай, сам догадывайся, если можешь; в ней видится ей загадочность и тайный смысл. От религиозных сказок Бибисарыабыстай веет мраком и ужасом, а Карасэс-абей пробуждает в сердце веру в жизнь, как бы утверждая, что жить на свете не так уж страшно и плохо. Самые ужасные и трагические события приобретают в устах старушки свойственную ее характеру светлую окраску.

«Скорее бы начала свои рассказы... О чем, интересно, она заговорит сегодня...»— с нетерпением вслушивалась Емеш из-за перегородки. А Карасэс-абей продолжала с тем же спокойствием восседать на подушках, возвышаясь в глубине урындыка, напоминая сучковатый березовый пень, прилепившийся к подножию горы. Словно изготовившись запеть, она изредка покашливает. Ее шершавые узкие руки с синими прожилками то покоятся на острых коленях, то легко пробегают по изеу — расшитому позументом и ленточками нагрудному украшению, поправляют белый, как снег, тастар[1]. Ее синеватые, не по возрасту живые глаза спокойным огоньком освещают сухощавое морщинистое лицо или вдруг загораются

---

[1] Тастар — платок у пожилых женщин из куска материи в два с половиной аршина.

отвагой, и тогда она напоминает старую орлицу на скале перед своим последним полетом...

Рассказывала она сегодня про свою жизнь, приговаривая «мой Галиулла», «мой Самигулла», «мой Тимербай». Как и Сарбиямал, она любила прибавлять слово «мой», когда говорила о своих близких, но в отличие от Сарбиямал употребляла его для выражения своего сердечного отношения.

Вот уже в третий раз подали заново залитый кипящий самовар — он оказался у Сарбиямал не очень вместительным для такой чаевницы, как Карасэс-абей. Старушка выпила еще три-четыре чашки. При этом она еще мельче дробила у себя на ладони кусачками сахар и отправляла в рот перед каждым глотком чая кусочек не больше горошины.

— Гей-й! Вот она, жизнь наша... Вот сколько всего повидала я, Сарбиямал... Не зря же из бедовой Карасэс стала я бедной чаевницей...— снова пропела она.

Янеш и Емеш почти уткнулись носами в перегородку, прислушиваясь к рассказу, который становился все более занимательным. Сарбиямал же начала беспокоиться, что не успеет сегодня сбегать к Бибисаре-абыстай, узнать, как готовятся там к свадьбе.

— Кстати о чаевнице,— весело улыбаясь, продолжала Карасэс.— Была у нас в ауле, когда я сама еще была малым ребенком, большая любительница чая — бабка по имени Сафура. Про нее говорили, что она за один присест пять самоваров выпивает. Как выпьет три самовара, так она — раз, и выставит из-под тастара одно ухо — дескать, напилась наполовину. После пяти или шести самоваров

выставляет и второе. Некоторые приглашали ее на чай только ради шутки, чтоб посмотреть, как она выставит свое сморщенное, пожелтевшее, как озерная ракушка, ухо. А теперь вот я и сама стала такой, как та бабка Сафура. Что поделаешь... Жизнь-то проходит... Не зря ведь, Сарбиямал, поют:

Кушак свой износишь, хоть шелком он вышит,

Знай, время источит его, иссечет.

Не верит беспечный, что жизнь скоротечна,

Что свечкой сгорит и водой утечет...

Сарбиямал пока еще старалась быть гостеприимной.

— А как же, енге,— поддакнула она. А Қарасэс-абей, продолжая покачивать головой в такт песне, повела дальше.

— Вот так, Сарбиямал, проходит все. Как вода утекает. Сегодня ты молод, завтра — стар. Сегодня ты есть, а завтра уж нет... И все проходит. Даже на то мгновение, пока ты глазом моргнешь, не остановит жизнь свой бег. Остаются на земле только добрые дела. Праведные дела не забываются. Самого давно нет, а тебя еще вспоминать будут... Только в памяти людей живешь ты вечно... Надо бы чаще нам оставлять за собой добро... Э-эй, где уж? Чаще худые дела идут впереди, а хорошие позади. Нужно бы человеку оглянуться, увидеть, что там, сзади... Да некогда, неохота... Вот как...

Под впечатлением этих не очень понятных для нее рассуждений Емеш немного забылась, уйдя в свои думы. Когда она очнулась, чаепитие закончилось, Қарасэс-абей уже свесила

ноги с урындыка, а Сарбиямал с добродетельным видом стояла напротив нее у печки.

«Жалко, прослушала... Не узнала, зачем она приходила... Не придет же она ни с чем...»— запечалилась было Емеш, но оказалось, что там только начинает разматываться клубок разговора.

— И вот, моя Сарбиямал,— продолжала Карасэс.— Хотя и получилось у меня сегодня длинно, как в прибаутке: «Месяц ехал, год ехал — пядь земли проехал»,— я хотела сказать тебе одно: послушай меня, старую, может, и глупую, сотвори раз святое дело. И в мире, и в загробной жизни зачтется...

— Какое-такое дело, енге?— растерялась Сарбиямал.— По мне ли оно, святое дело-то?..

— По тебе,— отрезала бабка.— Ты справишься. Пошли сватов к Айхылу. Соверши это благодеяние. Соедини два любящих сердца. Сама знаешь, Коза Муэдзин готовится отдать ее Хатыбалу. Говорят, у кого дочь — у того и прихоть. Не будет же он ждать Иштугана, коли тот ни разу сватов не присылал. Бибисара-абыстай твоя подружка. Не откажет она тебе. А то пропадет для вас девушка, отдадут за Хатыбала...

— Отдадут так отдадут, делать нечего,— с безразличием вздохнула Сарбиямал. С ее лица сошло благодушие, в глазах снова появился холодный блеск.

— Говоришь, отдадут так отдадут. Сарбиямал, не будь такой бездушной,— расстроенно сказала бабка.— Все-то сама знаешь... Айхылу любит вашего Иштугана. За другого не пойду, говорит.

— Говорить-то можно, енге, да разве невеста она для Иштугана?! Кто он? Пришлый, ни скота, ни двора, только воду мутит...

— Ну и ну...— совсем запечалилась Карасэс-абей.— Все-то ты знаешь сама, а говоришь!.. Айхылу и пригожа, и умна, и работа в руках ее спорится. К тому же любит Иштугана. Зачем двум нашим деткам страдать и томиться, как Сак и Сук [1]? Ну?!.

— Делать нечего,— молвила Сарбиямал сухо.— И сватов пришлешь — не отдадут. Бибисара-абыстай все уши прожужжала мне про Иштугана. Не могу, говорит, отдать дочь безземельному, пришлому, нищему, которому даже выкуп платить нечем, пусть не зарится понапрасну. Так чего он еще хочет, этот дуралей, на что надеется, не знаю...

— Может, разок испробовать, послать сватов, а, Сарбиямал? Деды говаривали: «Чем зарывшись в землю лежать, лучше встать и стрелять». Пусть за нами не останется. Скажи мне — и сама пойду сватать. Никогда не ходила, но ради тебя, ради Иштугана готова пойти. Даже алыма [2] с вас не возьму...

Сарбиямал потеряла всякое терпение.

— Нет, енге, не выйдет. Чего не может быть, то и господу не угодно. Не будем заниматься пустыми хлопотами, Карасэс-енге. Да и денег на свадьбу у нас нет. Отец наш на войне, то ли вернется, то ли нет...

— Стало быть, так, а?— безнадежно протянула бабка.— Не смягчишь свое сердце?..

---

[1] Сак и Сук — герои народной легенды, умершие в разлуке.

[2] Алым — подарок сватам.

— Так,— сказала Сарбиямал, будто раскрывая карты.— Так! Не хочу приводить кого-то в свой дом, не хочу делить свое хозяйство. А хочет Иштуган сам — пусть! Скатертью дорога. На все четыре стороны! Сам живи, сам женись! Хоть на пятерых разом! Не мое дело...

— Та-а-ак, говоришь,— снова протянула Карасэс-абей, с изумлением глядя на Сарбиямал. И, уже направляясь к двери, заговорила снова.— Ну ладно, не обессудь, я ж пришла так... думала, может, удастся помочь молодым... Иштуган просил... Говорил, если моя Сарбиямал-апай сосватает Айхылу, век буду доброту помнить, пуще родной матери беречь и холить буду.

Тут вбежали внучки Карасэс-абей Сабира и Самига и, перебивая друг друга, радостно закричали:

— Бабушка, бабушка, атай!..

— Что? Что с моим Тимербаем случилось?—переполошилась бабка.—Дурная весть пришла? А, чего с ним?..

— Вернулся! Атай наш вернулся!

— Ах, слава аллаху, деточки мои!

— Вернулся! Вернулся! Пошли скорее, бабушка!

Внучки обхватили бабушку с двух сторон и потащили из дому.

— Ага, в ичигах [1] побежала выжившая из ума старуха! И палку забыла! — проговорила Сарбиямал. — Янеш, отнеси ей.

---

[1] Ичиги — домашние сапоги из тонкой кожи.

Янеш схватила палку, валенки и выскочила на улицу. Сарбиямал повернулась к Емеш, схватила ее за косы, надавала тумаков и вышвырнула за дверь.

— Провались, цыганское отродье! Пропади с глаз, попробуй у меня еще раз при людях рот открыть!

Емеш знала, что будет наказана за свои слова «будто масла поели», знала, что, пока не устанет язык, Сарбиямал будет перемалывать ей косточки. Только не ожидала, что Сарбиямал примется за нее в эту радостную минуту. Неужто мачеха не рада, что вернулся с каторги Тимербай? Но времени думать не было. На улице мороз. Ей тоже охота поглядеть на Тимербай-агая. И она, босая, в одном платье понеслась к дому Карасэс-абей.

А по пятам за маленькой девчонкой с хохотом погнался январский ветер, злой и лютый, как Сарбиямал.

XIII

После того памятного вечера Салима, чтоб насолить мулле Габбасу, стала часто отдавать свой дом для игр молодежи.

— Приходите,— говорила она теперь в ответ на просьбу устроить у нее игры.— Веселитесь, пусть весь дом ходуном ходит,— в глазах ее при этом сверкали отвага и задор, видно, хорошо запомнила она выходку муллы Габбаса.

Игры в доме Салимы уже были обычным делом. Назло всем недругам, как того хотела сама Салима, гремели там песни и пляски.

Мулла Габбас уже сторонкой обходил этот дом.

Пошла третья военная зима. На играх стало бывать больше народу. Приходили сюда отвести душу и зеленая молодежь, и солдатки. Наведывался часто и Тимербай в сопровождении спокойной рослой жены Базыян. Объявился он где-то месяц назад, как снег на голову. Постаревший, почерневший, припадающий на правую ногу. Она у него перестала гнуться в колене, когда его придавило на рудниках. В ауле одни говорили, что он бежал с каторги, другие — будто попал под амнистию. Сам же он объяснял так:

— Срок весь отсидел. Шесть лет Сибири для невиновного разве мало? Зато теперь я мастер по сапожному делу. Такие вам сапожки сошью, любо-дорого посмотреть, а вы мне за это — денежки, чтоб с голоду не помереть. Так мы и заживем.— Он, конечно, не говорил, что на каторге выучился не одному этому: познакомился с большевиками, прошел у них целую школу, стал их единомышленником.

— В моих сапожках не поскользнешься. Они ж как влитые на ноге,— шутливо хвастал он. Правда, за какой-то месяц он и в самом деле сшил кому-то сапоги, и те остались довольны. Любители давать всякие прозвища уже прицепили к нему кличку «Сапожник Тимербай».

Возвращение Тимербая сильно встревожило старшину Собхана: «Я-то верил, пропадет там навсегда, а он опять тут. Неспокойно в мире, голодранцы смуту сеют... Нет, надо его обратно спровадить». И велел он Шымбаю-

Куштану не спускать глаз с бывшего каторжника.

Увлечение Тимербая играми породило новые противоречивые мнения. Такие, как Сарбиямал, Бибисара-абыстай, желающие прослыть защитниками веры, выставляя напоказ собственную добродетельность, обвиняли его в распущенности.

— Стыда у него нет! У самого две дочки подрастают. А он отирается возле молодых, греха не боится!

Но на играх парни с уважением приняли его в свой круг. Им было приятно, что такой бывалый, знающий почем фунт лиха человек, как ровня, участвует в их затеях. Они помнили его занимательные рассказы, песни и прибаутки под тополем Хабира, его мытарства в Сибири, откуда он вернулся покалеченным, но остался таким же неунывающим, как прежде. Многим он казался почти легендарной личностью.

Шымбай-Куштан начал кружить около дома Салимы. Но ему пока не удавалось ничего пронюхать про то, что поделывает там Тимербай, потому что игры — не место для таких, как он, стариков, а предлога сунуться туда он найти не мог. Ничего не придумав, пошел снова к старшине.

— Э-э-э... Я...— начал он, дрожа и запинаясь. Это был верный признак того, что он готовит очередное пакостное дело.— Голова! Твои опа-сения не на-пра-сны, ока-зывается... говорят, этот Тимербай вернулся совсем конченым человеком... Ни бога, ни муллы, ни царя ему не надо... Все люди, как вороны, должны быть одинаковыми, одного цвета. Вот

что про него говорят... совсем сбился с пути праведного... Комуном заделался... Совсем большевик...

— Говорят-говорят, — сердито съязвил старшина.— Мало ли что говорят. Сам услышь. Или свидетеля найди.

— Я бы услы-шать ра-ад. Да он ведь передо мной говорить не захочет. Только на играх парням и солдаткам головы мутит. Не могу же я пойти туда...

— Говорю тебе, верного человека найди!

— Эх, голова, будто сам не знаешь! Где теперь взять такого человека-то?

— Довольно! Мне плакальщик не нужен,— заорал старшина.— Ты с делом ко мне приходи. Или хочешь, чтоб я сам туда пошел? Ха-ха... Как тогда... у тополя кафыра Хабира, а? Неплохо вышло тогда. Другие пришли времена... Настороженнее стали люди. А мы должны слышать, как под землей змеи ползают, понял, агай?..

— Понял, голова, по-нял...

— Понял — ищи. Надо придавить хвост этому каторжнику! А то он сам ухватит за хвост, понял?

Долго ломал голову Шымбай-Куштан над тем, как подослать надежного человека. Чуяло его сердце, что не зря бывает среди молодых Тимербай, что есть к чему придраться и убрать из аула человека, опасного для всех баев, опасного и для себя и своего сына Ахметши. Не знал он пока лишь одного, что Тимербай вернулся из Сибири другим человеком и сам выбрал для посещения дом для игр, чтоб там исподволь раскрывать парням глаза на окружающий мир. У Куштана даже ныло сердце.

от желания выслужиться перед начальством, но найти кого-либо на роль доносчика он не смог. При Хуснулхаке, Ахметше, Хатыбале люди в открытую говорить не станут. А другие для Куштана все ненадежны. Как же ему быть? В конце концов он надумал использовать для этой цели своего внука, забитого тщедушного Моратшу, сына Ахметши, и, с побоями и руганью, начал посылать его на игры. Моратшу джигиты выставляли из дома для игр, потому что он был мал. Не нравилось джигитам и то, что он из семьи Куштана. Но как бы ни гнали его, он не уходил. Выставят за дверь — торчит у окна, прогонят от окна — лезет на трубу. Плакал, умолял, валялся в ногах, скулил, как щенок, а от дома Салимы не отходил. Так наказал ему дед. И наконец на него махнули рукой.

— Ладно, пусть ходит. Хочется, знать, игры посмотреть. Бывают такие любители и среди малолетних.

Ахат первый встал на защиту Моратши, вспомнив, как сам он с двенадцати лет начал ходить на игры.

— Только вот что странно. Я-то заслужил себе право своими песнями и плясками. Этот же не поет, не пляшет, просто лезет напролом с ревом,— со снисходительной улыбкой заметил Ахат.

— Пусть смотрит,— согласился и Тимербай.— У детей вины нет.

Так Моратша остался на играх. В надвинутой на глаза дырявой шапке с торчащей из нее паклей, в изодранной длинной шубейке втиснулся он на скамейку у печки. Сегодня здесь были и солдатки, и раненые фронтовики.

Был еще Урыс-Идрис, начавший ходить сюда вместе с Тимербаем. Так что за последние два-три года игры в доме Салимы приобрели, можно сказать, новую форму.

Вот пошли плясать джигиты. Выходили по одному, по двое и все вместе. Новичок Моратша загляделся на своего защитника Ахата, тот носился и вприсядку, и на боку, и на спине, и взлетал под потолок, только мелькали рукава его бешмета, разметавшиеся, как крылья. Потом, точно птица, полетела по кругу Салима; вышла и закружилась, застыв, как веретено, Базыян-енге.

— Гей, как пляшет чья-то жинка и невестка чья-то рядом!..— им в такт приговаривал веселый Тимербай, поддерживая дух танцующих.

Чтоб передохнуть от плясок, завели песни. Потом опять плясали. Моратша, ничего не соображая, только хлопал глазенками, ведь ему дед обещал, что он увидит здесь демонов-пожирателей и чертей, разбойников, замышляющих убийства: услышит такое, отчего волосы дыбом встанут. Мальчик быстро притомился от шумного веселья и замечтал о мягкой постели. Но дед грозно наказывал ему, выгоняя из дома:

— Пока игры не кончатся, домой не приходи!

Начали стихать песни и пляски, смех и веселье. Видно, устали все. Раздумье повисло в воздухе. Иштуган, который последним сошел с круга, присел на урындык возле Тимербая и попросил:

— Агай, расскажи что-нибудь нам.

— Расскажи, расскажи, Тимербай-агай...— поддержали его и другие.— Послушаешь тебя, и будто дышать легче.

Тимербай, ожидавший этого момента, легонько откашлялся.

— А что рассказывать-то...

— Про то, что в Сибири повидал, что слышал от бывалых людей,— подсказал Урус-Идрис.— Нам же интересно.

— Эх, браток... Уже пересказано все...— проговорил Тимербай, покрутил пышные усы, задумался.— Порой даже вспоминать не хочется... А забывать нельзя... Надо помнить, чтоб другим рассказать. Душа сама того хочет...

— Верно говоришь,— поддержал его Урыс-Идрис и подсел ближе к нему. Зашевелились и другие, пододвигаясь ближе. Здесь с незапамятных времен живет обычай — собираться послушать бывалого человека. До войны с Германией таким бывалым человеком в ауле был Урыс-Идрис, двадцать пять лет прослуживший в царской армии. Теперь он сам молча слушает других, лишь поглаживает голубоватые с проседью усы, да приглядывается, как седой беркут, из-под лохматых бровей к новым рассказчикам. Ибо понимает он, настали иные времена, пришло иное, новое поколение людей, а его рассказы устарели для них. Теперь ему самому приходится вглядываться в этих новых людей, узнавать с их помощью, как изменился и изменяется мир. А встречи с Тимербаем еще давали недостающее его стариковскому сердцу тепло, пробуждали в нем какую-то смутную надежду, скорее даже искорку надежды — неизвестно какой, но он

чувствовал, как разгорается она у него в сердце. И радостно ему, что его, старого солдата, уважительно принимает новоявленная молодежь, тепло и заботливо опекает Тимербай. Он даже надумал следовать его сыновнему наставлению и реже прикладывается к водке.

— Собхану того и надо, чтоб ходил ты пьяный, потеряв рассудок. А ты, старый солдат, должен быть трезвым, быть готовым протянуть руку помощи. Ты же пойдешь с нами по одному пути... Нужный ты человек, Идрисагай... Наш человек. Понимаешь? Жизнь — хитрая штука: сегодня они управляют тобой, завтра ими управляешь ты... Не так ли, а?

Слова Тимербая радуют, ласкают ухо, но уж очень они какие-то чужие, трудно ему в них верить. Обдумывая их, он любит наедине порассуждать сам с собой, хитровато улыбаясь из-под торчащих усов: «Ха! И старик Идрис кому-то, оказывается, нужен! Чудно!.. Чудной он человек, Тимербай. Верит, ждет прихода новой жизни, нового счастья — и все тут! Ну и ладно, пускай... В молодости и я, может, надеялся... Молодость хороша не тем, что у нее все впереди — и счастье, и радость,— а верой в то, что все желаемое непременно сбудется».

Но слушает он Тимербая всегда увлеченно и в ту минуту верит. И теперь он внимал ему с тем же чувством.

— Встретил я в Сибири старого рабочего. Сослан он был за тот пятый год на пожизненную каторгу. Любил старый рабочий, как выдастся свободная минута, поговорить с такими, как я, темными людьми. «Кто считает себя джигитом, не станет дожидаться, пока

счастье само привалит с неба,— часто повторял он, сердечный.— Счастье на земле своими руками ковать надо...»

Был он с Ленских приисков. Много горя хлебнул на своем веку... И старый, и больной, а все хотел взлететь со сломанными крыльями, как сокол! Эх, братва...

Тимербай всегда начинает с того, что рассказывает о судьбе одного из каторжан, вызывая у слушателей чувство сострадания к нему, и, вкладывая в его уста свои думы, незаметно переходит к событиям последних лет. Оттого и выходит так, что он не вдалбливает насильно свое мнение — оно само западает в душу слушателей в виде кусочка реальных событий с их убеждающей жизненной правдой. И может, тем вернее доходило его слово. От его печального русского «эх, братва», которого не было у него в языке до каторги, возникало ощущение недосказанности в беседе, как будто был в ней еще какой-то тайный смысл, и при этом создавалась атмосфера теплоты и доверия.

— Вечерами, оставаясь одни в своих землянках, мы собирались вокруг этого рабочего, а он пытался растолковать нам, как добывается счастье. «Знайте, джигиты,— говорил он шепотом.— Наше счастье в заколдованной клетке под золотой короной Самрегоша[1] лежит! Сейчас рабочие, солдаты, даже крестьяне объединяют силы, чтобы разбить эту клетку. Если дело и вправду выгорит, скоро

[1] Самрегош — а) Семург, сказочная, быстрокрылая птица, помогающая людям; б) геральдический двуглавый орел.

Самрегош даже перьев своих не соберет. Народ же как река. Горная река. Если он поднимется, то ай-я-яй! Только надо, чтоб разом поднялись... Если вставать по одному, толку не будет».

Верно он говорил. Знаете ведь, Хабир-батыр один чего добился. Эх, братва... Интересный был человек этот рабочий. Только и мечтал о том, чтобы пришел народ к свободе и счастью. И говорил всегда про одно — про люд простой, про борьбу. А сам и старый и больной... Эх, братва... Не дожить было ему самому до свободы... Вот так-то...

Раздались голоса слушателей:

— Эх, бедняга! Там, в каторге, и умер?..

— Вот это был мужчина, да!

— Один там гниет заживо, другой здесь всю жизнь страдает,— куда ни глянь, все едино в этом мире!

Моратша вместе со всеми тоже подобрался ближе к урындыку. Дед велел ему ухо держать востро, все запоминать: кто что сказал.

Тимербай перевел дыхание, улыбнулся чему-то так, что у него под глазами собрались мелкие морщины, похожие на птичью лапку.

— Старый рабочий рассказывал нам, как стреляли в рабочих на Ленских приисках. Дрожь охватывает... трудно даже поверить. А на деле-то было такое, что всех рассказов пострашнее...

Тимербай рассказывал про Ленский расстрел. Салима, старик Идрис, Иштуган засыпали вопросами:

— Большевики, это кто такие?

— Говорят, Ленин будто бы большевик? Или он кто другой?

— А тот рабочий все же верил, что выйдет на свободу, хотя сам на пожизненной каторге, а? Вот несчастный!..

Моратша, который слушал эти непонятные разговоры сквозь сон, утром на допросе деда невнято мямлил:

— Тимербай-агай рассказывал сказку про Самрегоша. Про то, что счастье людей лежит в железной клетке под короной Самрегоша... Дедушка, а что это такое — счастье? Вроде птицы, да? Сбросишь корону, откроешь клетку, оно возьмет да улетит, да, дедушка?..

— Какая сказка? Какое счастье? А-а, что он еще говорил?— пытал его старик Шымбай, но ничего больше не добившись, выкрутил ему враз оба уха и под ягнячий визг внука, торопливо надвинув на голову бобровую шапку, вышел из дому.

«Про Самрегоша сказки рассказывает, а? Тимербай, значит, на играх сказками забавляется, а? Как это понять? Что за оказия такая?» — бормотал он по дороге.

Перед воротами старшины он увидел орущую толпу и быстренько свернул в проулок, чтоб пройти к задним воротам.

«Самрегош... Счастье... Клетка...»— продолжал брюзжать он про себя, проваливаясь в сугробы. Наконец его осенило.

— Ай, шельма, куда гнет! Постой же!— вскрикнул он от удовольствия и, уже не видя ничего перед собой, рванулся вперед.— Надо доложить!..

Сегодня с утра у ворот старшины начали толпиться солдатки. Базыян вернулась, подбросив скотине сена, озабоченно поглядела

на мужа, сидевшего на топчане, пришивая подметки к валенкам.

— Вон, смотри, что творят бабы. Борьба, борьба, говорил ты... Теперь полюбуйся... На тебя ведь скажут. Что ты их натравил...

— Ну, что там, мать? Чем недовольна?

Он встал, посмотрел в окно. Около десятка солдаток во главе с Салимой колотили по запертым изнутри воротам старшины Собхана. Доносились их выкрики:

— Выходи, чернопузый!.. Хватит тебе жиреть на наших пособиях!

— Сейчас же раздай наши деньги! Всю войну воровал!

— Хватит воевать нашим мужьям! Теперь своего сына отправляй! И сам топай на войну!

Тимербай, крутя щетинистые усы, с удовольствием понаблюдал за этим зрелищем.

«Правильно, что понемногу начали пощипывать... Так-то оно бывает, братва...» Ему было приятно сознавать, что его слова не уносит ветром.

— Эта Салима, видать, хочет и старшину проучить, как муллу Габбаса,— подала голос Базыян. — Не знаю... Как бы ей самой не обжечься.

— Проучит — так ладно. Давно пора проучить чернопузых! — вмешалась Карасэсабей. Она тоже тихонько наблюдала за этой суматохой из другого окна.

Но Собхану повезло. Откуда-то вдруг вынырнул верхом на коне урядник Алексей и разогнал толпу.

— Расходись по домам!.. В тюрьму посажу!.. Глупые овцы!..

Тимербай постоял у окна, глядя на опустевшую, точно выметенную, улицу, и, вполголоса затянув не знакомую никому из домашних, но удивительно притягательную песню, сел за работу.

Вставай, проклятьем заклейменный,
весь мир голодных и рабов!..

XIV

Урядник Алексей сидел у старшины Собхана в ожидании угощения и посматривал из окна на двух прохаживающихся по улице парней. Один был высокий худой, другой — поплотнее, среднего роста.

— А эти кто такие? — сказал он настороженно. — Чего тут путаются под ногами? Может, им, как тем бабам, тоже охота вломиться в твои ворота, а, голова? Смута идет по миру... Вот и бабы твои о том же говорят, постигаешь, голова?..

— Постигаю, Лексей Петрауис, очень даже... Шымбай-агай этих джигитов на примете держит, — отвечал старшина, уставясь на урядника преданным взглядом. — Хи-хи-хи, ждем только случая... У нас с этой стороны поставлено ничего, Лексей Петрауис.

— Надо быть зорче, внимательнее. Постигаешь? Может, это дело рук каторжника вашего, а? Надо наперед все знать. А то сегодня — бабы, завтра — парни... Потом народ весь взбунтуется, нас возьмет за воротник... Постигаешь, голова?

— Постигаю, Лексей Петрауис, очень даже, — как попугай, повторил старшина, подойдя к окну.

А Иштуган и Ахат все бродили одни вдоль пустынной, продуваемой ветром улицы. Оба давно замерзли, но не было конца их разговорам и спорам. Обсуждали они и солдаток. На самом деле, сколько можно молчать? Всем известно, что этот ненасытный старшина уж сколько лет подряд кладет в карман пособия для солдаток. Только никто не осмеливался потребовать у него свои деньги. Молодец Салима, нагнала-таки страху на старшину! Жаль, что урядник появился. А то выволокли бы они старшину на улицу, иначе не успокоились бы.

Потом они заговорили о земле. Из головы у них не шли слова Тимербая.

— Заводы, фабрики — рабочим. Земля — крестьянам. Так должно быть. Всем безземельным тоже дать землю. Ленин сам будто так говорит, — шепчет горячо Иштуган. — Ах, если бы у меня была земля!..

— Если б у нас была земля... — загорается Ахат. — Надо бороться, чтоб была. Где наша земля? В руках старшины Собхана, Куштана, Тимаша. Надо всем подняться, как говорил тот старый рабочий, смести их, а землю свою отобрать. Никто нам землю не даст. Будешь ждать, пока яблоко само в рот упадет, ничего не выйдет.

— Верно. Надо бороться, — вторит Иштуган. — Без земли нет счастья. Только бороться-то как? Тимербай-агай почему-то молчит об этом... А мы что знаем? Вот разве что, как солдатки, можем выйти погалдеть, а покажется урядник — бежать со всех ног!.. Что толку от этого?!

— Откуда взял! — возразил Ахат. — Нет! Мы не маленькие, слава богу, годы вышли. Вон у тебя уже усы вылезли, тебе все двадцать можно дать. А на меня не смотри, что ростом мал, зато кулаки увесистые! — Он потряс над головой сжатым кулаком, и впрямь с конское копыто. — Вон как!

— Ну и что?

— Если не нам, кому еще драться? Нет, хватит нам без дела слоняться по улице!

— А как начать?

— Пойдем спросим у Тимербай-агая. Пусть научит.

Парни устремились к воротам Тимербая.

Старшина Собхан легонько тknул урядника.

— Вон, видел, Лексей Петрауис!

— Эге.

— Вот ведь куда их ноги несут! Пора, Лексей Петрауис, принять меры к этому арестанту...

Тимербай молча выслушал горячие речи парней, не отрываясь от своих валенок. Потом с улыбкой посмотрел на них, покачал головой.

— Молоды вы еще, браточки... От двух ранних капелек половодье не начнется... Вот скоро придет весна, взломает лед, прогонит угрюмую зиму. Тогда и первым капелям, самым нетерпеливым, тоже откроется дорога к морю. А если поспешить, то первые капли и весны не сделают и сами без пользы пропадут...

— Да ты, агай, нас совсем за детей считаешь, — обиделся Иштуган.

Ахат сказал, как отрезал:

— Нет, агай, напрямик говори!

— Борьба — это не игра, браточки! Без трезвой головы тут можно быстро бока себе намять.

— А мы и не думаем играть!

— Народная поговорка гласит: «У ранней кукушки голова болит...»

Друзья поняли из разговора, что он не принимает их всерьез. Они потоптались еще у его ворот, придумывая какое-нибдуь дело, чтоб доказать, что они созрели для борьбы. Ахат вдруг схватил Иштугана за рукав.

— Эй, Иштуган, давай будем говорить всем про тополь у Озонгола, что это тополь батыра Хабира, а не кафыра Хабира, а?

— Хорошо придумал, верно. Да уж Тимербай-агай давно так называет его. Но мы же... Хотели борьбу начать.

— Так и я о том! — вскричал Ахат.— Может, пустить баям красного петуха, как Хабир-батыр, а?

— А я подумал, может, отдубасить коекого, — произнес Иштуган. Он был очень зол на Хатыбала, много крутившегося возле дома Айхылу.

— Избить самого старшину, чтоб отдал Идрису-бабаю назад его скот и землю?!

— Нет, все это не годится, — сказал Иштуган после некоторого раздумья. — Борьбу так начинать нельзя.

— А как же? Бороться, сложа руки, да?

— Не знаю, — растерялся Иштуган. — Тимербай-агай говорил же, что нету проку воевать поодиночке. Всем вместе надо, навалиться большой силой, так ведь?..

— Да-а...

Тимербай, озабоченно поглядывая на них через окно, продолжал свое шитье.

— Как бы не наломали дров эти джигиты. Надо будет потолковать... — решил он.

А старшина с урядником, не заметив более ничего подозрительного в действиях парней, уселись на урындык за яркую, в разноцветную клетку скатерть, сплошь уставленную богатым угощением.

— Для начала, Лексей Петраунс, давай пригубим.

— Твое здоровье!

Только они опрокинули по рюмке и потянулись за бараньим курдюком, как кто-то настойчиво забарабанил в дверь. Старшина с неторопливой степенностью убрал бутылку с рюмками в шкаф и сухо спросил:

— Кто?

— Я... Э-э-то я-я... Го-ло-ва...

«Значит, весть принес», — подумал с удовлетворением старшина.

— Заходи.

Спотыкаясь, ввалился Шымбай-Куштан. Пока он пробирался сюда сквозь сугробы, на его остренькой рыжей бородке пристыл лед.

— Ас-салямагалейкум, головы!.. Здорово, насальник! — сладко улыбаясь, он встал в дверях. При виде некстати явившегося, чему-то радующегося соглядатая у старшины и урядника вдруг испортилось настроение. У обоих разом, как от зубной боли, перекосило лица.

— Чего там? Говори... — кисло сказал старшина, не поворачивая головы.

— Какое-нибудь дело исполнил, охотник? — принудил улыбнуться себя урядник.— Чую, дичь выследил?..

Шымбай-Куштан впился жадным взглядом в курдюк, повел носом и с сожалением подумал об исчезнувшей выпивке, от которой остался знакомый резкий запах. Старшина в нетерпении рявкнул ему по-башкирски:

— Не ко времени ходишь! Знай свое место впредь!

Но Шымбай и бровью не повел. Он вопрошающе уставился на урядника масляными глазками и сделал шаг вперед.

— Афанди [1], как это понимать?! Тимербай на играх сказки рассказывает!..

— Сказки? Ну и что же?

А Шымбаю только того и надо было. Не ожидая приглашения, он сбросил чекмень и, потирая холодные ладони, быстро сел на урындык.

— Он сказки там говорит про Самрегош. Будто под золотой короной Самрегоша есть золотая клетка. В клетке той птица счастья, значит, сидит взаперти. Если корону сбросить, клетка откроется. Птица счастья на свободу вылетит. Тогда все люди будут счастливы, во-от как оно, дело-то?! Ка-ак велите понимать такие речи, а афанди?

Старшина был готов разнести в пух и прах Шымбая-Куштана: «Ведь этой сказке уже тысячи лет, нашел новость!» Но, заметив внимание к сказке со стороны урядника, промолчал: «Хорошо хоть старик, ввалившись сюда, настроение ему не испортил...»

[1] Афанди — господин.

— Так-так, сказка про Самрегош, а? — заинтересовался урядник. — М-да, значит, собьешь корону Самрегоша — и хорошо всем будет, так, что ли?..

Шымбай-Куштан только кивал ему в ответ, тряся козлиной бородкой. Потому что успел уже набить за обе щеки похрустывающий курдюк и торопливо уминал его, хрумкая беззубым ртом.

Старшина с презрением поглядел на его зеленые, зло поблескивающие, как у кошки, поймавшей мышь, глаза, на большой прожорливый рот; неприязненно подумал: «Набьешь ли когда-нибудь свою ненасытную утробу?» Но все же полез обратно за припрятанной бутылкой.

— Свой он человек, Лексей Петраунс. Примем малость.

— Айда, пусть потчуется, — согласился урядник. По-видимому, он в эту минуту был весь поглощен вестью, которую принес Шымбай. Урядник хорошо понял, на что замахивается Тимербай. Он, запрокинув рот, с отвратительным бульканьем заглотил стакан водки и снова обратился к Шымбаю с расспросами:

— Сказки, стало быть, сказывает, а? Забавно!.. Ну-ка повтори, как он там говорил... Хорош сказочник!..

Он приказал глаз не спускать с Тимербая и, не попив всласть любимую водочку, не попробовав всю еду на столе, помчал в волость. У него уже имелись доносы о том, что Тимербай в базарные дни сеет среди народа смуту такими же речами. Теперь сомнений относительно Тимербая у него не осталось.

«На царя замахивается. Народ подстрекает. Назад его. Туда, откуда прибыл!»

Шымбай-Куштан со старшиной Собханом остались вдвоем обдумывать планы расправы над Тимербаем. Но от плотно набитых бараниной животов тянуло ко сну. Так что на сегодня они пока ничего не придумали...

XV

На фронте Байгильде повстречался со многими земляками. Он был особенно рад увидеть своего давнего друга Никиту, джигитов из Исанбета Сахиуллу и Шахимората, к которым и раньше относился, как к родным братьям. Теперь словно сама судьба свела их между собой в одном месте рядом со смертью.

— Как будто в родной Исанбет вернулся! — сказал Байгильде. — Ведь Ильсегул для меня — та же чужбина!

— Чтоб суждено было нам вместе возвратиться на родину, — ответил Шахиморат, тоже радуясь встрече. Байгильде узнал от них горестную весть о смерти своего деда Шахита.

— Хоть бы горсточку земли на могилку бросить... Не будь на фронте, а дома, пешком да поспел бы прийти на яназу. Гей, какой был человек!.. Ясной души...

Шли неделя за неделей. Земляки поровну делили тяготы изнурительной позиционной войны. Ходили плечом к плечу в редкие атаки. Но война, безжалостная солдатская судьба скоро опять разбросала их в разные стороны.

Стояла ноябрьская темная ночь. Часть лежала на передовой, в открытых окопах. Сыпал дождь со снегом. Шинели, сапоги разбухли от

сырости. Тошно... Зябко... Начал пробиваться рассвет. Стрельба поутихла. Солдаты съежились, застыли, опершись о винтовки. Переговаривались только Никита и Байгильде, сидевшие на корточках, прислонясь спиной друг к другу, чтоб было теплее.

— Уж мочи нет больше терпеть, родимец. А войне еще — ни конца, ни краю, — вымолвил Никита.

— Видать, только смерть одна и спасет нас. Как назло и пуля ведь не берет, — уныло вторил ему Байгильде.

— Ну, ну, не болтай чепуху! — ткнул его локтем в бок Никита.

— День и ночь лежать в окопах по пояс в жиже, думаешь, лучше смерти?

— Не вечно же нам тут лежать...

— У нас и дома жизнь не лучше была, чем здесь. И не будет...

— Ты что заладил, Байгильде?! В такую минуту не о себе, а о детях думай. Я вот, когда невмоготу, об них, об их будущем думаю. Хочется, чтоб они были посчастливее нас. Это желание мне силы дает... и терпение...

— Да... дети, дети.... Каково им с мачехой...

Скользя ужом по глинистой жиже, в окоп ввалился незнакомый солдат. Байгильде и Никита схватились за винтовки.

— Стой! Кто идет?

— Чу! Свой, — прошептал тот. — Не видите, такой же русский, как и вы. Солдат. — Потом рукой отвел наставленные на него штыки и пролез в глубь окопа. — Нет ли спичек, братцы? Давайте закурим, что ли. У меня спички намокли, шабаш!

Ои иатужио закашлялся. Лицо худое, изможденное; ио взгляд живой, будто светится. Посматривает то на одиого солдата, то иа другого с улыбкой и виимаиием. Видно, что ие враг.

Байгильде вынимает из кармаиа гимиастерки коробок.

— Отчего же иет? Есть, иа, бери...

— Спасибо. Стало быть, покурим.

Но спички ие зажигались. Отсырели.

— Сейчас огоиь добуду, — слышится голос Шахимората. — Подождите. — Ои, прикрывшись сверху полой шиели, иачал высекать огоиь.

А страииый гость, окииув взглядом уставившихся иа него с интересом солдат, тяжело вздохнул.

— Эх, братцы, ие вышло. И эти спички отсырели. Шабаш! Даже закурить ие можешь, черт побери!

Байгильде с удивлением и сочувствием всмотрелся в него.

«Зиакомый голос... Где-то я его уже слышал. Что-то в ием близкое...»

Но вспомиить ему иикак ие удавалось. Нет, ои ие из их роты, друг друга оии зиают. А этот будто и зиаком, и иезиаком...

Незиакомец дружелюбио хлопиул Байгильде по плечу.

— Ну, даже в гимиастерке спички отмокли! Тогда каково человеку, солдату, а? Что скажешь иа это, браток?

— А что солдату говорить? — осторожио ответил Байгильде.

— Да, что говорить! — отозвался незиакомец, резко опустил голову, задумался. И сио-

ва повторил: — Эх, шабаш! Закурить как охота! У кого же сухие спички есть, парни?

Ни у кого не нашлось сухих спичек. А Шахиморат все никак не мог добыть огонь своим кремнем.

— Эх, товарищи, — горестно вздохнул солдат. — Наша судьба хуже собачьей, а? Ну, ради кого, ради чего мы здесь мучаемся? Кому из нас нужна эта война?

Вокруг него молча зашевелились.

— Война нужна только царям и богачам,— взволнованно продолжал солдат. — Для них война — богатство, золото. А нам, рабочим, крестьянам, что с нее проку? Мы только околеваем. Вот что такое для нас война!

Солдат нелегко было втянуть в разговор. Байгильде все пытался вспомнить, где он мог видеть его. Тем временем тот в упор обратился к нему:

— Вот ты, брат, скажи, сколько ты в этой грязи, среди запаха пороха и крови гниешь в окопах?

— Я-то вторую осень. Я не с самого начала войны...

— Ты вторую осень. А вот я уже третью. Ну, скажи, ответь мне, чего мы за этот срок добились? Чего завоевали? Какая судьба нас ожидает?

— А что ожидает? Ничего...

— Вот то-то. Ничего! — с возмущением повторил солдат. — Такая война ничего, кроме нищеты и нужды, не даст рабочему и батраку... А вот если бы мы воевали за свободу, за землю, за хлеб да против царя и богачей... Тогда другое дело... Была бы надежда.

— Высек огонь! Ребята! Прикуривайте!

Шахиморату наконец удалось добыть тлеющий огонек.

— Давайте и мы закурим, — сказал Никита.

Все расселись поудобнее и задымили, пряча огоньки в рукава. А солдат все не унимался.

— Такое дело, братцы, — продолжал он, жадно глотая махорочный дым. — Нам надо свои штыки повернуть против тех, кто гонит нас сюда, бросить клич народу: «Долой войну! Долой царя и богачей! Да здравствует рабоче-крестьянская свобода!» И пусть от клича задрожит земля, рассыплются царские дворцы! Верно говорю, братцы?

— Верно! — сказал Байгильде. — Вернее не придумаешь!..

— Баня нужна! А то расплодили себе вшей! — поддержал его Никита.

Солдат воспрянул духом.

— Если не поднимемся сами, никто нам счастье не поднесет: ни попы, ни бог, ни царь... Об этом хорошо сказано в песне большевиков... Слышали?.. — и он неторопливо запел сиплым голосом:

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой...

Солдаты примолкли, вслушиваясь в слова необычной, но понятной душе каждого песни. Вдруг Байгильде радостно закричал:

— Матвей! Это же ты!.. Небось, забыл меня? Помнишь, голое поле на передовой, потом госпиталь?..

— На соседних койках, — подхватил Матвей, улыбаясь. — Помнишь, ты поправился, ушел, а я еще с койки не вставал...

— Ты, лежащий, больше нас знал. Дивились мы... Вслух нам книжки читал...

— Вижу, не забыл... браток...

Но разговор оборвался. В окоп влетел офицер. Солдаты, сомкнув плечи, прикрыли Матвея.

— Кто здесь распевает песни бунтовщиков? Кто натравливает против Его величества?

Офицер, растолкав солдат, рванулся вперед по траншее. Увидел вылезающего наверх Матвея, выстрелил ему в спину. Матвей без звука соскользнул на дно. Никита, Байгильде кинулись к нему.

— Угодил точно в сердце,— сказал Никита.

— Большевик он... в госпитале говорили... — горестно прошептал Байгильде. — Эх... жалко человека!..

Офицер не расслышал слов Байгильде, но успел походя разбить Никите рукояткой нагана плечо, пинком сбил с ног Байгильде, скорбно склонившегося над Матвеем.

— Большевика защищаете, свиные рыла! Пристрелю!.. — прокричал он и повернул назад, грязно матерясь.

Забыв от горя и злости о страхе, Байгильде и Никита выпрямились, будто изготовившись к последней смертельной схватке. Этот офицер с водянистыми глазами навыкате и щербатым лицом был средним сыном кулака Сергея Хитрова из Мраковки, известным под кличкой Федька Рябой. Ударить ни в чем не повинного солдата, избить его или даже пристрелить для

него было что раз плюнуть. Оттого солдаты его боялись и ненавидели. А бить человека Федька наловчился. У него тут большой опыт. Вот сейчас он, начав с Шахимората, разбив ему в кровь нос, врезал такую оплеуху Сахиулле, что тот упал как подкошенный. Дойдя снова до Никиты, он ехидно осклабился.

— А, земляк! Как живешь? — и замахнулся, нацелясь ему в глаза. Неожиданно Никита перехватил его руку, вывернул назад и процедил сквозь зубы:

— Потерпи, барин! Тихо! Руку свою поломаешь...

Байгильде, точно ждал этого момента, двинул Федьке кулаком в бок, и тот, скрутившись как змея, рухнул на мокрое дно окопа.

— Надо, братцы, без шума прикончить гада! — прошептал Никита.

Разом накинулись и остальные солдаты. Каждый хотел прощупать своим кулаком врага, выместить скопившуюся злобу. Но довести до конца дело им не удалось. Начался утренний артиллерийский обстрел, и первый же снаряд разорвался рядом. Все смешалось в одно: кровь, глина, снежная крупка... Никита, Байгильде и Федька Рябой оказались в госпитале. Очнувшись в госпитале, Федька первым долгом спросил про Никиту и Байгильде:

— Где они? Бунтовщики, большевики! Расстрелять! Повесить!

Врачи решили, что у него бред. Но при первой же возможности Федька написал рапорт на Байгильде и Никиту, назвав их большевиками, бунтовщиками, поднявшими руку на офицера Его величества.

Пока ходил рапорт, пока искали виновных, прошло еще несколько месяцев...

На улице липкий пушистый снежок. В перевязочной только двое: медсестра Марина — молодая женщина с усталыми глазами и бледным лицом и Байгильде с гипсовой повязкой на левой руке. Его лицо еще сохранило следы дождей и ветров на поле боя, и оттого он кажется моложе, здоровее.

Марина снимает с его руки гипс. А сама нет-нет да посматривает на его мужественное лицо и чуть печальные глаза.

«Что она всегда так смотрит на меня?.. Да, что это я? Наверное, на весь мир так же смотрят ее глаза. Ее доброе сердце отражается во взгляде... Чистой души человек», — думает Байгильде. Сестра неторопливо, осторожно режет гипс.

— Больно?

— Разве может быть больно, когда касаются ваши целебные руки, сестра милосердия? — шутит Байгильде. — Отдирайте смелее.

Марина сдержанно улыбается.

— Поговорите у меня...

Ее лицо вспыхивает. Она становится краше и милее. Байгильде любуется ею.

У сестры подрагивают руки, на лицо набегает грусть.

— Не смотрите на меня в упор, — говорит она с неловкостью. — Смотреть нельзя...

Байгильде здоровой рукой потрепал Марину, как ребенка, по спине.

— Эх, Марина, Марина, дочка! Ты же мне как дочь. У меня и свои дочери есть...

Марина еще больше раскраснелась.

— Не трожьте. Нельзя.

Три месяца она ходила за ним, ухаживала, ласкала теплым взглядом, и теперь ему было трудно расставаться с этой великодушной и милой женщиной.

«Как подумаешь, чудная эта штука жизнь: люди встречаются, знакомятся, роднятся, влюбляются друг в друга... Потом расстаются. Сагура, Шахит-бабай, Никита, Суакай-абей, Матвей... их не забудешь. И Марину мне, видно, не забыть...»

— Готово! — тихо прозвучал голос Марины. — Теперь снова можете воевать.

— Спасибо, Марина.

Байгильде мнется, застыв перед сестрой, словно хочет сказать что-то очень важное. В голубых глазах Марины слезы.

— Вот так всегда... Неожиданно появляется тот, кто любви достоин, и уходит, погибает... Так и мой муж ушел и... погиб. Он писал, что его с поля боя вынес один башкир. Тогда он поправился от ран, погиб-то позже... Смелый он был, себя не жалел. Я все представляла себе его спасителя, и стало мне казаться, что похож он на тебя, Байгильде. Потом я начала воображать, что ты и есть тот башкир. Этими вот сильными руками поднимал будто его, эти глаза видели его...

Как будто яркий луч пронзил сердце Байгильде. Он, сам того не ведая, прижал ее, как ребенка, к груди.

— Эх, Марина, Марина!.. Деточка!.. Светлая ты душа! Как звали твоего мужа, милая красавица?

— Матвей...

Байгильде не успел ни удивиться, ии ответить Марине. В перевязочную, стуча сапогами, вошли в сопровождеиии главиого врача два жандарма и поволокли его за собой. «Должно быть, дошел офицерский рапорт, — мелькиула у Байгильде мысль. — Знать, Федька Рябой жив! Не успели мы его тогда придавить. И Никита попался, коли так...»

Марина с помутившимся взором, бледная, как бумага, прижалась к стене.

— О, боже! Что же это такое?! За что вы его, господи?!

В дверях Байгильде повериулся к ней.

— Прощай, Мариия! Спасибо тебе за все! — только и успел сказать он.

XVI

В полдеиь Сарбиямал собралась в аул Якуп, чтобы загодя прибыть к завтрашнему базару, и велела Иштугану запрячь в иовеиькие саии-розвальии недавио куплеииую бурую кобылу. Оиа иногда любила выезжать накануне, пофорсить и, как говорится, себя показать и на других посмотреть. В город оиа ездит одна, а вот на деревеиский базар — только с кучером. Чтобы встать на постой у Батыймытутай и заодно показать бывшей своей хозяйке, что не уступает ей ни в чем. Вообще-то внешне она и вправду стала еще больше походить иа Батыйму-тутай: на ней городские белые, в красиых яблоках валеики, пуховая шаль, лисья шуба, поверх которой накинут волчий тулуп. Сарбиямал раздалась вширь, в походке появилась степенность. Вот она, грузио переваливаясь, подошла к саням, села

сбоку, свесив ноги, нетерпеливо ткнула в спину Иштугана, сидевшего в тесных козлах, и сухо приказала:

— Гони! Чтоб с ветерком!

Кобыла, однако, тронулась неохотно. Сарбиямал успела обернуться к Янеш, стоящей у порога, и повторить свои наставления:

— Чтоб присматривали за моим хозяйством, за скотиной! Прозеваете, как окотится моя длиннохвостая овца, ягнят моих застудите, душу вытрясу! Чтоб глаз был за всем! Ух, дармоедки!..

Янеш привычно промолчала. Сани медленно, поскрипывая, насилу выехали на улицу. Янеш закрыла ворота и вбежала в опустевший дом.

Глаза у девочек засияли. Буйная радость, оттого что они наконец-то остались одни и совсем свободны, даже лишила их на время дара речи. Они молча поглядывали друг на друга: «Ах, что бы такое придумать?!»

Зима в этом году была тревожная. Сарбиямал перестала ездить в Оренбург, и девочкам удавалось провести без мачехи редкие часы. Вот Емеш встрепенулась, как воробей на ветке, и воскликнула:

— Я-неш! Дай-ка твои сапоги!

— Зачем? — удивилась Янеш. — Они и так еле дышат, прохудились совсем...

— Девочек на аулак-аш[1] позовем. Вот весело будет, правда, апай?!

«Апай»! От этого обыкновенного в обращении к старшей сестре или тетке слова, выле-

[1] Аулак-аш — обычай девочек собираться в складчину в доме, где родители в отъезде.

тевшего у Емеш непроизвольно в минуту возбуждения, стало не по себе и Емеш и Янеш. А дело было вот в чем: до сих пор Емеш никак не могла заставить себя говорить «апай» своей плаксивой и уступчивой сестре Янеш. С другой стороны, обращаться к тому, кто старше тебя, не прибавляя к имени уважительного обращения, считалось верхом невоспитанности и порицалось всеми. Потому при посторонних Емеш, как ни смешно и грустно это было, просто никак не обращалась к сестре, чтоб скрыть, что она зовет ее только по имени. Теперь Емеш будет легче произнести раз вырвавшееся слово. Так что в один миг Емеш почувствовала громадное облегчение. А Янеш одновременно с этим как бы подрастала на вершок. Емеш наконец-то признала ее старшинство, тем более что Янеш была старше своей сестрицы почти на три года.

— Ну ладно, сходи, хылу, — сказала Янеш, выйдя из затруднительного положения. — Только быстрее, а то я опоздаю пойти в загон.

— Я мигом! Я тотчас обернусь, апай! — Емеш со звонким смехом накинула шерстяной платок сестры, сунула босые ноги в ее сапоги и, громыхая ими, выбежала из дому, решив про себя заодно навестить свою Бибеш-апай, которую не видела с осени.

В этой молчаливой, удивительно терпеливой маленькой девочке вместе с неудержимым живым интересом к жизни, ко всему окружающему миру, к судьбам людей сохранилась живая беспокойная детская душа, которую не могла задавить никакая грубая сила на свете, и при малейшей возможности она ключом выбивалась наружу. В такие минуты обычно

грустная Емеш превращалась в самую веселую, самую отчаянную, самую озорную девчонку. Янеш, увидев, как проснулся в сестренке этот знакомый ей бесенок, озабоченно подумала, стоя босая на холодном полу: «Лишь бы не натворила чего...» А Емеш тем временем уже вихрем подлетела к дому бабки Таибы.

С уходом на фронт Хаммата и Закира бабка Таиба всю материнскую любовь перенесла на своего Хисбуллу, которого особо выделяла и раньше, гордо называя его шакертом. Когда Хисбулле из-за плохого зрения дали белый билет, она сочла это за божью благодать и примирилась с его нескладным характером. Бросила привычку чуть что махать перед его носом своей плетью. Через слово называет его «моим сыночком», «дорогим мальчиком». Требует, чтоб Бибеш так же верно служила ему, относилась с почтением. Вместо сына, сама ревнуя Бибеш ко всем людям, она ограждала ее от людских взоров, следила за каждым ее шагом. А Бибеш между тем все росла и крепла. За шесть лет, что прожила здесь, она превратилась в стройную красивую женщину. На тонком лице с черными бровями заиграл румянец. Во взгляде появилась решительность, в походке — уверенность.

— Точно свекровь ее в молодости, не ходит, а летает! — начали поговаривать в ауле те, кто помнил молодые годы бабки Таибы. — Недаром говорят, что невестка идет в свекровь. И у этой все будет ладиться, все дела будут делаться. И за словом в карман не полезет... — А сравнивая Бибеш с ее мужем, не могли сдержать горечи. — Говорят, червь лучшее яблоко точит. И верно ведь! Этот Хисбул-

ла весь в отца, покойного, жиденький, хилый... А жена ему какая попалась?! Бабка Таиба одна все хозяйство вела, сама детей растила, и Бибеш, по всему видать, сможет!

У Бибеш теперь любая работа спорится: и в поле, и дома. Бабке Таибе уж и придраться не к чему. А в шитье и вязании она сама уступает невестке. Лишь одно мучает бабку — то, что из Бибеш слова не вытянешь.

«Сожмет губы и молчит... Что у нее там на уме? — часто задает себе вопросы бабка Таиба. — Может, задумала что? Любит ли она моего сыночка? Не приведи господь, если бросит, как Салима!»

Тревожит бабку и то, что Бибеш до сих пор бездетна.

«Хотя бы ребеночка родила. Тогда, может, не ушла бы, без любви прожила, привыкла бы...»

А Бибеш по-прежнему чувствует себя в этом доме временной прислужницей. Ничто не привлекает здесь ее взора. Живет в ней только слабая надежда, что и ей когда-нибудь улыбнется счастье. Чувство любви пока тоже незнакомо ей. Она знает, что надо принимать все как есть, быть верной женой, не раскрываться перед людьми, выставляя напоказ раны на сердце, чтоб не быть смешной. То ли сама она это придумала, то ли слышала когда об этом обычае, но жила она, безропотно подчиняясь ему.

Дом бабки Таибы всегда и манит, и пугает Емеш. Вот и сейчас, стоило ей перешагнуть его порог, как всю решительность, с которой неслась сюда повидать сестру, точно рукой сняло, и она застыла у двери возле печи. В оча-

ге потрескивали толстые березовые поленья. В большом казане лениво варилась баранина, от нее шел вкусный запах. Вокруг была такая чистота, было так аккуратно прибрано, тепло, светло, что, казалось, в доме стало еще просторнее. Полы и стены выскоблены дожелта, блестят. Это, по убеждению односельчан, верный признак того, что в доме работящая невестка.

«Ой, как красиво! — мысленно восхитилась Емеш. — Так, наверное, бывает только в сказочных дворцах падишаха!»

Она чувствовала, как теряется среди непривычной чистоты, яркого света в своем грязном платье, дырявой шали, стоптанных, задранных вверх носками сапогах.

«Ну, чего я вылезла на люди, как страшилище? Надо скорее бежать!» — твердила она себе, но с места не двигалась, словно очарование дома пригвоздило ее к полу.

Емеш, забыв о времени, застыла, прислонившись к добротной, сверкающей белизной, горячей печи. А напротив нее, размашисто пуская веретено, пряла шерсть бабка Таиба, белолицая, величественная, большая, сама тоже почему-то напоминающая Емеш печь. Покрытая волосом крупная бородавка на ее подбородке слегка вздрагивала в такт ее взмахам.

«Неужели у них зимой водятся мухи? — начала гадать близорукая Емеш, глядя на бабку. — Вот чудно!»

Бабка Таиба с жалостью смотрит на нее, покачивает головой. Но лицо ее остается властным, осанка — величественной. Может,

поэтому не доходят до Емеш ее приветливые слова.

— Как вы там поживаете, а, козаса? Как наша Сарбиямал-козагый? — спокойно ведет свою речь бабка. Потом, как все старушки, начинает причитать. — Емеш-козаса, и как только ты добежала до нас, бедненькая!.. Закоченела, дрожишь вся, страдалица! На улице такой злой февральский буран. Вижу, насквозь продуло тебя, пока добежала до нас... Проходи же, коли пришла, садись, погрейся...

Похоже, бабка Таиба свое доброе отношение к Бибеш сейчас готова перенести и на ее сестер. Емеш не нравятся ее слова «бедненькая», «страдалица». Она не любит тех, кто относится к ней, как к сиротке. Ей кажется, что своей пустой жалостью они, не облегчая ее участи, только еще больше унижают, отнимают у нее уверенность в себе, вселяют уныние. А она не хочет быть ни бедненькой, ни несчастной, оттого сторонится таких людей, старается избегать их. Но сейчас Емеш пропустила мимо ушей жалостливые слова бабки, засмотревшись на ее крупную фигуру, на крепкие большие руки, в которых еще чувствовалась та сила и сноровка, что позволяли ей тягаться в полевых работах с мужчинами, и вздохнула: «Эх, быть бы мне такой большой и сильной, как она! Тогда мне никто не был бы страшен... даже мачеха...»

Бибеш в большой деревянной чаше месила тесто для халмы[1], изредка посматривая на Емеш, но не осмеливаясь заговорить с нею при

[1] Халма — тонко раскатанное, нарезанное квадратиками тесто, вид лапши.

свекрови. Ее маленькие, кругленькие, как копытце жеребенка, кулачки безостановочно, ритмично пляшут над тестом. В такт ее движениям звенят сулпы[1] в ее косах, браслеты с подвесками на запястьях, словно они тоже отстукивают какую-то, созданную только для этой работы, веселую мелодию. И кажется, что не тесто месит Бибеш, а танцует необычный веселый завораживающий танец — так размеренны, красивы и точны все ее движения.

Под твердыми кулачками тесто пузырится, трещит и лопается. Емеш знает, что тесто для халмы надо месить долго, тогда только оно станет мягкое, как воск, и будет раскатываться тонко, как бумага. Такая прозрачная халма не разваривается и не слипается, а когда берешь ее в рот, она прямо сама тает на языке. Чтобы замесить, раскатать такое тесто — тоже нужны сноровка и опыт. Емеш переключила внимание на сестру:

«Какой красивой стала Бибеш-апай! И я могла бы так же месить тесто. Эх, когда же я стану такой же ловкой невесткой, как моя Бибеш-апай?.. Ой, а если свекровь попадется такая же суровая, как Таиба-козагый?.. Бывают ли добрые свекрови?»

«Вот еще! — будто заговорил у нее в глубине души глухой голос. — Бывают хуже! Такие, что костный жир сосут у своих невесток!..»

У нее похолодело тело, по спине пробежала дрожь — Емеш вспомнила сказку про «Голову Красного быка». В этой страшной и печальной

[1] Сулпы — украшение из камней в оправе, по краям которых нацеплены серебряные монеты (является продолжением накосника).

сказке, внезапно завладевшей сейчас ее сердцем, говорилось о судьбе бедной сиротки... Выдали ее замуж. Далеко-далеко за дремучие леса увез ее муж. Свекровь у нее оказалась не просто злой, а ужасной мэскэй-абей [1]. Каждую ночь она у невестки высасывала костный жир. Невестка пожелтела, высохла. Решила тогда свекровь съесть ее, а сама сделала вид, что отправляет ее в родной аул, погостить у родителей. Обрадовалась бедняжка, запрягла присланного ей родителями иноходца, положила в арбу гостинцы: голову Красного быка, семь караваев хлеба, усадила двух дочек и поехала. А свекровь приняла образ серого волка и кинулась следом. Догнала и рычит:

— Отдай один каравай, не то тебя съем!

Бросила невестка, бедная, каравай и быстрсе погнала коня, но свекровь снова догоняет:

— Отдай один каравай, не то тебя саму съем!

Так она съела все семь караваев хлеба, голову Красного быка и поочередно обеих девочек. Наконец догнала и съела лошадь. Пока свекровь управлялась с лошадью, невестка успела прибежать к родному дому — дому своего отца. Ночь. Темно хоть глаз выколи. Она стучится в дверь.

— Атай, атай, открой дверь!

— Моя дочь по ночам не бродит! — ответил ей отец.

— Апай, апай, открой дверь!

— Наша дочка по ночам не бродит! — ответила ей мачеха, а невестка уже слышит топот мэскэй-абей. Крикнула она брату и его жене:

[1] Мэскэй-абей — ведьма, злая колдунья.

— Агай, агай, открой дверь! Енге, енге, открой дверь!

— Наша сестра по ночам не бродит! — отвечал ей брат.

— Наша бикэс по ночам не бродит! — отвечала его жена.

Тут подоспела мэскэй-абей, съела невестку, осталась на дверях только прядь длинных шелковистых волос. Утром встал ее брат, присмотреть за скотиной, нашел эту прядь и обрадовался:

— Вот кстати! Только вчера струна в скрипке лопнула.

Натянул он волос на скрипку, заиграл, и все в доме ахнули. Сколько бы он ни брался за смычок, скрипка все время пела одну и ту же грустную песенку:

Голову Красного быка проглотила свекровь,
И семь хлебов моих проглотила свекровь,
И двух дочек моих проглотила свекровь,
И резвого коня моего проглотила свекровь,
И жизнь молодую мою проглотила свекровь,
Все-все проглотила ненасытная моя свекровь...

Поняли они, что этой ночью стучалась их собственная дочь, и горько заплакали. Но что толку плакать потом? Если ты добр душой, пожалей в нужную минуту, протяни руку помощи в беде!

Бабка Танба покачала головой, глядя на онемевшую Емеш, и повторила:

— Емеш-козаса, что ж ты не сядешь? Что как столб встала у печки?

Емеш вздрогнула, покраснела, стыдясь своих мыслей, но опять не сдвинулась с места. Бабка оглядела еще раз ее испытующим взглядом и покачала головой.

— Қилен, вынимай мясо. Должно быть, сварилось. Сейчас и нашу козасу мясом угостим, — повелительно сказала она.

Бибеш, будто давно ожидала этого момента, с облегчением бросила тесто, шлепнув им о доску, и начала перекладывать громадные куски мяса из казана в ашлау[1]. Ей не терпелось скорее подать еду на стол в надежде, что Емеш хоть раз поест у них. Жалея и любя свою маленькую сестренку, она при редких встречах всегда хочет приласкать, утешить ее, развеселить, а когда в доме никого нет, сует что-нибудь поесть. Но Емеш, боясь, что сестре попадет от бабки Таибы, ни разу не притрагивалась к еде, — лишь посмотрит большими задумчивыми глазами и мотнет копной вьющихся волос. Сейчас Бибеш была уверена, что Емеш не сможет отказаться, коли угощает сама бабка Таиба. Она быстро выловила все мясо и поставила на скатерть перед свекровью.

— Сварилось, кайнем[2], даже кажется, немного разварилось...

— Ладно, — сказала бабка Таиба, откладывая в сторону пряжу. Она сняла с выемки в печи чугунный с узорами кумган, вымыла горячей водой руки над тазиком и снова села на урындык. Ласково глядя на Емеш, она начала не спеша нарезать дымящееся мясо. — Коли говорят садись, надо садиться, козаса, а то не возьму тебя в невестки.

Бабка Таиба любила пошутить на эту тему. И при встрече часто повторяла:

---

[1] Ашлау — большое деревянное блюдо.
[2] Қайнем — свекровь (обращение).

— Емеш, видать, работящей будет, деваться некуда, придется брать се для нашего Байрамгали.

Этой бесхитростной шуткой она, конечно, хочет приободрить маленькую сироту. Но Емеш воспринимает ее иначе. Появляется какое-то тяжелое чувство на душе, ей становится страшно, и гаснет даже желание стать такой же сноровистой невесткой, как Бибеш.

Правда, внук бабки Таибы, по мнению Емеш, самый хороший мальчик в ауле. У него в отца, Хаммата-батыра, большие черные глаза, ясное лицо, широкие плечи. Он смелый, честный, сильный. Она сама выделяет его среди других сверстников. Все, кроме бабки Таибы, называют его Байрасом. Емеш нравится и его имя. Есть в нем для нее необъяснимая теплота и радость. Только почему-то шутка бабки Таибы «возьму в невестки» всегда пугает ее и даже иногда вызывает в ней неприязнь к Байрасу. Вот и сейчас она восприняла шутку как злую насмешку. «Зачем ей такая оборванная, грязная девчонка? Разве она подумает когда-нибудь взять такую, как я, в невестки?» — обиделась она, едва сдержав слезы. И в тот же миг — стоило только сватье упомянуть слово «невестка», как доброжелательный, светлый, сказочный дом, почудилось Емеш, потускнел, помрачнел, в нем задул жестокий ветер и вышвырнул ее вон за дверь. Она сама не сообразила, как это произошло.

— Стой, глупая! Поешь же... — выскочила за нею следом Бибеш.

Емеш подвернула себе ногу, полетев с крыльца, но все равно не далась сестре. Как

дикая козочка, вприпрыжку проскочила двор и понеслась дальше по улице.

Бибеш остановилась у ворот, чуть не плача: «С голоду помрет — а из чужих рук еду не примет... Эх, глупенькая!»

До дома Сабиры и Самиги бежать было всего пять-шесть дворов, но Емеш промерзла насквозь. Оттого их маленький домик, пропахший смолой, кожей, воском, ей показался очень уютным. Карасэс-абей дома не было, она, конечно, пошла к кому-нибудь на чай. Не было и Сабиры и Самиги, они наверняка сейчас катаются по льду на речке. Тимербай сидел у окна на топчане, держа на коленях сапожки.

— Емеш-карындаш [1] пришла! — с доброй улыбкой встретил он ее. — Проходи, проходи...

Базыян придвинулась к краю сундука, стоящего возле печи, дала ей место рядом с собой.

— Садись, погрейся, хылу.

Емеш присела и, поглаживая закоченевшими руками теплую печь, обежала взглядом изнутри дом. Ничего нового, что могло бы привлечь ее внимание, здесь не появилось. Такие же, как и у них, обледенелые оконца и узкий, покрытый тряпичным паласом урындык с лежащими на нем вдоль и поперек одеялами, поверх которых были расставлены несколько подушек с полинялыми наволочками. На свежепобеленной небольшой печи переливались узоры, наведенные гусиной желчью. У дверей на вешалке из деревянных кольев торчал один лубяной хомут да вожжи из лыка. На матице висела небогатая одежда. Вот и все добро. Но

[1] Карындаш — родственница, младшая сестра.

зато у Тимербая в руках были такие сапожки, какие ей доводилось видеть только издали. На тонких высоких каблучках блестели медные подковки; подошва и задники сапожек были украшены узорами из маленьких шляпок медных гвоздей. Тимербай, словно любуясь своей мастерской работой, порой рассматривал сапоги на вытянутой руке, как бы со стороны, поворачивая их так и сяк. У Емеш загорелись глаза, ведь такие сапожки — мечта всех девчонок. «Эх, хоть бы раз надеть их!..»

Тимербай грустно вздохнул, посмотрел на Емеш.

— Тебе бы носить их, а не пустышке Алтынбике!.. Э-эх...

Ему никто не ответил. Базыян и Емеш молча смотрели на сапожки.

— Ладно, не будем грустить, карындаш,— сказал он бодро. — Кто знает, может, в таких сапожках сегодня ходить Алтынбике, а завтра тебе... Так ведь, карындаш?..

— Опять завел свое... Эх, дитя, дитя... — протянула со вздохом Базыян. — Все грезит впустую...

Тимербай с досадой швырнул сапожки на урындык, вскочил и, заложив руки за спину, поковылял взад-вперед от окна до печи, потом потянулся и достал с полочки над дверью тонкую потрепанную книжку.

— Послушай, карындаш, я прочту одно стихотворение.

У Емеш был свой собственный мир, созданный песнями, стихами, сказками, в котором она находила отраду для своей израненной души. Внимание Тимербая взволновало ее. Она с трепетом, густо покраснев, приготови-

лась слушать. Тимербай, поплевав на пальцы, начал листать зачитанные страницы, оставляя на них новые следы от вымазанных в смоле рук.

— Вот... «Лестница». Стихи Габдуллы Тукая, — сказал он с очень довольным видом. — Был сиротой, а вырос — стал поэтом. Слушай.

Емеш уже знала «Мяубике» Тукая. Иштуган выпросил тогда у Карасэс-абей письмо Тимербая с этим стихотворением и приносил почитать. Емеш сразу же выучила его наизусть. Она и это стихотворение запомнит навсегда. Тимербай читал гладко, нараспев... А на последние четыре строки сделал особое ударение.

«Гордясь, ступенька верхняя твердит: «Я выше вас, вы ниже.
Смотрите, нижние, где я! Теперь я к небу ближе!»
Явился человек, и лестницу он вдруг перевернул —
Ступени нижние поднял, а верхнюю к земле приткнул»,—

— Ну, карындаш, уразумела?

Емеш ничего, кроме прямого смысла, не уловила, потому отрицательно покачала головой. Базыян тоже, видно, ничего не поняла.

— Хватит, дервиш, того, что своими книжками мутишь головы сорванцам, — проворчала она. — Отвяжись от нее...

Емеш стало жаль Тимербая.

«За что такого доброго человека называет дервишем Базыян-енге?»

Базыян, развернув скатерть, взяла большой кусок хлеба, намазала сверху толстым слоем топленого масла и протянула Емеш.

— На, хылу, подкрепись немного.

Когда в дом приходят дети, особенно если это сироты, то обычно им всегда суют хлеб с

маслом, мясо, молоко, в общем, у кого что есть под рукой. А Емеш, не желающая признавать себя жалкой сиротой, как бы ни изводил ее голод, ни от кого таких подачек не принимает. Свою дикую привычку убегать из домов с сердобольными, жалостливыми хозяевами она забывает только здесь, в доме бабушки Карасэс, чтобы не огорчать хороших людей отказом. Правда, она здесь и не боится взять предложенный кусок, потому что никто не запричитает со слезой в голосе, когда она начнет есть. Ей кажется, в этом доме ее принимают как равную. И все же, взяв кусок из рук Базыян, она, чтоб не выказывать свой голод, старалась есть нарочито медленно. А Тимербай, как разобиженный ребенок, у которого отняли любимую игрушку, опять затих за работой.

Тем временем вернулись домой с речки Сабира и Самига. Следом пришла старушка Карасэс. В ее руках был знакомый легкий посошок. Тонкое ее тело за эти месяцы словно согнулось еще больше. На лице была тревога и озабоченность. Приговаривая себе под нос: «О аллах, убереги нас от злых языков!..» — она поднялась на урындык, прислонилась спиной к подушке, осмотрела сына и сноху, нетерпеливо постукивая жилистыми руками по своему острому колену, и, часто моргая ясными голубыми глазами, заговорила:

— Послушай-ка, сынок, Тимербай... В народе слухи беспокойные ходят. Говорят, старшина Собхан и мулла Габбас опять грозятся будто проучить тебя. За то, что ты речами своими неверными да книжками сатанинскими молодежь и баб молодых с пути истинного сбиваешь. А Шымбай-Куштан им все про тебя

доносит... Ему, волку, все крови подавай. Дня не проживет, чтоб не погубить человека... О аллах... Откуда берутся такие?

— Ладно, мать, ладно, ты уж так сильно не расстраивайся! — мягким голосом остановил ее Тимербай. — Им не так-то просто будет сгубить меня...

— Тоже скажет! — съязвила Базыян. — И не таких, как ты, слопали!

— Как бы они не сотворили с тобою того же, что с Хабиром, вот чего боюсь я, сынок! И сам ты такой неосторожный. Завтра базар... Тебя ж небось опять туда потянет... Без дела, без нужды идешь... Я это наперед знаю...

— Пойду, мать, пойду. Верно говоришь. А как мне быть? Говорят, волков бояться — в лес не ходить.

— Зря ты идешь туда, сынок.

— В лес не пойдешь, дрова не привезешь, без дров дом не протопишь. Так замерзать, что ли? Я испугаюсь, другой испугается... Кому же тогда спасать без вины виноватых? У нас нет права отказываться от борьбы, мать. А кто кого съест, наперед не угадаешь. По-моему, и старшине Собхану не всегда жирный кусок будет перепадать.

— Может, оно и так... Но осмотреться ведь не помешает, — сказала мать, смиряясь.— Может, сынок, пропустишь один базар?

— Эх, кайнем, впустую слова на него тратишь, — с досадой махнув рукой, сказала Базыян. — В таких делах он нас не послушается. Да и какие мы тут советчики?! Так что — пускай сам разбирается... Будем уповать на него самого, да на аллаха, кайнем...

— Базыян правильно говорит, — с довольной улыбкой поглядел на жену Тимербай. — Есть на свете дела, в которых ни мать ни жена не помогут, самому надо решать... С моими ногами много не походишь. А на базаре ты стоишь, а вокруг себя народ сам собирается. Говори, с кем хочешь...

— Так-то оно так... Они, чует мое сердце, готовят тебе ловушку на завтрашнем базаре. Слышала, будто Куштан намекал. Боюсь я за тебя, сынок... — продолжала Карасэс-абей уговаривать сына.

Видя, что не будет конца этому малопонятному разговору, Емеш еще раз кинула взгляд на щегольские сапожки в руках Тимербая, прошептала на ушко Сабире и Самиге, зачем она приходила, и быстренько удалилась. Ей надо было еще повидать Шауре, Хасбиямал и других девочек.

XVII

Созвав девочек, Емеш прибежала домой, вымыла солью до блеска чашки, блюдца, тарелки; упрятала бьющиеся вещи в обгрызанный мышами и зализанный телятами застекленный шкаф, имевший вид, будто сохранился еще со времен Ноя; убрала с урындыка одеяла и подушки на урын, оставив там только в один слой палас. Напоследок отскоблила и отмыла дожелта пол, залезая скребком в каждую щелочку. А Янеш тем часом напоила корову, подбросила сена, закрыла ворота загона. Потом принесла воды в дом, затопила печь — и дом словно ожил. А когда Емеш протерла стеклянный пузырь семилинейной лампы, ви-

сящей под потолком на матице, залила в нее керосину и зажгла, то стало совсем нарядно. Скоро начали сходиться девочки. Собраться в таком доме, где нет взрослых, вдоволь повеселиться, всю ночь напролет рассказывать сказки, всем вместе заночевать — одно из самых интересных развлечений девчат в Ильсегуле. А если в аулак-ой [1], в гости к веселящимся девочкам придет какая-нибудь бабка, умеющая петь и сказывать сказки, то значит вечер и вовсе удался. Раньше украшением таких вечеров бывала бабка Карасэс со своими нескончаемыми волшебными сказками. Она не заставляла себя долго упрашивать. Приходила, любовалась их шалостями, а когда все ложились спать, начинала рассказывать и не умолкала до самой зари. Емеш слушала ее с таким увлечением, что, кажется, и сейчас может повторить слово в слово, с теми же интонациями и песенным ритмом все сказки бабки Карасэс. Последний год бабка перестала ходить в аулак-ой. То ли изменилось время, то ли жизнь у нее пошла по-иному. По этой причине роль бабки-сказительницы теперь исполняли вдвоем Шауре и Емеш.

Первыми пришли Сабира и Самига. Они принесли полфунта сливочного масла и полный тустак пшена. За ними прибежала босая, закутанная в видавшие виды шаль своей матери Шауре. Появилась зеленоглазая Захира, с таким же, как у своего отца Ахметши, взглядом исподлобья, за нею — Хасбиямал, плаксивая, с приплюснутым носиком, добродушная дочка суфыя Тулыбая и красивая, белолицая, холе-

[1] Аулак-ой — дом, где взрослые в отъезде.

ная, как жеребеночек, Гульехан, дочка муллы Габбаса. Захира всучила Яиеш тустак пшена и, бросив шаль и бешмет на сундук у печки, по-хозяйски уселась погреться. Она держится уверенно в любых гостях, ни с кем не считается. За эту ее привычку и за злой, капризный характер Емеш не любила ее. Она даже не приглашала ее сегодня. Захира пришла сама, как бы ей назло.

— Ай-я-яй! Без меня хотели, видите ли, собраться! А я все равно пришла, вот! — готовая к словесной перепалке, она обвела присутствующих надменным взглядом. Но желающих препираться не было, и скоро она уже весело носилась по дому.

Пришли еще девочки, принеся с собой пшена, масла, молока, керосину. Яиеш встречала их с ясным лицом и широкой улыбкой — как добрая хозяйка. Больше всего ее обрадовал керосин, потому что мачеха перед уходом из дома всегда отмечала, сколько хлеба и соли остается, сколько керосина.

Постепенно в дом набились почти все девочки аула. Не было только Алтынбике, дочери старшины Собхана. На такие вечера ее не пускают, потому ее отсутствие и сейчас прошло незамеченным. Предоставленные самим себе девчата устроили всеобщую кутерьму: носились, пели, плясали, хохотали до упаду. В котле начала булькать пшенная каша на одном молоке. Яиеш и Сабира, пританцовывая и напевая, принялись перемешивать кашу, чтоб она не пригорела.

Буль-буль, каша варится,
Масло в кашу валится,
Все к нам в гости зарятся,

А к кому им зариться —
У нас каша варится!

Под песенку каша сварилась очень быстро.

— Вот видишь, уже готова! — радостно воскликнула Сабира. — Моя бабушка говорила, будто пшеннoе зернышко очень молоко любит, и тому, кто варит, говорит: «В воде я надвое делюсь, а в молоке на пятьдесят!»

— Не на пятьдесят, а на все сто пятьдесят! — подхватила крутившаяся рядом Захира.

— Емеш, неси скатерть! — распорядилась Янеш.

— Наша каша готова! Наша каша готова! — заплясала Емеш.

Девочки бросились занимать места на урыидыке и образовали круг, на середину которого Сабира и Янеш вдвоем поставили большое деревянное блюдо, в которое была вывалена вся каша и все принесенное масло. Девочки уже держали прихваченные с собой из дому деревянные ложки. Когда едят аулак-аш, нет ни бедных, ни богатых, ни старших, ни младших. Каждый внес свою долю — потому каждый здесь хозяин. Может, поэтому эта каша вкуснее всех других каш и так весело она естся. Поначалу девочки ели с охотой, церемонно подцепляя кашу только со своей стороны и аккуратно макая ее в масло, а наелись — пошли шалости. Первой начала бойкая Захира.

— Говорят, с Урала реки текут на юг вот так! — сказала она и прорыла ложкой масло в свою сторону.

— Текут и на север, — Шауре тоже прорезала к себе речку из масла.

Другие баловницы последовали за ними. Растопившееся масло, которое, как луна, поблескивало в центре блюдца, сейчас пустило во все стороны лучи и стало напоминать цветущий подсолнух.

— Масло превратилось в солнце! — засмеялась Шауре.

Емеш не отставала от подружек.

— Когда наступит конец света, девочки, все пойдет кверху тормашками, вот так! — сказала она и перемешала всю кашу. Каша, плавающая в масле, стала еще вкуснее, девочки снова подналегли на нее. Когда все наелись досыта и больше никто не мог есть, Захира, Шауре, Емеш начали кормить насильно со своих ложек, вырывающихся догоняли, вымазывали им кашей лица. Началась беготня, поднялся визг и смех. Наконец, кашу все же прикончили.

— В жмурки сыграем, в жмурки, девочки! — прокричала Емеш, охваченная неуемным весельем.

— Давайте! Кому водить? — зашумели все.

— Я! Я первая начну! — сказала Емеш.

Она повязала платок, чтобы видеть под ногами, и, широко расставив руки, начала гонять визжащих девчонок. Те носились с урындыка на пол и с пола на урындык. Но Емеш быстро переловила всех. Потом водили Шауре, Захира, Самига. Наконец платок приехал к плаксивой Хасбиямал.

— Вправду, не видишь? Не будешь подсматривать?.. Сколько пальцев?.. — показывая пальцы, тщательно проверяя, затягивала Емеш платок так, что совсем придавила и без того приплюснутый ее носик.

Хасбиямал, хотя ей уже было четырнадцать лет, по своей кротости и слабохарактерности не стала сопротивляться и попалась на удочку Емеш. Ничего не видя вокруг, беспомощно и неуклюже вытянув вперед руки, она несмелыми шажками семенила по полу. Емеш, чтоб продлить ее страдания, шикнула:

— Не шуметь! Пусть сама ищет!

Все стали ходить на цыпочках. А Хасбиямал, натыкаясь то на шкаф, то на сундук, закружила на одном месте. Когда она, отчаявшись кого-либо поймать, надулась и решила сбросить повязку, кто-то нарочно поддался ей. Но тут же снова все стихли. Игра кончилась тем, что Хасбиямал в сердцах выкрикнула:

— Смеетесь надо мной!.. Нарочно все попрятались! Больше не играю с вами!.. — И сорвала платок с глаз.

Потом пошли игры «Хан и Визирь», «Дедмедведь», «Ищи перстень», «Летит-летит». Емеш больше всего любила «Летит-летит» и «Было много, много нас». Тут надо было ухо держать востро, не зевать и иметь выдержку.

Началась игра «Было много, много нас». Девочки уселись в круг. Водила Сабира:

Было много, много нас,
А когда настал наш час,
Мы на небо поднялись,
А к утру сорвались вниз!
Гоп!..

Все тоже хором крикнули «Гоп!» и замолчали. Побеждает тот, кто дольше всех продержится, не заговорит, не рассмеется. Кто первым издаст звук, того все щелкают по лбу. Конечно, трудно удержаться от смеха, когда рядом сидят такие, как Шауре, Захира, Саби-

ра, словно созданные для этой игры — такие у них ухмылки и ужимки. Когда большинство девчонок уже получило по лбу, а остальных, в том числе и Емеш, так и не удалось рассмешить, перешли к игре «Летит-летит». Правила в этой игре такие: если называется птица, надо поднять руку и сказать: «летит», а иначе руку поднимать нельзя.

Начинала Захира. Девочки, следуя ей, долго сидели, стуча пальцами по урындыку и приговаривая:

— Летит-летит-летит...

Потом Захира внезапно крикнула:

— Гусь летит! — и вскинула руку кверху. Все, кто успел сообразить, тоже подняли руки и прокричали:

— Гусь летит!..

Тем, кто не успел сразу поднять руку, до покраснения отщелкали лоб те, кто успел поднять свою руку. Захира усыпляя бдительность, выкрикивала поначалу подряд все, что летает и тут же следом выкрикивала: «подушка летит», «самовар летит». Кто без раздумья повторял «самовар летит», тот, конечно, под всеобщий хохот зарабатывал себе щелчки.

На этот раз больше всего досталось Хасбиямал, Самиге и Шауре. Самига получила по своей беспечности, Хасбиямал — из-за медлительности, Шауре — от невнимания, занятая придумыванием новых проказ.

Зато в пляске никто не мог обойти Шауре. Она и летала бабочкой, и крутилась, как веретено, и скакала, как жеребенок, отдаваясь всей душой танцу. Как Ахат среди парней, так и Шауре среди девочек была первой плясуньей. В танце она неузнаваемо преображалась, хо-

рошела, в движениях появлялись величавость и огневой задор. И чудилось, будто не Шауре это, а сама царевна, пришедшая из сказки.

Девочки продолжали безудержно веселиться, не зная усталости, забыв о сне. Первой опомнилась Янеш. По неверно задрожавшему закоптившему огоньку в лампе было видно, что керосин на исходе, а значит уже настала глубокая ночь.

— Спать, девочки, довольно! — сказала она серьезно, как взрослая. — Ложимся!

Затем Емеш и Захира, несмотря на сопротивление, согнали девочек с урындыка, разложили одеяла, подушки и погасили свет.

— А ну-ка ложись на бочок! А ну, вытянись! — тискали друг друга девочки, с трудом умещаясь в один ряд на урындыке.

— Лежит на крыше одеяло в дырах, ну, кто знает? — выкрикнула Сабира, приглашая подружек к игре в загадки.

— Звездное небо!.. — в один голос ответили девочки.

Посыпались другие, знакомые всем: «Висит над избушкой хлеба краюха», «Едешь-едешь— следа нет, копнешь-копнешь —ямы нет». Дальше пошли загадки потруднее: «По лицу — Метрей [1], во лбу тысяча глаз», — тут еще можно было как-то догадаться, что это наперсток, ибо он вроде бы и кудряв, как Метрей, и похоже, что он тысячеглаз. А вот такие загадки, как «предлиннющие три уха, кто все уши обойдет?» или «Рябоватый, пестрый лунь, кто гнездо его найдет?», уж никто не мог разгадать. Нетерпеливые стали требовать:

[1] Метрей — Дмитрий.

— Скажи, из чего? Живое или неживое? Из дерева, камня или из железа?..

Загадки скоро приелись. Перешли к сказкам. Здесь среди них были две страстные охотницы рассказывать: Емеш и Шауре. Героями сказок Шауре всегда были плешивые — неказистые на вид, а на деле отважные и находчивые, невероятным образом побеждающие в схватках с более сильными батырами. Плешивый верхом на козле первым прибывает на ристалище, легко побеждает всех силачей и даже своих старших братьев, а потом увозит царскую дочку. Плешивый, победив джиннов, за одну ночь с их помощью строит золотой дворец. Он за одно мгновение облетает всю землю, походя меняет воз с углем на воз золота, убивает двенадцатиголового аждаху, пожирающего всех красавиц страны, — и нет таких подвигов, которые ему были бы не под силу.

Захира, чтоб сбить ее с толку, съязвила:

— У самой отец плешивый, вот и расхваливает, бедняжечка, нам их!

— Ты не слушай, сказка от этого не убудет! — горячо вступилась за подружку Емеш. А Шауре, не обращая внимания на колкости, лишь возразила, вызвав всеобщий смех:

— У меня отец не плешивый, просто он безволосый! — и продолжила свое повествование.

Она любит свои сказки про скромных, неунывающих батыров, которые, несмотря на всеобщее поругание, играючи, легко выходят победителями из любых превратностей судьбы.

Шауре, сама красивая — в мать, слышит много обидных и безжалостных насмешек от

своих сверстииц в адрес отца, хромоиогого и лысого. Но она, как плешивые герон своих сказок, ие слышит их или же переводит эти издевки в шутку н смеется со всеми. И только Емеш тяжело переживает за свою подружку.

«Почему людн так любят видеть в других плохое? Почему не говорят про Халима-агая, что он лучший плотинк в ауле? А вот на хромоту, иа плешивость все так и тычат пальцами? Эх, почему и плешивость, и хромота выпали только на его долю?» Ей кажется, что, боясь этих насмешек, н пропадает всегда где-то иа стороне Халим. Пока Емеш вспоминала отца Шауре, сама Шауре уже закончила свои сказки.

— ...на пиру и я была. Только сейчас пришла. Коня, Емеш, у тебя распрягла.

Это означало, что пришел черед Емеш. Оиа, конечио, не стала отпираться, потому что сама ждала этого момеита. Одни любят слушать сказки, другие — рассказывать, а Емеш любила и то, и другое. У иее в памяти храиится миого рассказываемых стихами эпических легеид о таких могучих героях, как Алпамыша, скованиый по рукам и ногам, но ие теряющий духа, и его возлюблениая Барсынхылу, спасающая его из темницы, как Қамыр-батыр, едущий верхом на медведе бить врага, как Еренсэй-батыр, защищающий народ от злых духов. Все эти и другие герои гордо стояли до коица за правду, за свой народ, за своих любимых. Когда она напевно ведет свой рассказ, как это делала раньше бабка Карасэс, то и сама уносится в увлекательный мир древних легенд и сказок, вместе со своими героями участвует в событиях, делит с ними радость и горе.,,

Окончив сказания о батырах, она перешла к сказкам про злых мачех, про бедных осиротевших детей, и слушатели вместе с нею опечалились за их судьбу, присмирели, задумались. Даже не знающая горя, задорная и задиристая Захира и та примолкла. Наступила тишина. А Емеш все рассказывала и рассказывала. Вот завидиелись, заголубели промерзшие окна. Стало быть, миновала иочь, и на горизонте прорезалась тусклая зимняя заря. Девочек сморил сладкий сон. Постепеино затихли все, кроме Сабиры и Емеш. Можно больше не рассказывать. А что же дальше делать? Сон не шел, им бы еще играть и веселиться.

— Емеш! — прошептала Сабира. — Точно все спят?

— Да...

— Пошли...

Оии тихоиько сползли на пол.

— Чего будем делать?

— Вымажем сажей!.. Вот потеха будет!

Нацарапав сажи со дна казана, они подкрались к девочкам. Там, где собирается миого девчоиок — всегда жди какой-нибудь проделки, потому сон бывает чуток, а кое-кто просто лежит притворяясь спящим. Когда Емеш и Сабира, едва сдерживаясь от смеха, подбирались к таким, то были вынуждеиы отступать. А те, что похитрее, делая вид, что переворачиваются во сне, как бы нечаянно сбивали их на пол. Ответные шутки только раззадоривали двух проказниц. Скатившись иа пол, оии валялись, давясь от сдерживаемого с трудом смеха, и опять продолжали свои дикие забавы.

Крепче всех спали Шауре и Гульехан. Красивую Гульехан девчонки разукрасили с особым удовольствием. Потом они снова попытались вымазать Захиру или хотя бы нацепить на ее волосы какую-нибудь погремушку, но Захира каждый раз сбрасывала их на пол. Эта боевая девчонка оказалась и осторожной, и чуткой, как заяц. Оставив надежду подшутить над ней, Емеш с Сабирой прицепили к косам плаксы Хасбиямал самоварную конфорку и совок, которые тут же начали греметь при каждом ее движении. Радуясь этому, девчонки снова начали с приглушенным смехом кататься по полу. Тут уж совсем рассвело. В окна полился голубоватый свет. Тогда обе шалуньи залезли под одеяло и укрылись с головой. Теперь главное для них — не проспать, когда начнут просыпаться девочки, чтоб еще раз с невинным видом понаблюдать за всеми и вдоволь посмеяться.

И смех раздался. На шум проснулась Хасбиямал, уселась, гремя совком. Хохот усилился. От него проснулась даже соня Шауре. Она увидела лежащую рядом Гульехан и воскликнула:

— Ой-ой... Бесстыдницы, что они понаделали с таким беленьким личиком!

— А саму-то тебя!.. На себя лучше посмотри! — сказала ей в ответ смеющаяся Гульехан.

Когда проснулись все, позволили себе очнуться ото сна и Емеш с Сабирой. Снова началось веселье. Но ненадолго. Задребезжали пустые ведра у порога, и в дверь влетела с перепуганным лицом Айхылу. Девочки замерли, на устах был немой вопрос: «Что случилось?»

— Емеш-хылу, где Сарбиямал-апай? — торопливо спросила Айхылу и, не дожидаясь ответа, заговорила: — Меня отдают за Хатыбала! Вчера вечером сваты были... Обо всем уже договорились! — и, зарыдав, выбежала на улицу.

Емеш поняла, что Айхылу искала Иштугана, а вовсе не Сарбиямал.

«Ой, как тут быть?.. И брата нет дома, хоть бы он был,..» — запечалилась Емеш. Интерес к шалостям сразу пропал. Девочки, погрустневшие, сникшие, разошлись по домам.

«Насильно выдают»! Какое проклятое слово! Оно будто ветром-ураганом сдуло беспечное веселье.

Ночь, прошедшая так хорошо — ведь ничего не разбили, не поломали, — сменилась безрадостным утром. Емеш, как взрослая, задумчиво передвигаясь по дому, затопила печь, убрала урындык. Потом села на большой сундук у печи и, положив на колени большое, как поднос, мачехино зеркало, стала расчесывать волосы. Из загона для скота вернулась Янеш, присела перед разгоревшейся печью погреть озябшие руки.

— Хылу, поставь самовар, ладно. Чаю попьем. Я все ту длиннохвостую овцу караулю. Похоже, скоро окотится, — сказала она и снова вышла.

Емеш еще не кончила причесываться, как снова вбежала Янеш. В руках у нее был маленький курчавый ягненок, от которого вовсю валил пар. Хвост у него был тонкий и длинный, как плеть, а ножки тоненькие и голые — точно палки. Янеш светилась от радости.

— Вот, окотилась! Хорошо, что тут же вышла! А то замерз бы ягненочек, что тогда сделала бы с нами апай?! Да, хылу? — А сама она все старалась поставить ягненочка на подгибающиеся ноги, чтоб он мог начать сосать мать.

Овца и ее ягненок, попав в дом, подняли истошный вопль. К ним присоединились из-за своей изгороди, слева от входа, два козленка, один с черной отметиной, другой — с голубой, и теленок. Дом наполнился оглушительным блеянием.

Но особо безобразно вела себя сама овца — она вплотную подошла к Емеш, выкатила на нее свои тусклые серые глаза и принялась безостановочно блеять, словно дразня:

— Ба-а-а!..

Емеш и без нее было невесело. Потому, желая показать овце, как она неподобающе себя ведет, Емеш подставила ей к морде зеркало, когда та снова громко заблеяла. Глупая овца, увидев себя в зеркале, наверное, и в самом деле подумала, что перед нею какая-то отвратительная скотина и, перепугавшись до смерти, ничего не соображая, бросилась в окно, одним ударом выбила стекло и вылетела наружу. Все произошло так быстро, что Емеш и Янеш просто остолбенели. Жгучий холод клубами, как грозовая туча, вкатился в разбитое окно и защипал их босые ноги. Только тут девочки пришли в себя. Янеш бросилась затыкать окно подушкой.

— Не к добру разошлась ты!.. Видно, к тому и шло, ведь прибьет же теперь нас мачеха!

Емеш не нашлась что сказать. Она уже давно привыкла вот так, молча, встречать все превратности судьбы.

Когда перевалило за полдень, с трескучим скрипом распахнулись ворота. Лошадь, покрытая инеем, неторопливо прошла к загону. Девочки не смогли пересилить себя, не вышли встречать вернувшихся с базара. Остались сидеть как сидели. Скоро в дверях появилась сама Сарбиямал. Лицо было перекошено от злости. Еще с улицы увидела она заткнутое подушкой окно.

— Оконце мое, мое стекло разбили; распроклятые! — растягивая слова, свирепо кричала она. И, закатав рукава, растопырив пальцы, как медведь, готовящийся к броску, грозно пошла на девочек.

— Кто-о разбил окно-о? Кто стекло-о вышиб, спрашиваю вас!

Янеш и Емеш, побелев от ужаса, отступили назад. Сарбиямал, будто желая полнее насладиться мучениями жертвы перед расплатой, продолжала медленно наступать, выдерживая расстояние между собою и девочками. И когда те уткнулись в налнчник урындыка н дальше отступать было некуда, она, вытаращив глаза, с возгласом: — «Ха!..» — разом опустив руки, которые держала вытянутыми, как когти беркута, над головами девочек, схватила их за косы. Но тут из большой половины раздался нетерпеливый голосок Бибисары-абыстай.

— Подру-женька!.. Эй, Сарбиямал, где ты?!

— Здесь я, иду! — пропела Сарбиямал и, оставив скорчившиеся на полу жертвы, сладко улыбаясь, пошла к гостье.

— Ах-ах! Бибисара! Кто же это, думаю. Проходи, проходи, садись на подушки, абыстай!

— Видишь ли, подруженька, некогда рассиживаться мне. Горячее времечко! — затараторила Бибисара-абыстай, устраиваясь удобнее на подушках. Затем подробнейшим образом расписала про то, как вчера вечером совершили никах. Сказала. что теперь все дело за свадьбой, что она заранее приглашает Сарбиямал к себе на несколько дней в гости. Ведь Сарбиямал не может участвовать на свадьбе ни со стороны невесты, ни жениха, но зато она как первая стряпуха в ауле может готовить угощения, потчевать сватов, подавать гостям.

«Значит, правда то, что сказала Айхылу-апай? — огорчилась Емеш. — Айхылу-апай отдают за этого чернобрюхого Хатыбала?! Эх, Иштуган-агай, что же с тобою теперь будет, бедненький!..»

Янеш не знала, радоваться или печалиться спасшей их от расправы вести. А Иштуган, еще ни о чем не догадываясь, распряг кобылу, привязал ее возле сена и, не заходя домой, пошел на улицу. Ему не терпелось рассказать Ахату об удивительнейших событиях, свидетелем которых он был.

XVIII

На постоялом дворе Батыймы-тутай, куда вечером того же дня прибыли Сарбиямал с Иштуганом, среди грязи, запахов дегтя, кожи, железа, кислой капусты, навоза плотно стояли, заполняя широкий двор, сани с задранными вверх оглоблями и возле них лошади. Как

всегда было много мастеров-подельщиков из лесного края, на их санях лежали лопаты, вилы, бочонки, миски. Среди постояльцев были и мелкие торговцы аршинным товаром, и просто приехавшие на базар с пустыми санями. Кое-кто, присматривая за поклажей, ходил возле своих возов, другие дремали внутри дома за чашкой чая, расположившись в ряд на длинных лавках, идущих вдоль стен. Плохо протопленный, скудно освещенный дом, в котором от множества входящих и выходящих людей свободно гулял морозный воздух, был уныл и неуютен. Ощущение заброшенности, неухоженности усиливалось от окрашенных в однотонный серый цвет лавок и длинного обшарпанного в разводах стола, на котором стоял пузатый, позеленевший медный самовар. Он лениво шипел, неразгоревшиеся угли пускали едкий сизоватый дым. Вода из самовара выливалась в чашки шумной струей — верный признак того, что она только чуть подогрета.

— Даже воду не кипятит, угля жалеет, скаредная баба, — ворчали на лавках. — А за постой и эту водичку дерет, как в Оренбурге...

Иштуган кое-как втиснул свои сани в один ряд с другими и пошел вслед за Сарбиямал в дом, но сел не возле нее, а тут же, у входа. Вскоре появился в дверях Тимербай, навстречу ему обрадованно поднялся с лавки худой веснушчатый солдат на костылях.

— Тимербай, дружок! Ты ли это?

— Никита, солдат! Молодец, что живой!..

Друзья обнялись, скрутили козью ножку, и между ними завязался горячий разговор. Они присели на лавку недалеко от Иштугана. Солдат сразу понравился Иштугану. Видно,

что многое повидал, а такого человека Иштуган был очень рад послушать, потому он пододвинулся ближе к нему.

Глазки Сарбиямал бегали по сторонам, но внимание ее было приковано тоже к этой беседе.

«Это еще что за крещеный! Ух, как увлеченно беседуют, оборванцы!.. Узнать бы о чем...»

Говорил больше Никита. Немало прошел он путей-дорог. Стал большевиком. Изменился он и внешне, как сказали бы про такого старики, «стал мужчиной в истинном смысле этого слова». В его рассказах часто звучат новые слова: «рабочие», «Ленин», «большевики». Иштуган и раньше слышал их от Тимербая. Но Никита употреблял и незнакомые слова «самодержавие», «стачка», «восстание», «революция». Из всего этого Иштуган понял, что где-то кто-то поднялся против царя, чтоб принести стране мир, свободу, счастье. «Эх, и мне бы быть там, повоевать!» — замечтал Иштуган. А разговор все продолжался. Иштуган устал от напряженного внимания и от охватившего его душу радостного волнения. Обессиленный, он прилег на лавку и заснул... Ему почудилось, что он в ту же минуту очутился на берегу бескрайней, полноводной реки, играющей тысячами разноцветных лучей под ослепительно ярким солнцем. На реке был ледоход. Куда ни глянь, до самого горизонта только лед, он стелется наползает, крошится, грохочет... Какой-то очень знакомый голос говорит ему:

— Весна пришла, весна!.. Ты тоже весенняя капля... Вливайся в это половодье! Вливай-

ся и плыви! Плыви, клокоча и буйствуя, вперед. Плыви к большому морю!.. Там увидишь свою мечту!..

— Да, да! Бери меня река, в свои объятия! Да, да, я тоже хочу доплыть вместе с твоим бурлящим потоком до большого моря! — завороженно повторил Иштугаи и тут же растаял, оказался среди льдов. Льдины схватили его в свои колючие объятия, закрутили с диким хохотом и вынесли на середину реки. От холода и страха у Иштугаиа перехватило дыхание.

— Постойте, отпустите!.. Задыхаюсь, умираю! — закричал он во сне и свалился с лавки иа пол. Не приходя в себя, он сидел на полу, охваченный дрожью: «Где я?.. Что за дом?.. Куда подевались люди?..»

За окном уже стояло утро. Светило по-зимнему холодное солнце. На площади недалеко от ворот постоялого двора вовсю кипел базар. Постояльцы, все как один, давно были там.

Сарбиямал еще с вечера, как только усиул Иштугаи, скрылась со своим Ахметшой. И до сих пор где-то пропадала с иим. Очухавшись ото сна, Иштугаи кинулся на улицу.

«Надо найти того солдата. Спросить, что такое «революция», «восстание». А что? Пойду и спрошу. Лишь бы Тимербая-агая рядом не было...»

Когда разговаривают двое старших, влезать в разговор считается неучтивостью. А то он еще вчера задал бы свои вопросы.

Иштуган с трудом протискивался среди кишащих на площади людей. Он довольно легко проскочил ряды, где было выставлено мясо, масло, шкуры, затем прошел большой круг, по краям которого стояли иа продажу сани с иа-

валенными на них оглоблями, лыком, рогожей. Но среди тех, кто продавал с рук, он застрял надолго. Посреди площади возле столба на большой разбитой бочке из-под дегтя стоял солдат. Иштуган пробился ближе и с удивлением узнал в нем вчерашнего знакомого. Среди тех, кто стоял вокруг него, как на страже, был и Тимербай. Чуть в стороне небольшой кучкой толпились урядник Алексей, старшина Собхан, Хатыбал, Хусиулхак, Сергей Хитров с сыновьями и зятьями. У них был удрученный, настороженный вид.

«Чудеса! Вот диковина!..» — подумал Иштуган и быстрее заработал локтями. Когда он наконец пробился в первые ряды, Никита уже заканчивал свою речь.

— Да здравствует революция, ура! — провозгласил он напоследок и соскочил с бочки, опираясь на костыль.

— Ура-а! Конец войне!.. Долой царя! Да здравствует свобода!

— Молчать, не орите, бараны!..

— Заткнись сам, буржуй!

Разноголосая площадь зашумела. Тем временем как будто кто-то насильно выпихнул Тимербая на бочку. Он сорвал с головы колаксын — островерхую шапку с длинными ушами, скомкал ее в руке и радостно, взволнованно прокричал, огласив морозный воздух:

— Товарищи! — Гудевшая площадь враз притихла.— Товарищи! — повторил он.— Царь свергнут! Сломали клюв двуглавому орлу, сбросили его с шеи простого люда! Оковы на наших руках разбиты!.. Да здравствует свобода, товарищи!.. Долой войну!.. Пусть заводы будут рабочим, а земля — крестьянам, товари-

щи!.. Конец буржуям! Да здравствует всемирная революция!

Площадь опять загудела, как пчелиный рой.

— Царю каюк!.. Провалился, проклятый! Давно бы так. Тогда многие и сейчас были бы живы...

— Ох, болваны, как же без царя-то жить?! Плохо будет! Беда придет, вот-те крест!..

— Теперь нешто и войне конец, а? О боже, ниспошли боже... Только бы так и было!..

Иштуган возликовал, уловив наконец из разноязыких слов, что произошло очень радостное событие, но вдруг на бочку взобрался Хатыбал. В черном с иголочки костюме, он резко выделялся среди простого люда.

— Родные братья!— тонко прокричал он.— Послушайте!..

— Этому желторотому чего надо? Ну, ладно, попробуй, скажи. Послушаем, — сказал пожилой агай возле Иштугана. Остальные, видно, решили так же и примолкли.

— Родные, братья! Правильно сделали, сбросив царя! Так ему и надо, злодею! Теперь надо побить немцев, чтоб кончить войну победой! Мы не за царя! Мы должны воевать во славу России, за Россию!..

Старшина Собхан, Шымбай-Куштан, опечаленные не столько тем, что не стало царя, а тем, что расстроились их планы убрать Тимербая, в один голос прокричали, нахохлившись:

— Верно!

— Ай да афарин! [1]

---

[1] Афарин — молодец.

Урядник Алексей бросил на них сердитый взгляд.

— Почему афарин? Его давить надо, он же против царя!

— Нет, нет, говорит же надо воевать до победы. Мы за это голосуем.

— А-а... Это и я поддерживаю, — сказал урядник, покрутив щетинистые усы, и низким голосом рявкнул. — Верно! Мы немцев все равно побьем!

Но их голоса были перекрыты раскатистым сливающимся возгласом:

— Хватит! Катись с бочки!

— Коли нравится, сам воюй, желторотый!

— Вон его! Довольно!

«Ага, Хатыбал, хвастливая душонка, и ты обжегся!» — с удовольствием отметил про себя Иштуган и во всю глотку заорал:

— Долой! Молчи, буржуй! Хватит!

Следом за Хатыбалом, гремя саблей, на бочку поднялся Федька Рябой. Он вышел из лазарета, недавно прибыл домой на поправку, провести здесь свой месячный отпуск, а по пятам за ним пришла весть о свержении царя. И эта весть, и то, что Никита гуляет на свободе, усиливали его злобу. Бросив ядовитый взгляд на Никиту, смотревшего на него с ненавистью, он подумал:

«Чертова революция!.. Знай я, что ты жив... Вчера же, как собаку, пристрелил бы. А сегодня... Не будешь осторожней, этот взбесившийся сброд набросится на тебя всей сворой...»

— Граждане! — прокричал он сиплым голосом. Его злобные, волчьи глаза полезли на узкий лоб. — Граждане! Мы, сыны России, должны за Россию-матушку воевать не щадя

живота, до победы!.. Не слушайте этих зимогоров Никиту и Тимербая! Они немецкие шпионы! Они большевики!.. Они сеют смуту! Хотят внести разброд в наши ряды и продать немцам Россию!

— Долой!..

— Пусть говорит!

— Катись вон!..

Площадь закипела. Кто-то пнул по бочке. Она покатилась. Федька Рябой свалился на землю. Потом снова выступали Никита и Тимербай. За ними — двое раненых солдат-фронтовиков. Иштуган следил за лицами вокруг себя, чтоб увидеть, чьи речи больше нравятся. Ему самому все же было трудно пока уяснить, что на самом деле произошло, что ждет впереди. Но, видя, с какой надеждой смотрит большинство людей на Тимербая и Никиту, с какой любовью, сощуря свои узкие улыбающиеся глаза, смотрит Халим-агай, отец Ахата и Шауре, Иштуган понял сердцем, что отныне жизнь должна пойти другим путем, и на радостях он обнял Халим-агая.

— Агай, тогда ведь и мы не будем безземельными, а? Наш день ведь настал, да, агай?

— Не будем, мырза, не будем, — ответил Халим-агай, глядя куда-то через него. — Вы, дети, не будете, как я, как твой отец, чужими-пришлыми на своей земле, на своей родине... Счастливыми будете вы!.. Это еще надо понять, дети!..

Его голос вдруг зазвучал как-то по-чужому, задрожал, будто долетал откуда-то издалека. Иштуган пристально посмотрел на него. Его толстые косматые брови сошлись у переносицы, от глаз остались щелочки, в них блес-

тела слеза. Как и отец, для Иштугана Халим-агай был примером силы и мужества, потому видеть его слабость в такую минуту было для него странно и грустно. И поэтому Иштуган смущенно отошел в сторону. А Халим-агай шагнул ближе к людям, окружавшим Тимербая и Никиту.

* * *

Иштуган встретил Ахата на улице. Увидев, как проехал с базара Иштуган, Ахат спешил к нему, чтоб рассказать печальную новость. Еще издали он нетерпеливо заговорил:

— Эх, друг, знаешь, плохи дела... Айхылу отдали Хатыбалу. Завтра собираются сваты, чтобы соединить молодых. Будет свадьба!

У Иштугана потемнело в глазах. Вся клокочущая радость погасла... Вдруг он перенес свой гнев на друга:

— Ты что несешь?.. Откуда взял? Кто тебе сказал?!

— Айхылу сама утром забегала к вам. Шауре сказала... Разве тебе не передали твои сестренки?

«Что делать? Как быть? Ах, Айхылу, Айхылу! Ведь такая радость... Революция... Свобода!.. И такая беда! Что ли, породнились они, горе с радостью, всегда рядом ходят...»

— Пойдем, спросим совета у Тимербай-агая, — сказал Ахат, глядя с жалостью на побледневшего друга. — Пойдем, он обязательно поможет...

— Да, ему только меня не хватает... Знаешь, сейчас...,

Ахат присвистнул сквозь зубы:

— Знаем! Слышали. Рабочие свергли царя! В Петербурге революция! — Он перестал улыбаться. — А мы тут голову теряем из-за девчонки!.. Помнишь, хотели начать бить баев?

— Она тоже пойдет вместе с нами! А ты что, не веришь? Эх ты, еще друг...

— Нет, это я раньше говорил: не надо, не суйся. А теперь — шалишь! Хватит! И отец, знаешь, что говорит? — тут Ахат хитро подмигнул. А Иштуган удивленно воскликнул.

— Он-то откуда знает об этом? — Потом с надеждой добавил. — Ну, ладно, коли знает, может что посоветует...

Ахат с тою же беспечностью продолжал:

— Отец говорит: «Разве в такое время можно отдавать баю свою невесту?» Так вот, не хочешь идти к Тимербаю-агаю, пойдем к Идрису-олатаю... Он у нас чай пьет... Пойдем же...

Ахат потащил к себе Иштугана, еще не пришедшего в себя от неожиданной вести.

— Посоветуемся, поговорим... Сами ничего не придумаем. Идрис-олатай может совсем неожиданный ход найти, вот увидишь.

— Думаешь, вправду ее отдают, Ахат?.. Может, пустое, как тогда...

— Тогда сватов не было. Бибисара-абыстай просто сама все наболтала.

— Айхылу ведь мне говорила: «Умру, а за Хатыбала не пойду...»

— Ну что ты городишь? — махнул рукой Ахат. — Кто будет у нее согласия спрашивать?! Насильно продали, а мулла совершил никах. Когда мулла-олатай начал обряд, он сначала спросил: «Ты, Хатыбал ибни Собхан,

согласен ли взять законной супругой Айхылу бине Коза-Муэдзин, ой, ошибся, Айхылу бине Ахметсафа?» — «Согласен, мулла-агай, да, очень рад», — ответил ему Хатыбал. Потом мулла-олатай, конечно, для отвода глаз спросил, поглядев в сторону занавески: «Ты, Айхылу бине Ахметсафа, согласна ль стать законной супругой Хатыбала ибин Собхан?» А из-за занавески ему ответила Бибисара-абыстай за свою Айхылу: «Согласна, мулла-олатай, очень, очень рада!»

Айхылу сама в это время лежала без чувств в другом доме...

Иштуган схватил Ахата за руку.

— Откуда ты узнал?

— Э-э... Да ты, оказывается, совсем простак! — усмехнулся Ахат. — Всех девушек так продают... Думаешь, для твоей Айхылу новые правила придумали? Мой локоть отпусти, друг... Береги силы, говорят, Хатыбал в кулачном бою хорош...

Иштуган также внезапно отдернул руку, сунул ее в карман.

— Ладно, не смейся, Ахат... Мне даже труднее, чем ты думаешь... Давай придумаем, как быть... Нет мне жизни без Айхылу...

— Правильно, надо вырвать ее из волчьей пасти... Ну, пойдем же к нам...

XIX

Где-то в далеком Петербурге свергли царя. А здесь, не принеся с собою ничего нового, прошла зима, потом промелькнули незаметно весна, лето и вот опять пришла склизкая холод-

ная осень. В жизни двух сестер Янеш и Емеш тоже мало что изменилось. Давно уж нет писем от их отца Байгильде. Сарбиямал же свирепеет день ото дня. Она срывает на них свое зло, мстя и за разбитое окно, и за свергнутого царя, из-за чего так взбаламутился белый свет и невозможно стало ей ездить со своим возом в Оренбург на базар, и за ставшего в последние дни речистее Иштугана... Сарбиямал ожесточается все сильнее — жить девочкам совсем невмоготу, но наперекор побоям и ругани, наперекор голоду и холоду, которыми морит девочек мачеха, они все живут.

Нежной, тонкой, как тростник, Янеш исполнилось тринадцать лет, Емеш скоро будет одиннадцать. На вид она даже крепче сестры, только слишком уж грустен ее взгляд. Бросается в глаза то отличие в их характерах, которое раньше едва намечалось. Добрая и мягкая Янеш, потеряв веру в добро, превратилась в настоящую плаксу. На все проклятия жизни она отвечает только слезами... Ее заунывный плач и рыдания не могут остановить даже громы и молнии Сарбиямал. Чем сильнее побои— тем громче плачет Янеш, порою не переставая весь день. А Емеш, наоборот, молчит, только глубже замыкается в себе. С ее губ не сорвется ни звука мольбы, ни слова в свою защиту, кажется, пригрози убить ее — все равно будет молчать. Сарбиямал иногда нарочно мучает Емеш за вещь, испорченную другим, чтоб услышать от нее оправдания: «Нет, апай, это не я сделала. Наверное, Янеш или ты сама». Но Емеш и тут молчит. Да и надо ли пробовать оправдываться перед тем, для кого доброта и честь — пустой звук?..

Иштуган в отличие от сестер сильно изменился: осмелел, перестал считаться с Сарбиямал. Только та откроет рот, чтоб обрушиться на него с бранью, крикнет свое обычное:

— Зимогор!..

Как Иштуган ей тут же в ответ:

— Нет, не зимогор, а батрак. Твой батрак!

Сарбиямал ему:

— Ах, ты безземельный, приблудный!

— Нет! Теперь я не безземельный, — спорит он с ней. — Ленин сказал, что земля принадлежит тем, кто на ней работает! — И сам переходит в атаку: — Хозяева страны теперь мы! Ты — эксплуататор!

От этих слов глаза Сарбиямал начинают бешено вращаться, уходят куда-то в глубину, зловеще вспыхивают. Емеш дивится: «Что такое «эсколатыр»?» А Сарбиямал — только Иштуган из дому — принимается бить Янеш и Емеш.

— Вот вам земля!.. Вот вам свобода!.. Вот вам эсколатыр!

«Наверное, эсколатыр — это побои», — думает Емеш. Детям есть отчего недоумевать. Ведь ссоры и ругань сейчас не только у них дома — идут по всему аулу. Каждый день люди собираются на бревнах перед чьим-либо домом, кричат и ссорятся, а ссоры порой переходят в драку. Раз в теплый денек Емеш тоже бегала смотреть на сход. Проторчала там, пока не отмерзли ноги. Тимербай и Никита говорили про царя, буржуев, свободу, землю. Когда же вдруг вскочил на бревна Иштуган и начал гневно кричать на Хатыбала, Хуснулхака и других баев:

— Довольно, натерпелись от вас! Теперь наш день пришел! Земля наша! Власть наша! — то Емеш, ужаснувшись происходящему, убежала домой.

«Ну, отчего они ругаются, дерутся? Отчего такой спокойный мой брат и тот готов лезть с кулаками? Разве нельзя без крика получить себе землю?»

В связи с этими событиями свадьбу Айхылу отложили до осени, боясь, как бы не вышло чего-то еще после падения царя, и в то же время надеясь, что царь еще вернется обратно на престол — тогда и свадьба пройдет иначе. Но осень принесла старшине Собхану новые огорчения. Рабочие и солдаты сбросили Временное правительство. Громче и призывнее загремели в Ильсегуле слова «восстание» ,«революция», «Ленин», «большевики».

— Надо спешить. Потом может стать поздно! — сказал Хатыбал.

И все-таки свадьбу решили устроить пышнее, чем подумывали поначалу. С обеих сторон наметили большой калым и приданое. На свадьбу зарезали отгульных, табунных коней со слоем казы [1] толщиной в ладонь. И в один из дней, в самый разгар не на шутку разыгравшегося первого ноябрьского бурана, под его жестокое завывание из нижнего конца аула в верхний прикатило пятнадцать саней со сватами со стороны жениха. Коза Муэдзин разместил их у своих родственников, участвующих с его стороны на свадьбе. У себя оставил только главного свата — старшину Собхана.

---

[1] Казы — конское сало на ребрах.

Сарбиямал с утра пошла к своей подружке Бибисаре. Следом за ней ушел и куда-то запропастился Иштуган. Дома остались только Янеш и Емеш. К ночи запуржило еще пуще. В холодном унылом доме стало так тоскливо, что, по выражению Сарбиямал, «привяжешь собаку, и та сбежит отсюда». Янеш и Емеш под тревожное завывание ночного ветра сидят на сундуке, прижавшись к остывшей печи. Заснуть нельзя, боже упаси! В любой момент может прийти Сарбиямал. Ей нужно сразу открыть дверь, а то будет худо. Но за всю томительную ночь никто не постучался. Будто на целом свете их осталось только двое с лежащей на их сердцах камнем печалью, да разбушевавшийся ветер.

«Ночь прошла... Светает... Ни мачехи, ни Иштугана... — грустит Емеш. — Мачеха на свадьбе... Гостит. А Иштуган где? Слоняется где-то, бедный, не знает, куда девать свою бедную головушку... Айхылу-апай, несчастная, что поделывает? Вот ведь люди и свою единственную дочку не жалеют. Что же нам обижаться на мачеху?!»

Тут ей вспомнилась сестра Бибеш, но и сама сестра, и ее судьба в мыслях Емеш возникали вне связи с жизнью, лишь одной из многих сказок про злую мачеху, жестокосердную свекровь и разумную красивую девочку-сиротку.

Потом Емеш снова вспомнила брата, потом отца, потом опять вернулась мыслями к своей безрадостной доле. И странное дело: чью судьбу ни возьми, кроме несчастья и бед, в ней ничего нет. Вся жизнь человеческая представилась ей в виде жуткого круговорота голода и

холода, горя и страданий, боли и разочарований, несбывшихся надежд и напрасных ожиданий... Ее маленькое сердечко пыталось найти выход из этого круга, бессильно билось как рыба о песок. Ей показалось, что в доме сегодня трудное дышать, стало теснее, что низкие потолки давят и невозможно даже подняться во весь рост... Но что толку от душевных волнений малого ребенка? Как ничего нового не прибавило миру его рождение, так мир ничего и не потеряет, когда он, помаявшись, помыкавшись на этом колесе, сковырнется с него на каком-нибудь повороте. По-прежнему своим чередом придут и пройдут осень, зима, весна и лето. Так же будет светить солнце, то щедро, то скупо озаряя землю своими живительными лучами, и так же будет течь Большой Ик, то буйствуя и вскипая в половодье, то стихая и вслушиваясь с нежным журчанием в соловьиные песни среди тальников. Да, да, ничто не изменится в мире ни от ее раздумий, ни от самой ее смерти...

Опечаленная и расстроенная тягостными для ее детского ума мыслями, Емеш притомилась и задремала. Под утро буран затих. Забрезжил рассвет, тусклый, блеклый, как лицо больного, на котором ни кровинки. Потом из-за горы лениво выглянуло холодное солнце и, чуть подергивая красные поводья, немного оживило серый горизонт.

Девочки, сидя рядком на сундуке, забылись сладким предутренним сном. Их покой нарушили удары в дверь.

— Кто там?

— Наверное, Сарбиямал-апай. Открывай же, Янеш!

Янеш мигом откинула крючок и в страхе попятилась назад.

— Ой-ой, Емеш!..

— Заткнись, прочь с дороги! — гаркнули на нее, и в дом, грохоча сапогами, ввалились люди, держа наизготовку дубины и сукмары. Впереди шли Ахметша, Хатыбал, Хуснулхак. Янеш и Емеш, как козлята, спугнутые волком, побежали в свою маленькую половину, заскочили на урындык и прижались в темный угол. Из распахнутой двери в дом клубами ворвался морозный воздух, вполз на урындык и начал обжигать холодом голые ножки девочек. Люди прошли к ним и начали допытываться:

— Где Иштуган? Где ваш агай? Он был дома? С кем он был?

Они стращали, кого-то обзывали вором, красным, большевиком. Но девочки, видя их озлобленные лица, не могли даже пошевелить от страху пальцем.

— Эй, истуканы! Совы! — прокричали они и, ничего не добившись, пошли в другую половину. Там они все перевернули кверху дном, даже разворотили доски пола.

Когда они ушли и стих топот шагов, Янеш закрыла дверь. Емеш бросилась к окну, быстренько язьком расчистила лед и закричала:

— Янеш, смотри! Улица полна народу!.. Что-то случилось! Может, пожар?

— Раскричалась... Ну, что там?.. Ах! Те с сукмарами пошли к Тимербаю-агаю... Чего им там надо?

Вбежала Шауре, босая, закутанная в единственную шаль своей матери. В ее круглых глазах горел торжествующий огонек.

— Девочки! Янеш! Емеш! — прошептала она. — Айхылу-апай убежала! Как интересно! Все-таки отомстила! Хатыбала с носом оставила!

— Ой, девочки!

— Шауре, рассказывай...

Шауре взобралась на урындык, села, подобрав ноги. Янеш и Емеш подсели к ней с двух сторон.

Шауре, весело поводя искрящимися глазками, принялась возбужденно рассказывать. Девочки на время забыли про то, что творилось на улице.

* * *

После свержения царя во главе волостного комитета, созданного в селе Якуп, стал старший сын Сергея Хитрова Ферапонт. Членами комитета оказались тоже байские сынки вроде Хатыбала и фельдшера Митрофана. Свою руку приложил и Федька Рябой. Он, чтобы не допустить в комитет бедняков, не брезговал обманом, подлогом и просто запугиванием. Отбывая в свою часть, Федька Рябой, очень довольный тем, что месячный отпуск прошел не зря, говорил старшему брату:

— Живем, Ферапонт Сергеевич! Живем! Власть в наших руках. И впредь будет так. Говорят, в губернском комитете в Оренбурге тоже сидят наши. Даже комиссаром там... — он перешел на шепот. — Помещик, понял? Славно как! Революцию сделали голодранцы, а власть в руки взяли мы, тяжело, конечно, придется нам... Хи-хи... Так-то вот, Ферапонт Сергеевич!

Ферапонт, пряча за очками заблестевшие от удовольствия волчьи глаза, улыбнулся.

— Так уж... Богу угодно, что ж остается нам делать...

— Чтоб в оба смотрел. Власть из рук не выпускать!

— По мере сил будем держаться. Ты сам не пропадай надолго. Без оружия ведь не усидишь. Тут еще эти большевики мутят воду — языкастый Никита, каторжник Тимербай...

— Да, час расплаты с ними придется отложить... Чуток повременим... Они не уйдут от нас.. А пока ты будь с ними заодно! Почаще кричи «Долой царя! Долой баев! Да здравствует революция!» Понял?..

— Знаем...

Братья еще раз пожали руки, пристально посмотрели друг другу в глаза и, довольные собой, разошлись.

— Не поддадимся... Род Хитровых!..

* * *

Тимербай тяжело переживал поражение в борьбе, которую они развернули с Никитой за избрание в волостной комитет бедняков и солдат-фронтовиков. Еще горше было сознавать ему свое бессилие оттого, что отовсюду приходили радостные вести о восстаниях в городах и переходе власти в руки солдатских и рабочих Советов. Масла в огонь подлил и Халим-агай, который провел зиму, подрабатывая вблизи рудников.

«На рудниках распотрошили род миллионера Рэмиева. Власть перешла в руки рабочих. А здесь в ауле народ живет как раньше.

И по старинке продолжает верить муллам и баям. Эх, маловато нас...» — Эти мысли не давали покоя Тимербаю и сегодня за утренним чаем.

— Отец, что опять молчишь, чай стынет, — теребит его Базыян. — Что-то задумчив ты стал в последние дни...

— Призадумаешься тут,— проговорила Карасэс-абей, держа в руках блюдо с чаем. — Время-то какое... Ненавистников много... Сохрани аллах... Собханы, хатыбалы так смотрят на Тимербая, словно он один ихнего царя спихнул.

Тимербай не отвечал. Мысли его заняты другим:

«Вот уже скоро год будет, как царя нет. А в нашей волости в комитете по-прежнему правят баи. Баи в маске Советов... Подумать, так страшно становится. Они ж вдвойне опасней. С ними бороться еще труднее... Нет, так нельзя. Надо провести новые выборы в волостной комитет, чтоб были там свои депутаты... Или плюнуть на байский волисполком и, как на рудниках, создать свои Советы? Надо это обмозговать вдвоем с Никитой. Пора собрать силы, сообща начать... А то, он там... я здесь...»

Тимербай залпом допил остывший чай и поднялся.

— Отец, куда собрался? — Базыян встала было за ним, но тут же, побледнев, без сил опустилась на место. — Ах! Хатыбалы с дубьем сюда идут!..

— А-га!.. Вправду ведь... — встревоженно вскочила Карасэс-абей.

Тут дверь распахнулась и разъяренная толпа ворвалась к ним в дом.

XX

Иштуган с Ахатом покружили вокруг Тимербая, но так и не посмели обратиться к нему со своей просьбой. Им показалось, что Тимербаю сейчас не до них. Тимербай, быть может, и слышал об отношениях Иштугана и Айхылу от своей жены, но, вероятнее всего, не придал этому значения, объяснив все причудами молодости. А сватовство Собхана и Козы Муэдзина его не удивило и не заинтересовало, известно же: ворон ворону глаз не выклюет.

Иштуган и Ахат жили меж двух огней. Революционные валы, докатывающиеся из больших городов, с полей классовых сражений звали их в бой за свободу, за землю — к высотам, где летают орлы, сияет солнце. А боязнь потерять Айхылу связывала их по рукам и ногам. И не было у них никакого выхода из этих двух огней.

Зимой, переполошившись, они сходили к Урусу-Идрису. Но старик только отругал их.

— Нашли время по девчонке тужить! Такие, как вы, парни, вон в городе царя бьют, богачей метелят. А вы?.. Тьфу, осенние цыплята!

Но сегодня накануне свадьбы Урус-Идрис сам пришел к Ахату, сидевшему вдвоем с Иштуганом. Старик с утра ходил по улице, бренча на балалайке и громко распевая песни. К Ахату он ввалился тоже, пьяно горланя:

Ай, Дунай, вай Дунай,
Дунай, веселый Дунай!..

Парням стало совсем тошно при виде не ко времени напившегося старика. Они отвернулись от него. Старик Идрис потянул их за уши

к себе и хитро посмотрел из-под лохматых синеватых бровей.

— Что вижу? Оба в печали. Оба во гневе. Ай, джигиты, джигиты... Кого же из вас любит деваха?

Джигиты молча отвели глаза.

— Говорите, а то никто больше не научит вас, как заполучить ее.

— Иштугана... И Иштуган любит, — нехотя сказал Ахат, не поворачивая головы.

— А ты кого? — пошутил старик. — Твою любимую почему бы не спасти заодно? Сейчас ведь свобода. Всех узников вызволять надо... Хи-хи!..

— Я их не люблю, — сердито сказал Ахат. — Мне хомут на шею не нужен.

— А что грустный такой?

— Из-за него. Говорит, не могу жить без нее...

Взгляд Ахата, всегда такой живой, в эту минуту был на самом деле очень грустным, в нем даже светилась слеза. Говорить ему было трудно. Но и не говорить нельзя. Вдруг будет какая польза.

— Вон оно как!.. Так прямо и говорит, не могу жить, а? Иштуган, сынок, неужто правда? Ай-яй-яй!..

Урус-Идрис захохотал от души.

— Гей, дети! Гей, глупая молодость!..

— Ты пришел нас подразнить, олатай?! — с гневом сказал Иштуган.

— Нет, сынок, зачем дразнить, — старик перестал смеяться. — Наоборот, надумал помочь вам, шельмам... Сами же зимой, когда царя сбросили, просили совета. Тогда ничего

и не надо было вам. А вот ныне чую: надо. Верно, а?

Оба парня враз уставились в его искрящиеся хитрые глаза. Он и вправду был совсем трезв.

Старик Идрис закашлялся натужно и сел на урындык.

— Долго я ломал голову и вроде придумал кое-что... Сможете — деваха ваша. Нет — тогда и мне, и вам крышка. Они не посмотрят, что царя нет... Пока здесь они сами цари...— Голос его хрипел и сипел. — Вы седлаете трех вороных жеребцов. Их Кормош запрягал только в тройку. Это не кража. Берем свое. Кони мои — потомство вороной кобылы моего отца. Садитесь и скачите. Этих рысаков здесь никакая лошадь не догонит. Никита говорил, в городе записывают в Красную гвардию. Идите туда. Тогда вам ни один бай не страшен. Вы их сами будете пугать... Что, шельмецы, верно говорю?

Он сказал парням еще про то, когда и как забирать коней, и, бренча на балалайке, снова пошел кривляться на улицу.

— Смотрите все! Видите? Офицер дал мне эту балалайку. С офицером на тройках раскатывал солдат Идриска!..

Он бил себя в костлявую грудь жилистым кулаком, пошатывался; снова кричал и ковылял дальше, распевая:

Вы послушайте, ребята,
Что струна говорит,
Что струна говорит!..

— Кони есть! — обрадованно сказал Иштуган. — Как же теперь предупредить Айхылу?

— Это сделаю я, — серьезно произнес Ахат. — Ты, давай, пиши письмо.

— Какое?

— «Завтра в разгар свадьбы ждем тебя на трех конях у задних ворот вора Ахметши... Сама открой для нас ворота...»

— Почему у Ахметши?

— Потому что надежнее дома, чтоб запрятать невесту, нет.

— Тогда Айхылу не вырвется оттуда!

— За это не беспокойся. Беру на себя. Ну, пиши.

Ахат продиктовал Иштугану все письмо, положил его себе в карман и ушел, оставив друга одного во власти противоречивых дум, сказав:

— Тебе, Иштуган, лучше не показываться! Сиди у нас.

* * *

Старик Шымбай надеялся, что у него будет покладистая, немногословная и безропотная невестка, когда сватал для своего Ахметши Шамсию, старшую дочку Тулыбая, которого в ауле почтительно называли суфыем. Это имя он заслужил тем, что, как баи и муллы, не пропускал ни одной молитвы в мечети и то, что добывал своим трудом, отдавал мулле и муэдзину, заставляя жить впроголодь свою семью. Шамсия оправдала надежды свекра полностью. Работала, как лошадь в упряжке, в дела других носа не совала. Даже про связь Ахметши с Сарбиямал будто ничего не знала и не ведала. Самому же Ахметше и старику Шымбаю и в голову не приходило, что Шамсия

может иметь какое-то свое мнение или быть чем-то недовольной.

— А чего еще ей надо? Что видела дочка суфыя Тулыбая, вечно голодная, полураздетая?! Пусть скажет «слава аллаху», что взяли ее! — говорили они.

Двое детей — Захира и Моратша, — появившиеся на свет в результате этого странного союза, где не было ни любви, ни уважения, тоже были далеки от матери. Не замечая ее, они крутились только возле деда с бабкой.

Как только Қоза Муэдзин и Бибисараабыстай начали подыскивать сноху, которой можно было бы доверить подготовку невесты к обряду вручения жениху, они тут же подумали об этой самой Шамсие. Трудно было найти более тихую и верную сноху. Да и надежнее места, чем дом вора Ахметши, тоже не было. Семья старшины Собхана поддержала этот выбор. Ахат еще вчера узнал об этом от своей матери, стряпухи у Собханов. Поглощенный мыслью поскорее увидеть Шамсию, Ахат полдня караулил ее у тропки, по которой ходят за водой. Сердце подсказывало ему, что Шамсия никому не передаст про их разговор, даже если не согласится помочь.

Но, как назло, Шамсия так и не появилась, воду таскала ее дочка Захира. Пришлось Ахату втайне от Иштугана и старика Идриса раскрыться перед Салимой. Между Салимой и Шамсией существовала скрытая от многих глаз давняя дружба. Шамсия только ей могла поплакаться на свою горькую судьбу и любила Салиму за то, что та умела крепко держать язык за зубами, как и она сама. Салима жалела ее, овечку в стае волков, и, чем могла,

утешала. Узнав от Ахата, что от нее требуется, Салима встрепенулась, схватила тустак и полетела к Шамсие.

— Не волнуйся, кайнеш, все будет по-вашему. Одолжу у них немного муки...

Она еще не забыла про свою неутоленную месть за пособия солдаткам, которые Собхан клал себе в карман.

Ахат ждал Салиму. Иштуган — Ахата. Тянулись томительные часы. Наконец с сияющими глазами прибежала Салима.

— Договорились, — зашептала она заговорщицки, словно вспомнив свою юность. — Шамсия все исполнит. Теперь сами не зевайте.

— Пра-авда? Все исполнит, енге? — заикаясь от радости, спросил Ахат. — А не пойдет ли все прахом?!

Салима взъерошила ему волосы, похлопала по спине.

— Эх, глупенький... Не знаешь еще, как бывает... — печально протянула она. — Думаешь, коли молчит, у нее и сердца нет?..

Ахат, сам не свой от радости, поспешил к Иштугану.

* * *

Чтобы не случилось ничего непредвиденного до свадьбы и до прихода жениха, Айхылу была заперта в маленьком домике, стоящем в глубине двора Шымбая-Куштана. Обычай требовал, чтоб в последний день девической жизни невеста пела и веселилась в окружении подружек, но Бибисара-абыстай пошла даже на его нарушение, полагая, что так будет вернее. Только после полудня к плачущей в оди-

ночестве Айхылу пришли наконец снохи. Они начали развешивать занавески, полог, взбивать перины, готовя ложе для жениха и невесты. Потом, подняв обессилевшую от слез и рыданий Айхылу, начали ее наряжать. Скоро снохи управились и с этим делом — так что все шло своим обычным порядком.

Айхылу сидела перед ними в расшитом свадебном еляне из черного атласа с узорами из монет и кораллов, поверх него был накинут селтэр [1], на голове узорчатый кашмау [2], усыпанный разноцветными каменьями и жемчугом, на ногах — красные сапожки на высоких острых каблучках с медными подковками — все это подарок жениха.

— Ой, как идут тебе наряды, Айхылу-бикэс! — восхищенно сказала Шамсия. — Глаз не отвести! Такое сокровище досталось нашему дорогому Хатыбалу!

— Ну зачем наряжаете? Ради кого, енге! — Айхылу снова упала с рыданиями на урындык. — Ой-ой, неужели я стану женой этого пустоглазого выродка?! Иштуган!.. Иштуган, почему не спасаешь меня?..

Шамсия тихонечко погладила ее голову, руки.

— Не плачь, бикэс. Кто знает, может быть, ты еще полюбишь... И любимой... и самой счастливой девушкой на земле станешь. Только потерпи... Так ведь, апхын? [3]

---

[1] Селтэр — украшение во всю грудь до пояса из кораллов, обрамленное по краям монетами, а внизу — кистями.

[2] Кашмау — праздничный головной убор.

[3] Апхын — жена старшего брата, обращение между снохами.

Возившаяся с пологом вторая сиоха отвечала, ие поворачивая головы:

— Только так и будет, килеи... А Хатыбалто и богатый, и ученый, и красивый... Одни усы чего стоят?! Так ниточкой прямо и стелются! Другим бы девицам такого жеииха, «да-да» запели бы от счастья. А оиа дурью мается!..

— И ие говори, апхыи,— поддакиула Шамсия своей помощнице, а сама тихонечко вложила в руку Айхылу письмецо. — И ие говори уж... Қак же жить-то без веры... Ведь кто знает...

Айхылу перестала плакать, взяла кумган.

— Еиге, я схожу умоюсь, ладио?

— Иди, иди, бикэс, — любовно сказала Шамсия. — Умойся, намажь лицо кремом, подпудрись. Пой, веселись — и нам легче стаиет.

Айхылу с улицы пришла другим человеком, лицо ее светилось.

— Вы обе, мои чудесиые еиге, совсем-совсем правы! Чего я расквасилась? Радоваться надо. Подите, скажите маме, я тоже хочу, как все, провести с подружками свой последний вечер девической жизни!

— Давио бы так! — воскликиула Шамсия.

— Вот иакоиец первое умиое слово, — сказала другая сиоха.

Сиохи прииесли радостиую весть Бибисареабыстай. Вскоре «дом жеииха» заполиился девушками. До самого вечера они пели, таицевали, веселились, играли иа кумызе[1]. Айхылу была радостиа вопреки всем ожидаииям. Она даже веселилась больше всех. Бибисара-абыстай, услышав об этой разительной перемеие,

[1] Кумыз — девичий щипковый ииструмеит.

несколько раз под разными предлогами сходила в «дом жениха» увидеть своими глазами дочь, потом вызвала из гостевого дома Қозу Муэдзина, где тот сидел со сватами.

— Подумать только, оказывается, наша дочь-то рада-радешенька! А я-то боялась...

— Говорил же, нарочно плачет... Не поймешь женские уловки... Смотри-ка, ах, шельма! Притворялась значит, чтоб не говорили, будто рада, что за Хатыбала выдают.

— Тогда опасаться нечего. Пусть снохи и девушки спрячут невесту, а потом от жениха подарки получают. Да, отец?.. Я-то боялась, что придется к запертой невесте жениха привести. Потом нас попрекали бы, что обычай нарушили.

— Ладно, соблюдем обычай. Только чтобы в надежном месте прятали.

— За это не беспокойся. Шамсия, бедная, что скажешь, то и сделает. Пусть девушки там же, в ее доме, и прячут...

— Ладно, ладно, мать, сама смотри, — сказал Қоза Муэдзин. — Знаешь ведь, меня сваты ждут, — и заковылял обратно.

Пир продолжался. Уже съели одного отгульного коня. Бессчетное число раз угощались подаваемым казы-ялы [1], бочонками пили кумыс и бузу. Ближе к полуночи на лоснящихся гарцующих жеребцах подъехали жених и сопровождающие его джигиты. И как полагалось, лаяли собаки. Хатыбал сидел на вороном жеребце, джигиты — на гнедых. Чтоб придать больше торжественности, он приехал не

[1] Казы-ялы — домашняя колбаса из цельной полосы мяса и сала с холки коня.

от дому, а кру́гом — через Ташхарай. Джигиты жениха тоже были из этого училища. Царя уж давно не было, а в училище сохранялись старые порядки.

Снохи помогли жениху спуститься с коня на белую войлочную кошму и проводили в «дом невесты». Джигиты с трудом втащили в гостевой дом за четыре ручки громадный деревянный сундук с узорами из цветной жести. С большим торжеством под возгласы пирующих сундук был выставлен посреди табына[1]. Начался торг за право открыть сундук и получить жениховы подарочек.

— Одна овца! — стукнул по сундуку Коза Муэдзин.

«Подарок богатого жениха стоит, пожалуй, того», — подумал он.

— Один бычок!

— Телка!

— Жеребенок!

Сваты старались перещеголять друг друга. Сундук грохотал от ударов. И все же никто не обошел Козу Муэдзина. Ему было жалко, что подарок такого знатного жениха может уплыть из рук. Потому он стукнул еще раз по сундуку и выкрикнул:

— Один конан[2]!

Больше кулаки не поднялись. Это была неслыханная щедрость.

Сундук открыли. Сваты кинулись смотреть на подарок. И Коза Муэдзин, который до этой минуты ходил важный, как индюк, гордясь богатым зятем, тут чуть не расплакался со

---

[1] Табын — застолье, большой сбор.
[2] Конан — жеребец-трехлетка.

стыда. Весь подарок состоял из рубахи и штанов из простого ситца.

«Ну чего я распетушился?! Стыд! Позор! Даже небогатые женихи кладут сверху еще чапан, елен, сапоги, калоши... Рубаха всегда бывает льняная, вышитая! А этот... скупец!.. Тьфу!»

Коза Муэдзин выругался про себя, сплюнул в сердцах, а улыбки, которые прятали сваты в усы, только усиливали его огорчение. Забыв выставить из сундука угощение жениха, он, размахивая руками, выскочил за дверь. Джигиты зятя сами подняли на громадном подносе сяк-сяк [1] и выставили на середину табына. Свадьба продолжалась...

* * *

Перевалило за полночь. Сватов и свах повела спать к себе родня Козы Муэдзина. Начался обряд поиска невесты. Улицу запрудили женщины и дети. Снохи бегали от дома к дому, ища невесту, а за ними хвостом — мальчики и девушки, веселые помощники снох и тоже надеющиеся на подарок от жениха. По обычаю снохи без подарка невесту «не находят». Не найдя невесты, они выводят на улицу жениха и таскают его за собой, пока он не начнет задаривать снох и девушек. Тогда его приводят к разодетой невесте, поджидающей суженого.

И сейчас снохи, твердо следуя своему правилу, обошли улицу и вернулись к жениху без

[1] Сяк-сяк — жаренные в масле шарики из теста в меду.

невесты. Но Хатыбал не пожелал, как все прочие женихи, таскаться по улице. Бросив горсть обесценившихся серебряных монет пришедшим к нему снохам, он процедил надменно:

— Найдите сами!

Праздничное шествие, которое образовывали с женихом во главе снохи и их помощники, распалось. Веселая игра с поиском невесты, запрятавшейся в доме, называемом «домом жениха», и радость встречи жениха с невестой, в которой участвует обычно вся шумная толпа, — всего этого уже не будет. Снохи понуро направились прямо к воротам Ахметши.

В «доме жениха» царил покой. Уставшие от игр и плясок подружки невесты прилегли. Айхылу, когда стемнело, предложила передохнуть:

— Все не идут... Видно, не хотят искать. Давайте пока приляжем, подружки, — и первая забралась на урындык.

Заснула и натрудившаяся за день Шамсия. Очнулась она от сильного стука.

— Кто там? — сонно спросила она.

— Девушка у вас?

— Нет.

— Открывай!..

— Какой подарочек будет?

— Окрывай, открывай, некогда нам!..

Шамсия отперла дверь, пошла к урындыку и содрала одеяло.

— Ах-ах! Айхылу?! Где?

Она со страхом поглядела на вошедших. Под одеялом вместо Айхылу лежал только старый тулуп старика Шымбая.

— Айхылу! Айхылу! Выходи, не прячься!..

— Айхылу, говорю, где ты?!

Ответа не было. А метель, не утихавшая всю ночь, замела-загладила все следы. Снохи забегали туда-сюда. Обыскали, обшарили весь дом. Пошли на задний двор, зашли в сарай, и здесь, увидев широко распахнутые задние ворота, все поняли.

— Сбежала! Опозорила!..

Плача и причитая, снохи и встревоженные их помощники побежали к Козе Муэдзину. Мальчишки и девчонки, которым наконец-то стало весело и интересно, как галчата, с криками и хохотом забегали по улице. Поднялся разноголосый шум и гвалт.

— Как сбежала? С кем?

— Кто ее выпустил? Кто закрыл за ней дверь?

— Ох, недотепа, засоня, Шамсия!

— Ничего не ведая, дрыхла! Ха-ха!.. Вот чудеса!

Пришла в движение вся улица. Высыпали растревоженные сваты. Хатыбал, проклиная все, содрал с себя и бросил на землю алый кушак, который, по обычаю, должна была развязать невеста. Он, предвкушая, как будет мучить и бить ее плетью за то, что она не может быстро развязать узел на кушаке, затянул его потуже и запрятал концы.

— Поймать! Выслать погоню! Кто поскачет?!

— Тому, кто поймает беглецов, даю коня! — гаркнул старшина Собхан. — Жеребца-четырехлетку!

Джигиты Хатыбала все изъявили желание пойти в погоню.

— Только надо бы сменить коней. Наши весь день были под седлом, — сказали они.

— Отец, дай коней! — закричал Хатыбал. — Чтоб догнать, чтоб растоптать!

Потерявшему от злости голову, посрамленному старшине свое грузное тело показалось пушинкой — он понесся к своему дому.

— За мной, седлайте, садитесь на моих коней! Не пожалею лучших рысаков, на которых никто не садился! Только догоните!..

Отец и сын, обгоняя друг друга, влетели во двор. Но здесь их ожидало новое бесчестье: ворота конюшни, где стояли только три породистых вороных рысака, были широко распахнуты. На земле валялись вывороченные запоры.

— Мои рысаки?!. Кто выкрал! Кто посмел?! — старшина Собхан ухватился за голову и тонко завыл. — Рысаки мои! Соколики! Ай-й-й!..

Хатыбал приволок со скотного двора старика Идриса.

— Сатана! Старый хрыч! Где кони?! Рысаки куда подевались? Ах ты, пьяная башка!..

— Потише, зятек, эй, братец, осторожнее хватай!.. Ну, выпил, конечно, с радости, свадьба ведь... — заплетающимся голосом говорил старик. — А что?.. Коней надо запрягать, говоришь?.. Тотчас, мигом, господа!..

Хатыбал, выругавшись, пинком отбросил старика.

— Что делать, отец?!

— Поймать! Убить! Отправить их души в ад!

Они побежали назад в дом Козы Муэдзина.

Через несколько минут Хатыбал и его приятели, вскочив на своих уставших коней, поскакали из аула.

Во дворе старшины Собхана на снегу лежал пьяный старик Идрис, распевая во всю глотку свою любимую песенку:

Ай, Дунай, вай Дунай,
Дунай, веселый Дунай!..

Начался скандал в доме Козы Муэдзина. Старшина Собхан схватил Козу Муэдзина за его жидкую бороденку.

— Где твоя дочь? Остолоп! Вздумал посмеяться надо мною! Душа из тебя вон! Убью!..

Коза Муэдзин затрясся.

— Невиновен я! Клянусь, биллахи-валлахи, невиноватый я! Не убивай, отпусти мою душу, безгрешную!

Стоял ужасный визг и в доме, где сидели сватьи. Бибисара-абыстай и Алмабике не вцепились друг в друга, как их мужья, однако расстались врагами на всю жизнь.

— Срам! Стыд! Какое позорище! Говорила, не надо связываться с нищими! Не послушал. Откуда знать девке цену богатства, когда родители нищие?! — разорялась Алмабике. — Ну, кто ведь выставил нас на всеобщее посмешище?! Кто?! Распутная, никчемная девка! Вот кто!.. Дочь вонючего Козла Муэдзина! О аллах!..

— На себя пеняй! Это твой сыночек бездельник! Эка важная персона, развесил губы, пузо выставил и сидел сложа руки, паршивец! Дождался! Знать бы надо, что на сердце девическое и другие охотники найдутся! — несла ей в ответ Бибисара.

— Распутница твоя дочь! Вся в мать! Говорила я Хатыбалу!.. Ты же сама заставила Ах-

метсафу жениться на себе, сама вцепилась в него!..

— Да, сама пошла за него и живу, не жалуюсь, слава аллаху! Не к чему тут тебе придраться, некуда прицепиться? Что на это скажешь, а?! Что тут поделаешь?!.

— Вот что сделаю, потаскуха! — Алмабике смачно сплюнула в лицо Бибисары и пошла из дома.

Бибисара выплеснула ей вслед ведро помоев.

— Чтоб ноги твоей больше здесь не было! Чтоб следов поганых не осталось, паскудница!

* * *

Ночь. Ни луны, ни звезд. Стоит первая половина ноября, а на улице декабрьская стужа. Пронизывающий ветер свистит, застревая в сухих ветвях тополей и соломенных крышах. В доме Собхана ни души. Ворота и двери на запоре. Лишь за загоном в скотном сарае валяется не протрезвевший со вчерашнего дня старик Идрис. Его и не подумали пригласить на свадьбу Хатыбала, приходящегося ему племянником. У своего дома, примыкающего к забору старшины Собхана, стоит Ахат, рядом — Иштуган. Около полуночи раздается легкий птичий посвист. Это старик Идрис напоминает, что пришла пора... Ахат и Иштуган перелезают через забор во двор старшины. Под пронзительное завывание ветра удалось спокойно проделать все: взломать запоры, поймать и оседлать коней, разгуливающих по дощатому полу громадной конюшни, разгрести снег и открыть задние ворота.

— Смелее, не трусьте! Вы оседлали своих коней, а не коней старшины Собхана, — слышится ободряющий голос старика Идриса. — Ну, в путь! Скачите и своего Идриса-олатая не вините!..

Джигиты от волнений и страха ничего не могли сказать. Им показалось в эту минуту, что биение их сердец разносится на весь аул и вот-вот поднимет всех на ноги. Но отказываться от задуманного они не собираются. Ведя за собой коней, они направляются к задним воротам Ахметши. А старик вновь заваливается спать.

Задние ворота Ахметши, как было условлено, распахнуты. Иштуган исчезает в них. Ахат, с трудом удерживая трех коней, остается за оградой.

В доме, где притаились девушки, глубокая тишина. От прикрученной семилинейной лампы идет тусклый желтоватый свет. Окно, у которого должна лежать Айхылу, тревожно чернеет. Иштуган, чтоб не поддаться нахлынувшей слабости, старается тверже ставить ногу. Вот и нужное окно. Подражая голосу молодого петуха, он тонко кукарекает.

— Ки-ки-ку-ук!

Ждет. Снова кукарекает и ждет. Кажется, проходит вечность. «Если Айхылу и вправду заснула?..»

Но нет, у окна мелькает легкая тень. Едва слышно скрипит дверь и с маленьким сверточком в руке выходит Айхылу.

— Иштуган!

— Айхылу!

Они тянутся друг к другу, делают несколько шагов и, словно не зная, как быть дальше,

замирают. Ноги застывают на месте. Набежавший ветер принимается теребить их одежды.

«Опомнитесь, торопитесь!» — словно напоминает он. Иштуган приходит в себя, несмело протягивает руку.

— Идем, Айхылу.

— Пошли, — шепчет Айхылу. — Пошли!

Взявшись за руки, они бегут через сарай к воротам. Айхылу накидывает сверху мужскую одежду. Трое беглецов вскакивают на коней и поворачивают в сторону большака. Осенний ветер откуда-то приносит еще снегу и прячет их следы. Теперь уж никакая сила не могла остановить вырвавшиеся на свободу молодые сердца и высекающих копытами искры аргамаков.

* * *

Ярости Хатыбала и старшины Собхана не было предела. Они забыли про то, в какое время живут, и решили, как встарь, отыграться на ком-либо за свое посрамление.

Проскакав по полста верст во все концы и не настигнув беглецов, они пошли прочесывать дома. Сначала обыскали дома Сарбиямал и Халима. Искали Ахата и Иштугана. Хатыбал знал, что Иштуган неравнодушен к Айхылу, но ему даже не приходило в голову, что Айхылу может предпочесть кого-либо другого.

— Значит, он выкрал Айхылу! И коней тоже... Один он не мог это сделать! С руки ли оно такому сопляку? Ему кто-то подсоблял. Но кто? Верно, этот каторжник Тимербай! — решил Хатыбал.

— Верно! Точно он! Кому еще придет в голову! — хором поддержали его приятели по Ташхараю.

Шымбай-Куштан подлил масла в огонь:

— И молодых всех развратил Тимербай. Лошадь бая — наша лошадь, седлай да скачи! Невеста бая — наша невеста, укради да к себе тащи!..

Нашелся удобный предлог, чтоб расплатиться с Тимербаем и по старым счетам. Озверевшая толпа ввалилась к Тимербаю.

— Коней куда подевал, вор?!

— Кому девку продал, каторжник?!

— За коней поплатишься своей головой!

Тимербай удивился:

— Чего вам от меня надо? Чего взбесились? — он надеялся успокоить разъяренных баев, но те с дикими криками потащили его на улицу и стали избивать...

Салима лучше других понимала, что кража девушки и коней будет поводом старшине Собхану отомстить прежде всего ненавистному ему Тимербаю. Она быстренько запрягла лошадь в легкие сани для сена и погнала в Ивановку. Ей было известно, что вернувшийся с фронта на поправку после Февральской революции Никита работает там председателем сельского Совета.

«Баи бьют Тимербая... Убьют... Привезу-ка я на них Советскую власть...» — вертелось в ее мозгу.

Чуткое ее сердце не обмануло и на этот раз.

* * *

Шауре рассказала подружкам об удивительных событиях сегодняшней ночи, и девочки снова прильнули к окну.

— Ой, кого-то бьют! — воскликнула Шауре. К ней присоединилась и Янеш.

— Правда!..

— Наверно, нашего Иштугана убивают! — вскричала в ужасе Емеш и бросилась на улицу.

У ворот дома Карасэс собравшиеся в круг Хатыбал, Хуснулхак, старшина Собхан, Шымбай-Куштан, вор Ахметша и приехавшие с женихом его друзья из Ташхарая избивали Тимербая. Тимербай пытался подняться, цепляясь за полы одежды баев, и снова падал под ударами, но молчал. Слышно было только уханье избивающих и их крики:

— Где кони? Вор! Падаль! Говори!..

Вокруг суетились с визгом женщины и дети, фронтовики-инвалиды, но помочь ничем не могли. Внутри круга рядом с Тимербаем крутилась бабка Карасэс, бросаясь под удары, чтоб защитить своим телом сына. Базыян с посеревшим, как зола, лицом, лежала на снегу. Женщины хотят приподнять ее, но страх отнял у них все силы, и они только плачут:

— Будто умерла...

— Обморок у ней, обморок...

Босые, в одном платье, проваливаясь в снег, с пронзительными криками бегали Сабира и Самига. Емеш бросилась к избивающим.

— Ой, не убивайте! Не бейте! Агай, олатай, остановитесь, остановитесь! — закричала она.

Шымбай-Куштан, схватнв ее за ухо, отбросил в сторону.

— Чего тебе надо, щенок! Сгинь с глаз!

У Емеш потемнело в глазах, куда-то из-под ног ушла земля, но боли она не почувствовала, вскочила и снова кинулась к баям, с удивительным хладнокровием продолжавшим свое черное дело.

А бабка Карасэс хваталась за их руки, палки и все старалась принять на себя больше ударов. Ее сбивали с ног, но она тут же вскакивала в каком-то яростном исступлении, вцеплялась в самих истязателей. Ее вышвыривали из круга — она проползала между ног обратно. Когда же Тимербай потерял сознание и упал бездыханный на окровавленный снег, бабка Карасэс закрыла его своим телом. Ее жилистые руки, сплетясь, как ива, обхватили тело сына. Ни бешеные выкрики врагов, ни брань и хула, ни сыплющиеся на ее спину безжалостные удары не могли заставить ее отступиться от сына.

XXI

Байгильде заглянул в несколько заезжих домов и, не встретив там никого из односельчан, в надежде, что кто-нибудь подсадит его по дороге, пешком зашагал из города домой в Ильсегул, прихватив на всякий случай из заброшенной ограды увесистый дубовый кол.

Солнце только взошло. Бескрайняя степь лежала под первым снегом, играя и переливаясь в желтоватых лучах яркого осеннего солнца. Она то зеленела, то синела, то краснела. Куда ни брось взгляд — беспредельная ширь. Впереди — бесконечная, уходящая за

горизонт степная дорога. Не первый раз шел по ней Байгильде, немало хожено и перехожено здесь, потому и мила она сердцу.

Э-эх, как истосковался он! Три года назад уходил он по этой дороге на войну, особо и не надеясь вернуться, увидеть снова родную степь. Но все же вот выжил. Идет домой к своим детям. И день пригожий, и солнце! К ночи разыгрался было буран. А теперь даже потеплело, как весной; заиграли солнечные лучи. Все же хорошо в этом мире!.. Правда, ноги уже не те. Протопать столько верст — не шутка. Туго придется ему, если никто не подвезет.

Байгильде пристально всматривался в лица обгоняющих его возчиков. Но знакомых пока не было видно. Заплатить, чтоб подвезли, нечем — в карманах пусто.

«Неплохо бы, пока буран не поднялся, до дому добраться...»

Он радостно смотрел вокруг. Все близко до боли в сердце: и бескрайний горизонт, и изгибы дороги, и седоволосые холмики, еще не успевшие надеть свои зимние снежные шапки.

«О, как я все же соскучился по родным местам!.. А когда жандармы поволокли из госпиталя, думал: конец...» — усмехнулся он, и перед его глазами, как наяву, встала Марина в минуту расставания: в больших голубых глазах ужас, дрожащие губы шепчут:

— Что же это такое! За что вы его, господи?! — и она, бледнея, прислоняется к стене, чтоб не упасть...

«Где ты, милая Марина, сейчас? Как ты там?.. Проклятая война! У кого только не выкрала она счастье? Ну, хоть бы ради нее, Марины, пощадила Матвея... Эх, Марина, Мари-

на, разве можно так беззаветно любить нас, мужчин, которые и себя-то не могут сделать счастливыми?! Жаль, не успел тебе рассказать о твоем Матвее, безвестном герое... Нет, не зря так сильно любила ты мужа.

А потом — как гром средь ясного дня — освобождение!.. Нет, не должен я сетовать на судьбу...» — задумчиво улыбнулся он про себя и ускорил шаг. А воспоминания шли непрерывной чередой, как эта ровная бесконечная степная дорога, лежащая перед ним.

Он и не чаял остаться в живых. Его, арестованного, препроводили в город, посадили в карцер. Начались пытки и побои. Требовали выдать имена агитаторов, призывающих к революции, к борьбе против царя и войны. Требовали назвать тех, кто подстрекал напасть на офицера.

По его молчанию и стойкости решили, что он и сам большевик. Побои становились все мучительнее. Байгильде терпел, пока были силы, а потом падал, теряя сознание. Как-то, очнувшись на сыром полу карцера, он услышал стрельбу и крики.

Байгильде с тоской поглядел на крохотное оконце под самым потолком камеры. Подтянуться к нему не было сил. Впрочем, что увидишь там, кроме клочка темного неба?!

Шум приближался. Загремели цепи и засовы. Кто-то разбил прикладом замок на дверях его камеры. И словно яркое солнце пробилось в темную комнату.

— Товарищ! Свобода! Революция!

Байгильде, не понимая, что делает, со слезами бросился в объятия русского солдата, широко улыбающегося ему с порога.

— Товарищ! Спасибо, товарищ!..

Он не спросил у солдата, кто он, откуда родом, но думает сейчас, что узнает его всюду. Такого человека невозможно забыть.

После освобождения он снова лежал в госпитале, на этот раз залечивал следы пыток и побоев. Потом так называемое Временное правительство погнало его на фронт «воевать до победного конца». В дни Октябрьской революции он уже был среди борцов за власть Советов. Позади тысячи верст разных дорог, полуразрушенные станции, дырявые вагоны и теплушки. А сегодня он, демобилизованный, израненный, измученный солдат, вышел на последний отрезок своего многолетнего пути через войну и революцию.

«Скорее бы дойти. Увидеть бы детей. Живы ли они?»

Близился полдень. Байгильде сошел с дороги, уступая обозу из десятка подвод. Это были сыновья кулака Сергея Хитрова.

— Эй, земляки, подбросьте!

— Воз тяжел. Не можем, знаком!

Байгильде стоял на обочине, пережидая этот длинный обоз. В каждые сани были впряжены могучие тяжеловозы, способные тащить хоть гору.

«В городах революция. А здесь, выходит, все по-старому...»

Хитров промышлял зерном. Сочная, как молочай, нежная, как юная дева, лоснящаяся, как не знавший узды конь, благодатная башкирская земля ежегодно давала ему несметный урожай. На его громадных пашнях всегда колыхалось неоглядное море пшеницы. Стойкие к засухе испытанные местные сорта «бе-

лая безостая» и «красная безостая», которые испокон веков сеяли на этой земле башкирские земледельцы, избавляли его от недородов. На несколько верст вдоль Большого Ика тянулись его огороды и бахчи. Там зрели арбузы, дыни, картофель и другие овощи.

Умеющему выжимать из земли все соки, готовому ради копейки вгрызаться в нее зубами алчному хозяину война помогла неслыханно разжиться. Обозы с хлебом, которые он слал в Оренбург, обратно везли соль, спички, керосин и другой вздорожавший с войной товар. Старик Хитров даже мечтать не мог раньше о привалившем к нему с войной таком богатстве. Несмотря на свои семьдесят лет, он еще крепок, у него степенный вид, хмурый, как осеннее небо, взгляд; на его обросшем лице, с широкой рыжей бородой, выделяется острый вороний нос. В последнее время он воспылал еще большей любовью к плодородным долинам Большого Ика, заливным лугам, покрытым тысячами разных цветов. Ради того, чтобы прибрать их к своим рукам, он даже забывает порой о староверском презрении к иноверцам и всегда рад принять в своем доме нужных людей, вроде старшины Собхана и Шымбая-Куштана.

— Ну и что ты приваживаешь в дом поганцев? Без чашек вовсе оставишь, — ворчит его старуха. — Всю посуду за ними выбрасываю.

А он на это лишь сверкнет недобрым взглядом из-под лохматых бровей, смачно пошлепает ладонью о ладонь и крепко потрет их друг о друга.

Когда он бывает доволен, всегда хлопает большими волосатыми руками и потирает их.

Это означает, что у него радость. Тогда он становится чуть разговорчивее.

— Эх, старуха, ну что такое посуда? — говорит он, подмигивая ей. — Ты лучше скажи, на сколько десятин стало больше земли у Хитрова? Ничего не знаешь, глупая баба... Лишь бы война не кончилась... Тогда вся ильсегуловская земля в мои руки перейдет, вот как! И у нас в Мраковке солдатки ленятся обрабатывать землю... Эх-ма!.. Еще пару лет войны, тогда о Сергее Хитрове вся Россия будет знать... Помещик! Хозяин! Понимаешь, дурабаба?.. Вот-вот, не смыслишь ни черта, старая... Баба она и есть баба, чего от нее ждать!..

Однако жизнь расстроила эти далеко идущие планы старика Хитрова. Самодержавие пало. На фронтах тоже возникли беспорядки. Народ требует покончить с войной. В бездонные силки, которые он плел всю жизнь, только-только попал было скользкий зверь, именуемый богатством, и осталось лишь затянуть петлю на его шее, как начали трещать сами силки.

Правда, пока в волости сидит его сын. И он может беспрепятственно торговать зерном. Пользуясь случаем, он гонит обоз за обозом в Оренбург. Все сыновья у него снуют вздвперед по Оренбургскому тракту. Даже беспробудный пьяница, меньшой Апанас, которому любая работа поперек горла, теперь при деле. Как обычно, пьяный, поотстав от братьев, он по той же дороге ехал сегодня домой, чуть не падая с высокого возу.

— Эй, Апанас Сергеич! Потеряешь голову! — прокричал ему Байгильде.

Апанас уставил на него мутный взгляд.

— Ты кто?
— Байгильде. Помнишь? Из Ильсегула...
— А, Байгилька, знаю, знаю... Ты откуда?
— С фронта иду.
— А-а, солдат?! Айда. Подвезу.
Байгильде взобрался в сани.
— Давай вожжи.

Апанасу того и надо было. Бросив ему вожжи, он растянулся вдоль саней и тотчас захрапел. Лошадь шла ленивой трусцой. День прошел спокойно. Заночевали в одном хуторке. Там Апанас снова напился. И на другой день ехать с ним было просто тошно. Да и время ведь, чем ближе к дому, тем идет медленнее.

— Байгилька, слышь, Байгилька!— еле ворочая языком, лопотал Апанас. У него было такое свойство — от перепоя развязывался язык.

Байгильде, не обращая внимания, погонял коня.

— Но, лошадка! Шагай!

—Байгилька, мой брат Федька тоже в прошлом году приезжал в отпуск. Знаешь, кто он? Офицер. Байгилька, знаешь, как мы разбогатели?.. Как хутор-то наш вырос! Скоро Мраковка соединится с Каргалкой и не станет Ильсегула, понимаешь?! Знаешь, отец хозяйство так ведет, что новым властям не к чему придраться. А Федька сказал, что большевики хотят всю землю крестьянам передать. Вот вернется он, побив немцев, и мы всю землю у Ильсегула отберем. Хватит башкирам землей править!

Байгильде, стараясь сохранять выдержку, спокойно возразил:

— У вас же и своей земли предостаточно, Ананас Сергеич. Две трети мраковской земли ваши... И Ильсегульской земли вы столько же отхватили...

— Верно, и отец с Федькой говорят, что вся земля должна быть отдана нам, крестьянам значит.

Байгильде пытался пропускать мимо ушей хвастливые бредни пьяного, самого глупого из рода Хитровых, чтоб не расстраиваться попустому. Но Ананас не унимался. У него было благодушное настроение и его так и тянуло похвастать.

— Отец говорит, приберу к рукам все башкирские земли, помещиком стану. Настоящим помещиком. Тогда, говорит, не только башкиры, но и русские из Мраковки и Каргалки будут плясать под мою дудку. Эх, Байгилька, и заживем мы тогда!.. Я бы тебя своим кучером взял. Ты бы возил меня к моим полюбовницам. Возил бы, а, Байгилька?! Знаешь, сколько их у меня? Все солдатки до единой! Эх, и зажили бы мы тогда, а, Байгилька?

— Сейчас вашим надеждам хвост прищемили, Ананас Сергеич! — отрезал Байгильде, потеряв терпение. — Не быть по-вашему!

Ананас привстал.

— Как прищемили? Как? Ты что мелешь? Байгилька?!

— Времена ваши прошли, говорю. Придется поджать вам хвост...

— Много ты понимаешь! — сказал Ананас высокомерно. — Самое времечко-то и пришло. Мой отец знает, что говорит!..

Ананас никогда не задумывался над окру-

жающими его изменениями в мире и потому не понял, к чему клонит Байгильде.

— Знаешь, Байгилька,— начал он опять.— Федька сказал еще зимой отцу: «Пускай приходят к власти большевики. Мы все равно не проиграем. Подрядимся к ним, перерядимся в большевиков, вооружимся и ткнем на башкирцев: — «Вот они, хозяева земли! Большевики должны хозяев земли уничтожать!» — и перережем их». Ха-ха-ха! Тем все дело и кончится. Они ж бараны. Легковерные. Подумают, что это новые власти их убивают, и никуда не пойдут жаловаться. А мы тем временем перещелкаем их поодиночке, как курочка, по зернышку! Потом кому земля достанется? Опять-таки нам! А всяким Петрушкам и Андрюшкам зачем земля? У них же ни лошади, ни скота! Здорово придумал мой Федька, а, Байгилька?! И отец согласился с ним, велел с фронта побольше винтовок привезти. Такие вот дела! Я все это слышал лежа на печи. Не вздумай отцу моему ляпнуть. Они думали, я пьян. Нет. Шутишь! Апанас сам-то, может, и пьян, а ушки у него трезвые. Пусть только Федька винтовки привезет! Я первый пойду убивать... Отец и Федька дивиться будут: «Ай да лентяй Апанас!.. Ай да пьяница Апанас! Ай да молодец!» Вот увидишь.

Гнев душил Байгильде. Но все же он, желая дать тому выболтаться, только лениво процедил сквозь зубы:

— Не выйдет у вас ничего...

— Ну, это мы еще посмотрим! — вскипел Апанас. — Когда это мой отец не доводил до конца задуманного? Не знаешь ты нашего рода!..

— И все равно не выйдет, Апанас Сергеич, — повторил Байгильде. — Большевики говорят, что землю надо дать крестьянам, а не баям. Большевики велят отобрать земли не у бедных башкир, а у баев и помещиков. А баи, Апанас Сергеич, есть и у русских, и у башкир... Баи русские или башкирские — один черт. И бедные тоже всюду одинаковы...

Апанас, словно протрезвев, уставился с сомнением на него.

— Чепуху болтаешь, Байгилька! Откуда тебе-то знать, о чем говорят большевики?

Байгильде усмехнулся.

— Ага, только прикидываешься дурачком, Апанас Сергеич! Не так-то ты и глуп. То-то как насторожился!..

— Кто сказал тебе? — Апанас, пошатнувшись, схватил Байгильде за ворот. — Или ты с ними заодно, голодранец?

Байгильде отпихнул его локтем. Тот опрокинулся, но снова подполз и вцепился в вожжи.

— Скажешь или нет?.. Молчишь! Эй, баран, попомни! Первая моя пуля тебе, когда Федька с винтовками объявится. Конечно, у тебя земли нет. Пользы мало убивать. И все же за твой язык не пожалею я одной пули, ладно, Байгилька? Слышишь, одна пуля в лоб будет от меня последним подарочком, хи-хи-хи!..

Терпение бывшего солдата лопнуло. Он, завернув коня в сугроб, спрыгнул с саней и ударил Апанаса прямо в хихикающий жабий рот.

— На тебе одну!.. На еще!

— Ты что делаешь, беспорточный?! — в ужасе закричал Апанас. — Стой! Слышишь, я тебе приказываю!..

Наконец Апанас понял, что дело худо, и начал умолять:

— Байгилька, хватит, не бей, оставь на первый раз...

Но Байгильде продолжал бить, пока не устал. Потом вывел лошадь на дорогу и снова сел в сани.

— Но, скотина!..

— Отцу скажу!.. В Сибирь сошлют!.. — хныкал Апанас, со страхом посматривая на него.

Скоро подъехали к Ивановке, хуторку в трех верстах от Ильсегула. Байгильде спрыгнул с саней.

— На, держи вожжи, Апанас Сергеич!..

Протрезвевший Апанас, стегая, погнал лошадь вперед.

Тут до войны жил Никита. Ему удалось наняться засыпщиком к местному мельнику, и он с радостью ушел от кожевника Червяка.

«Может, и Никита живой вернулся. Надо б увидеться... А ведь Хитровы и вправду могут обмануть, подбить народ против Советов...» — подумал Байгильде, идя по заснеженной улице в дальний конец Ивановки. С семьей Никиты у него давняя дружба. Здесь его выходили, поставили на ноги, когда он был избит баями. Здесь в трудные для себя минуты он всегда находил поддержку и добрый совет. Теперь его с Никитой породнила и крепкая солдатская дружба. Никиты дома не оказалось. Его с прежним радушием встретили Марфа, жена Никиты, и его сын Алеша. Пригласили к столу, подали чаю. Сказали, что Никита тоже недавно вернулся домой с фронта, но сейчас его

по срочному делу увезла какая-то женщина из Ильсегула.

— Я не успела спросить, зачем он едет, — сказала Марфа, а Алеша торопливо сообщил:

— Баи, никак, черное дело затеяли...

Байгильде не стал пить чай и, торопливо распрощавшись, вышел в дорогу. Шагать по глубокому снегу было тяжело. Здесь не то что в степи, снегу навалило много. Кажется, ноги не вперед шагают, а назад. Но сердце велит спешить, словно чует какое-то несчастье.

«Как там мой Иштуган, мои бедные девочки?.. — беспокойно вертелось у него в голове. — Ох, как беспомощен шаг человеческий!.. Когда же я дойду?..»

Байгильде прошел всего около версты, но вконец измучился и выбился из сил. Мимо него ветром, разбрасывая снежные комья, промчался запряженный в легкие сани крутогривый красавец иноходец, лихо приплясывая корпусом из стороны в сторону.

— Но, вороной! Лети, неси своего джигита!..

Байгильде начал соображать, кто бы это мог быть, но сани вдруг развернулись и, взметнув снежное облако, остановились возле него.

— Айда, солдат, довезу! Ха-ха-ха! — прокричал ездок и пропел:

Как в аул родной добраться?
Зимогор пропащий я!..

— Ха-ха! Ассалямагалейкум!

— Вагалейкумассалям! — поздоровался Байгильде. — А, Усман-бай? Откуда едешь, агай?

Усман-бай перестал куражиться и прокричал:

— Садись, а то поздно будет, солдат! Улечу! Видишь сам, мой вороной так и рвется! Постой, ты Байгильде? Ге-ге, чудеса!

— Он самый, твой Байгильде-кустэ[1]...

— Садись!

Усман-бай со своим конем и впрямь напоминал сказочного дива-батыра, готового взмыть к небесам и исчезнуть с глаз. Байгильде с ходу сел в сани. Усман-бай тряхнул вожжи, и вороной тут же понес. Довольный собой и конем, Усман-бай бросил на Байгильде гордый и веселый взгляд.

— Чуешь, из Оренбурга лечу. В Петербурге рабочие, говорят, восстали. Царя с баями скинули ко всем чертям! Теперь купцы и баи из Оренбурга бегут. Ха-ха, смешно! А я накатался вдоволь по улицам Оренбурга и домой поехал. Кто поспевал — тот уступал дорогу, кто не поспевал — тот под копыта полегал. Гей, джигиты!.. Слышишь, Байгильде? Люди оголтело бегут, а я шпарю во весь опор по улицам, ха-ха... Мой рысак в день сто верст делает и хоть бы что! Вчера был там. А сегодня уже дома. Каково, а? За одни сутки полтораста верст! Прогулка так прогулка! А, солдат?!

Байгильде с удивлением отметил, что у Усман-бая вопрошающие, растерянные глаза, которые никак не вяжутся с его звучным сильным голосом, с богатырской величественной фигурой.

---

[1] Кустэ — младший брат.

— Ну и носился, ну и носился я по оренбургским улицам! Хотели остановить, перерезать дорогу, стреляли в спину. А я чуть тряхну вожжами и уже далеко впереди! Бедняги! Разве пуля догонит моего аргамака?! Но, лети, мой аргамак! В этом мире разве кто есть, кроме нас с тобой?!

Байгильде знал из писем Иштугана, что Усман-бай с какого-то горя немного тронулся умом. Потому он сейчас не знал, о чем с ним говорить. Впрочем, говорить было и не надо. Было видно, что и коня и хозяина остановит только пропасть.

— Ну и интересно! В Петербурге что-то творится, а из Оренбурга все баи сломя голову драпают. «Большевики идут, большевики!» — кричат. А я никого не боюсь. Я ни перед кем не склонюсь. Сам себе голова! Для меня никого нет: ни муллы, ни аллаха, ни царя. Все они что гнилое лыко! Трещат и лопаются... Ха-ха-ха! Не нужны они мне! Хватит!.. Хватит!.. Спасся от них! Как ветер, я сейчас свободен!

«Видно, он на самом деле рехнулся... И водкой много баловался...» — подумал Байгильде. Из-под копыт несущегося вихрем коня летели снежные комья за ворот, забивали лицо. А Усман-бай все говорил и говорил. Скоро они пронеслись, прорезая глубокие придорожные заносы, мимо саней, которые тащила вскачь подстегиваемая прутом, тяжелая на ходу рабочая лошадь.

— Никита! — Байгильде взметнул руку, и тот тоже успел лишь вскрикнуть:

— Байгильде!..

У Ильсегула Усман-бай пустил коня еще резвее. Влетел через маленький подъем на

улицу, неожиданно круто вывернул к своему дому, накреняя сани, и въехал в ворота. Видно, жены, зная, что он может приехать в любую минуту, держали ворота открытыми. Байгильде выпал на рыхлый снег вдоль обочины.

— Слава богу, — усмехнулся он. — Шея и спина целы.

Встал, отряхнул шинель, подобрал свою дубинку, оглядел улицу. Ему бросилось в глаза смятение у ворот Тимербая.

«Кого-то бьют!.. Не Иштугана ли моего?!.»

Вскинув над головой палку, он побежал туда.

— Разойдись! Эй, разойдись!

— Кто кричит?

— Кому есть до нас дело?!

— Э-это Байгильде, зимогор!

Баи, опершись на палки, уставились на него налитыми кровью глазами. Но Байгильде не бросился наутек, как они ожидали.

— А если из него самого немного пыли повыбивать? — пропищал Шымбай. — Самого, говорю, проучить бы... кхе-кхе...

Чтоб угодить старшине, он на сегодня оставил свою обычную скрытность на людях.

— Давай! — рявкнул старшина. — Пускай за сына отец отвечает!

Баи стали окружать Байгильде. Громче заголосили женщины и дети. Байгильде закрутил над головой дубинкой.

— Не подходи! Убью!

Круг около него сужался. Байгильде был рад, что отвлек внимание истязателей.

«Пока подоспеет Никита, как-нибудь продержусь», — подумал он.

На счастье Байгильде в конце улицы показался Никита. Еще издали он выстрелил из нагана в воздух. Баи рассыпались кто куда, будто водяные крысы. В одно мгновенье улица очистилась от них. Женщины, сами не осмелившиеся раньше прийти, помогли Никите и Байгильде внести избитых в дом.

Базыян и Тимербай долго не приходили в себя. Қарасэс-абей была еще в сознании. Қогда ее внесли в дом и положили рядом с Тимербаем на урындык, она взглянула на сына и прошептала прерывающимся голосом:

— Сынок!.. Мой Тимербай... Сокол ты мой... — и глаза ее закрылись навсегда.

Мужчины сняли шапки. Женщины прижали руки к сердцу. Дети забились в угол. На несколько минут в доме установилась скорбная тишина...

Так прошло последнее прощание с Қарасэс, отважной гордой матерью, человеком, имевшим орлиное сердце.

Никита увез Базыян и Тимербая в Ташлы. Там, в больнице Тимашева, так же, как и встарь, не обращая внимания на недовольство теперь уже бывшего хозяина, лечил простых людей человек добрейшей души, искуснейший хирург Иванов.

Байгильде вышел на улицу. Надо было повидать детей, потом заняться похоронами бабки Қарасэс. Емеш, дрожа от страха и холода, выскочила следом.

— Атай! Атай! Подожди! — закричала она. — И я с тобой!..

Байгильде резко обернулся.

— Дочка?! Емеш! И ты здесь?.. Э, да ты совсем промерзла, доченька!

Он поднял ее на руки, как маленького ребенка, укутал полами шинели посиневшие босые ноги.

— Э-эй, доченька!.. Ну, расскажи, что дома? Иштуган где?

Емеш крепко обняла его за шею холодными, как лед, руками и смолчала. Только спрятала у отца на груди грустные большие глаза, в которых был и страх, и горе, и радость. Можно ли передать словами то, что она видела, пережила сегодня?! Потом, ей непривычно рассказывать взрослым. Да и отец ведь обратился к ней с вопросом только потому, что не терпится ему узнать про Иштугана. Но Емеш ничего не могла ответить на это. Она еще раз крепко обняла отца за шею и сказала:

— Пусти, атай, я уже не маленькая.

— Дай же донести тебя на руках, доченька. Как же я опущу тебя босыми ногами на снег?!

Емеш на это спокойно улыбнулась, как взрослая.

— Не впервой ведь.

Она спрыгнула на землю и побежала впереди отца, похожая и на гонимый ветром осенний дубовый листок и на подбитого трескучим морозом серого воробышка. Байгильде шел за нею, горестно размышляя о том, что дочь и впрямь подросла — уж не возьмешь ее на руки — и что давно миновало ее ребячье детство, в котором мало досталось ей любви и ласки.

Часть третья

Нет, не горюй и радость не гони,
Поверь, придут счастливой жизни дни.
Но рай земной тогда лишь обретешь,
Когда дороги ада обойдешь.

Ш. Бабич

I

Бабка Таиба все простила Салиме ради сыновей, вернувшихся с войны живыми-невредимыми, и, словно желая наверстать упущенное, называла ее самой любимой невесткой. Салиме, никак не ожидавшей столь резкого изменения в отношениях со свекровью, это событие оказалось приятным вдвойне. Хотя Хаммат был при ней, надо признаться, на душе у нее всегда было чуточку неспокойно из-за того, что родня мужа не приняла ее. Постоянно чувствуя с их стороны молчаливый укор, она даже готова была покаяться, что ли, перед ними, признать свою вину, если бы это могло помочь. А ныне, с состоявшимся примирением, последняя трещинка между нею и Хамматом исчезла. Причем свекровь сама сняла давивший на Салиму тяжелый груз, и благодарная невестка платила бабке Таибе дочерней заботливостью и привязанностью.

«Сегодня пятница. Пусть кайнэм побудет у нас весь день, отдохнет, — сказала Салима Хаммату. — Ничего не разрешу ей делать. Сама за ней поухаживаю».

Забота Салимы о матери была особенно дорога Хаммату, потому что в нем самом сыновняя нежная любовь уживалась с глубоким почитанием матери за ее требовательный характер, за ее по-мужски щедрую широкую натуру.

Чуть свет Салима была на ногах, затопила баню, дождавшись свекрови, повела ее первой «открывать» сухую баню, попарила березовым веником с вплетенными в него душицей, зверобоем и другими майскими травами, выкупала, тепло укутав, привела в дом, уложила отдыхать, и тем временем сама сходила в баню с Хамматом. Потом они втроем напились чаю всласть, до седьмого пота. Бабка Таиба опять прилегла. А Хаммат пошел на собрание деревенской бедноты, батраков и бывших солдат-фронтовиков.

— Дожидайся меня, мать, не уходи. Твоя невестка хочет, чтоб ты отдохнула у нас. А я приду поздно.

— Ладно, ладно, сынок. Сегодня уж никуда не уйду от вас.

На лицо Салимы, только что светившееся луной, набежала тень.

— Опять на всю ночь уходишь!.. Уж все глаза проглядела тебя дожидаючись...

— Постараюсь пораньше... — слова Хаммата оборвались вместе со стуком захлопнувшейся двери. Салима вздохнула и, ломая пальцы, подсела к самовару.

— О, аллах, не сидится ему дома. Будто творится что с ним? Все торопится куда-то. Раньше, до войны, такого за ним не примечала... Вернулся — и все у него в голове перевернулось, все не так... Наговорит каких-то слов «буржуй», «спекуляция» и вон из дома... Или уж...

«Или уж не любит... Или к своей Оммекай назад податься надумывает?..» — закончила про себя Салима и тяжело вздохнула.

Бабку Таибу донимали свои заботы: «Ох, беспокойно стало вокруг. Народ разделился на баев и бедных и давай спорить, давай драться. Не кончится добром это, чую. И Хаммат мой уж больно озлобленным на баев с войны пришел. Лишь бы не подстроили ему чего-нибудь баи... Не случись с ним беды... Ох-хо-хо, как перепуталось, перекрутилось все в этом мире... А Закир-то мой на стороне Хатыбала ходит. Против своего брата, что ли, пошел? Уж который день в Ташхарае болтается. Как ушел, так и пропал... Не может же такое случиться, чтоб брат на брата с ружьем поднялся, нет... Гей вы, дети, дети!.. Видно, на горе матери только родились вы на свет...»

Но лицо бабки Таибы оставалось бесстрастным. Она суховато вставила в сетования невестки:

— Будет тебе, килен, травить свою душу. Такое ли время, чтоб стоящий мужчина дома сидел! Видишь, вон какие дела творятся вокруг! Не для того я сынов своих растила, не тому их я учила...

— Да, да, кайнэм...

— Коли так, учись удовольствоваться тем, что бог послал! Скольких людей война не по-

щадила, самых лучших... Слава аллаху, скажи, неразумная. Муж-то твой вернулся! Здесь, у тебя под боком.

От слов свекрови у Салимы немного отлегло на душе, лицо посветлело. Чаепитие продолжалось. За разговорами и шутками шло время. Сгустились сумерки. Салима натаскала в дом воды и дров, загнала на ночь скотину, подбросила сена и, управясь с этими «вечерними» хлопотами, опять поставила самовар. Свекровь и невестка засели за чай при неверном свете коптилки, сделанной из выдолбленной картофелины, в которую был вставлен фитиль и налито масло. Обе ждали, когда заскрипят ворота и появится Хаммат, но его все не было. От долгого ожидания они притомились и легли, погасив свет... Но сон не шел. Где-то около полуночи наконец заскрипели ворота.

— Килен, слышишь? Пришел, — облегченно вздохнула бабка Танба.

Салима вскочила, взяла в руки коптилку, поднесла огонь.

— Слава тебе, господи, что домой его занесло!..

А в дверь уже нетерпеливо застучали.

— Мать!.. Выходи, домой пойдем!..

— Это не он!.. — Салима отшатнулась от двери и смолкла, будто язык прикусила. Так неожиданно для нее прозвучал в тишине этот голос. Она узнала Хисбуллу.

С той поры, как Салима ушла от него, они больше ни разу не обмолвились друг с другом ни словом, не ступали друг к другу на порог, при встречах проходили молча, пряча взгляд. Какая же нужда привела его сейчас?

Бабка встревожилась.

— Там кто-то за дверью. Открой же, килен!

— Мать, это я! Пошли домой! Я за тобой пришел!

Бабка Таиба сползла на пол.

— Ага, небось, это Хисбулла... Чего по ночам бродишь, дуралей? Соску, что ли, захотел, шалопай?! Ну! Входи, говорят, чего застрял?

Хисбулла прокричал из-за двери:

— Нет, мать. Быстрей одевайся. Пойдем домой! У меня сын!.. Твоя невестка сына принесла!..

Новость, которую сообщил ликующим голосом Хисбулла, подействовала на обеих женщин как гром средь ясного неба. От неожиданности у них подкосились ноги. Коптилка выпрыгнула из рук Салимы. Наступила кромешная тьма.

— Ах, что он такое говорит...

— Не брешет ли он все это, дуралей!..

— Правда, все правда!

Бабка Таиба, обычно одинаково с достоинством принимавшая и горе и радость, сейчас оказалась в растерянности.

— Поди-ка ты, внучек народился, а? Внучек у меня, скажите на милость? Как же это я ничего не приметила, а? Старая и глупая стала, видать! Кто мог бы подумать, что она на сносях? Вот чудо-то, божья благодать, ах, моя доченька, сына родила, каково, а? — приговаривала бабка Таиба, все еще не приходя в себя, позабыв, что сидит на полу. Она только громко шлепала себя по коленям широкими ладонями и не могла сдвинуться с места.

А Салима и вовсе была без сил. Она при всем желании не смогла бы сейчас разжать своих губ. Незнакомые доселе чувства острой ревности, жгучей зависти нахлынули на нее волной, и вмиг глубокая тоска, отчаяние охватили ее сердце. Зазвенело в ушах, в голове забилась безумная мысль: «Зачем теперь жить»?..

— Скорее же, мать, я жду, — повторил Хисбулла. — Я постою за дверью. Выходи!

Бабка Таиба в темноте не могла нащупать своего бешмета и валенок.

— Килен! Куда ты запропастилась! Свечу зажги! Ничего не найду...

Повелительный голос свекрови привел Салиму в чувство. Она проворно засветила длинную лучину, помогла одеться.

— Не оступись, кайнэм! — сказала она тусклым голосом, помогая свекрови сойти с крыльца.

— Не упадет, подхвачу, на руках донесу! — раздался в ответ шутливый и веселый, такой непривычный в устах Хисбуллы, возглас.

Салима застыла, прислонясь к дверному косяку.

— Мать, у меня сын! Самый настоящий! Такой большой, крепыш! Бутуз!.. — не умолкал ни на минуту Хисбулла, захлебываясь от радости. И действительно, он так помчал домой, прихватив мать, что та едва касалась ногами земли. У него и в мыслях не было хвастать перед Салимой. Да и ни к чему было ему вызывать у нее горечь, просто так велика была его радость, что он не мог не говорить. Он, когда б мог, кричал в этот час на всю землю. Бабка Таиба тоже забыла про свою степен-

ность и тараторила нетерпеливо, возбужденно.

— Как, как это я в такой день не усидела дома?! Ах, доченька... Ах, бедненькая... Как вынесла все одна?! Кто же был повивальной бабкой? Чтоб такое вдруг случилось, а? Нежданно-негаданно, а, сынок? Вот чудо!.. И ни словом, ни намеком не обмолвилась, вот тихоня! Ну и характер! Выходит, как в сказке: не пряла, не ткала, а вот тебе, свекровь, рубаха! Ну и ну!.. Не сказала, не намекнула — и на тебе! Сына подарила. Ну, что ей стоило сказать, вот неразумное дитя! Бывают же такие люди, о аллах!.. И ты хорош, балбес! Ничего не сказал! Или тоже не знал, признавайся, олух!.. — дивилась и огорчалась бабка Таиба.

Но Хисбулла был не в состоянии отвечать на вопросы матери, он, не понимая ее, твердил лишь одно:

— Сын у меня! Сын!..

II

— Уа-уа! Уа-а!..

Это возвещал о своем появлении на свет, на заново рождающийся вместе с ним старый свет, новый человек. До Бибеш донесся радостный и довольный голос повитухи:

— Сын у тебя, килен! Поглядите-ка на него, какой большой, какой здоровый, шустрый! А голосище-то какой сильный!

— Покажи его... мне... енге...

— На, смотри, любуйся...

А сама Базыян тем временем, прижав к своей груди завернутый в белые пеленочки сверточек с круглой красной головкой, ловко су-

нула ему в брущий ротик на ложечке немного масла и немного меда.

— Чтоб жилось тебе сыто и сладко, чтоб дом-двор твой всегда был богатым!

И, не давая ему успокоиться, поднесла и положила его возле Бибеш.

— Принимай, килен, сыночка своего. Уж смотри теперь за ним да приглядывай.

— Спа-сибо... спа-си-бо, енге!.. — пошевелила побелевшими губами Бибеш.

— Мне-то за что спасибо? Тебе спасибо. Даже не охнув, такого крепыша раз — и выродила. Такой невестке, кроме спасибо, ничего не скажешь. Как же ты такое дело ото всех скрыла? Хорошо, я невзначай заглянула! Что тут делала бы без меня, а? И свекрови ведь нет. Кто бы тебе за повитуху был? Что ж таилась-то ото всех, ну и бестолковая!..

За этими речами Базыян перестирала полотенца, вымыла кумган, корыто, в котором купала новорожденного, поставила самовар.

— Ага! — вспомнила она. — Пойду-ка к Хисбулле-кайнешу за подарком, с него же причитается! Он, бедный, небось истомился в неведеньи! — И она заторопилась в дом напротив.

А Бибеш устремила на сына усталые от пережитых мук глаза, провела тонкими бледными пальцами по его красному лбу, по мягким горячим щекам и, блаженно улыбаясь, закрыла глаза.

«Дитя... дитя... Каким дорогим оно, оказывается, бывает сердцу матери!..»

Она еще никогда не знала такой сладкой истомы, такой приятной усталости, такой непередаваемой словами большой материнской

радости. Душа была переполнена счастьем, нескончаемым ликованием и еще каким-то гордым торжеством. Ей чудилось, что вместе с ее сыном заново родились и стали такими же родными, близкими и эти люди, живущие рядом с нею, и весь окружающий ее суровый мир. И от этого чувства жизнь впервые стала казаться ей приветливей, значительней и одновременно удивительно желанной. Даже сама она сейчас тоже как бы заново родилась, превратилась в совершенно другого человека, который был безмерно счастлив и жаждал жить на этой земле. Появившееся вместе с ребенком чувство великой радости охватило ее целиком. И она, плавно и упоительно покачиваясь на крыльях вещей птицы счастья, погрузилась в неведомый ей дотоле глубокий, сладкий сон.

* * *

Когда Базыян вошла в гостевой дом бабки Таибы сообщить радостную весть и получить причитающийся по обычаю подарок, Хисбулла носился по дому из угла в угол, как медведь в клетке. Он схватил ее за плечи и накинулся с вопросами:

— Ну, что енге? Она жива? Говори же, что случилось с Бибеш?

Базыян рассмеялась, оттолкнула его от себя.

— Осади назад, грубиян, чего так наседаешь! Что с нею станется? Откуда взял, что от родов умирают, вот глупый! Сын у тебя! Сын! Глухой, что ли? Подарочек с тебя!..

— Ух ты, енге!.. Ух, Бибеш!.. Сыи... Еиге?! Правда?!

Хисбулла то хватался сразу обеими руками за голову, то прижимал их разом к груди.

— А, еиге? Кто родился, еиге?.. Сын, да, еиге?!

— Сыи, сыи, бестолочь ты эдакая! С тебя же причитается! Что даришь, спрашиваю тебя! Говори скорее, мне иекогда, пора к Бибеш, чаю ей подать. А ты иди за матерью, вороти. Я скоро пойду домой, а за иевесткой уход нужеи.

Из всех слов до Хисбуллы дошел, по-видимому, только приказ привести мать. Ои вдруг крепко стисиул в объятиях Базыян, поцеловал в лоб и, выпалив: «Я тотчас, еиге!» — вылетел иа улицу.

— Эх, бедняга! — воскликиула ему вслед Базыяи и пошла иазад к Бибеш, приговаривая про себя: — С радости голову потерял. Не сообразил, что вестиику подарок полагается!

Бибеш с иоворождеииым сыиом крепко спали. Базыяи тихо присела у ее иог.

«Бедиеиькая ты моя... деточка... От всех мучеиий отделалась, теперь-то все уже будет хорошо..., — думала она, ласково оглядывая мать с ребеиком. — Как это угораздило меия заглянуть сюда, ие то как бы тут она одиа... Хисбулла ее, бестолковый, не догадывался, коиечно, что жена на сносях. Кабы зиал, ие растерялся бы так, ие ошалел... Вот тебе и муж! Э, да что с такого взять!...»

О том, что Бибеш беремеииа, и впрямь иикто ие знал.

Бабка Таиба заметила, что иевестка вроде бы поправилась, округлилась, но решила, что та просто перестала идти в рост. А Хисбулла

ходил разобнженный, все более уверяясь во мнении, что Бибеш его и знать не хочет; не любит, к себе не подпускает и потому-то и хорошеет, что ходит, как в девках. Сама Бибеш никак не представляла, как проходят роды, когда они наступают, ни у кого не спрашивала, да и не хотела знать. Так и шел за месяцем месяц. Накануне родов она промучилась всю ночь.

«Видно, от простуды ломит в пояснице», — думала она. Но об этом по обыкновению ни с кем не обмолвилась. Поднявшись по заведенному порядку с зарею, она натаскала воды, подоила коров, прибрала дома, подала утренний чай. После чая бабку Танбу увел Хаммат. Хисбулла ушел в лес по дрова и вернулся только к вечеру. А боль в пояснице все росла и росла. Она была рада, что сейчас, когда ей так худо, никого дома нет. От сильной боли она не могла ни присесть, ни прилечь. А когда прихватывало в животе, она, даже крепко стиснув зубы, не могла удержать стон. «Что я делала бы, будь они в такое время дома? — думала она. — Ах, скорее бы прошла эта болезнь, пока никто не вернулся. Если умирать от нее, то, смерть, приди сейчас — легче умереть, чем терпеть такие муки... Умрешь-успокоишься... Спасешься... Нигде у тебя не будет болеть... И ничего не надо тогда... О боже, только дай праведную смерть... Ничего мне не надо в этом мире...».

Базыян заглянула как раз в эти мучительные для Бибеш минуты. Хаммат просил ее прислать Закира, если он дома, на собрание бедноты. Правда, Базыян и сама хотела проведать Бибеш, которую не видела с тех пор, как встала на ноги, оправившись от байских побоев,

ведь Бибеш была для иее, как родиая дочь. Едва переступив порог, оиа заметила, что Бибеш нездоровится.

— Что с тобой, килеи? Приболела? — в страхе вскричала оиа. — На тебе лица иет! Где болит?

— Поясницу ломит, — сквозь зубы проговорила Бибеш. — Нету мочи терпеть...

— А ну приляг, животик поглажу, может, полегчает, — приилялась сразу же за дело Базыяи, забыв, зачем пришла. — Килеи! Да тебе ж пора рожать!..

— Не зиаю... — смутилась Бибеш. — Не зиаю...

Базыяи в пух и прах разругала Хисбуллу, иевозмутимо возившегося с хомутом, и прогиала его в другой дом.

— Бибеш молодая, пускай ие знает, можио простить. А ты что расселся!

Хисбулла вскочил, забросил хомут в угол и растеряиио пролепетал:

— Оиа ж иичего ие сказала...Я пришел, оиа молчит, думаю, сердится иа меия, вот и притулился тут, у двери, подальше от иее.. Откуда мие знать-то?.. Ох, аллах, что ж теперь будет-то, еиге?..

— Что будет, то и будет! Сын или дочь! Иди, иди отсюда, не путайся под иогами!

Пока Базыяи разогревала воду, готовила пелеики из белой холстииы, Бибеш уже родила иа свет сыиа... И теперь, с любовью глядя иа спящую Бибеш, Базыян все это переживала заиово.

«Слава аллаху, все обошлось... Хорошо еще, что вовремя подоспела я. Зазря пропала бы, зазря...» — про себя повторила оиа с лег-

ким вздохом. И, как бы успокаивая ее запоздалые страхи, Бибеш светло улыбнулась ей во сне.

Прошло немного времени, и в дом влетели запыхавшиеся бабка Танба и Хисбулла. Базыян встретила их возгласом:

— У вас сын родился!

— Вестнику радости одна овца! — сказала бабка Танба. — Одна годовалая овца.

— С меня платье. Сатиновое платье, енге, — громко возвестил Хисбулла. — Давеча я и сказать-то ничего не успел, енге!

— Спасибо! — ответила Базыян.— Растить вам сына в радости и согласии.

— Пусть будет так, пусть будет так! Аминь, — поблагодарила бабка Танба.

На голоса проснулась Бибеш. К ней суетливо подскочила свекровь, присела рядом.

— Как себя чувствуешь, килен? Что дать поесть, может, попить хочешь? — спрашивала она, ласково похлопывая Бибеш через одеяло. — Говори, моя доченька! Ах, ты моя деточка!..

В ее голосе было столько чувства и теплоты, каких Бибеш никогда не слыхивала от нее. Хисбулла выглядывал из-за спины матери, не зная, кричать или смеяться ему от радости, и только неуклюже пошатывался и переступал ногами. В его голубых глазах проступали слезы. И тоже впервые в жизни он показался Бибеш и близким, и милым со своей бестолковостью, детской простоватостью, незлобливостью и преданностью. Да, он отец ее ребенка, ставший для нее внезапно самым близким на свете человеком.

Поражаясь и радуясь этому новому для нее и неизвестно откуда нахлынувшему чувству, Бибеш, стыдливо улыбаясь, молча посматривала то на Хисбуллу, то на свекровь. В ее глазах был отсвет большого счастья — счастья материнства. Ее точно изваянное из мрамора лицо, сбросившее маску холодного безразличия, стало еще милее и красивее. Бабка Таиба гладила ее, как ребенка, и все вопрошала:

— Что приготовить тебе поесть, килен? Может, корот развести с маслом, луком и перцем?.. Хурпу[1] подать, деточка. Может, выпьешь чаю крепкого со сливками, с медом?

Бибеш в знак согласия с улыбкой кивнула головой. Ей и на самом деле сейчас захотелось всего полной мерой: весело жить, сладко спать, вкусно есть, — того, что неведомо было ей до сего дня.

«Ах, как хорош, как добр этот мир? Почему я не знала об этом? Жить бы в нем веки-вечные!..»

Бабка Таиба и Базыян засуетились у очага, готовя еду для Бибеш, такая еда даже имеет свое название — «еда для младенца». Хисбулла застыл в дверях из передней в горницу, поглядывая оттуда на Бибеш и спящего рядом с нею спокойным сном своего сына, — он не решался подойти, коснуться их своими неуклюжими руками. Бибеш посмотрела на него еще раз со счастливой улыбкой и закрыла глаза. Ее опять окутал томительно-сладкий и дивно-глубокий сон, тот, которым суждено насладиться только матери, родившей ребенка.

---

[1] Хурпа — бараний бульон.

* * *

Как бы в отместку за всю несправедливость судьбы к ней Бибеш хорошела день ото дня. Теперь, когда она шла с коромыслом, немало джигитов вздыхало про себя: «И такая краса пропадает за таким олухом! Не поймешь эти божьи проделки, что взбредет в голову, то и творит, ничуть не задумываясь!..»

Хотя и считалось зазорным заговаривать, заглядываться на чужую жену, все же находились охотники, под невинным обращением «енге» скрывающие желание вызвать ее на шутливый разговор, полюбоваться на ее лицо, увидеть, как блеснут жемчужинами ее зубки в ясной улыбке. Даже привыкшая считать себя первой красавицей Салима и та, проходя мимо нее, бросала издали косой завистливый взгляд. Она не признавалась вслух, но про себя не могла не отметить, что Бибеш обошла ее в красоте. Прежде Салима утешалась тем, что у Бибеш тоже нет детей и пока можно считать виноватым Хисбуллу, значит и ей, Салиме, еще можно ждать ребеночка... «Пускай будет краше, только б детей у нее не было», — втайне желала Салима. А Бибеш жила, ничего не ведая, сохраняя одинаковое безразличие и холодность ко всему, что творится вокруг, ко всем сердитым и добрым взглядам, ко всем резким и сладким речам. Ее бесстрастно взметнувшиеся вверх дугой черные брови, загнутые длинные ресницы, как бы бросающие тень на ее тонкое белое, словно выточенное из мрамора, лицо — все выдавало ее отчуждение. Никому не дано было проникнуть в ее душу. Запор был одинаково крепок для всех. Даже настой-

чивые попытки бабки Танбы разговорить ее, и по-хорошему, и руганью, и те не увенчались успехом. «Ну и живи себе так, коли нравится! — махнула и она рукой. Только в сторону не смотри, как Салима-килен...» Таково было единственное желание ее свекрови. Но годы меняют и гранитные скалы, не только людей... Со временем понемногу изменялась и Бибеш, привязалась к семье, к мужу.

Как бы робок и послушен ни был Хисбулла, он всякий раз с готовностью защищал Бибеш, подставляя порой свою спину под удары разбушевавшейся матери. А когда никто не видел, то даже помогал жене по дому, что было неслыханным для мужчины занятием. И своими стараниями как-то облегчить ее участь, своим по-детски прямодушным добрым характером, верностью, написанной в его глазах, он начал вызывать в ее душе уже не злость, а скорее сочувствие и доверие как к товарищу по несчастью. Она привыкала, или свыкалась, что ли, с ним. Это ее чувство к нему еще никак нельзя было назвать любовью. Сама Бибеш никогда не задумывалась над своим отношением к мужу, но зато Хисбулла, вступивший в пору мужской зрелости, отлично сознавал, как ему еще далеко до ее любви. Стремясь овладеть сердцем молодой жены, он незаметно для себя сам становился моложе душой. В последние годы он перестал ежедневно ходить в мечеть. Появлялся там только по пятницам и дням поминовения. Халат-чапан и мягкие сапоги-ичиги с калошами он сменил на обычную мужскую одежду: сапоги на подметках и черный казакин с алым кушаком. А както он вернулся с базара в папахе и побурев-

шей от солнца и пота гимнастерке — такую одежду он видел на своих братьях Закире и Хаммате — и лишь чудом спасся тогда от побоев матери.

— Захотел покрасоваться перед нами. Интересно ему, каково в чужой одежде! В солдатики решил поиграть! Да погляди ты на себя! Где ты видел на корове седло?! — ругалась она.

А Бибеш было смешно видеть его в таком одеянии. Она хохотала до слез. Хисбулла был на вершине счастья, что ему удалось впервые рассмешить ее. С того дня он вообще не снимал гимнастерки. А со стороны, в папахе набекрень, в туго перетянутой на поясе гимнастерке, он стал как бы чуточку стройнее и мужественнее. Перестав рядиться под суфия и помаленьку отучиваясь от манер поведения, заученных в медресе, Хисбулла начал привлекать внимание Бибеш. Она даже изредка удостаивала его улыбкой, хотя, казалось, еще вчера не ставила его ни в грош. А для него улыбка Бибеш была подобна эликсиру жизни — одна редкая ее улыбка делала его счастливым на весь день. Да, каким бы нестоящим, неказистым ни выглядел он со стороны — у него в груди билось отзывчивое и, можно сказать, нежное сердце. Потому ему было тяжело переносить молчаливое осуждение Бибеш. А ныне у Хисбуллы вместо прежних мук и переживаний — огромное счастье! Он стал счастливым из счастливейших на этой земле. Бибеш родила сына. Она любит его! Мог ли он желать себе большего счастья?!

Эти радостные мысли Хисбуллы прерыва-

лись добродушными понуканиями матери и Базыян.

— Ну, чего тут торчишь, как столб? Сядь же!

— Отойди, тебе говорят!

Женщины занимались своими приготовлениями, не забывая напоминать о себе замечаниями. А Хисбулла, ликуя и плача в душе, все стоял, не решаясь даже приблизиться к жене.

«Как можно усидеть?.. Нет, он может стоять перед Бибеш вечно... Только пусть здорова будет Бибеш... Только пусть будет счастлива...»

И, как бы читая его мысли, Бибеш сквозь сон доверчиво улыбнулась ему, сама тоже напоминая в эту минуту ребенка. Да, Бибеш тоже была счастлива в эту минуту. Как мать, несущая своего младенца навстречу миру. Как мать, принимающая этот мир и просящая его принять ребенка.

Бабка Таиба пошла в амбар взять топленого масла, чтоб положить его в разведенный корот, и столкнулась во дворе с Хамматом. Он был на коне, другого коня держал за поводья.

— Ты чего затеял среди ночи?! — встревожилась она. — Почему верхом?

— Мать, Закир не воротился? — вопросом на вопрос ответил Хаммат. — Все там с псами бродит?..

— Нет... А что? Стряслась беда с ним?..

— Я его сейчас приведу. Пусть не якшается с байскими сынками, — сурово сказал Хаммат. — Еду за ним.

— Не ходи, сынок. Хатыбал убьет тебя. Закиру что? Очухается, притащится назад. Не

остается же там. Поймет он сам, где его место.

— Нет, я его, шелудивого, сам приволоку. Я подумал было, что он догадался умотать оттуда. Посылал узиать Базыян-еиге, оиа куда-то пропала...

— Э, да я заговорилась с тобой совсем. У иас же сыночек появился! Твоя Базыяи-енге пришла сюда и, как сиег иа голову, повивальиой бабкой стала! — перешла бабка Таиба иа звоикий, ликующий голос. — Бибеш-килеи сыиа прииесла! Неждаиио-иегадаино...

— Добро!.. Зиачит, у Хисбуллы сыи. Вот радость! Поздравляю его, передай ему...

— Ладио, а сам чего? Загляиул бы. Ну и что, пускай иочь, давай уж на радостях посидим вместе все за чаем.

— Не могу, мать. Завтра зайду. Мие ие дает покоя Закир.

С этими словами Хаммат хлестиул коня и ускакал в темиоту.

— Хаммат, сыиок., ие езжай туда! Салима-килеи дома ждет! — прокричала бабка Таиба. Затем озабочеиио вздохиула и продолжила свой путь к амбару, разговаривая сама с собой. — И чем только все это оберится? И годииа тяжелая и перепуталось все кругом.

III

Никита с Байгильде потребовали, чтоб волостиой комитет наказал ильсегуловских баев, избивших Тимербая. Оии доказывали, что таких, как старшииа Собхаи, Шымбай-Куштаи, Ахметша, давио пора сурово осудить, ио у них иичего не вышло. Председатель комитета Фе-

рапоит Хитров пропустил мимо ушей их рассказы про зверства баев и приилялся утомительио и длиииио втолковывать свое:

— Мы в это бурное время ие желаем встревать в дела башкир. У революции есть поважиее заботы. Надо гиать иемцев. Вы же призываете копаться в вашей междуусобице. Разбирайтесь сами, действуйте по своим родовым закоиам. Поймите, Россия в опасиости! Немец лезет напролом. А большевики иа их мельиицу воду льют, солдат против войны иастраивают, иаш фроит рушат. Россию-матушку иемцам продать хотят. Если вы мужчииы, а ие тряпки, ие лезьте ко мие со всякими пустяками, лучше помогайте отлавливать дезертиров, чтоб их в шею иазад иа фроит гиать!..

Только лишиий раз убедились Никита и Байгильде, иа чьей стороие иыиешиий председатель. Уже миiнул год после революции, а старшина Собхаи, урядиик Алексей и другие бывшие царские прислужиики живут припеваючи, как встарь. Встревожившись в первые дии революции, они было притаились поначалу, ио, захватив в свои руки власть в волости, опять воспрянули духом. Сергей Хитров в открытую торгует зериом. В Ташхарае, ие таясь, сколачивает свой отряд Хатыбал. Было ясио, что там готовятся к схватке.

В последиие дии отовсюду идут тревожиые вести: будто аигличаие, французы, япоицы объедиiились, чтобы покончить с Советской властью, будто восстали чехи, а Яик и Идэль [1] уже в руках белоказаков. Баи сиова ходят с гордо поднятой головой, увереиные в скором

[1] Яик и Идэль — реки Урал и Белая.

возврате старых порядков. Растерявшиеся и обманувшиеся в своих ожиданиях бывшие солдаты и другие джигиты, боясь ночной резни, которая шла по всем аулам, начали потихоньку уходить в Ташхарай. С этим потоком попал в отряд Хатыбала и Закир, недавно вернувшийся с фронта.

— Чем дома ждать смерти от бандитов, лучше погибнуть в бою, как солдат, — сказал он, вскочил на коня и был таков.

А Федька Рябой, вооружив до зубов свою родню своровянным на фронте оружием, все чаще устраивал кровавые ночные вылазки.

Хатыбал расхрабрился и как-то средь бела дня появился в Ильсегуле с намерением перетянуть жителей аула на свою сторону, взвалив на большевиков злодеяния Федьки Рябого. После избиения Тимербая его здесь долго не видели, а сегодня он смело вышел к сидящим на бревнах перед домом Усман-бая мужчинам и принялся уговаривать их идти в свой отряд.

— Мы за народ. Кто хочет драться за свой народ, идите к нам...

На бревнах, как ни странно, сидели Собхан, Габбас, Ахметша, Шымбай-Куштан — такого они раньше себе не позволяли. На их лицах были довольные улыбки — ведь белые близко. Они дружно поддерживали Хатыбала.

— Молодец! Афарин!..

А Хатыбал пыжился тем пуще.

— Мы башкиры, мы все едины. У нас нет бедных и баев. Мы все равны между собой. Не будем вместе — все пропадем!..

— Постой-ка! — оборвал его Байгильде. — Кто тебе, контра, позволил рот разевать?!

— Верно, долой контру! Катись, покуда цел!..

Это уже вмешался Тимербай. Приметив Хатыбала, подошли к сходке Хаммат и Халим.

— Ох-хо-хо!.. Нет, стало быть, бедных!.. Я с вами вместе чан гоняю, так, что ли?! — зло выкрикнул Халим. — Нет! Я для вас дома строю, моя жена за вами убирает, мой сын, твой ровесник, на войне голову сложил, а ты, а вы? Как же, равны мы все!

— Складно врать научился Хатыбал! Прямо поет,— добавил Тимербай.— На устах мед, в груди — черная змея! Кого обманешь здесь? Кто тебе повернт?! По-хорошему дуй отсюда! Не то...

И он яростно надвинулся на Хатыбала. На его изможденном лице, как горящие угли, сверкали полные ненависти глаза. По его левую руку стоял могучий Хаммат, по правую — Байгильде и Халим. Другая — байская сторона тоже поднялась с бревна. Сход разделился надвое.

— Слышишь, — не терпелось высказаться Тимербаю. — Волк нам товарищем не будет!

— Во главе волости засело байское отродье. Потому и живы бандиты Федьки Рябого, потому гуляет на свободе Хатыбал, — поддержал Хаммат. Ему вторил Байгильде:

— Где у нас земля? Почему не выполняется Декрет о земле?! Весна на носу, а у нас опять земли нет!..

— В центре ничего не знают. Ферапонт Хитров покрывает баев, — вмешался опять Тимербай. — Он наши письма перехватывает. Давно пора гнать его в шею.

— Верно!

— Хватит терпеть!

— Дерите глотку, голодранцы! Последний день ваш приходит!

— Смерть буржуям!

Сход задвигался, забурлил. Тимербай пошел на Хатыбала.

— Не дам губить народ! Взять его — и в центр!

— Хватай его! Бей!

Деревенская беднота в едином порыве ринулась на Хатыбала.

— Попробуйте взять меня, большевистские собаки! — оскалился Хатыбал и, выхватив револьвер, метнулся в сторону.

Блаженный Ульябай, не понимая что к чему, вскочил на бревно и, беспорядочно махая руками, закричал ему вслед:

— Буржуй! Контра! Долой!

Прогремел выстрел. Это Хатыбал с возгласом: «На тебе, подыхай!» — выстрелил в настигавшего его Хаммата. Но пуля угодила в живот Ульябая, и тот плашмя повалился на мокрый снег. Хатыбал, отстреливаясь, добежал до своих ворот, где стоял его конь, вскочил на него и напрямик по неверному весеннему льду вылетел на другой берег. Так ему удалось опять уйти от возмездия.

Вечером в доме Оммогульсум обычным порядком шло собрание деревенской бедноты. Обсуждались события минувшего дня.

— Довольно сидеть сложа руки! Надо прижать баев. Пора покончить с контрой!

Те же мысли были и у Никиты — председателя комбеда Ивановки. Он приехал сюда готовить совместные действия против богачей.

Туго приходилось комбедам. Не было ни оружия, ни умелых бойцов. Собрание решило просить центр о помощи, чтоб разогнать засевшую в волости контру. До последнего дня ни одно обращение в центр с описанием положения в волости не давало никаких результатов. Помня об этом, Никита собрался в дорогу сам. Собрание постановило создать боевую дружину из бывших фронтовиков и бедняков. Командиром выбрали Хаммата — воевавшего на улицах восставшего Петрограда. Комиссаром — Тимербая. Ситуация была острой, и Никита прямо с собрания уехал в город. Надо было успеть вернуться с оружием и красными бойцами, пока не развезло дороги.

Но дружина не могла сидеть без оружия в ожидании возвращения Никиты. А добыть оружие было можно только в одном месте — на складе отряда Хатыбала.

— Где хранится оно, мы знаем. Давайте решать, как его будем доставать, — сказал Тимербай. Все поддержали:

— Да, весна на носу... Лед на Большом Ике вот-вот тронется...

— Если положиться на мост у аула Якуп, тяжко придется...

— Спешить надо...

— Спешить — не то слово. Белые рядом, — сказал Хаммат. — Надо этой ночью все проделать. Кто согласен со мной, товарищи?.. Хватит ли смелости и сноровки у нас для такого дела? Врагов много, они сильнее...

— У нас больше решимости! Кто решится — тот и скалы раздробит! — произнес Байгильде.

— Верно! Бравый ты молодец, Байгильде-агай! — обрадовался Хаммат. Он-то сам всю жизнь следовал такому правилу.

— На том и порешили, — заключил Тимербай и, скрывая хромоту, легко поднялся. — В дорогу!

Не заходя домой, дружинники сразу вышли в путь. Впереди верхом ехали Байгильде, Тимербай, Хаммат, позади, на двух санях с привязанными к ним двумя оседланными конями, сидели Халим и Байрас. Кроме одной винтовки, которую принес с фронта Хаммат, другого оружия у них не было.

Когда встревоженная Салима, выбежав на улицу, увидела, что в доме Оммогульсум погашен огонь, маленький отряд уже приближался к аулу Салям. Остановились в березняке, который подходил к задам Ташхарая. Здесь остались Халим и Байрас, остальные двинулись дальше.

Байрасу ночь казалась и страшно интересной, и смертельно опасной. «Поскорее бы винтовки притащили, — лихорадочно думал он. — Отец и меня научит стрелять. Воевать буду...»

В поле гуляет резкий весенний ветер. Он свистит в ветвях берез с набухшими почками, стучит в рассохшихся заборах. Хаммат уже побывал здесь вчера и освободил от гвоздей пару досок. Сейчас он нашел то место, присел возле забора и показал спутникам:

— Оружие вон в той землянке с покосившейся дверью. Раньше там был овощной погреб училища.

Байгильде с Тимербаем всматривались в темноту двора. У двери стояли двое. Слышалось их тихое бормотанье.

«Сразу видно, не нюхали пороху... Заскучали небось по дому, по матерям, невестам и заболтались, эх, вояки!.. А теперь, может, замолкнут навеки. Хоть бы байскими сынками оказались. Ведь и такое возможно, что обманутые бедняки-босяки...» — думал Байгильде, не сводя с них глаз.

Вот один из караульных уселся поудобнее перед дверью землянки. Рядом подсел и другой. Зашуршали бумагой, скручивая махорку. Один даже отставил в сторону винтовку, прислонил ее к двери.

«Тьфу, какая беспечность!.. Липовые солдаты!..»

— Пора, — шепнул ему Тимербай. — Надо идти...

Хаммат без звука снял две доски с ограды, и они, как тени, поползли вперед... Где-то совсем близко заржала лошадь; возвещая о наступлении полуночи, прокричал петух. Над землей побежал порывистый ветерок, приглаживая застывший к ночи снег. Те двое солдат перекурили и замолчали. Может, решили немного вздремнуть. И это мгновение решило успех дружинников. Они действуют четко и молниеносно, как на войне. В мгновение ока оба охранника лежали на земле с рукавицами во рту. Путь к складу был свободен. Здесь оказалось столько винтовок и сабель, что их хватило бы не то что на ильсегульскую дружину, а на большой отряд. Видно, байские сынки не на шутку готовились воевать.

Спустя некоторое время двое саней, тихо поскрипывая полозьями, повернули в обратный путь. Байгильде с Хамматом пошли, чтоб

забрать последние винтовки у связанных охранников. В эту минуту одному из них иеимоверным усилием удалось вытолкиуть изо рта рукавицу.

— Байгильде-агай!.. — прошептал он.

Оба дружинника склоиились над ним, держа на изготовку приклады, вздумай он кричать.

— Ну?!

От страха охраиник едва выдавливал слова:

— Там, за погребом... под соломой... Пулемет же...

— Ты последи, — Хаммат сжал локоть Байгильде. Сам скользнул в темноту. Скоро ои вернулся, волоча за собой пулемет.

— «Максим»! Смазаиный, аккуратно обмотаниый, готовый к бою!..

Байгильде нагнулся к пареиьку, который поднес им такой подарок.

— Откуда ты, браток?

— Из Исанбета.

— Чей сын?

— Бабки Суакай.

— Сахиулла?! Ты чего здесь делаешь, дуреиь?

— Все же тут. И сыи муллы Ахмадуллы, и сын Кормош-бая...

— Ну, а тебе чего нужно здесь?

— Оии ж за иарод хотят воевать. Если даже такие идут за иарод, нам-то как дома усидеть? — Сахиулла кивиул на своего товарища. — Он тоже иаш. Пастух Сагит...

Байгильде стал освобождать Сахиуллу от веревок.

— Смотри, браток, подашь голос, на месте прикончу. Не посмотрю, что сын Суакай-енге.

— А зачем мне кричать, агай? На какой стороне ты, на той и я. Кабы знал...

— Теперь знаешь. Иди домой. Скажи всем, что Хатыбал идет против советской власти. Бедняков он будет убивать.

— Шахиморат-агай говорил про то же...

Байгильде развязал обоих. Подошел Хаммат.

— Правильно, — одобрил он. — Большевики прощают тех, кто по заблуждению выступает против них.

Сахиуллу и Сагита посадили в сани. Тимербай и Байгильде поехали верхом. А Хаммат остался на месте, пообещав скоро нагнать их.

— Нам нужно не только оружие, но и люди. С Хатыбалом у меня старые счеты. У него мой заблудший брат Закир. А вам нельзя задерживаться. Доставьте винтовки в сохранности.

Затем он обнял сына, ласково похлопал по спине. Байрас держал вожжи.

— У меня есть замена — мой Байрас. Он не упустит оружие, добытое отцом, довезет, куда следует. Так ведь, мой соколенок?

«Отец, не уходи. Я боюсь за тебя. Поедем с нами», — хотел сказать Байрас, обнять отца за шею, не отпускать его. Но мог ли он, джигит, выказывать слабость, когда отец его, как равного, берет на опасные дела? Он сдержался. Но в каком-то предчувствии неведомой беды из его широко раскрытых глаз закапали крупные слезы, которых в темноте никто не мог заметить.

* * *

Окна Ташхарая были погружены в темноту. Светился огнями только большой спортивный зал. Оттуда доносилась чья-то возбужденная речь. Молоденький часовой в дверях без всякого пропустил человека в старой солдатской шинели. И Хаммат спокойно прошел в здание. Войдя в зал, он медленно прошагал до самого конца и уселся в последнем ряду. Никто не узнал, не остановил его — так были поглощены все речью с трибуны. На сцене за длинным столом под зеленым сукном сидели Хатыбал, Хусиулхак, Ферапонт Хитров, одетый под дьякона Митрофан — сын урядника Алексея и еще двое-трое. Завладев вниманием зала, они, не давая передышки, говорили и говорили, сменяя друг друга. И все про одно и то же. Что большевики продали Россию немцам, что большевики убивают и грабят народ, что все честные люди, храбрые джигиты должны встать на защиту России, веры, своего двора и своего добра... Еще говорилось про Англию, Францию, Америку, задумавших спасать российский народ от уничтожения, про доблестные русские отряды, геройски сражающиеся с большевиками, про то, что пришла пора башкирскому народу показать в боях с большевиками свою былую боевую силу. Солдаты внимали этим словам и в тягостном раздумье только ниже опускали головы, не находя ответа на мучительный вопрос:

«Где же правда? Кому же верить?»

Все ораторы выступили. В зале повисла тишина. Председательствующий Ферапонт Хитров спросил:

— Кто еще хочет выступить?.. Говорите,

отвечайте, готовы ли вы к борьбе за честь народа, за честь матушки-России. Мы далеко от центра, мы брошены на произвол судьбы, и нет у нас советчиков. Мы должны сами защищать себя. Объединимся же все вокруг наших храбрых воинов, встанем под один штык! Они знают, как воевать с врагами. Мы им верим. Верно я говорю? Ну, отвечайте же. Говорите... Ну, кто первый?!

— Я, — поднял руку Хаммат.

Ферапонт и Хатыбал вздрогнули и растерялись. «Хаммат!.. Большевик!.. Откуда, как проник?..» С трудом взяв себя в руки, Ферапонт, стараясь скрыть волнение, сказал:

— Слово дано солдатам. Вы и так много болтаете. Послушаем народ.

— Я требую!..

— Пусть говорит! Дать слово! — загудел зал.

Хаммат вышел на сцену и встал, широко расправив плечи, словно заполнив своей могучей богатырской фигурой весь зал. Немного помолчал, всматриваясь в лица. Тут, конечно, были враги. Но было немало и обманутых. И его прямой взгляд, полный острой жалости к ним, к обманутым людям, проник в их сердца. Зал беспокойно зашевелился.

— Товарищи! — начал Хаммат. — Я не оратор, как эти господа, — он метнул гневный взгляд на сцену. — Я солдат. Я крестьянин, ваш товарищ и брат. Скажу вам лишь одно: Советская власть — власть трудового народа — живет и будет жить. Вот эти все хатыбалы, хуснулхаки, митрофаны, ферапонты исчезнут, скоро их не станет на нашей земле, не верьте им. Защищайте Советскую власть. Ухо-

дите отсюда! Записывайтесь в Красную Армию! Знайте, скоро сюда прибудут войска из центра, Красные войска. Вместе с Хатыбалом и другими баями они уничтожат и вас. Не большевики убивают по ночам, как трусливые собаки, беспомощных и безоружных людей, а вот они, сидящие перед вами за этим столом! Они хотят настроить народ против Советов! Знайте!..

— Хватит!.. Заткнуть ему глотку! Связать!

— Пусть продолжает! Не трогать!

Кричали все разом. Хаммат перекрыл шум громовым голосом:

— Закир! Едем домой! Не жди, когда я выволоку за воротник!

Закир, сидевший в передних рядах, вскочил с места, как послушный ребенок. Хаммат неторопливо сошел со сцены. Перед дверью он еще раз обратился к залу:

— Здесь баи! Беднякам не место в отряде контры! Расходись! Записывайтесь в Красную Армию!..

За Закиром последовало еще несколько солдат.

— Держите его, стреляйте! — кричал ему вслед Хатыбал.

Но ни один солдат не преградил дороги Хаммату. Его знали все. И не только знали — привыкли гордиться им, первым силачом округи. Борец-батыр всегда в народе имеет самое большое уважение. Его любят. И потому кто мог осмелиться из сидящих в зале поднять на него руку? Разве не помнят они о том, что на того падет проклятие людей?

Даже сам Хатыбал, зная этот народный

обычай, не посмел применить оружие, боясь настроить против себя солдат. Когда же ему удалось привести в чувство опешивших солдат и снарядить погоню, то Хаммат и Закир были уже далеко.

По дороге Закир рассказывал, что быстро понял, в чьи лапы угодил.

— Какого же черта тогда пропадал почти неделю? — продолжал сердиться Хаммат. — Или полагаешь, у твоего брата нет других забот, как нянчиться с тобой?

— Я хотел разузнать, где у них спрятано оружие! — обиделся Закир.

— Узнал что-нибудь? — хитро улыбнулся из-под усов Хаммат. — Нашей дружине нужно много оружия.

— Узнал.

— Где же?

— В погребе... Только там охрана...

— Ах вот как! — Хаммат с удовольствием рассмеялся. Он был доволен сегодняшней ночью.

— Что же, покажешь дорогу! — весело сказал он. — Это оружие должно быть у нас.

— Ладно. Пожалуйста.

— Когда?

— Завтра. Хотя бы перед рассветом. Пожалуйста.

Хаммат громко захохотал, ласково оглядел брата.

— А ведь верно все говоришь, браток.

— Конечно. Только нужны смелые парни.

— Есть у нас и оружие, и смелые парни! Мы победим, браток!

— А то как же!..

И братья еще веселее погнали коней.

IV

Хаммат любил Салиму всем своим добрым и щедрым сердцем, любнл крепко, по-мужски, не замечая мелочей суетной жизни н сохраняя в то же время уверенность в самом себе и твердость человека с сильной волей. Свое пылкое чувство к ней он пронес сквозь годы войны н расстояння. Он был счастлнв, что встретнл на своем жизненном пути Салнму. Был благодарен ей. Никогда, даже в самых затаенных думах, он не наводил тень на свое чувство, не сомневался в том, что счастлив. Тяжелые фронтовые годы заставилн его понять, что есть чувство выше н снльнее, чем любовь к женщине, — это горячая любовь к родине, к своему забнтому народу, — н что нет лучшей участн, чем борьба за его счастье. Потому он геройскн сражался в одном строю с рабочим людом на улицах Петрограда в днн Февральской н Октябрьской революцнн. Потому с первого дня возвращения в свой аул встал в однн ряд с Ннкнтой, Тимербаем, Байгильде. Борьба в аулах только разгоралась, сложная борьба, до победного исхода далеко. У Хаммата и его товарнщей, не нмеющнх опыта классовой борьбы, она отнимала много сил, времени и порою завладевала имн полностью. Хаммат уже не мог уделять много внимания жене, окружать ее прежней заботой и лаской. А Салнма все это поннмала по-своему, расстранвала себя тем, что Хаммат охладевает к ней. Ей казалось, что Хаммат неравнодушен к Оммогульсум. Для Хаммата его бывшая жена стала обыкновенной женщиной, но он не мог не уважать ее за выдержку н терпение, с которымн

она одна растила своих детей. Правда, после Хаммата Оммогульсум не пошла второй раз замуж, хотя к ней не раз сватались и неплохие женихи. А она отговаривалась от всех сватов.

— Учили старики: «Не гони коней, коли в пути не везет». Не повезло раз с замужеством, больше и думать об этом не стану.

И на других мужчин не смотрела. Жила тихо да растила детей пригожими и работящими. Кто знает, может, в душе ее и жила надежда, что вернется когда-нибудь Хаммат к своим детям, и возможно, эта надежда помогала ей жить. Но об этом никто не слышал от нее, даже самые близкие, с которыми она делилась всеми думами и печалями. Старалась быть ровной и к Хаммату, и к Салиме, не желая вызывать в детях вражду и чувство мести к ним. Охотников поговорить с ней о Хаммате она сухо останавливала:

— Что поделаешь? Судьба... Выше головы не прыгнешь...

Пускай не было в душе Хаммата места для Оммогульсум, но к подрастающим детям — сыну и дочери — у него сохранилось самое нежное отцовское чувство. Оно особенно обострилось в войну. Вместе с любовью к Салиме он носил в груди и любовь к своим детям. При встрече лицом к лицу со смертью он утешал себя мыслью, что есть кому остаться на земле вместо него. Увидев после возвращения с войны своего сына, он не мог налюбоваться на него. Видно было по всему, этот паренек с открытым ясным взглядом еще не раз порадует его родительское сердце.

— Ай да джигит! — воскликнул Хаммат при встрече с ним. — Богатырем задумал стать?.. Да, идет время. И я совсем недавно был таким, как ты...

Хаммат искал встреч с сыном, подолгу удерживал его возле себя, говорил не совсем понятные для сына слова.

— Времена другие, сынок... Новые, хорошие дни настают. Меня мать в твои годы побоями жениться заставила. А я так не поступлю. Учиться будешь. Вот только прогоним для начала баев и всю контру. Откроем в ауле новую школу. Ты там по новым книжкам узнаешь ту правду, которую мы познали в борьбе. Эх, сынок, счастливым будешь, счастливым... И невесту сам себе найдешь... Когда полюбишь, тогда и возьмешь... Да, сынок...

Байрас тоже любил отца и гордился им.

— Эх, стать бы мне таким как отец, да, мама? Мой отец и красивый, и сильный, и умный, да, мама? — часто рассуждал он, сидя возле матери. А Оммогульсум все терпела, только сильнее стискивала зубы.

Салима, не имея своих детей, ослепленная растущей ревностью, воспринимала это иначе. Вот и сейчас, только стихли в темноте шаги свекрови и Хисбуллы, она, пошатываясь, вошла в дом и без сил опустилась на стул у освещенного луной окна, глядящего на улицу. Ее беспокойный взгляд то вперялся в догорающую лучину на шестке у печи, то сквозь стекло — на далекое небо и месяц, суетливо прячущий свой золотой рог за тучку. Всем ее сознанием овладела тяжелая тревога, которая до сего дня лишь иногда давала знать о себе.

«У Бибеш... у Хисбуллы сын... Значит, он ни причем. Всему виною я! Весь аул завтра узнает об этом. Что скажет Хаммат? Захочет ли он коротать свой век с бесплодной женщиной?.. Завтра разнесется по аулу весть: «Бибеш родила сына! У Хисбуллы сын! Какая гордость!» Женщины начнут любовно готовить самые вкусные кушанья — «еду для новорожденного» и слать ее через своих дочерей в дом Хисбуллы. Если нету дочек — понесут сами... Так принято. Кто принесет блины, кто беляши, кто пирог, кто бишбармак, кто наваристого бульону... А бабка Таиба будет ласково принимать «еду для новорожденного» и одаривать каждого. Кому достанется серебряная монета на украшения, кому серьги, кому душистое мыло, кому колечко или шелковые ленточки. Девочки будут всему рады. А Бибеш будет только застенчиво улыбаться каждому. От нее ничего больше не требуется. Она родила ребенка! Сына! Стала одной из счастливейших женщин аула... Как же теперь быть Салиме? Ей, старшей невестке бабки Таибы, полагается первой нести «еду для новорожденного». Она еще должна ухаживать за роженицей, помогать свекрови вести хозяйство, пока Бибеш не встанет на ноги...

«А я ничего этого не могу... Не могу идти в дом Хисбуллы... Не могу без зависти смотреть на Бибеш... Скрывать свои чувства тоже не могу! О, аллах, помоги, подскажи мне, как жить дальше?»

Салима порывисто вскочила, словно хотела куда-то бежать, что-то сделать, но, тут же обессилев, снова опустилась у окна.

Лучина давно догорела, обратилась в золу.

Уснул криворогий месяц, закутавшись в мягкое темное одеяло из облаков. Тьма укрыла ее дом. А Салима продолжала сидеть на том же месте. В ее памяти возникло далекое светлое детство и она сама — смешливая длинноногая девчонка с черными сверкающими, как звездочки, глазами; с двумя толстыми длинными косами. Росла она быстро, как камыш на озере, будто кто подгонял ее. Превратилась в стройную, красивую гибкую девушку со смеющимися глазами и беспокойным ожиданием на сердце. Выдали замуж, а беспокойство ее все росло. Другие, выходя замуж, становятся матерями, потом злыми или добрыми свекровями. И ничего другого они себе не желают, не ждут, ведь так уж заведено и так будет. Но Салима не смогла стать такой, не смогла отделаться от своей тоски и грусти, томилась, ожидала, надеялась на приход то ли какого-то неведомого счастья, то ли безмерной радости. Да, ждала, ждала страстно... Ожидание, конечно же, было не пустое. К ней пришло ее долгожданное большое счастье. Это Хаммат! А все ее прежние чувства были проявлением ее безмерной любви к нему. Да-а!..

Салима закрыла руками лицо. Она сидела, чуть покачиваясь, будто убаюкивала сама себя. Вдруг отчетливо, со всей ясностью она вспомнила и снова ощутила сердцем те незабываемые минуты, когда она впервые оказалась в объятиях Хаммата, вкусив радость чувств, трепетное волнение любви... Не в силах сдержать нахлынувшие чувства, вскочила и, глядя ошалелыми глазами в темноту окна, воскликнула:

— Э-эй!.. Ну, как же после всего этого жа-

ловаться на жизнь? Кто посмеет назвать меня несчастной?.. Кто?.. Пусть каждому будет дано испытать такую любовь! Я и сейчас счастлива. И сейчас люблю. Э-гей! Еще как люблю! На все пойду ради него! А он?..

Салима села на прежнее место. С каким трепетом ждала она его все долгие годы войны! Уже четыре месяца они снова вместе. Перед взором Салимы вереницей прошли дни, часы и минуты этих четырех месяцев.

Вот первый день — день его возвращения. Она, ничего не предчувствуя, одиноко напевая песню, ткала палас.

— Хозяева дома? — донеслось с улицы. — Можно войти?

От звука этого голоса у Салимы будто все оборвалось внутри, она даже не нашла сил встать из-за станка и выйти навстречу. А с порога уже раздалось:

— Здравствуй, моя Салимекай!..

Перед нею стоял громадного роста солдат в старой шинели с винтовкой и солдатским мешком за спиной, с багровым обожженным дорожными ветрами лицом.

Салима хотела броситься в объятия мужа, но, как назло, только сильнее запутывалась в нитках и не могла сделать ни шагу. Хаммат повесил шинель и винтовку на гвоздь у двери, поднял Салиму, как ребенка, усадил на колени.

— Салимекай! Хорошая моя!

— Хаммат мой!.. — всхлипнула она и надолго умолкла. Да и какими словами выразить радость двух любящих, истосковавшихся сердец?! Затем Салима стремглав поставила са-

мовар, затопила баню, сварила аш[1]. Она носилась, как на крыльях, смеялась, без умолку тараторила, и усталость не шла к ней. Как будто кто-то другой работал за нее, бегал вместо нее, суетился...

В тот день только одна вещь удивила и напугала Салиму. Да и то был сущий пустяк — винтовка.

— Зачем привез? Война, что ли, не кончилась? Опять уедешь? — допытывалась она в страхе перед новой разлукой. — Выбрось ее!..

Он улыбался ей в ответ, показывая плотные белые зубы и, как обычно, шутливо прищуривал глаза.

— Вдруг пригодится. Там, в Петербурге, сбросили царя и Временное правительство. А здесь, говорят, преспокойненько поживают по старинке богатые хозяева. По дороге видел Байгильде-агая. У него все горит внутри. Кто знает, не придется ли снова брать в руки винтовку? А нет, так того лучше. Приклад на дрова пущу.

И с того дня он ушел с головой в какие-то дела. Все говорил о чем-то с Тимербаем, Байгильде и другими бедняками. И вдобавок они собирались для своих разговоров не где-нибудь, а в доме его бывшей жены.

— Что-то ни у кого больше не собираетесь? Хоть бы у нас разок посидели. Других домов будто нет!.. Оммекай и рада, — кручинилась Салима.

— Ой ты, моя голубушка! — говорил Хаммат, улыбаясь и обнимая ее. — Красавица моя,

[1] Аш — бараний бульон с лапшой.

люди не знают, выживут ли, а у тебя одна ревность на уме... В такое время и такие заботы...

— А зачем у нес собираетесь? Если бы в другом месте, и я б могла ходить с тобой, — допытывалась Салима.

— У нас тесновато. У Байгильде нет своего дома. У Тимербая нельзя, Базыян-еиге лежит, не оправилась еще от потрясений. Вот и получается, что удобнее места нет. Байгильде-агай, председатель комбеда, выбрал этот дом еще до моего возвращения, там привыкли собираться. Как же теперь я все изменю?

Когда говорит Хаммат, Салима верит и соглашается с ним. А захлопнется за ним дверь, и ревность с новой силой начинает точить ее сердце. Поддаваясь этому чувству, уж сколько ночей мерзла она под окнами Оммогульсум, подкарауливая своего Хаммата. Но Хаммат входил и выходил оттуда всегда с людьми. И все же ревность в груди Салимы не угасала. А дней десять назад, когда Шымбай-Куштан подлил масла в огонь, она чуть было не задохнулась от ревности. Была ночь. Ни луны, ни ветерка. Подтаявший за день снег покрылся тонким ледком и звонко хрустел под ногами. Салима, потеряв рассудок, неслась по ставшей уже привычной для нее дорожке к дому Омогульсум.

«Может, разошлись все? А он один с нею? Нет-нет, народ еще есть. Свет горит...»

Она остановилась, шумно дыша от быстрого бега. Долго простояла на месте, качаясь всем телом, стараясь отдышаться и успокоить готовое выскочить из груди сердце. Оно у нее всегда колотилось с такой силой, пока она не

добегала до того места, откуда можно было видеть свет в окнах Оммогульсум.

«Чу!.. Чей-то смех?!»

Салима хотела бежать назад, чтоб не встречаться с неизвестным, но ноги ее не слушались. Кривая длинная тень человека, склонившегося к выходящему на улицу окну Оммогульсум, заскользила в ее сторону.

— Кхе-кхе! А что, Салима-килен, Хаммат-то твой того... Иди, гляны-ка, усадил на колени прежнюю жену... А ты на улице... Хи-хи... Ах, невезучая... Вижу, все ходишь. И я, тебя жалеючи, сюда похаживаю... Так-то, не зря говорят: «Мужу верить — что воде доверяться...» Все они...

— Молчи, не каркай, черный ворон! Чтоб подавился своими словами! — неожиданно грубо сказала Салима и испуганно метнулась прочь.

Шымбай-Куштан ехидно закудахтал ей в спину.

— Кхе-кхе-кхе!..

Салима не поверила его словам. Умом она сознавала, что Хаммат ходит не к Оммогульсум, что он там не наедине с нею, что Шымбай-Куштан не из сочувствия к ней шныряет под чужими окнами. А сердцу как прикажешь? Когда пришел Хаммат, оно у нее билось еле-еле, ноги и руки были, как лед. Сказался опыт войны у Хаммата: он дал ей понюхать нашатырного спирта, приложил к рукам и ногам обернутые тряпкой бутылки с горячей водой, и ей стало лучше.

— Салимекай, у тебя, видно, не очень крепкое сердце. Тебе нельзя волноваться.

Ои прилег рядом, согревая ее в своих объятнях, н иедуг Салнмы к утру прошел. Но с того дия оиа стала как бы ощущать свое сердце. Стоило ей только подумать об Оммекай, как тут же к горлу подступал какой-то ком н мешал дышать. А искры ревности, которым она ие давала разгораться, с того дия вдруг вспыхнули в ее груди огием. Казалось, вот-вот вырвется пламя наружу н поглотнт Салиму н Хаммата, а с инми н весь свет. Хаммат, увлеченный заботамн о построеиин иовой жнзин в ауле, не замечал этой глубокой перемеиы в Салнме. Часто возвращался домой такой усталый, что, едва касаясь головой подушкн, тут же засыпал мертвым сиом. А утром опять торопнлся в свой мир борьбы.

Салима знала, что по всей страие идет сраженне, и поинмала, что в этом жестоком противостояннн требуется жертва от иее тоже, не только от другнх. Она и сама ие рада, что выставляет напоказ перед Хамматом обуревающие ее мелкие чувства. Но стонт за Хамматом закрыться дверн, как все повторяется сиова — ревность начннает брать свое. А сейчас вот, в эту миιуту, ей вдруг ясио привиделось, что Хаммат не может н дня прожить без Оммогульсум и только потому устранвает в ее доме собраиия; что все его поведенне, каждое его слово иеопровержимо доказывают это и что людн уже давно обо всем знают. Недаром же Шамсия намекала ей:

— Видела ль Оммогульсум, подруженька? Платье-то одного цвета с твоим иапялнла!

— Как?!

— В белый горошек, нз сниего сатнна...

— А... ну пускай... Мало ли на базаре одного товару?! И коробейники развозят...

— Да она сама говорит, будто дочке отец на платье-де подарил, а дочь-то возьми да подари матери. «Шей себе, — сказала дочь. — Отец, может, мне еще подарит». И сын будто упрашивал: «Бери, мама, тебе пойдет». Вот Оммекай взяла и сшила себе из него платье. Видите ли, надеть ей уж было нечего! Про Оммекай мне свекровь рассказывала. Ты, говорит она, Ахметшу ревнуешь, а вон даже красавица Салима у своей юбки мужа удержать не может, муж отрезы бывшей жене дарит. Только ты, Салима, ничему не верь, — стала уверять под конец Шамсия. — Моя свекровь жуткая сплетница!..

Салиме и тогда было нелегко дослушать Шамсию, она еле дошла до дому на подгибающихся ногах. Но в тот день она сумела пересилить себя. От Хаммата она уже слышала про кусок сатина на платье дочери. Не было ничего удивительного и в том, что дочь отдала его матери. Но теперь ей чудилось и в этом лишнее подтверждение своим подозрениям.

— Старик Шымбай прав: мужу нельзя доверяться! Хаммат нарядил Оммекай в то же платье, что и меня. Он решил бросить меня! Бросит!.. Бросил!.. А я... А я... — застонала Салима и кинулась лихорадочно одеваться.— А я, дура, верю ему, сижу сложа руки! Покажу им. Пойду, проверю в последний раз... Ежели... Ежели все это правда, убью... умру...»

Она выскочила на улицу. Ночь была непроглядно темной, с юга дул промозглый хлесткий ветер. На краю неба, над вершиной Сагыл-

тау, лежал упавший навзничь тусклый полумесяц, опоясанный черным кушаком. Заледеневший к ночи снег, как и в ту слепую ночь, когда она встретилась здесь с Шымбай-Куштаном, отвратительно хрустел и разъезжался под ногами. Улица словно вымерла. Тишину нарушал лай собак, мычание коров да тихое сетование кобыл. А долетающий с верхнего тугая вой волков усиливал таинственность настороженной жуткой тишины. Но Салима была не в состоянии что-либо замечать. Ей ведь надо поскорее добежать до дома Оммогульсум, увидеть, горит ли свет в ее окне или нет.

Проваливаясь и скользя по ломкому насту, она вприпрыжку неслась вдоль улицы. По выработавшейся привычке она резко остановилась у известного ей места, откуда виден дом Оммогульсум. Широко раскрытыми, безумными глазами уставилась в окна. Свет был потушен. Леденящая сердце ненавистная темнота окутывала дом. «Не ошиблась ли? Не во сне ли я, не в бреду ль?» — подумала Салима. Протерла глаза, крепко зажмурилась, снова открыла глаза. Чтобы убедиться, в здравом ли уме, ущипнула себя за локоть... Да, она была в полном рассудке, и все вокруг нее тоже было явью. В доме Оммогульсум в этот поздний час и вправду не было света... Салима с трудом удержала готовый вырваться из груди крик отчаяния. У нее прервалось дыхание, к горлу подступил удушающий ком. Она зашаталась, затопталась на месте, не зная куда идти, что делать. В голове возникла холодная мысль: «Умереть!.. Убить!.. Подпалить!..» Неожиданно за спиной она услышала знакомое омерзительное хихиканье.

— Кхе-кхе, говорил же, верить мужу — воде доверяться. Ну, прав я или иет? Так-то оио бывает! Кхе-кхе!..

Салима на этот раз ие иашлась, что ответить на его ядовитые слова. Окииув еще раз взглядом затаившиеся чериые окиа, она сломя голову поиеслась иазад. Под иогами запрыгала земля. Показалось, что за иею побежала вся улица с домами, луиа и что все вокруг, вторя Шымбаю-Куштаиу, хохочет иад нею, давясь от неистового смеха.

Подлое хихикаиие Шымбая подлило масла в безумный огоиь, полыхающий в груди Салимы. Ничего ие различая перед собой, она с трудом сделала последние шаги, вошла в дом и рухиула, как подкошеииая.

«Ой, как же жить дальше? Как пережить такой позор, такое горе? У Оммекай иет света! Темно!.. Выходит, Хаммат остался у иее! Ои прослышал, что Бибеш родила сыиа... Не пожелал больше жить со мной, бездетиой! Что теперь делать-то?.. Умереть... Эй, добрая смерть, бери меия, бери в свои объятия!.. Я не хочу больше жить! Нет у меня мочи!»

Дрожа всем телом, как в приступе лихорадки, Салима приткиулась к остывшей печи.

«Умереть! Умереть!..» — звучало в ее душе. Оиа вышла из оцепеиеиия, начала что-то искать в темноте, шаря трясущимися руками. Наконец нашла среди разиого железиого хлама в ящике за печкой большой иож из обломка косы. Хаммат брал его с собой, засунув за голенище, когда шел иа охоту. Салима провела рукой по лезвию, ощупала острый коиец.

«Вот что спасет меия! Ух, какой холодиый! Какой острый!..»

Она зажмурилась и приставила тесак к сердцу. В тот же миг молнией ее мозг пронзила другая мысль:

«Погоди, зачем умирать одной? Чтобы Оммекай без меня могла одна наслаждаться жизнью?! Нет, она не будет торжествовать... Не отдам моего Хаммата, уведу с собой!..»

Салима, обезумевшая от своих страшных мыслей, не заметила, как вошел Хаммат.

— Салимекай! Милая моя, где ты? Почему двери распахнуты настежь? Почему сидишь без света, Салима? — наткнувшись на пустой урындык, он забеспокоился сильнее, и чиркнув спичкой, потянулся к висящей под потолком лампе, в которой уже давно кончился керосин. В тот самый миг потерявшая рассудок Салима пружиной выскочила со своего места и воткнула нож в грудь мужа.

— Прощай, душа моя!..

Хаммат, как подпиленный тополь, с грохотом упал на пол. Из руки, так и не успевшей дотянуться до лампы, выпала спичка и с шипением погасла в крови, пролившейся на пол. Настала тьма, гуще прежней. Безумная Салима, окуная руки в лужу горячей крови, вскрикивая и дико бормоча бессвязные слова, ползала по полу, торопливо нащупывая нож, чтоб поскорее уйти из этого несправедливого, жестокого к ней мира. Но ножа не было.

«Бежать к реке! В прорубь, скорее в прорубь!..»

Раздирая окровавленными руками волосы, она бежала по улице.

— Хаммата!.. Хаммата моего!.. Ненаглядного... убила-а... Я убийца!.. — несся ее крик над пустынной улицей.

Но путь до Большого Ика оказался бесконечно длииным. Ногн Салимы ослабли, сделались мягкими, словио были из воска. Оиа делала шаг и падала, вставала н сиова падала... На сиегу оставалнсь следы ее окровавленных рук. Вот она, собрав угасающие силы, опять встала, сделала еще несколько шагов н рухнула... Точио огиенной стрелой прожгло ее нстерзаиное сердце. В горло словно кто-то воткнул громадный ком. Мир вокруг нее покрылся холодной сниневой, опрокннулся и стал падать...

— Хаммат... Мой до-ро-гой!.. — прерывисто прокричала оиа и затихла.

На этом для иее все кончнлось. И горе, и радость, н терзання души для иее перестали существовать.

Наутро нашлн ее окочеиевшее тело. А Хаммат еще дышал. Его, потерявшего много кровн, отвезлн в больннцу.

V

Прошла и эта суровая зима. Апрельское солице растопило толстый синнй лед на окиах дома Сарбнямал, и внутрн иего тоже как будто немного повеселело. Но Емеш истосковалась по воле, как птица в клетке, ее иеудержимо тянуло выбежать иа улнцу, под синее небо. Сердцем свонм оиа уже давно на весеннем лугу, средн пення птнц и звона ручейков, скатывающнхся к реке, бегает там со свонмн веселыми подружками и лншь ждет той мнну-ты, когда можно будет оставнть свое вязаине и вырваться из дому. Емеш хорошо знает — такой случай предоставляется только с появлением коиокрада Ахметши н все равно, как

бы ни было это странно, она сейчас живет ожиданием его прихода, хочет, чтобы чаще он приходил.

Дружинники, а с ними и Байгильде выехали из аула, как и накануне, отбирать у спекулянтов хлеб, и Ахметша был тут как тут. Сарбиямал зарделась, засветилась.

— Ах-ах, чуть не забыла про вас, доченьки! Янеш, Емеш, чего вы засиделись дома в такой теплый день? А ну, давайте-ка на улицу. Резвитесь, веселитесь! — заворковала она.

Емеш отметила про себя, что в глазах мачехи исчез привычный холод. Ей в голову пришла мысль, что у мачехи тоже бывает непритворная радость, но Сарбиямал не дала ей поразмышлять, заторопила и, подталкивая в спину, выставила за дверь.

— Слышите! Чтоб долго гуляли!..

Оказавшись во дворе, босоногие девчонки наперегонки побежали к навесу и взобрались на его крышу. На земле еще лежал снег, а здесь он уже давно стаял. На сене было мягко, тепло и несказанно приятно босым ножкам. Прогретое солнцем сено издавало запахи лета. Ликующая Емеш взобралась на самый верх лежащего на навесе воза сена. Янеш тоже не захотела отстать. Они, затаив дыхание, восхищенно смотрели вокруг. Перед ними, как распластавшийся пестрый гусак, лежала дымящаяся весенняя земля с волнующими запахами талого снега. Емеш, прыгая от счастья и вертясь, как юла, принялась славить весну:

— Весна!.. Весна пришла!.. Солнечная, лучистая, светлая. — Она перечисляла самые хвалебные слова, которые знала, но все равно

не могла никак выразить пробудившуюся в груди буйную радость. Тогда она заговорила словами, которые слышала когда-то от Карасэс-абей. — Эй весна! Согревающая холодных, кормящая голодных! Милосердная, благодатная весна!..

Весна и вправду приходит избавительницей и от зимней скуки, и от голодной смерти, и от страха быть выброшенной на улицу в буран. Пусть теперь тебя даже выгонят из дома — весна отогреет, весна накормит. Емеш понимает все это, и оттого у нее радость вдвойне. Уже скоро поспеет дикая морковь, свербига, щавель, купырь, черемуха, дикий лук, потом, когда они сойдут, начнет созревать смородина, малина, кислица, а потом настанет пора ежевике, боярышнику... С ранней весны и до первых морозов туган Большого Ика будут кормить съедобными травами, кореньями, ягодами, так что с голоду уж никак не помрешь. К осени, того и гляди, вдруг окажешься в родном Исанбете, дома. Ведь отец обещал им, говорил: «Осенью уедем в свой аул. Будет у нас теперь своя земля, будут рядом родные-близкие».

Сегодня удивительный день. Вот-вот вскроется Большой Ик, по нему пойдут громадные льдины. С высоких берегов, с пригорков, со склонов Сагыл-тау и Девичьей горы снег уже сошел. Отовсюду серебряными змейками пробиваются ручейки талой воды. Вон даже из-под кучи кизяка в загоне выползает одна тоненькая змейка. А из оврага Озонгол доносится гул воды, катящейся к старице — Мертвому Ику. В воздухе царит весенний дух, весеннее волнение.

Пока Янеш с сестрой скакали по крыше навеса и озирались по сторонам, по соседству, на соломенных крышах навесов, тоже зачернели детские головкн.

— Ой, все девчонки повылезалн на крышн! Янеш, ведь уже пришла пора нграть в чашки!:. — прошептала Емеш.

— Сейчас и мы достанем свои чашки, — деловито сказала Янеш.

— Давай же!..

Но сразу же слезать обратно на холодную землю им было неохота. Сощуренный от яркого солнца нх взгляд снова заскользнл по округе. Вдали у самого края неба едва заметной полосой проступалн сннеющне горы. С Большого Ика порой начннал дуть холодный ветерок, теребя их ветхие, в заплатах платья, взбившиеся волосы. Белые кружевные облака, как резвые барашкн, набегали на солнце, укрывая его, точно занавеской, от только что выглянувшей нз-под снега черной земли. Мнмолетная печаль от набегающей тенн тут же сменялась радостью от тысяч разноцветных лучей, горячим снопом ннзвергающнхся на землю, на осевший снег. Познавшне лютую зимнюю стужу воробьишки дружной стайкой носились по двору, перелетая с нзгородн на крышу дома и обратно; самые смелые уже купались в ручейке талой воды возле кнзяка, а те, что потрудолюбивее, очнщалн бока по-хозяйски разлегшейся в загоне комолой коровы, которая, состроив брезгливую рожу, казалось, н впрямь поплевывала на всех, под стать своей хозяйке. Облезлые, с торчащимн редкимн перьями куры копошились в навозе и, вытягивая красные шейки, напевали свое «ки-ки-

кик!» Старый желтый петух, потерявший в морозы все когти на лапах, с трудом держался на прутьях плетня, но все же, чтоб не забывали куры, кто у них главный, время от времени покрикивал:

— Ки-кри-кук!..

Наслаждаясь теплом, дремала, подставив под солнце свою старушечью морду, долговязая длиннохвостая овца, та, что в эту зиму, увидев в подставленном ей Емеш зеркале свою глупую рожу, перепугалась и выбила окно. Ее черный в кудряшках барашек носился не отставая от двух веселых козлят, перехваченных черными поясками. Но вот козлята, мотая головками, запрыгнули на плетень, а оттуда подобрались к самой крыше навеса и, играя, начали хватать свисающие с нее соломинки, а барашек со стыда, что отстал от них, подбежал и прижался к своей матери.

Несказанной радостью полнится сердце Емеш, когда она смотрит на отощавших за зиму, но весело снующих птиц и животных.

— Как хорошо, да, Янеш? Э-эй! — вырывается у нее ликующий возглас.

Она только один день называла свою старшую сестру, как положено, почтительным словом «апай». Больше она ни разу не смогла его выдавить из себя и сейчас опять зовет сестру только по имени.

— Мы и поиграть-то не успеем, Емеш! — заторопилась Янеш. — Глядишь, Сарбиямал-апай домой позовет...

— Давай спрыгнем!

— Одна нога из теста, другая — из железа, тьфу, тьфу! — произнесли они шутливое заклинание, якобы, чтобы не отбить ноги, и спрыг-

нули на землю. Быстренько откопали припрятанную с осени под навесом у аласыка коробочку с «игрушками» и бегом припустили назад.

Игра в чашки — первая весенняя игра девочек. В нее играют именно в такое время — пору ранних проталин, пору «пестрого снега», собираясь на крышах навесов, где лежит сено и солома. Просидевшие, не имея теплой одежды, долгую зиму дома, дети — чуть пригреет солнце — высыпают на улицу, похожие на только что вылупившихся цыплят. Но на земле еще лежит полосками снег. Единственное теплое место — прогретая солнцем кровля.

Емеш и Янеш перебрали, протерли заполнявшую коробочку битую фарфоровую посуду, осколки цветного стекла, голыши, разноцветную гальку. Из всего этого «богатства» они приготовили «роскошный» стол. Черепки покрупнее из голубых, красных, зеленых, желтых кусочков фарфора превратились в тарелки. Разложенные в них желтые стекляшки превратились во фрукты; черные стекляшки — в ягоды; смешанные вместе красные, синие, зеленые стекляшки — в монпасье; круглые белые камешки — в калачики; черные камешки — в черемуховое и сырное масло; мелкие белые камешки — в сахар... Дюжина белых плоских камней стали блинами, кругленькие мелкие камешки — баурсаком. Словом, блюд было не счесть. Им обрадовались даже солнечные лучи и заиграли, рассыпая разноцветные искорки.

— Кого позовем в гости, хылу? — возбужденно спросила Янеш. — Угощения на всех должно хватить.

— Шауре, Сабиру, Самигу... Захиру, Хасбиямал...

— Хасбиямал? Ну, ее, плаксу! Уж лучше Алтынбике...

— Твоя Алтынбике хвастушка!.. Не нужна нам она!.. вставила Емеш.

Из-за плетня показалась головка Самиги. Она лезла к ним на крышу. На лохматой голове торчали, как мышиные хвостики, две куцые светлые косички.

— Ах! Да к нам Самига-хылу пожаловала! Проходи, проходи в тур — на самое почетное место, — пропела Янеш, копируя Сарбиямал. — Садись. Хорошо, что пришла!..

Игру в чашки можно было назвать и детским спектаклем, место действия которого — соломенная крыша. Каждый его участник исполняет какую-либо роль — роль матери, бабушки, сестры или малого ребенка. И все слова, ужимки, манеры «артиста» исходят из опыта его семьи и того положения, которое она занимает в ауле. Если родители богаты, то и их дети тоже играют роль человека из этого сословия, поступая в соответствии с привычками и взглядами своих родителей. Наблюдая за игрой, можно безошибочно угадать обычаи и взаимоотношения между жителями аула. Иногда эти перевоплощения во взрослых получаются смешными, но игра ведется всерьез, действие проистекает так естественно, что никто не смеется.

Вот и сейчас Самига, взобравшись на навес, стала изображать послушную, скромную девочку, которую будто бы послала мать, роль которой исполняет ее сестра Сабира.

— Янеш-енге! — робко произнесла Самига, не смея оторвать взгляд от земли. — Мама просила передать, что в гости приглашает...

Стало ясно, что они раньше, чем Янеш и Емеш вспомнили об игре. Янеш, следуя правилам игры принялась подражать Сарбиямал:

— Ах, какая жалость! И дел по дому столько накопилось! Да и сама я собиралась гостей созвать.

Самига вытянула шейку и тонко пропищала:

— Не говори так, пожалуйста, енге. Мы раньше пригласили, уж сначала к нам идите. Мама очень просила...

Янеш отвечала ей тоном крайне озабоченного человека:

— Ладно, пусть будет по-вашему. Если смогу, загляну, но меня не ждите.

— Какие же, енге, гости без тебя, побыстрее уж собирайтесь, — повторила еще раз Самига и побежала куда-то дальше, перемахивая через изгороди и потряхивая своей кудлатой головкой.

Янеш и Емеш поглубже зарылись в сено, прячась от потянувшего с реки холодного ветерка. По обычаю считается, что прийти в гости без повторного приглашения может только неприхотливый, несдержанный в еде человек, который сам напрашивается на угощение. Приглашаемый, особенно если он богат, подолгу не приходит, заставляя уламывать себя, а если же тот, кто зовет к себе, беден, то без многократного напоминания богатый может и вовсе не принять приглашения.

Как и положено, вскоре опять появилась Самига.

— Янеш-енге, мама говорит, чтоб поскорее приходили. Остальные гости уже давно сидят. Еще мама просила передать, чтоб свою дочку с собой взяли.

— О боже, какие тут гости, когда своих забот невпроворот! Могли бы и не затруднять себя, — начала сетовать Янеш. Продолжая подражать Сарбиямал, она с недовольным видом, поводя плечами, все же начала неторопливо собираться. — Доченька, Емеш, придется пойти к ним. Надень вот это сатиновое платье, не забудь хаситу[1], накинь кашемировый платок. На, держи сулпы, нацепи на косы, чтоб покрасивей быть, — говорила Янеш, протягивая сестре пучки соломы.

— Приходите поскорее, енге, мама сказала, чтобы вы уж поторопились, — повторила Самига и запрыгала через ограды в сторону дома старшины Собхана.

А Янеш, воодушевляясь все больше, продолжала:

— Сама я, пожалуй, надену атласное платье, к нему подойдет сверху вот этот елян с узорами и монетами. Надену-ка на голову кашмау и накину этот селтэр. Зачем мне быть хуже других! — Она крутилась перед воображаемым зеркалом в воображаемых нарядах и оттого была в эту минуту и жалкой, и смешной.

Сестрам надо было преодолеть всего две изгороди, чтобы оказаться во дворе Сабиры и Самиги. В правилах игры в чашки на навесах,

---

[1] Хасита — девичье нагрудное украшение — увешанная монетами, каменьями лента шириной в ладонь, идущая наискосок от плеча через грудь за спину.

видимо, негласио предполагалось лазаиие через заборы: и сами хозяева, и гости всегда ходят только через изгороди и задиие дворы.

Девочки, как дикие козочки, легко проскакали свой путь, но у последией изгороди Емеш, перепрыгивая, зацепила платьем за колышек и разодрала подол во всю длину. Такое случается часто при игре в чашки, но это простое событие повергло Яиеш и Емеш в иеописуемый ужас. Они застыли на месте. Радость весны, радость игры — все сошло иа иет.

— Прибьет иас апай! — с тоской произнесла Яиеш. — Как же ты?!

Емеш собрала в кулачок разорвавшееся место и молча погрузилась в свое горе. Сильнее побоев мачехи ее страшило стать посмешищем, представ в таком виде перед девочками.

«И без того зимой и летом в одном платье. А теперь и оно продралось... Как на глаза людям показаться?!»

Их пробудил к жизни голос Сабиры. Он прозвучал неожиданио тепло и ласково.

— Ага, мои гости идут! Пожалуйте, смелее проходите!

Яиеш и Емеш, сами того не желая, были вынуждены следовать правилам игры.

— Уж ие обессудь, подружка, коли заставила иемиожко подождать. Работы дома миого. Не могла сразу бросить, — виновато заговорила Янеш, карабкаясь на крышу. Емеш полезла следом. Сабира с улыбкой встретила гостей. Похлопала любовио по спине Емеш.

— Идем, Емеш-хылу, вот сюда, ближе к своей маме садись. На, возьми хлеба с маслом.

На крыше лежал воз пахучего сена, возле него сидели гости. Были здесь Шауре и Хасбиямал — из самых бедных в ауле, они, наверное, пришли первыми. А вот Захира пришла много позже Янеш и Емеш. Долго ждали Гульехан, дочку муллы Габбаса.

Настоящая хозяйка дома Базыян тоже сидела со всеми на навесе. Она шила мужу рубаху и штаны из домотканой холстины. Емеш присела возле нее. Базыян легонько погладила ее по волосам, провела рукой по спине и почему-то тяжело вздохнула.

— Как живешь, хылу? Взгрустнулось тебе, вижу...

— Платье порвала, енге, — тихо сказала Емеш. — Что ж теперь будет?..

— Где? Ой!.. Как сильно-то! Дай прямо на тебе заштопаю.

Она, оставив свое шитье, начала латать платье Емеш. «Нелегко было ей пережить ужасную гибель свекрови, — думала Емеш. — Да и сама она, поди, чудом выжила. Выхаживала мужа, покалеченного баями. Месяц ведь при смерти был Тимербай-агай.»

Лицо Базыян пожелтело, и внешне казалось, что она вдруг сильно постарела. Но во взгляде ее широко расставленных глаз, смотревших как бы с удивлением на мир, светилась прежняя доброта и приветливость. Емеш, пока Базыян штопала ее платье, не сводила влюбленных глаз с ее лица. Внезапно она со страхом подумала, что и Базыян-енге может взять да помереть, как Карасэс-инэй. «Почему люди так скоро умирают? Почему всегда умирают близкие тебе люди?..»

Гости уже собрались. Не было только Алтыибике, дочки старшииы. Самига устала бегать к ией. В умеиии заставить других томиться в ожидании ее прихода она уже явно превосходила свою мать. Терпеиие у хозяйки лопиуло, и оиа пригласила гостей к табыну.

— Гости дорогие, рассаживайтесь поудобнее. Яиеш, подружка, ты будешь возле меия. Гульехан-енге, Захира-еиге, проходите в тур. Шауре-килен, садись с краю, будешь мне подсоблять подавать чай.

Сабира, как взрослая, подражая матери, или, может, покойной бабушке Қарасэс, рассаживала гостей, старательио сохраияя медлительиость в голосе. Гости заияли места по своему положеиию и старшинству.

— Здесь сядет Алтыибике-еиге, — Сабира оставила одио свободное место во главе застолья. — Скота у иее много, забот полои рот. Қонечно, некогда ей по гостям расхаживать. А может быть, ждет, чтоб в пятый раз за иею прислали?

Сабиру вежливо поддержали остальиые девочки:

— Известиое дело, а то как же!..

— Придется за нею сиова послать...

— У богатого весь деиь хлопоты. И гости то наезжают, то отъезжают. Вдруг и сейчас к ней нежданно приехали. Дом оставить не может...

Алтынбике все не шла. Сабира в пятый раз послала за иею.

— Иди, сходи еще разок, дочеиька. Скажи, что гости вконец притомились, ждут — ие дождутся ее. Скажи, что мама не велела без нее возвращаться.

Послушная Самига снова поскакала через плетни и заборы к дому старшины Собхана. Ожидание затягивалось. Теперь пропала и Самига.

— Делать нечего, придется подавать чай,— сказала решительно Сабира. — Сколько же можно ждать. Даже семеро одного не ждут. А нас десятеро.

— Обидишь ее. Подождем еще.

— Неудобно как-то...

— Ждали, ждали не дождались, — весело сказала с улыбкой Сабира. — Больше ждать нельзя — глядишь, весна пройдет.

Она постелила на соломе красную квадратную тряпицу наподобие скатерти и стала заставлять ее приготовленными из камешков, стекляшек и кусочков фарфора разноцветными «блюдами». Стол сверкал и ломился от «еды». У Сабиры была даже самодельная глиняная посуда и самоварчик. Когда вся еда была расставлена и Сабира начала подавать чай, на навесе появилась Алтынбике, разодетая так, словно пришла во взаправдашние гости. На ней было в сплошных оборочках атласное платье с узорчатыми колышащимися ленточками и дугообразными швами, настоящие кораллы на шелковых нитях, поверх платья был накинут расшитый серебром и украшенный серебряными монетами елян, наискосок с левого плеча под правую руку грудь перехватывала узорчатая лента амайзека, на котором висели одни к одному серебряные рубли, на ногах были сшитые Тимербаем новенькие хромовые сапожки, кованные медью, на запястьях — серебряные браслеты с настоящими кораллами, на пальцах — серебряные перстни с бирюзой

и серебряные кольца, на голове — играющий иа солнце разноцветными узорами кашемировый платок. Это была на вид совсем взрослая девушка, хотя по годам даже уступала Янеш. Она в своих ярких нарядах, с высокомерием, чуть исподлобья, в своего отца, взглядом, миловидным алым лицом выделялась среди намерзшихся за зиму бледнолицых девочек, как цветок бальзамина, случайно распустившийся в зарослях репейника. Девочки смущенно притихли, ие спуская с иее восхищенных глаз. А Алтынбике, сверкая играющими на солнце в такт ее движению украшениями, сказала сквозь зубы:

— Что ж ты, сама зовешь, а сама словно в насмешку и подождать не хочешь? Думаешь, я из тех, кого могут задеть твои колкости?!

Сабира, словно очнувшись от этого окрика, почтительно вскочила с места.

— Пожалуйста, Алтынбике-енге, проходи, мы тебе и место самое почетное оставили...

Одиако Алтынбике не могла пережить такого невнимания.

— Очень нужио. Сыта уж тем, как встретили. — В ее глазах заиграла злость. — Когда приглашают, дожидаются. Буду ли я пить чай у тех, кто не ценит моего великодушия. Я пришла, снизошла до нее, не посчиталась со своим достоинством! Ты за кого меня принимаешь, замарашка?!

Она накричала, подражая своей матери, но не забывая при этом крутиться в разные стороны, чтоб все могли видеть ее чудные наряды. Вздериула носик и с восхитетельио надменным личиком соскочила по лестнице на землю.

— Не уходи, не обижайся, Алтынбике-енге,— следуя традициям гостеприимства, продолжала терпеливо уговаривать Сабира. — Мы же только-только сели. Даже чаю пригубить не успели. Ах, будь все неладно, как неловко все вышло! Ну, ради бога, а?..

— На объедки пригласила! Не на тех напала! — и Алтынбике, разбрызгивая лужи, прямым ходом выскочила за ворота.

— Какая гордая! Э-ге-ге!.. — покачала головой Базыян. — И мать ее нас за людей не считает... Ничего, доченька, когда-нибудь и вы не будете с ней считаться...

Сабира успокоилась и с ласковой настойчивостью продолжала потчевать своих гостей.

— Тянитесь за едой, не стесняйтесь, берите мед, масло, ешьте блины, пробуйте конфеты, дорогие гости!..

— Уж я пью да пью. Может уж хватит?

— Ох и напилась сегодня я чаю. Спасибо, енге, больше не могу.

Девочки старательно подыгрывали хозяйке, но игра уже разладилась. Они не могли избавиться от впечатления, произведенного нарядами Алтынбике, ее высокомерием и заносчивостью. Не признаваясь вслух, каждый думал только о ней. Но говорить за глаза о друтом, перемалывать ему косточки, считалось большим грехом, хотя в то же время было принято без страха говорить правду в лицо. Поэтому, хотя у многих накипело в душе на Алтынбике, они в отсутствии виновницы просто помалкивали, а задетое самолюбие не давало уйти с головой в игру. Но, видно, на этот раз умолчать было просто невозможно.

— Экая хвастунишка Алтынбике! — выр-

валось у Сабиры. — С какой рожей удалилась, будто здесь твари сидят, а не люди!

Игра кончилась. Девочки вышли из своих ролей.

— Налюбоваться своими нарядами не может. Можно подумать, что на всем свете только у нее одной такое платье! — в тон ей подхватила Янеш.

— А у меня скоро будут такие же сапожки! — гордо подбоченясь, выпалила Гульехан. — Отец уже отдал шить.

Захира встала с места, пригладила волосы и одернула платье.

— А мое чем хуже?

Она, правда, была босая, но к платью придраться было нельзя: новенькое, из синего блестящего сатина, к тому же и сидело очень ладно на ней.

Шауре полюбовалась на платья Гульехан и дочери Ахметши Захиры, повела вокруг широко раскрытыми глазами и мечтательно сказала:

— И мне обещали сшить к празднику сатиновое платье, вот!

— Тебе-то!.. — посмотрела на нее Гульехан и поджала губки. — Не то что сатин, а и ситец поди не достанется.

— Нет, сатиновое платье, да! — ответила Шауре.

— Держи карман пошире! — расхохоталась над ней Захира. — На что твоя мать тебе сатину купит? Вшей своих распродаст?!

Но Шауре не хотела легко сдаваться. Она продолжала спорить, чуть не плача:

— Мать не купит, так отец! Обязательно купит, да! Вот пойдем на тугаи собирать дикий

лук, на мне уж будет новое платье! Вот посмотрите тогда, да, посмотрите!..

Гульехан опять ехидно округлила губки:

— Ох!.. Так тебе и купит твой отец, этот зимогор!

— Ха-ха, отец-зимогор! — захохотала Захира. — Ну и злой язычок у тебя, Гульехан!.. Шауре не терпится потягаться с Алтынбике! А что? Они ведь соседи. И мать Шауре у Собханов, как у себя дома, заправляет! Так ведь, подружка? Ха-ха!..

Шауре затрепетала от жестоких насмешек. Ее глазки заморгали, весь вид молил о помощи. Емеш помалкивала, не вмешиваясь в эту перепалку, потому что ей и подавно было бы нечем крыть. Да и знала она, что стоит ей раскрыть рот, как на нее набросятся с бо́льшим ожесточением. Но бросить в беде подружку она не могла.

— Ах, как они любят Алтынбике! — приняла на себя удар Емеш, придя на выручку Шауре. — Как они, бедненькие, за нее стараются! А она-то и с ними не посчиталась...

Захира со свойственной ей быстротой тут же отпарировала:

— Да, любим ее! Она ж не пришлая, вроде тебя!

— Да, мы подружки Алтынбике!— выкрикнула Гульехан. — Вам такой подружки не видать, хоть лопни, хоть тресни!

В грустных глазах Емеш сверкнула озорная искорка. Она, показав взглядом на маленькую седоватую прядь на головке Захиры, пропела:

Три хвастливые подружки,
На одеждах побрякушки.

Ой, как все собой пригожи!
Жаль, одна с седою рожей!

Девочки дружно прыснули. Почуяв, что в начавшемся словесном бою им не одолеть. Захира и Гульехан поспешили отступить. Им ещё не такое приходилось выслушивать от Емеш, когда между ними не на шутку разгоралась перепалка. Складные припевки могут разойтись по устам, попробуй потом останови! Девочки уже знали силу меткого слова. Кто хочет, чтоб про него складывали обидные частушки? Девочкам такое особенно обидно. Захира ведь не виновата, что у нее с детства в волосах седая прядь. Все ее этим дразнят, а тут еще такая припевка! Емеш, если заведется, бывает беспощадной. Едкие куплетики так и вылетают у нее. Захира и Гульехан торопливо спустились с навеса и, пока не исчезли за воротами, все продолжали ругаться.

— Пришлая! Безродная сирота! Безземельная, не ходи по нашей земле!..

— Только появись на нашей улице! Собак натравим, чтоб ноги тебе отгрызли!

Но это было не ново для Емеш — она даже не повернула в их сторону головы. Только Базыян, покачав головой, тяжело вздохнула:

— О-хо-хо!.. И впрямь, точно как их отцы и матери! Жестокие, бездушные...

После ухода Захиры и Гульехан все как-то притихли. Янеш, то ли желая нарушить грустное молчание, то ли вспомнив про приготовленное на своем навесе угощение, попыталась снова начать прерванную игру:

— А теперь, енге, давайте ко мне на чай! Уходя я все приготовила и самовар горячий —

только угли раздуть. Пришла пригласить вас всех, да за разговорами из головы вылетело.

Но разладившуюся с самого начала игру никому не хотелось продолжать.

— Может, на сегодня хватит. Лучше придумаем поинтереснее что-нибудь, — предложила Сабира.

— Во что будем играть? — оживились девочки.

— Пойдемте за снеговой водой, — сказала Сабира, напомнив про другую весеннюю игру. — Побегаем по склону Озонгола.

Предложение всем понравилось. Девочки с криками попрыгали с крыши навеса и побежали за ведрами и коромыслами. Янеш и Емеш, не решаясь идти домой, застыли в растерянности у своих ворот.

«Не рано ли они пришли? Как вынести ведра?..»

На улице уже начали появляться девочки с ведрами и коромыслами. Янеш нерешительно попросила:

— Сходила бы за ведрами, хылу...

Емеш кивнула на свое платье.

— Ты быстренько возьмешь, она и не заметит...

Емеш направилась к аласыку, но храбрости у нее хватило лишь дойти до полуприкрытой двери. Оттуда доносились запахи блинов, жареного мяса и были ясно слышны все звуки: как звякает посуда, как хихикают и умильно переговариваются двое.

— Ну и славная бабенка ты, Сарбиямал!

Такие вкусные самбуса [1] и асыгауз [2] никто больше не готовит! Кляиусь, ей-ей!..

Это расточал елей с набитым ртом конокрад Ахметша. А Сарбиямал нежно и игриво кудахтала, как молодая невестка.

— А как же? Своему мил-дружку угодить стараемся!..

— Я тебе только мил-дружок значит, да? И всего-то?!

— Ради того, по ком скучаю, по ком все глаза проглядела хи-хи!..

— Да я же к тебе махнул прямо с дороги! Домой не заходил, ночки не дождался!

— Ладно, ладно, не серчаю, — промурлыкала Сарбиямал и вдруг запела точнее, загорланила взвизгивающим, нахальным голосом, отвратительнее которого Емеш не слыхивала:

Что же ты да позабыла
Свое платье застегнуть?!
Кто же днем при всем народе
К милу-другу держит путь?!

Острая ненависть сдавила грудь Емеш. Она шарахнулась от двери, как ужаленная змеей, и вылетела на улицу.

— Где же ведра? — удивленно спросила Янеш.

— Сама иди...

— Эх ты, ведро и то вынести не смогла! — разозлилась Янеш. — Значит не пойдем со всеми за снеговой водой!

Сестры молчали, глядя друг на друга, а другие девочки уже собрались кучкой в переулке возле дома Тимербая.

---

[1] Самбуса — мясной пирог.

[2] Асыгауз — беляши из сдобного теста.

— Ну, останемся дома, Емеш? — повторила Янеш. — Не хочешь принести ведра?

Емеш очень не хотела отставать от девочек. Набравшись смелости, она снова приблизилась к аласыку. Через щель в дверях было слышно каждое слово, хотя там перешли на тихий заговорщицкий тон.

— Слышь-ка, Сарбиямал?! Скоро здесь будут чехи. Они воюют против большевиков. В городе только об этом все разговоры, — говорил Ахметша.

— Ой, неужто правда! Вот радость-то, душенька!..

— Кому радость, а кому и горе...

— Не без этого уж, это уж так водится...

— И я об этом же. Ведь придут чехи, тебе несладко, придется, знаешь об этом?

— Что ты, что ты?! Откуда такие речи?

— А то как же, муж-то твой большевик! Говорят, и сыночек твой в красные подался. Смотри, влипнешь ты...

— Эка куда хватил!.. Известно же, какой он мне муж! Чей это сын! Так... лишь пыль в глаза чтоб пустить... Разве что может случиться со мной, когда ты у меня есть? Полюбовничек мой... Будто сможешь ты без меня прожить, чернобровый мой...

— Хочешь, чтоб не трогали тебя, помоги нам. Поняла, Сарбиямал?

— Как же помочь тебе, душенька? И кому еще, ты говоришь «нам». Вам с Шамсией? Хи-хи...

— Не строй из себя дурочку. У меня к тебе есть поручение. Мы тут до прихода белых надумали покончить кое с кем... Давно уж руки чешутся... Да накладка вышла одна: винтовки

у нас стащили и солдат с панталыку сбили. Теперь наш отряд опять в строю. Оружие волость дала. Сил у нас хватает. А чтоб быть сильнее, решили объединиться с Федькой Рябым. Сегодня отряды Хатыбала и Федьки прибудут сюда. Поняла? Делай что хочешь, а Байгильде из дома не выпускай. Пусти в ход свои уловки, бабскую хитрость, но чтоб он дома был. Еще лучше, если будет спать. Приласкай, завлеки его... Ради дела я готов простить тебе.

Страх ежесекундно гнал Емеш назад к воротам, да и торчать у дверей, она понимала, нехорошо. Но ноги не слушались. В ее голове блеснула ужасная догадка: «Что-то затевают против отца!» И она замерла, превратясь вся в слух.

— Невесть что мелешь, дружок! У меня ж к нему сердце не лежит...

— Ляжет. Слышишь, он не должен пронюхать. Уразумела? Заснет он — заснут остальные... Хаммат в больнице, Тимербай еле дышит. Сейчас один Байгильде опасен... Смекаешь?

— Яснее ясного... А то как же, как...

— Исполнишь — отсохни у меня язык — разведусь с женой, тебя возьму.

— Возьмешь?!

— Возьму, ей-богу... Клянусь хлебом-солью! Давай поскорее уберем Байгильде. Я места себе не нахожу, извелся, ревнуя тебя к нему. Как он пришел с фронта, жизни у меня не стало...

— Правда, милый!.. Ах ты, моя душка!..

Пошли поцелуи и любовные излияния. Емеш душила ненависть к бесстыжей мачехе и

страх за жизнь отца. Больше стоять за дверью не было духу.

— Апай, — выдавила она. — Апай, нам бы ведра взять... За снеговой водой сходить...

— А? Чего тебе, окаянная! — взвизгнула Сарбиямал и, громыхая ведрами, возникла на пороге. Ее маленькие глазки метали огонь. Дыханье было тяжелое, словно она прибежала откуда-то издалека. В таком виде мачеха пробудила у Емеш чувство отвращения, чтоб не выказать его, она быстро перевела взгляд в сторону.

— Я же говорила, чтоб не приходили! — прошипела Сарбиямал и, покачивая широкими бедрами, исчезла в аласыке.

«Эх, отец! Вернулся бы хоть раз домой в такое время, увидел бы сам...», — горестно думала Емеш, идя по улице. Но ей не пришло в голову сообщить кому-либо о своей страшной новости. А увлекшись игрой, она напрочь забыла о ней.

В переулке возле дома Тимербая снова собрались вместе те же девчата. Не пожелали отстать и только что перессорившиеся с подружками Гульехан и Захира. Они шумной гурьбой зашагали к Озонголу. Емеш, Шауре и Самига налегке, без ведер, понеслись вперед, быстро проскочили переулком, где еще лежал местами снег, на прогретый высокий берег Мертвого Ика.

Аул остался позади. Перед ними открылась широкая дуга Мертвого Ика. Солнце стояло на самой вершине своего дневного пути. Здесь, на широком косогоре, у девочек быстро отогрелись ноги. А когда они промчались по снегу, мимо громадных скирдов хлеба, годами

копившихся на гумне старшины Собхана и муллы Габбаса, и вышли к Озонголу, то стало совсем тепло. Отлогий спуск давно очистился от снега, кое-где зеленели иголочки трав. Девочки пошли по пышащей паром, мягкой, как пух, ласковой земле.

Стекающие с березняков и травянистых склонов горы Сагыл-тау чистые, как ртуть, вешние воды породили этот, прозванный Озонголом, глубокий овраг. Весной по нему талые воды шумным потоком скатываются в Мертвый Ик. А летом он превращается в обычный сухой овраг с обрывистыми склонами. Тогда ничего, кроме раскидистой березы на горе Йорек-тау[1] — начала этого оврага, уж не привлечет здесь взора.

В давние времена, когда отцы и деды с весны до осени уходили в яйляу — на летние кочевья, джигиты и девушки, скачущие впереди, останавливались на отрогах Сагылтау и украшали цветными ленточками ветки раскидистой березы на вершине Йорек-тау. Ленточки линяли, выцветали под весенними и осенними дождями. Перед возвращением на зиму в свои аулы девушки навешивали новые ленточки и кружева, а порой — браслеты и кольца. И стояла эта береза зимой и летом с вьющимися на ветру разноцветными ленточками, стройная и нарядная, как невеста перед свадьбой. Сейчас, конечно, на ней нет и следов былого. Давно спят в земле те озорные, смеющиеся девушки и храбрые джигиты, что пролетали здесь на быстрых конях весной и осенью. Ныне раскидистая береза видит лишь раз каждую весну,

[1] Йорек-тау — гора-Сердце.

как пробегают мимо нее за снеговой водой шумные, как галчата, босоногие девчонки...

Эта история про далекое прошлое раскидистой березы, которую Емеш слышала от Карасэс-инэй, глубоко захватила ее, и с той поры она не может равнодушно пройти мимо березы на Порек-тау. Ей кажется, что стоит попристальнее всмотреться, и увидишь наяву волшебные следы прошлого и напоминающие о нем предметы старины. Оказавшись рядом с березой, Емеш подолгу любуется ею. Ей хочется увидеть на ветвях следы пальцев, повязывавших разноцветные ленточки, найти обрывки тех ленточек — так ясно представляет она себе веселых, нарядных девушек, скачущих верхом на аргамаках. Здесь всегда и таинственно, и печально. Но воображение Емеш идет дальше: она думает, что на всей земле нет красивее места, что здесь живет вечная молодость и оттого тянется сюда весной все юное-зеленое. По одну сторону здесь — Озонгол, спускающийся к Мертвому Ику, по другую — склон, уходящий острием в верхние тугаи. Здесь первой освобождается земля из-под снега и проглядывает самая ранняя травка, похожая на торчащие из черного бархата иголочки ели. И только тут протекает самая чистая снеговая вода, ведь выше нет ни дворов, ни дорог. Потому, только вздуется мутная талая вода на Большом Ике, у девчонок-резвушек появляется повод нестись сюда...

Подбежав к краю Озонгола, Емеш и Шауре стали смотреть на пенный поток, низвергающийся откуда-то с большой высоты. Солнечные лучи ласково гладили их застывшие спины, теплая, как войлок, земля нежила ноги.

А внизу еще стояли едва проглядывающие из-под глубокого снега, точно проклюнувшиеся птенцы, веточки ивы, калины, ольхи. Над ними приветливо и грациозно покачивали голыми веточками стройные и красивые молодые осины. Радость переполнила сердца девочек. Их манил к себе и тополь батыра Хабира, у которого они любили передохнуть, когда ходили за щавелем и свербигой; с его величественной кроной не могло поспорить ни одно дерево в верхних тугаях. Сейчас на его могучих ветвях с криками вили гнезда вороны, а на вершине по-прежнему реял большой красный флаг, выцветший от солнца и дождей. Его водрузили в прошлом году Тимербай с Ахатом и Иштуганом. А на самый верх поднял Байрас. Среди детей, сбежавшихся тогда смотреть на эту картину, были и Шауре с Емеш. Тимербай говорил:

— Баи хотели, чтобы тополь батыра Хабира назывался тополем кафыра Хабира, не вышло! Он всегда будет называться тополем батыра Хабира! Здесь пролилась священная для нас кровь героя! В память о нем пусть всегда реет здесь красный флаг!

К тополю еще не подойти, лежит снег. А в другой раз девочки придут сюда только на праздник сбора щавеля и свербиги. Будут играть и веселиться. За это время Большой Ик на много верст затопит тугаи красноватой глинистой водой, а затем, усмирив свой норов, снова вернется в свои берега. Тугаи тогда заполнятся цветами и соловьиными песнями... Ах, какая блаженная пора ждет их впереди!

Другие девочки уже забегали друг за другом. Шауре и Емеш тоже поскакали к ним.

Игры были разные, но требовали от играющих настоящей ловкости и быстрых ног. Емеш больше любила играть во «владыку», чем в «три пня» или «жениха, приглашающего на мед».

— Владыко!

— За пояс заткнет!

— Есть храбрецы? Зову на поединок!

Только смелый и бесстрашный приносит в этой игре успех своей команде, нерешительный подводит всех. Емеш любили за страстность и самозабвенность, с которой она боролась за победу.

От веселых игр и смеха, от весны и воли Емеш охватило ликование. Казалось, взмахни руками — и взлетишь к небу. Она бы согласилась вот так бегать, хохотать и играть хоть вечность. Но очень скоро все кончилось. Девочки постарше заторопились домой. Наполнив ведра сверкающей чистой снеговой водой, они потянулись к аулу. Емеш, Шауре, Самига, обнявшись втроем, шли сзади, распевая песни.

Наедине с собой Емеш часто сочиняет песни, вкладывая в них свою тоску-печаль. Она думает, что такие песни поются только в невеселую минуту и в другое время никогда не повторяет их. Возникая непроизвольно, по настроению, они потом забываются сами по себе. В кругу ровесниц можно петь, конечно же, только всем известные песенки. Вот и сейчас она затянула громко и озорно:

Алый берег реченьки,
Белый берег реченьки!
Ал ли берег, бел ли берег —
Нет уже той реченьки...

За нею подхватила Шауре. Неизвестио, откуда взяла оиа эти слова, почему решила спеть их по-татарски на манер частушек?..

Мой платочек беленький,
Беленький-зелененький!
Меня юную сгубил ты,
Я сложила песенку!..

И вдвоем с Самигой они повели дальше такие же залихватские припевки. Но Емеш молчала. Ей слова песенки показались бессмысленными и иекрасивыми, а бессмыленные слова оиа не любила.

У своих ворот стояла подбочеиясь Сарбиямал.

— Эй, вы, дармоедки, погибели иа вас иет!.. Что же не пропадали до иочи?!

Емеш вздрогиула от этого голоса, Радость первого дия иа воле после долгой зимы, весь ее трепетный порыв в одии миг испарились.

— Ах-ах! Ты еще и платье разодрала, цыганское отродье! — заорала оиа и, схватив Емеш за косы, потащила за собою в дом. — Ведь иарочио ие плачет цыганское отродье! От иенависти ие плачет! Хочет, чтобы я убила ее и грех иа свою душу прииняла, проклятая! — приговаривала оиа, волоча Емеш. Пользуясь тем, что у детей ие было привычки жаловаться, оиа продолжала их бить и после возвращеиия Байгильде с фроита.

Когда Сарбиямал в изиеможеиии оставила ее, Емеш ие думая о своем виде, выскочила иа улицу и со всех ног поиеслась к Тимербаю. Жестокий смысл подслушаииых дием слов почему-то всплыл в ее созиаиии со всей ужасающей ясностью только после побоев Сарбиямал.

«Уже поздно, вечереет, — возбужденно думала она. — Скорее бы увидеть отца, рассказать ему! Его же могут избить до смерти, как бабушку Карасэс!»

VI

Весь вечер Сарбиямал была мила и ласкова с Байгильде. Еще до его возвращения она затеяла бурные приготовления в аласыке. Раскатывала тесто, жарила в кипящем масле юаса[1], беляши, баурсаки. Вкусные запахи разносились по двору. Можно было подумать, что сегодня здесь ждут гостей.

Даже Емеш, не говоря уж про Яиеш, не могла отлучиться, выйти из аласыка. То и дело слышалось:

— Воды подтащите! Несите дрова! Начисть луку!..

Девочки крутились возле мачехи, исполняя ее приказы. Некогда было перемолвиться друг с другом хоть словом. И все же Емеш удалось увидеть отца, когда она вышла принести дров из сарая. Он преспокойно сидел на чурбане возле чулана, пощипывая бороду. Емеш окинула его удивленным взглядом, будто хотела сказать:

«Я же говорила тебе, а ты расселся! Ночь на носу! Скоро же нагрянет Хатыбал. Неужели не поверил мне?»

Но отец не обратил внимания на дочь. Весь вид его показывал, что занят он одним ожиданием ужина. Стемнело. В доме зажгли лампу. Сели есть.

[1] Юаса — сдобная лепешка.

— Ты совсем похудел в эти дни. Вечно опаздываешь к еде. Вот и решила сегодня накормить, чтоб поел горячего всласть. Хватит себя изводить. Оставь на сегодняшний вечер свои дела и заботы. Никуда не пущу, — заботливо приговаривала улыбающаяся Сарбиямал, расставляя перед мужем кушанья.

— Да, ты умеешь готовить... Ничего не скажешь, — сказал Байгильде.

Сарбиямал, видно, хотела напоследок показать мужу, какова ее щедрость, — выставила перед ним даже смородиновое и земляничное варенье.

— Угощайся, отец, набирайся сил!

Не забыла она и девочек, наложила перед ними гору пирожков и баурсаков.

— Ешьте, доченьки. Набегались вы за день, проголодались.

На скатерти дымилась ароматная еда. С удовольствием уплетала даже сама раскрасневшаяся у очага Сарбиямал. Емеш тоже была голодна, но от внутреннего беспокойства у нее не лез кусок в горло. Она широко раскрытыми глазами, в которых было напряженное ожидание и страх, молча смотрела то на отца, то на мачеху. Такое поведение быстро вывело из себя Сарбиямал.

— Чего ждешь? Сидишь, как пень, — выпалила она.

Емеш откусила кусочек самбусы, но разжевать не смогла — во рту у нее все пересохло. Она чуть не плача сказала:

— Голова болит... Не хочу есть...

— Тогда иди ложись. Не порть нам ужин!

— Болеешь, надо прилечь, — торопливо

поддержал жену Байгильде. — Не надо насильно есть. Что пользы от такой еды?

Он уже стал бояться, что Емеш не выдержит и расскажет про готовящийся налет сейчас же, перед Сарбиямал. Емеш с укором еще раз посмотрела на отца и ушла спать. За окном опустилась безлунная ночь.

До Емеш доносилась назойливая и гадкая своим притворством ласковая речь Сарбиямал. Слышался равнодушный и безразличный говор отца. Странное поведение взрослых было непостижимо ей.

«Мне нельзя спать. Заслышу, как идут те, и сразу дам знать отцу...» — твердила она, глядя в черноту окна. Но незаметно ее сморил глубокий сон. Вскоре рядом с нею легла и Янеш. А в другой половине дома продолжала суетиться Сарбиямал. Убирая еду, она сто раз покрутилась перед мужем, сорок раз взбила подушки и перины. Наконец и она забралась в мягкую постель. Млея, как сытая кошка, стала звать к себе мужа.

— Ради одной ночи, что ли, я замуж выходила?— напомнила она ему их счастливую ночку накануне расставания перед войной. — Уж год минул, как ты воротился. Хоть бы раз взглянул на меня, приголубил. Эх, понапрасну пропадают мои годы, прости боже! — ворковала она. — Дал бы мне аллах мужа настоящего, как у всех, не была бы я на посмешище всем бесплодной.

Байгильде хотел резко оборвать ее, напомнить о ее позоре: «Твой Ахметша давно помог бы, если б могла опростаться!» —но промолчал. Чего зря языком чесать.

А Сарбиямал никак не умолкала. Не сумев заманить Байгильде на урындык, она теперь стремилась удержать его всеми силами дома. Так велел Ахметша. Ведь Байгильде должен был лежать в ее объятиях, когда ночью прискачет сюда Хатыбал со своим отрядом.

«Не любит он меня... Забыть не может свою Сагуру. А может, чует про Ахметшу... Чем грешить, лучше стать законной женой Ахметши»... — оправдывалась она перед собой.

«Вот они — плоды обмана и двуличия. Теперь готова меня с головой продать. Не раздумывая ничуть, мужа на тот свет отправляет, каково, а? — поражался Байгильде, сидя в задумчивости. Перед его взором всплыли темные, светящиеся любовью и печалью глаза. — Сагура!.. Сагура, почему в эту минуту возле меня не ты, а этот злой дух в образе женщины?!»

А потом пришла мысль о сыне: «Где он? Жив ли? Пропал бесследно...»

С тех пор, как Байгильде вернулся домой, об Иштугане не было ни слуху ни духу. Поговаривали, что не всем удалось бежать в ту ночку, будто кого-то настигли Хатыбал и его дружки. Правда, утверждали и другое: что беглецы достигли города, там записались в Красную Армию... В общем, можно было только гадать...

«Эх, сынок, сынок!.. — тяжело вздохнул Байгильде. — Был бы ты рядом, у меня бы крылья выросли. Мы бы с тобой плечом к плечу стояли против этой своры.

— Отец, ложись, говорят тебе, ложись, — раздался голос Сарбиямал.— Оставь винтовку,

чего ты с нею обнялся, когда жена твоя рядом!

— Не торопи, лягу. Еще рано... Да и весь сон как рукой сняло...

«Ужель почуял неладное, отступник, — начала беспокоиться Сарбиямал. — Поглядеть на него, так жалко становится... Э-эх, да ладно уж! Все равно кругом грех...»

— Раздевайся, чего сидишь в вонючей солдатской одежде? — начала выходить из себя Сарбиямал. — Да ложись, говорю тебе! Только керосин мой почем зря изводишь!

Байгильде, не отвечая, продолжал возиться с винтовкой, чтоб было какое-то занятие. Смазывал, протирал, чистил, а в голове крутилась дума: «Мало ли что... Всего не усмотришь, надо быть начеку...»

Дружинники знали, что Хатыбал спит и видит — разгромить дружину и возвратить назад винтовки. Тайны тут никакой не было. Но ильсегульцы не знали, когда произойдет налет банды. Каждая ночь была тревожной, спали урывками, настороже, с оружием в руках. И вдруг неожиданно, от маленькой Емеш, они узнают о готовящемся нападении.

Река вздулась. Не сегодня-завтра пойдет лед. Значит, для Хатыбала остался единственный путь — перейти Большой Ик по деревянному мосту, что между Мраковкой и селом Якуп. Банду решено было встретить там, у моста. А чтобы ничего не заподозрили аульные соглядатаи, для отвода глаз Байгильде был оставлен дома под присмотром Сарбиямал, так что она была довольна, полагая, что ловко провела мужа, удержав его дома. Остальные тем временем должны были под покровом но-

чи поодиночке выйти из аула и, собравшись у Озонгола, дальше пойти вместе. С этой стороны реки к самой воде подходили густые заросли — отличное место для засады. Командовал дружиной Закир. Он считал, что малочисленной неокрепшей дружине пока не по силам сразиться с бандой Хатыбала в открытом бою, и решил нанести ей ощутимый удар из засады.

«А все же... кто знает?..» Байгильде, не сомкнув глаз, просидел всю ночь, а чуть забрезжил рассвет, заторопился узнать о событиях минувшей ночи.

Емеш, вскочив ото сна, в тревоге бросилась в большую половину: «Ой, проспала! Где отец?» Но там никого не было.

Яркое утреннее солнце весело заливало комнату. Емеш вылетела на улицу — и здесь никого! «Может, он в аласыке!» — мелькнуло у нее в голове. Она побежала туда, но, заслышав там брань, в страхе остановилась.

— Не убивай, родимый! Пусти, не виновата я! — слышался свистящий с придыханием шепот Сарбимал. — Клянусь хлебом-солью! Как на духу тебе говорю, ни с кем ни словечком не обмолвилась. Все, как ты велел, сделала... Его дома продержала...

— Проболталась! Никто, кроме тебя, не знал. Дружинники у моста дожидались. Знаешь, сколько наших полегло?! Понимаешь, что ты наделала! Хатыбал чудом спасся! Слышишь, вислоухая проклятая баба, ты продала нас!

Опять в аласыке что-то загрохотало, тяжело затопали чьи-то ноги, раздались удары и крики Сарбимал.

— Ой-ой-ой!..

Из аласыка с налитыми кровью глазами выскочил Ахметша. Он ринулся своей обычной дорогой — через задние ворота.

Грудь Емеш в ту же минуту переполнилась бешеной радостью: «Значит, отец живой!.. И Тимербай-агай, и сват Закир, и Халим-агай — все живы!..»

Она, набравшись смелости, зашла в аласык. Но вся ее храбрость тут же улетучилась. Всклокоченные волосы мачехи, ее распухшее лицо, синяки на руках привели Емеш в ужас, и она шарахнулась прочь. Сарбиямал, уставясь на нее диким взглядом, погрозила вслед кулаком.

— Не убежишь! Я из тебя дух выпущу, света белого не взвидишь, цыганское отродье! Ты подслушала и донесла! Только ты подходила вчера к двери...

* * *

С того дня Сарбиямал ждала лишь подходящего случая, чтобы отомстить Емеш, и скоро он представился.

Уже была в разгаре и во всем великолепии весна, похожая на красавицу с проснувшейся на сердце первой любовью, вместе с которой она расцветает с каждым днем еще пышнее, становится добрее, отзывчивее. Снега, которые еще вчера укрывали по крышу низенькие дома, сошли в один миг, оставив за собой зеркальные лужи, озерца, веселые ручейки и шумные потоки, каскадами спадающие вниз, спешащие к Большому Ику, чтобы по его высокой воде, с его быстрым течением поскорее домчаться до большого моря.

Дни и ночи звенели вешние воды, унося с собой накопившуюся за зиму грязь, омывая землю. И скоро ее гладь заблестела мягко и нежно, как только что вылупившийся из яйца гусенок. Поверх платья из черного бархата сплелось новое — из зеленого шелка. Это ласковое время года можно сравнить и с кипучей порывистостью цыпленка, и со стройной красотой девочки-подростка... Эх, вырваться бы сейчас из дома, побегать под весенними лучами! Но Сарбиямал твердит одно:

— Чего зря шататься по улице! Хватит с меня вашего отца-шатуна! Вяжи быстрее шаль, даром, что ли, кормить тебя?

Емеш сидит за вязаньем у окошка в своей маленькой половине дома и грустно напевает про себя:

Головушка болит,
да некому погладить...
Хочу подушку взбить,
да нету сил...
Ах, мама-мамочка,
как без тебя мне сладить?..
Как жить на свете, коли свет не мил?..

В окно заглядывает манящая бездонная синева. Шаловливые солнечные лучи, натыкаясь на кончики тонких стальных спиц, разбрызгиваются на веселые золотистые искорки. Белые стайки облаков играючи раскидывают прозрачные кружева по голубому небу. Иногда низко над самым окном пролетают перелетные птицы — гуси, утки, журавли, словно приглашают ее за собой на туган и озера за рекой. Емеш задумывается, пальцы ее замирают, а сердце бьется сильно-сильно... Сколько шалей связала она за этот год! Шали пуховые, шер-

стяные, узорчатые... И в каждой из них остался кусочек ее беспокойного сердца, частица ее дум, на каждую шаль пролит свет ее лучезарных задумчивых глаз. Ее шали не повторяют друг друга, в процессе вязания они обрастают новыми, только что рожденными в душе узорами, и приобретают свой особый рисунок. По этой ли причине или же благодаря стараниям Сарбиямал Емеш не сидела без дела. Желающих получить связанную ею шаль становилось все больше. Сарбиямал находила их и в своем ауле, и по соседству, и в отдаленных селах Мраковке, Каргалке.

— Смотри! Чтобы долго не возилась, — наказывала она, принося Емеш новую работу.— Понадеешься на вашего отца, так ноги протянешь. Мне не дают торговать. С подводой зерна в Оренбург не съездишь! Свобода, как же!.. Всюду Советы... А ты вяжи. Испытай-ка на своей шкуре, даром ли хлеб достается!..

Сарбиямал никогда не заводила речи, сколько у кого берет за шали, а Емеш не приходило в голову поинтересоваться. Она лишь знала свое вязанье, ей казалось, за делом както быстрее проходит зима. Но с наступлением весны это любимое занятие уж не приносило ей успокоения. Незаметно для себя она опять забылась, устремив печальные глаза в неизвестную даль за окном, — так бывало сидела за шалью ее любимая енге Айхылу. Однако руки Емеш продолжали вязать сами по себе с непостижимой для глаз быстротой. Под легкий звон тонких стальных спиц рождалась, росла, полнилась узорами мягкая, легкая пуховая шаль. По ее краям шли нежные, как клювик воробья, маленькие зубчики. Как

счастливы, должно быть, те, у кого такие шали... Тает, как масло, нежится под такой шалью твое тело. Ведь Емеш никогда не испытывала такого блаженства, даже носочков не могла себе связать! Эх, была бы у нее родная мать, разве пожалела бы она для дочки козьего пуха!..

Сарбиямал и сама, наверное, забыла, сколько раз давала эйтеу — обещание перед богом подарить Емеш свою заболевшую скотину, если та выживет, и, конечно, Емеш не доставалось даже клочка шерсти от этой скотины. Мачеха верила, что Емеш может сглазить сама кого угодно, а потому и вылечить заболевшую от чужого сглазу тварь. К тому же она чистосердечно предполагала, что бог пожалеет сиротку и не отберет обещанную ей скотину — не даст ей подохнуть. И действительно, обещанные Емеш козлята, ягнята, телки всегда выживали. Потому-то Сарбиямал и вела эту игру с богом довольно часто.

— Ежели мой заболевший барашек не помрет, — говорила она эйтеу. — То отдам его Емеш. Ей одной обещаю! — И все у нее в дальнейшем получалось гладко, тем более что легковерный бог и несмышленая Емеш никогда не интересовались исполнением обещанного.

— Вяжи, вяжи! Скорее заканчивай шаль! — криком Сарбиямал прервала думы Емеш. — Окаменела, что ли? Чего уставилась в небо? Тебе что, оттуда шайтан хвостиком помахивает? Слышь, немая! С душой работай, тебе говорю! Через меня, от дочери моей подружки вязать научилась, теперь на весь аул прославилась! Не забывай о благодарности! Не кончишь — никуда из дома не выйдешь!..

Емеш и вправду научилась неплохо вязать шали. В ауле ее хвалят за сметку, легкость руки, сноровку. А что ей от этого? Лучше ли жить стало? Вот и отца Шауре называют мастером. Так же хвалят и ее отца, хвалили мать, покойную, за золотые руки... Пусть любая работа спорится у тебя, но трудолюбием, видно, счастья не добьешься!.. А что же для этого надо делать?..

В черных, словно наведенных сурьмой, больших глазах, несмотря на каждодневные унижения, временами вспыхивал упрямый, гордый огонь. Она наконец закончила середину шали и быстрыми, четкими движениями прикрепила к ней связанные раньше широкие узорчатые края с зубчатой каймой. На чье-то счастье опять приготовилась нежная пуховая шаль. Осталось выстирать ее, растянуть для сушки — и конец работе. Только знай носи эту шаль на радость и в удовольствие. С каждым днем она будет становиться только пышнее и мягче, только пушистее и краше... Пожалуй, теперь и ей можно будет выйти из дома немного поиграть...

Сарбиямал схватила шаль и принялась придирчиво рассматривать ее на свет.

— А вот тут ты, окаянная, не пропустила петли? Глаза все время на улице, как же ей петлю заметить, бездельнице! Ах-ах, смотри, язычки-то по краям, вот эти зубчики больше прежних! Все торопится поскорее кончить! У тебя ж всегда они были не больше голубиного клювика... — старалась придраться Сарбиямал, но подкрепить подозрения ей было нечем. — Иди за водой, — приказала она. — Надо сегодня же выстирать шаль и растянуть

для сушки. — Потом добавила: — Янеш пошла в верхний тугай за дровами. Принесешь воды, иди к ней. Вдвоем две вязанки притащите.

Емеш была рада и этому. Мачеха поиграть не пустила, но во всяком случае идти на речку и в тугаи лучше, чем томиться дома.

Схватив коромысло с ведрами, Емеш выбежала на улицу. Широкая, чистая улица с изумрудной травой была нарядна и пустынна. Емеш остановилась, оглядывая ее и в то же время поджидая, не появится ли кто из подружек. Дом Сабиры и Самиги напомнил ей о бабушке Карасэс. «Бедная, никогда уж не увидит такую красивую весну, — подумала она. — За что убили ее, за что убили святого Ульябая!..»

— Ну, чего опять застряла, цыганское отродье!.. Пошевеливайся! — прокричала ей со двора Сарбиямал. — Вот я тебя!..

Емеш тяжело вздохнула, сетуя про себя на безжалостный рок, который уносит в могилу хороших людей, и пытаясь подражать походке молодых невесток, легко зашагала к речке.

На Большом Ике было половодье. Река величественно раскинулась на несколько верст, затопив красно-бурой мутной водой, луга, тугаи, плесы. Касаясь его быстрых крутых волн, носятся над стремниной острокрылые чайки. Озорные жаворонки, выискивая покачивающуюся на волне ветку или березовую щепу, опускаются на нее и, гордые своей храбростью, нахохлив маленькие грудки, несутся по течению. А когда их маленький плотик попадает в водоворот и уходит под воду, они с писком

н щебетом, довольные и радостные, взмывают вверх. Эта опасная игра им, наверное, очень нравится... Сколько волшебной силы и красоты таит в себе весеннее половодье!

Не сводя глаз с реки, Емеш застыла на крутом яре. Она с жадностью вдыхала полной грудью влажный, мягкий воздух, бьющий с реки, и не могла им надышаться. Смотрела и не могла насмотреться на стремительную речную гладь, утопающие в воде тополя...

«Э-эх... Быть бы и мне быстрой реченькой, неслась бы я, журча и струясь меж гор, лесов и полей... Где-то на Урале, говорил отец, берет начало Большой Ик, потом впадает в большие реки Хакмар, Янк, а потом доходит до моря... Где они, Уральские горы?.. Посмотреть бы на них. А что такое море? Наверное, какая-то большая глубокая яма, вроде казана, куда вмещается сток всех рек...»

Река своей буйной весенней песней снова увлекла за собой Емеш, привыкшую после смерти матери больше размышлять, чем говорить вслух. И думы ее были бесконечные, как сама жизнь. Ее неугомонное маленькое сердечко тоже билось порывисто и взволнованно, не умещаясь в груди, как это рвущееся через край половодье. Ой, как хорошо стоять просто так, лишь глядя в воду! Но надо уже домой, ведь ей еще идти в тугаи за хворостом.

Звеня ведрами, Емеш скатилась с крутого берега. Чуть выше того места, где обычно берут воду, течением прибило торчащую из воды черной кочкой корягу с раскидистыми корнями. У берега кишел мусор. Емеш, решив зачерпнуть воды почище, ступила прямо на корягу, встала на уходящий в воду толстый

корешок, погрузила ведро в воду и резко вытянула его наверх. Но тут коряга вдруг перевернулась и пошла ко дну. Тяжелое, полное ведро упало в воду, как камень, и увлекло за собой Емеш. Когда она очнулась и выпустила из рук ведро — было поздно, она успела уйти глубоко под воду. Но привыкшая к невзгодам юная душа не захотела сдаваться. Емеш изо всех сил стала выгребать наверх. В мутной, темной воде она плохо соображала, куда плывет, приближается к поверхности или нет; а тем временем ледяная вода уже начала сковывать тело и железными тисками сдавило горло. Как все дети аула, Емеш с детства привыкла нырять на дно за белыми камешками, наверное, поэтому не растерялась от страха и все плыла, плыла... Захлебывающаяся, на последнем издыхании, она наконец всплыла на поверхность. Течение несло ее на середину реки. Немного отдышавшись на спине, она поплыла к берегу. Вешний поток тянул ее обратно на стремнину, подол платья обвился вокруг ног, а студеные волны хотели скрючить ее в своих объятиях. На берегу не было ни души. И все же удивительная жажда жизни Емеш победила разбушевавшуюся стихию. Она нашла в себе силы доплыть до берега. Проваливаясь в скользком иле, посиневшая и окоченевшая, она вылезла на берег и тут только поняла серьезность случившегося. Самое любимое ведро мачехи, новое, из белой жести, которое до этого брали только для дойки, осталось под водой. Что ей делать? Можно, конечно, понырять, поискать, но разве увидишь его в мутной воде? Да и не смогла бы Емеш при всем желании опять лезть в воду...

С какими глазами явиться ей домой?! Что сказать? И отца нет дома... Оиа совсем сиикла... Видио, порою мелочная жестокость человека страшиее грозной стихии.

Ее отец со дия организации дружииы перестал бывать дома. Сегодия ои отправлял в город для Красиой Армии хлеб, отобраииый у старшииы Собхаиа. А об Иштугаие по-прежнему иикаких вестей. Никто ие зиает, где ои теперь. От этих мыслей у Емеш сил еще поубавилось... Хоть бы заплакать иавзрыд, заголосить! Но, может, потому и плачет за двоих одиа Яиеш, что безжалостиая судьба иссушила все слезы у ее маленькой сестренки.

Победившая стихию маленькая девочка сидела иа берегу, беспомощиая, дрожащая, ие иаходя в себе решимости пойти домой. Мокрая рубашка, как ледяиой мешок, обхватила окочеиевшее тело. Солице, словно ие желая видеть ее жалкого состояиия, иакииуло иа свой лик белое покрывало из облаков. Над рекой подул резкий севериый ветер.

«Будь что будет, пойду, — подумала она. — Умирать, что ли, тут иа ветру от холода?»

А Сарбиямал уже в иетерпении поджидала ее у ворот, готовясь встретить побоями за долгое хождеиие по воду.

— Ах-ах! — оиа увидела, что Емеш возвращается без ведра. — Чтоб тебе пусто было, цыгаиское отродье! Куда подевала мое ведро?!

— С иим в воду упала... На дие осталось...

— А?! Что ты сказала?! — закричала Сарбиямал, — Что?.. Повтори!

Это было выше ее поиимаиия, такой поступок иикак не укладывался в ее голове: посметь вериуться, показаться на глаза, утопив ее

17 Заказ 224

любимое ведро! Емеш растерянно глядела на нее. — Летом, когда вода сойдет, я поныряю за ним... найду... Я замерзла... — насилу пошевелила она посиневшими губами и попыталась обойти Сарбнямал, чтобы пройти в дом.

На лице Сарбнямал отобразилось еще большее изумление: такая смелость тоже была непостижима. Она снова загородила Емеш дорогу. От злости у нее задрожали губы.

— А? Что ты сказала? — завизжала она на всю улицу и, растопырив пальцы, пошла на Емеш. — Проклятая! Лучше бы ты сама утонула! Топить мое ведро! Белое, жестяное, новое! Был бы чей-нибудь любимый, дорогой ребенок, сам бы утонул! А сиротине хоть бы что, как с гуся вода!..

Потеря ведра была достаточным поводом, чтоб отомстить за испорченные отношения с Ахметшой. Она вцепилась в волосы Емеш, но вдруг рядом раздался спокойный и властный голос.

— Постой-ка? Что тут стряслось?

Сарбнямал вмиг остыла и с кротостью залепетала.

— Ах, отец! Пришел уже, а я и не вижу... Вот, посмотри на нее, дочка наша в воду упала, чуть не утонула... Хорошо еще, ведро... жестяное ведерко мое утопила, сама вернулась...

После событий той ночи она в присутствии Байгильде старалась быть особенно ласковой с детьми.

— Ладно, — сухо прервал Байгильде. — Ребенок едва на ногах стоит, а у тебя заботы о ведре. Идем, доченька. Надо прилечь, отогреться.

Взяв дочь за руку, он ввел ее в дом, уложил иа урыидык и укрыл поверх одеяла своей солдатской шинелью.

— Не поддавайся, дочка, ие болей. Скоро поедем в свой аул, домой вериемся... Избавитесь...

Емеш промолчала. Ей пока ничего ие иадо было кроме тепла.

— Сарбиямал, перестаиь махать кулаками, — сурово сказал Байгильде. — Детей ие трогай. Хватит! Если с Емеш что случится, хорошего ие жди.

Ои сиова поспешил к Тимербаю, там теперь размещался штаб дружииы.

— Голодранец, зимогор! Разговорился, раскомаидовался! Подумаешь, заделался большевиком! Вот придут белые, укротят твой язык! — Сарбиямал даже показала ему вслед кулак, ио очеиь иесмело и иа этот раз Емеш ие троиула.

Емеш укрылась с головой, ио согреться, уиять дрожь еще долго ие могла. Вместе с нею трясся урыидык со скрипучими, узкими досками. Потом у иее иачался жар, она забылась и увидела себя в каком-то малеиьком домике перед высоким, сильно прокоптившимся суалом [1]. Толстые сухие бревна в рост человека, стоящие в суале, горели с веселым треском, выбрасывая красиые языки пламеии. От яркого огия было светло и веяло иа Емеш покоем и отрадой. Его живительиое тепло проникало через руки, щеки, лоб, даже через корни волос. Перед суалом, протягивая к огию тоикие руки, сидела молодая жеищииа в черной шали.

[1] Суал — камии.

У нее красивое лицо и печальный взгляд, который проникает до глубины души Емеш. Эта и незнакомая, и очень близкая женщина часто приходит во сне к Емеш. Емеш, ласкаясь, прислоняет голову к ее плечам. А женщина мягко гладит ее волнистые волосы. Голос у женщины тихий-тихий, как шелест листвы.

— Девочка моя... Ты уже подросла... Твою подушку я набила пухом так давно... Тогда тебе было всего три года... Свалялась уж она, стала жесткой, да и мала она тебе, как и это одеяло, на котором мои стежки... оно тоже износилось... сквозь прорехи дует, наверное, мерзнешь ты... Была бы я рядом, сделала бы тебе большие подушки из гусиного пуха... уложила бы я тебя на мягкую теплую кошму, укрыла бы сверху новым одеялом, доченька моя...

— Мама, — ластится к ней Емеш. — Мамочка моя!..

— Вставай, цыганское отродье!.. Вставай! Иди! И без моего ведра не возвращайся!

Сарбиямал сбросила с Емеш одеяло. Янеш, когда мачеха ушла на свою половину, снова укрыла сестренку. Она давно вернулась с вязанкой хвороста и теперь сидела у ног Емеш, оплакивая ее несчастную долю. У Емеш начался бред. На том месте, где только что она видела ласкающий теплом суал и его милую хозяйку с нежной речью и печальными глазами, полыхал огонь. Емеш не посмела убежать, ведь она совсем недавно встретила здесь свою мать. Она должна найти, непременно найти ее!

Но огонь вдруг стал разрастаться. Вот он превратился в громадный полыхающий стог. Ревущее пламя, все выжигая на своем пути, стало подбираться к Емеш. Его красные языки

начали лизать ей руки, ноги, лицо, затрещали волосы. Емеш теперь в ужасе хочет бежать, спрятаться, кидается в одну сторону, другую, но повсюду на ее пути из-под земли выскакивают извивающиеся черные змеи и, высунув огненные языки, с шипением мечут в нее огнем. А горящий стог разрастался и надвигался все ближе. Емеш уж нечем дышать от жара.

— Мама, мамочка!.. — кричит она. — Мама, умираю! Огонь, огонь!.. Горю!..

VII

Емеш болела тяжело и долго. Но сегодня наконец болезнь отступила, и она впервые за много дней смогла приподняться и сесть на своем урындыке. Тут же она заметила на себе холодный взгляд Сарбиямал.

— Вот те на! Опять выжила! — ахнула та, вытаращив стальные глаза. — С того света вернулась! Чудеса!..

Видно, у нее было хорошее настроение. Она ловко перекладывала со сковородки на тарелку плавающие в масле прозрачно-тонкие блины, печь которые была большая мастерица.

«Эх, хоть бы один дала попробовать!» — мелькнуло у Емеш в голове, и она тотчас почувствовала страшный голод. Даже в животе свело. Первый раз за время болезни ей захотелось есть. Но Сарбиямал уже унесла блины в большую половину. Оттуда раздавалось звяканье чашек и приглушенный голос конокрада Ахметши:

«Опять он здесь, — встревожилась Емеш, забыв о голоде. — А где отец? Жив ли он?..»

— Белые... Чехи... Отряд Кашрина... Хатыбал, — давясь едой, бормотал Ахметша. — Упустишь своего большевика, на этот раз спуску не будет. Жалости не жди.

— Я сама его выдам, только бы пришли наши. А то этот заморыш прямо ни дать, ни взять — как хозяин в моем доме! Надумал мое добро к рукам прибрать!

Такие разговоры между ними Емеш слышала часто и уже слабо верила, что придут какие-то там «свои» и что-нибудь случится с ее отцом. А ее старые страхи перед Ахметшой, Шымбаем-Куштаном, Сарбиямал, которые теперь сами побаивались ее отца-большевика, уступали место гордости перед ними за своего отца. Поэтому она, не обращая внимания на злобное перешептывание, доносящееся из-за перегородки, встала и, как ребенок, делающий первые шаги, неверной походкой пошла к выходу.

За стенами угрюмого дома Сарбиямал пышно расцветала весна. От запахов влажной земли, нежной зелени у Емеш закружилась голова, от ослепительного солнца сощурились глаза. Она остановилась на крыльце, понемногу пришла в себя и с тою же осторожностью направилась в сторону ворот. Как всегда в такое время года, на улице ни души. Кто может пахать и сеять — сейчас в поле. Безлошадные ушли на сплав, многие еще ходят в солдатах, а детвора и подростки в такую пору на реке. Они с утра до вечера вылавливают смытые половодьем бревна, сучья, кору, щепу, бересту; береста заготавливается впрок—на зиму, остальное идет в дело летом. Янеш не было дома. «Видно, и она на реке, со всеми», — подумала Емеш

и пошла к Большому Ику. Ей не терпелось поскорее увидеть плывущий по реке лес, поговорить с подружками, узнать у Янеш про отца... Она с неизъяснимым наслаждением ступала босыми ногами по пушистой травке, ровным ковром устлавшей всю улицу. Улица, как водится по весне, выметена и вычищена всем аулом — таков заведенный здесь исстари порядок, на улицу смотрят как на продолжение дома, двора, хотят чтобы всюду было чисто. Оттого каждую весну весь аул дружно покрывается пушистой гусиной травкой. Зеленела не только улица, но и весь берег, старые тополя за околицей, осины и ивы у воды. Извилистые темно-синие горы, проглядывающие вдали, сейчас, конечно, тоже в буйном цветении. Вся окружающая природа была сегодня такой юной и торжественно-красивой, такой празднично разнаряженной, какой бывает разве что только невеста в день проводов ее из родного дома к мужу. В изболевшейся душе Емеш проснулась гулкая радость. Влажный ветерок принес с реки запахи цветущей черемухи. Емеш вдыхала полной грудью этот благодатный воздух и чувствовала, как упругой волной вливается в измученное болезнью тело волшебная сила. Ноги уже сами несли ее, словно она превратилась в сорвавшийся с цветка маленький пушистый комочек.

Вот и река. Она мирно течет в своих берегах и совсем не похожа на тот разъяренный могучий поток, который чуть не поглотил ее недавно. Коварная черная коряга, из-за которой Емеш тогда пошла ко дну, неприметно лежала в стороне от воды, уйдя в серый ил. Радуется и сверкает листвой поднявшаяся над

водой ива, черемуха. Далеко от воды на отмели в беспорядке валяются наваленные друг на друга бревна. Видно, уже прошло много дней с начала сплава. За дальней излучиной виднеется хвост проплывающего плота с фигуркой плотовщика, склонившегося над веслом. Значит, кончается сплав леса, коли уже пошли плоты. Неужели она так долго проболела?!

Емеш стояла на высоком берегу, не в силах отвести задумчивого взгляда от быстрой стремнины. Внизу девочки и мальчики баграми и короками — палками с петлей на конце — вылавливали из воды ветки и коряги. Там же была и Янеш. Чуть поодаль, свесив ноги с крутого бережка, сидели, любуясь рекой, женщины. Емеш тоже любит это кипучее время, когда по реке плывет лес, идут плоты. Ей кажется, что даже в самом ауле становится веселее жить, словно половодье приносит особую красоту, молодой задор, и что небо над аулом в такое время выше обычного, солнце ярче, а дыхание просторнее. Она хотела бы, чтобы никогда не стихал шум и гам над Большим Иком...

По реке все плыли и плыли, громоздясь, налезая друг на друга, стволы сосен, берез, лиственниц, словно тесны были для них берега. Над ними с пронзительными криками носились чайки, будто сердясь на бревна, мешающие им ловить рыбу. На толстой лиственнице выстроились рядком озорные трясогузки и с трогательной важностью следовали вместе с ней вниз по течению. Базыян, сидевшая в кругу женщин, вдруг с чувством запела:

Вольные птицы в тугаях
Вешние песни поют,

Если б петь так же могла я,
Пела б аллаху хвалу...

Емеш знает, что у Базыян-енге всегда есть наготове песня на любой случай, словно вереница картин и образов живой природы, находя отклик в ее песенной душе, вызывала у нее желание выделить каждый образ присущей только ей песней. А Базыян-енге вела дальше: спела вторую песню, третью и все продолжала нанизывать их одну на другую. Женщины, тихо вздыхая, молча слушали. А в конце каждого грустного и прекрасного напева дружно поддерживали ее протяжным возгласом: «Эй-й-й... жизнь!..» Что означало и восхищение исполнением, и одновременно помогало певцу на последней ноте. Емеш с удивлением отметила, что среди женщин сидит бабка Таиба, которая раньше никогда не позволяла себе такого праздного времяпрепровождения, да и не любила, когда рассиживались без дела ее сыновья и снохи. «Знать, горе погнало ее к людям, — подумала Емеш. — И таких людей сгибает жизнь». А Базыян все продолжала:

На Урале, на сыртах раздольных
Всех цветов и трав не перечесть.
Грусть-тоску, когда на сердце больно,
Песнею пропеть у нас обычай есть...

— Эй-эй-й! — протянула бабка Таиба. — К живым вновь пришла весна!..

— И не говори, — вздохнула мать Шауре Зубаржат. — Этой весной моему Ахмету исполнилось бы двадцать семь... Два года уже пролетело, как погиб мой бедный сыночек... Хоть бы на руках у матери! Там, в лазарете,

ведь небось и не похоронили по-людски. Кто ж там саван сошьет? Эй-й!.. За что убивают наших детей, а?.. Кому была нужна эта война!..

К ней присоединилась мать Хасбиямал:

— А моего старика Тулыбая за что убили? За что?.. Тех, кто с винтовками, тронуть не смеют, так убивают безвинных, смирных... Тем, кто жаждет крови, все равно, чья прольется, я-алла, я-рабби!..

— Мою бедную свекровь взять, — сказала Базыян. — Ничего, кроме добра к людям, не было у ней на душе, у старушки Карасэс!.. В этом мире, видать, всегда добрые люди терпят все беды... А нечисть живет припеваючи, ей хоть бы что!..

В разговор снова вмешалась бабка Таиба:

— Э-эй!.. Да ниспошлет вам помощь свою аллах, невестки... Трудно вам сейчас приходится. Вот и я все не могу прийти в себя: хоть и жив остался мой Хаммат. Уж который месяц лежит в больнице! Доктор говорит, наверно, у него два сердца в груди, другой давно бы от такой потери крови помер. Э-эй, Салима, бедная невестка моя... Послушалась завистников, себя погубила, Хаммата с ног свалила... А какая огневая была!.. Шла, словно искры высекала, покойная...

Чтобы не слышать эти тягостные речи, Емеш снова перевела свое внимание на реку. У воды стало еще оживленнее, внизу появились женщины и даже старики, которые, заложив руки за спины и выставив вперед свои козлиные бородки, молча глядели на реку. На противоположном песчаном берегу копошились невесть откуда взявшиеся сплавщики. Цепляя баграми громадные стволы, застряв-

шне на суше, они дружно всей артелью стаскивали их в воду.

— Хо-айда-хоп!.. Хо-айда-хоп! — гулко несся над водой их ритмичный покрик. Им вторили из озерка лягушки, которых зовут «водяными коровами».

— Кунгык!.. Кунгык!..

Из-за поворота выплыл новый плот с двумя плотогонами. Ребятня, оставив охоту за хворостом, тут же принялась кричать свою присказку:

— Эй, плотовщик, шапкой воду зачерпни!

Но плотовщики, оба в летах, не проявили признаков жизни. Продолжали молча стоять, опершись на свои весла. Длинный и узкий плот, изгибаясь как дождевой червь, проплыл мимо ребят.

— Бурзянец ворчливый, рожа в морщинах! — прокричали им вслед ребята, рассердившись за непонятное нарушение правил игры.

Всех, кто гонит по реке лес, здесь называют «бурзянцами», по родовому имени горных башкир. Своих односельчан, ушедших на сплав, тоже называют бурзянцами, приговаривая, что такой-то «бурзянцем стал».

В былые годы плотогоны выходили на берег, пекли хлеб, распивали чаи, играли на курае, пели, плясали. Ильсегульцы тоже были не прочь принять участие в их веселье. Сами они здесь, в долине Большого Ика, давно разучились играть на курае, словно недоставало у них мужчин с широкой грудью, чтоб тянуть на курае протяжные песни, а может, не было здесь того вольного простора, который располагает к игре на курае. Но в их сердцах оста-

вался живой интерес к нему. Потому они тянутся к плотогонам с их кураями, и с нетерпением ждут весь год начала сплава, надеясь послушать дорогие сердцу напевы. Однако в этом году по реке проходили большей частью пожилые мужчины и юнцы. За плотом с двумя угрюмыми плотогонами выплыла сдвоенная лодка — сцепленные бортами две плоскодонки — с веселыми подростками. Дети встретили их с берега теми же шутливыми возгласами:

— Эй, плотовщик, шапкой воду зачерпни!

На лодке один из тех, что был постарше и, видно, знал обычай, весело расхохотался, блеснув ослепительно белыми зубами на черном от солнца лице, сорвал с головы шапку-колаксын, окунул ее в воду, нацепил на багор и высоко взметнул ее над лодкой. С шапки потекла вода на сидящих в лодке. Весь берег шумно загоготал, рассыпая хвалу:

— Афарин! Ай да молодец! Ха-ха!..

— Это настоящие джигиты, молодцы, счастливый путь!..

Показалась еще одна сдвоенная лодка. С берега закричали:

— Остановитесь, сыграйте на курае!..

На счастье, там и вправду оказались кураисты. Широкоплечий, чернобородый, средних лет мужчина, сидевший на носу, вытащил из чехла на поясе медный курай, поднес к губам. Сразу все смолкли на берегу, даже дети. И над Большим Иком понеслась-разлилась мелодия, вобравшая в себя беспредельную ширь души народной, несущая в себе богатырское сердце народа, щедрого на доброе слово, ненасытного в своей любви к песне и музыке. Сидевший на другом носу старик, узколицый,

горбоносый, с орлиным взглядом, провел рукой по седоватой бородке, по тонким усам, слегка откашлялся и присоединился к кураю. Его высокий чистый голос лился широко и свободно, будто на одном дыхании.

Не устанет петь в теии ветвей
Крохотиая птаха — соловей.
Слышеи и с тугаев, н с полей
Голос твой, иаш нкский соловей.
Чем одни другого хуже человек?
Что же ои без счастья коротает век?..
Хорошо, что нам поешь ты, соловей,
В мае возвратясь из-за морей...

Две лодки, соединенные в одно, чуть покачиваясь на волнах в такт мелодии, тихо проплыли мимо людей на берегу, которые почтительно склонили головы перед певцом и кураистом. Последние слова песни каждый на берегу повторил про себя в своем сердце... Из-за поворота показался новый плот. Там кто-то выводил сильным бархатным голосом бесконечно близкую всем, нестерпимо волнующую песню. Это был «Урал».

На вороиом своем стремглав летншь,
Подпруги, знать, стянул ты туже.
Чтоб песиь башкнрскую — озон-кюй петь,
Нежиее шелка голос нужен.

Нет, ни война, ни беды, ни голод и жестокий труд не могут погасить в народе любви к жизни, к песне, не могут погасить в его от рождения поэтическом сердце удалого огня... Какая сила на свете остановит соловья, рожденного чтобы петь?!

Емеш позабыв, что еле стоит на ногах, радостно сбежала по круче вниз к девчатам.

Здесь у воды под веселую перекличку плотогонов, под напевы курая и песни шла очень серьезная работа. У одних в руках плетенка из ивовых прутьев, вроде сачка, которой они вылавливали из воды березовую щепу, у других — корок, это длинная палка, заканчивающаяся волосяной петлей. Короком подцепляют толстые березовые бревна, сдирают с них бересту и снова отпускают плыть восвояси. Порою вылавливают и стволы старых лиственниц, чтобы соскоблить вкусную смолу и заготовить ее впрок на зиму. Жвачка из этой смолы — самая драгоценная среди девчонок вещь. По сравнению с ней черная жвачка, получаемая из бересты, — совсем пустяшная штука. Янеш суетилась со всеми. Правда, смолу она не собирала, — мачеха не любит, когда они ее жуют. Емеш подошла к сестре и, ни к кому не обращаясь, стала раздумывать, где бы ей пристроиться. По одну сторону от Янеш стояла Захира со своим трусливым и привязчивым младшим братом Моратшой, по другую — внук бабки Таибы Байрас. Янеш, увидев сестренку, обомлела, потому что только сегодня утром Емеш еще лежала в беспамятстве, а Сарбиямал твердо говорила:

— Тиф у ней! Помрет. В аул тиф пришел, от него еще никто не выжил.

А тут на тебе, вдруг Емеш сама появляется на реке! Придя в себя, Янеш озабоченно произнесла:

— Зачем пришла? Нельзя же вставать. Не отошла от болезни, вдруг снова свалишься!

— Я уже здорова, — ответила Емеш. — Нигде ничего не болит.

Она и вправду не могла представить, как можно разболеться снова в такое прекрасное время. Емеш не знала, что она пролежала две недели и ее отсутствие было замечено всеми, и только сейчас почувствовала на себе любопытные взгляды. А Моратша ни с того ни с сего вдруг выпучил на нее бесцветные глаза и тонко взвизгнул:

— Смотрите, смотрите все! Живой скелет!

Захра тоже расхохоталась с детской безжалостностью, присоединяясь к брату:

— Ой-ой! Правда, какая худющая!.. Как из могилы вышла, тьфу!..

— Тень явилась в ясный день!.. — задергался, запрыгал Моратша. — Тень!..

Емеш, еще не оправившаяся от болезни, сразу как-то съежилась и сникла от стыда и обиды. Только большие темные глаза с густыми ресницами сделались больше и темнее, а тонкие черные брови стали сильнее оттенять ее бледное, осунувшееся лицо, добавляя ему грусть и очарование. В упрямо сжатых губах не было ни кровинки. В прорехи сквозь платье проглядывали тонкие, но стройные, точно отлитые из воска, ножки, а худенькие слабенькие руки, казалось, просвечивали насквозь. Она действительно напоминала фигурку из снега, которая вот-вот растает, превратится в пар. Видя ее безответность, Моратша разошелся вовсю и уже стал придумывать на ходу новые язвительные слова:

— Тень явилась в ясный день. Ночь придет, и тень умрет!

— Не смейтесь, а то растает, уплывет, как облачко! — ехидно вторила Захра. Янеш отложила сачок и, чуть не плача, следила взгля-

дом то за сестрой, то за ее мучителями. Более забитая, чем Емеш, она никогда не осмеливалась заступиться ни за себя, ни за сестру. Но всегда боялась, что сестренка вдруг не стерпит обиды и решится на что-то страшное, неожиданное. Именно такое чувство овладело сейчас всем ее существом. Ей почудилось, что Емеш в ответ на насмешки обернется вмиг чайкой, взметнется ввысь над рекой и нырнет в ее синие волны, или в самом деле, как сказала Захира, обратится в облачко и исчезнет в небе. А неугомонный Моратша все трещал сорокой. Байрас, ловивший бересту по другую сторону от Янеш, начал посматривать на него.

— Тень — не человек, слова не скажет! Только пугает. Пугало, чучело пришло! Девчонки, спасайтесь, тут скелеты бродят!..

— Ха-ха-ха! — залилась Захира.

Байрас бросил свою черпалку и, крепко поплевав на потрескавшиеся от воды ладони, медленно пошел на Моратшу, проваливаясь босыми ногами в желтый ил. Моратша тут же замолк, будто язык прикусил. Но увернуться от Байраса не успел. Байрас притянул его к себе одной рукой за воротник, а другой, сжатой в кулак, помахал перед его носом.

— Чего смеешься? Она после болезни. Ты замолчишь или нет?!

Ребята считались с мнением Байраса, справедливого, как его отец, а Моратша и ему подобные прилипалы и приставалы побаивались его крепких кулаков, потому что силою он тоже пошел в отца. Только Байрас ухватил Моратшу за ворот, тот виновато заморгал глазками и затараторил:

— Все, все, Байрас, клянусь, ей-богу, не буду, больше не буду!..

— Смотри у меня, а то вот!..

Байрас сильно тряхнул его за ворот и, ни на кого не глядя, пошел на свое место. Янеш вздохнула облегченно, протянула Емеш свою черпалку...

— Возьми, хылу! Хочешь половить бересту?

Емеш с радостью принялась за дело. Неожиданное заступничество Байраса наполнило ее сердце благодарностью. Правда, он и раньше как бы в шутку приговаривал:

— Не трогайте мою соседку. Не обижайте!

Но защищать в открытую еще не осмеливался. То, что так обрадовало Емеш, не в меньшей степени больно задело самолюбие Захиры, давно старавшейся привлечь внимание Байраса.

— Интересно, с чего этот недоумок вздумал защищать бездомную и безродную! — забормотала Захира, с укором поглядывая на Байраса.

Обиженная тем, что никто не обращает на нее внимания, она подбежала к Янеш и вырвала из ее рук только что выловленную большую березовую щепу.

— Отдай! Не лови нашу бересту, подкидыш! Река наша! Ты безземельная! Не ходи тут!..

— Ненасытная утка! Знаешь ли ты, что у нас теперь нет безземельных! — не оборачиваясь к ней, возразил Байрас. — Теперь повсюду Советская власть!

Привыкшая к выходкам Захиры, Янеш безропотно отдала ей свою добычу.

— Возьми. Я еще поймаю.

— Все равно безземельная! И твоя Емеш безземельная! Приблудшая овца!.. Сиротинка!

На эти оскорбительные слова не нашел ответа даже Байрас. Захира торжествовала. Чтоб доказать, что полновластной хозяйке все можно, она вытащила из воды бревнышко, не очень толстое, но которое все же не разрешалось брать, подхватила его и понесла домой. Выехавший из-за высокого яра объездчик увидел ее и припустился за нею следом. Скоро Захира в сопровождении объездчика вернулась назад и бросила бревно в воду. Ребята и девчата притворились, что ничего не видят. Всем было неловко за нее. Каждый знал, что брать что-либо без спросу — это самое большое прегрешение. Только насмешник Моратша и тут не смог промолчать.

— Ай-я-яй! Зря только старалась... — зафыркал он, дразня сестру. — Такое добро было прихватила: насквозь пропитанное водой, самое лучшее осиновое бревнышко, какая жалость!..

Его никто не поддержал. А Емеш подцепила другое коротенькое бревнышко, подвела его к берегу и сказала:

— Захира, на, возьми! За такое бревно не ругаются.

У Захиры от жадности вспыхнули глаза.

— Ах, какое хорошее! Сосновое... А сухое-то какое!..

— Бери, бери. Для нас с Янеш оно все равно тяжелое, не дотащить до дому.

Захира суетливо подскочила, и словно боясь, что Емеш в последнюю минуту передумает, ухватила его за один конец и оттащила к

своей куче бересты — большей, чем у кого-либо на берегу.

— Вот это, по крайней мере, годится на дрова! — произнесла она, довольная, сверкнув ненасытными глазами. И Емеш была рада тому, что пересилила себя и сумела сделать, пусть небольшое, добро неприятному для себя человеку. Остаток дня прошел спокойно. Солнце, как только что распустившийся цветок горицвета, рассыпая по горизонту желто-красные лучи, надвинулось на каменистую вершину Ягылса-тау. Подул низовой ветер, поднимая волны на реке. Люди на берегу начали редеть. Янеш и Емеш нагрузились берестой, хворостом и тоже пошли домой. Сарбиямал встретила их у ворот новым поручением.

— Идите, пригоните телку! Быстро!..

Она, проводив своего Ахметшу, прихорошившаяся, стояла у ворот. Девчата собрались, как всегда, большой гурьбой и отправились искать своих телят.

VIII

За аулом Сабира завела песню. Все подхватили. Пели Захира, Гульехан и даже Янеш. Сабира была запевалой. Голос у нее был мягкий, теплый, как у ее матери Базыян.

Мой Ик Большой, на, ленточку возьми,
Пусть поплывет она, в струе играя,
Уйди, кручина, сердце, ты уймись,
Мой смех, вернись, устала жить страдая...

Взявшись в обнимку под эти невеселые, вовсе не детские песни, они дошли до Озонгола.

Емеш гонялась за бабочками, любовалась цветами, то застывая перед незабудками, то рассматривая осыпающийся горицвет, ласкала их взглядом, чуть касаясь их тонкими пальцами.

— Шауре, давай не будем рвать цветы. И топтать их не надо, ладно?..

И Шауре, ни на шаг не отстававшая от выздоровевшей подружки, старалась даже на бегу не задеть, не поранить цветы. Благодарная Емеш смотрела на нее тем восторженным взглядом, что и на цветы.

— У цветов и без того такая короткая жизнь, правда, Шаурекай?

— Да, мама говорит, что короче жизни ни у кого больше нет.

— Есть,— возразила Емеш.— Карасэс-инэй рассказывала, будто есть такие бабочки-однодневки, что рождаются вместе с солнцем и умирают с его заходом... — Тут Емеш немного задумалась по своей привычке, затем грустно добавила. — Ой, бедная наша Карасэс-инэй! Какие сказки она знала! Теперь некого и послушать. За что убили ее, а?!

Шауре тоже горестно вздохнула, что было мало похоже на нее.

— Да, жалко...

Было непонятно, к кому обращено ее сочувствие — к бабочкам ли, живущим от зари до зари, к цветкам ли, коих век от весны до лета, к бабке ли Карасэс, убитой озверевшими баями, или, может, к самой ее верной подруге стойкой Емеш, едва живой, но все равно продолжающей думать о других, — однако эти слова жалости, вырвавшиеся из чистого дет-

ского сердца, одинаково подходили к ним ко всем.

Пока Емеш и Шауре разговаривали, девчата с криками сбежали вниз по крутому склону Озонгола туда, где пышно зеленели верхние тугаи.

— Не отставай от них, догоняй, — сказала Емеш.

— А ты?

— Я уже устала...

Шауре поколебалась, не решаясь оставить подругу одну, потом, словно успокаивая Емеш, сказала:

— Я скоро вернусь, Емеш, ладно, — и побежала за всеми.

Емеш медленно подошла к краю Озонгола. Внизу была видна ее любимая раскидистая береза, растущая на невысокой Йорек-тау. А еще ниже раскинулись верхние тугаи, поросшие калиной, вязами, черемухой, ивой, молодыми тополями. Там сейчас обитают все телята аула. Их пригоняют сюда утром после утренней дойки и приводят назад в аул к возвращению стада. Для телят здесь раздолье: сочная трава на тугаях, а для отдыха — песчаная отмель Большого Ика.

Емеш видит отсюда, как уходит извилистой расшитой лентой Большой Ик. Ветра нет, но верхушки старых тополей все равно покачиваются, шелестя серебряными переливающимися листочками, будто о чем-то переговариваются между собой. Ветви раскидистой березы на вершине Йорек-тау свисают, как неживые. Озонгол тоже тих и безжизнен, словно не здесь ревел и пенился весенний поток.

Снизу начали подниматься девочки, ведя телят. Впереди шла Шауре, волоча за плетеный ошейник тощего рыжего теленка, упирающегося всеми четырьмя ножками. Теленок даром что был мал, но мычал во всю глотку и норовил все время вырваться, кидаясь из стороны в сторону и наступая копытами на босые ноги Шауре. Емеш провела рукой по его спине. Хребет торчал как зубья пилы.

— Бедненький, худющий какой. «Дождевой червь не ест, боясь, что земля кончится»,— говорила Карасэс-инэй. Этот тоже, видно, боится, что травы на тугаях не хватит, хочет сберечь...

— Да хворый он. Сколько ни ест, ему все не впрок, — проговорила Шауре, тоже погладив его по хребту. — Если выживет, мама обещала, что моим будет... Да разве выживет! У нас телята не выживают, этот небось тоже помрет... Прошлый год мама дарила мне такого же, а он помер. Нет у меня счастья на скотину....

Шауре невесело усмехнулась, подставив заходящему солнцу свое нежное лицо и, блеснув мелкими зубками, добавила:

— Мать говорит, красивые не бывают счастливыми. Потому что их берут в жены богатые старики.

Шауре знает, что красива, и при случае любит напомнить об этом.

— Почему она так говорит? — удивилась Емеш. — Почему это за старика надо идти?

— Не знаю, — вяло ответила Шауре. — Да какой джигит возьмет девушку, если он не получит с нею в приданое хотя бы коня или корову, я уж не говорю о табуне... Такую возь-

мет только богатый старик, у которого свои стада и табуны есть... А у меня, несчастной, каждый теленок подыхает... один за другим.

Емеш не сразу нашлась, что ответить, чем развеять запавшие и ей самой в душу опасения.

— Ну, не горюй, — сказала она. — Все равно одним теленком не разживешься ведь. Сарбиямал-апай уж сколько раз обещала мне и козлят, и ягнят, и раз даже теленка! Как заболеет у нее кто — обещает отдать мне, а выживет — забывает. Они-то все выжили, а мне какая польза? Мне клочка шерсти от них не перепало...

— Она ж тебе мачеха, — тем же тусклым голосом продолжала Шауре. — Известно, все они такие... А моя мать, ах, она ж такая хорошая! Если бы могла, она б мне все отдала, все подарила!

Вскоре и остальные девчата пригнали своих телят. Янеш вела за волосяной ошейник, увешанный от сглазу красными лоскутками, пегого гладкого теленка с длинным туловищем, имевшего точное сходство со своей матерью — породистой безрогой коровой. Целое стадо из десятка телят, принадлежавших Алтынбике, пригнала Хасбиямал. Своей коровы у них не было, и ради миски молока к чаю приходилось возиться с чужими телятами.

На обратном пути девочкам повстречалась шумная ватага русских мальчишек, выскочивших из-за косогора со стороны пашни. Как водится, дети начали дразнить друг друга.

— Эй, башкирин, гололобый, не ходи нашей дорогой!..

— Свинью русский ел-ел, даже хвост ие уцелел! Тьфу, тьфу!..

Кончнлось тем, что мальчишки, схватнв прутья, кинулись иа девчат. А те с визгом н смехом, продолжая нх дразинть, иачали уворачиваться от инх.

В свое время русскне, припущеииые иа свон земли нльсегульцами, образовали большие села Мраковку и Ивановку. С тех пор до самой революции между ними и башкирами шла, то разгораясь, то вновь угасая, тяжба за землю и воду, которая влияла и иа взаимоотношеиия детей нз разиых селений. Оттого н эта встреча быстро переросла в словесную перепалку. Обе стороиы иаходили такое занятие интересным и забавным.

Посреди поляиы осталась Емеш в окруженни телят, а к ией, решительио размахивая длиииым прутом, иесся голубоглазый весиушчатый пареиек в холщовой рубашке. У иее ие было снл бежать, н она только с ужасом смотрела иа него. А ои, что-то выкрикивая иа бегу, замахиулся, чтоб стегануть, н вдруг почему-то остановился перед иею как вкопанный. Голубые н черные глаза, нн мигая, уставилнсь друг иа друга.

— Э, да ты, верно, дочка Байгильки! Мы же друзья! — Голубые глаза засияли. Емеш даже показалось, будто ои протянул ей руку прнмнреиия. Но Емеш, не понимая его, спрятала руки за спниу. Тогда парень еще что-то сказал, улыбнулся по-дружески и повериулся назад, крича своим:

— Эй, постойте! Не драться! Сейчас не царское время. Революция! Теперь все люди равиы!

Мальчишки бросили гоняться за визжащими девчонками, собрались и галдящей стайкой повалили через косогор восвояси в Ивановку. А девчонки, погоняя своих телят, тоже как ни в чем не бывало, весело болтая, побрели к себе домой. Перед глазами Емеш все стоял тот мальчишка с голубыми, как весеннее небо, глазами и крупными веснушками. «Отчего он не ударил? — думала она, вспоминая свой испуг. — Он видел, что я не могу дать ему сдачи, а только улыбнулся... Наверное, пожалел... А сам русский... Как же это выходит?» Потом ей пришло в голову, что мальчик, хоть и русский, собою очень даже пригож. И, сама испугавшись своих мыслей, поспешно отреклась от них:

«Что я думаю?! Тауба, тауба! Астагафирулла!.. Тьфу, тьфу!»

Бибисара-абыстай учила ее даже в мыслях не думать хорошо о неверных, не общаться с ними, не интересоваться их жизнью.

— Мир, в котором сейчас живем, это рай для неверных. Потому-то им здесь хорошо живется. А наш рай на том свете.

Но Емеш знает, сколько препон надо преодолеть, прежде чем попадешь в рай. Самое большое препятствие для нее — это ее постоянные размышления, ведь думать, как сказала Бибисара-абыстай, дело шайтана. Емеш всегда что-то волнует, восхищает, интересует, огорчает, и о чем бы ты ни думал — всегда получается так, что лезешь в божьи предначертания, а это грех. Но она все равно незаметно для себя шла, озадаченная поступком этого голубоглазого паренька, непонятным, как и все не-

скончаемые распри взрослых за землю, воду, страну, в которые включился даже ее отец.

Перед аулом Шауре тихим шепотом отвлекла ее от дум:

— Этого мальчишку узнала?

— Какого?

— Да того, кто тебя пожалел!

— Его, русского? Откуда мне знать?! — удивилась Емеш.

— А я узнала, — хвастливо прошептала Шауре. — Его отец тот самый болшауник Никита! И его не знаешь?! А кто по-твоему отвез избитого Тимербай-агая в больницу в Ташлах! Он и есть!

— А-а...— протянула Емеш.— Видела его...

— Точно! Так ты знаешь, а делаешь вид!— обрадовалась Шауре и, понизив голос, опять зашептала. — Мама говорит, этот Никита ушел в город, хотел отряд привести, а сам как в воду канул. Теперь со всех сторон белые идут на нас. Дружинники одни ничего против них не смогут сделать. Если Никита не придет с помощью, погибнут наши отцы... Этот мальчишка тебя узнал, потому и не тронул, поняла? А то еще как бы стеганул! Наотмашь! И ничего бы ты ему не сделала! Вот!..

— А ты что сделала бы?

— Лицо бы расцарапала!

Шауре всегда первой приносит новости. И знает она обо всем, что творится вокруг, лучше Емеш. То ли у матери своей, Зубаржат, узнает она, то ли много крутится около взрослых, и потом охотно делится с Емеш.

Девчата развели телят по дворам, поставили на привязь, следом в аул вошло стадо. Ули-

ца заполнилась блеянием овец, коз, мычанием коров, визгом телят, козлят, ягнят. Краснобурая комолая корова Сарбиямал просунула безрогую морду в ворота, легонько приподняв, раскрыла их и поспешила к своему теленку, а из аласыка навстречу ей с большим голубым ведром вышла Сарбиямал.

— Чтоб пусто было ей, проклятой! Какое ведро загубила, а, цыганское отродье?! Чтоб руки отсохли, отвалились! Лучше бы провалиться ей, чем мое ведро топить!..

Ругань и проклятия повторялись изо дня в день, усиливаясь перед дойкой, и для Янеш уже стали обычным явлением, но на Емеш они подействовали сильно. У нее обмякло тело, будто вновь вернулась тяжелая болезнь. Потому она побыстрее загнала овец и коз в загон и тихонько выскользнула на улицу. Укачав своего братика Хасана, вышла и Шауре. Они присели на мягкой траве возле плетня. Еще не прошло оживление, вызванное приходом стада. С прутиком в руках бегала Сабира за черной овцой, не желающей идти домой. У ворот, приманивая ее коркой хлеба, стояла Базыян.

— Бара-бара-бара!

Тихой трусцой ехал куда-то из аула Байрас. Он похудел и вытянулся, после случая с отцом, в веселых глазах засела тревога. Но миновать Емеш без своих обычных шуточек он, видно, не мог.

Бибеш, Янеш, Гульемеш...
Ужель краше всех Емеш?..

Шауре расхохоталась и тут же сочинила ответ:

Краше многих Гульемеш,
Да не тебе она, шалишь!

Емеш не оглянулась в его сторону. Ей шутка не понравилась. Раньше он посмеивался над ней, обзывая ее то плаксивой, то глухой, а теперь, после болезни, надумал как в насмешку хвалить. Конечно, если долго проболеешь, от тебя останутся мощи или тень, как сказал Моратша! Как же быть тогда красивой? Это он жалеет ее. А она это так не любит!

— Байрас завтра привезет отца, — сообщила Шауре. — Емеш, а где, интересно, будет жить Хаммат-агай? Вернется ли к Оммекайенге?..

Емеш же не может забыть шутку Байраса: «Жалеет меня. Неужто у меня совсем жалкий вид? О, боже!..»

С реки начали возвращаться стаями гуси. Две гусыни Сарбиямал тоже привели своих гусят домой. Поев приготовленный для них корм, они, умиротворенно переговариваясь, опять вышли за ворота и разлеглись на траве посреди улицы.

«Гусята уже подросли... Может быть, в этом году не придется пасти их...» — подумала Емеш, но тут же ее внимание привлек пронзительный крик муэдзина.

— Аллахы акбар!..[1] Аллахы акбар-р!.. — кричал он с минарета тонким голосом, как ягненок, потерявший мать, кланяясь то в одну, то в другую сторону и дергая себя за уши обеими руками.

В словах азана[2], смысл которых был ей темен, Емеш находила именно от этой неясности какую-то привлекательность, выделяющую

---

[1] Аллахы акбар — аллах велик.

[2] Азан — призыв в мечеть на молитву.

их на фоне обыденной жизни. Не обращая внимания на Шауре, что-то весело рассказывающую про Байраса, она вслушивалась в слова азана.

«О чем он кричит, интересно бы знать. И чего бы ему не кричать на понятном всем языке? Или всевышний не понимает по-башкирски? А-а, вот почему не сбываются мои просьбы... Я же не умею молиться на языке корана!..»

От этой, впервые озарившей ее догадки у Емеш даже потемнело в глазах. Сколько бессонных ночей она упрашивала и умоляла аллаха, чтобы ничего не случилось с братом и отцом, чтоб не сегодня, так хотя бы завтра нашелся Иштуган и вернулся домой, чтоб у мачехи прибавилось хоть чуточку доброты, чтоб послал он ей на праздник новое платье... Выходит, все было напрасно, ничего не понял, ничего не расслышал аллах! Что стоило ему полюбить всех людей, научив их языку корана?!

— Аллахы акбар! — тонко прокричал в последний раз муэдзин, приводя в чувство расстроенную Емеш, и начал спускаться с минарета.

Степенно по одному двинулись к мечети старики. Впереди, надвинув глубоко на голову белую большую, как тыква, чалму, шагал с зеленой тростью в руке мулла Габбас. За ним — грузный старшина Собхан с красной, бычьей шеей. Следом за ними тощий, прямой, как жердь, Шымбай-Куштан, дегтярь Гайнетдин и конокрад Ахметша. Словно ища места потеплее, тащились в сторону мечети старики. Из бедняков раньше на намаз ходил один старик

Тулыбай, отец плаксивой Хасбиямал. С его смертью мечеть избавилась от последнего бедняка.

Покойного старика Тулыбая, всегда в одном и том же залатанном чапане и в грязной старой чалме, нелепо сидящей на его маленькой головке с жилистой шеей, Емеш часто провожала взглядом до тех пор, пока он не скрывался внутри мечети. Он выделялся не только одеждой, но и походкой. Почему-то он не шел спокойно, как все, а спешил, вытягивая вперед шею, семеня и спотыкаясь. Мальчишкам, слонявшимся без дела по аулу, тоже, наверное, казалось необычным, что он ходит в мечеть. Они с криками обступали его, мешались под ногами. А он, ничуть не сердясь на них, шел своей дорогой, помахивая перед собой палкой и приговаривая:

— Кыш-кыш, кыш-камыш!

Воображал, по-видимому, что идет среди шумящего камыша, а мальчишкам того и надо.

Бибисара-абыстай часто говорила про него так:

— Э-эх, вот уж истинно божий человек он, старик Тулыбай. Пять раз в день совершает намаз, добро не копит, приношений не жалеет. Такие на том свете, в раю, займут самое почетное место. — В ее устах это была высшая похвала. А Карасэс-инэй, покойная, про него говорила другое:

— Бестолочь, без царя в голове. Алифа[1] от палки не отличит, а в суфыи лезет. Детей впроголодь держит, а муллу кормит. Мулла Габбас не воротит носа от земного, не живет

[1] Алиф — первая буква арабского алфавита.

в одной надежде на тот свет. Сами баи, конечно, не работают, зато батраки для них в поту добро наживают.

«Кто же прав? Почему в мечеть ходят только богатые да муллы? Может, и рай открыт только для них?!»

Емеш вскочила, испугавшись своих мыслей. Взглянув на ее побледневшее лицо, Шауре удивилась:

— Ты чего? О чем задумалась-то?

Емеш, боясь лишний раз вспомнить про то, о чем думала, сказала:

— А ты?

— Я про этого дедушку Габбаса-муллу,— улыбнулась Шауре. — Мама говорит, скользкий он. Когда свергли царя, сам отдал Советам все добро свое. Говорил, не буду муллой. А встали у власти баи — так он снова мулла. Хитрый. На белое скажет черное. Поди докажи, что врет... Про него говорят, что может и кости переломать, да не сам, а через других, потом еще притворяться будет, что защищал тебя.

Емеш растерянно поглядела на Шауре, не понимая, к чему та клонит. А Шауре с беспечной улыбкой заговорила совсем о другом:

— Мама говорит, что он свою младшую жену взял, когда ей было всего двенадцать лет...

— Почему же она не умерла?

— Кто?

— Младшая жена.

Шауре звонко рассмеялась и оттолкнула Емеш.

— Скажешь такое! Зачем ей умирать?

— Умереть ей надо было, — без улыбки

сказала Емеш. — Чем жить с таким злым, коварным и старым, лучше умереть...

— Скажешь же, — повторила Шауре. — Так легко не умрешь. Мама говорит, пропащую голову и смерть не берет.

Слова Шауре были для Емеш что соль на рану. Ведь она как раз из тех самых разнесчастных, распропащих, кого никакая смерть не хочет брать, по выражению Сарбиямал.

— Мама говорит, что все баи и муллы только на вид добренькие. Бедняку стать таким двуличным и в голову не придет, вот... Старшина Собхан с красным флагом ходил, кричал, что насильно сделали его старшиной, что не хочет больше быть старшиной. А как пошли со всех сторон белые, назад переметнулся... Баи всем угодить могут...

Емеш, когда на душе становилось зябко и тоскливо, любила лечь навзничь на траву и подолгу смотреть на небо. Вот и теперь она, чтоб отвлечься от навязчивых мыслей, перевернулась на спину. Глядя на подсвеченное закатными лучами розовато-голубое небо, она вспомнила одно из своих заветных желаний.

«Если бы душа у людей была как это синее небо. Все видно на нем: взойдет ли солнце, луна, звезды, сверкнут зарницы, найдет ли на его лик облачко, пусть даже с бабочку... И желания, и думы, и чувства человека тогда тоже были бы видны всем-всем... Тогда не было бы на свете ни одного плохого чловека... Ах, как хорошо было бы тогда жить на свете!..»

Шауре не любила долго молчать, она, лежа рядом с нею, мечтательно заговорила:

— Знаешь, Емеш, вот бы небо потрогать, да? Видишь, вон там небо касается вершины

Кук-тау, правда? Забраться б на Кук-тау и дотронуться рукой до неба, вот здорово, да, Емеш?

— Не знаю...

Емеш тоже задумывалась над тем, что такое небо, но сама ни до чего додуматься не могла. И полагала, как все, что небо — вроде опрокинутого над головой купола. Своей загадочностью, непостижимостью небо влекло ее воображение, и ей было намного интереснее разглядывать небо, чем землю.

— Бибисара-абыстай рассказывает, — продолжала Шауре, — будто небо из семи слоев. На самом верху, на седьмом небе, на золотом троне сидит сам аллах. А звезды — это оконца, сквозь них ангелы следят за тем, что творят на земле люди, и обо всем доносят аллаху! Самые настоящие ябеды!..

— Что мы сейчас делаем, тоже видят?

— Видят, говорит Бибисара-абыстай...

— О чем мы думаем, тоже знают? — уже в страхе допытывалась Емеш, помня слова Бибисары-абыстай, что думать — значит спутаться с чертом. Ведь отсюда следовало, что и Емеш великая грешница. Правда, ей никак не уразуметь, как жить, совсем не думая, когда вокруг тебя мир, как запутанный волшебный клубок.

— Знают. Очень уж зыркие, насквозь видят и все слышат, да и шутники хорошие они, говорят про них... — подтвердила Шауре с беспечным смехом. Она любила поболтать, но ничего не принимала близко к сердцу, наоборот, даже умела выискивать забавное в своих историях. — Говорят, на плечах человека с каждой стороны сидит по ангелу. Один запи-

сывает хорошее в человеке, другой — все плохое. А в судный день эти две тетрадки потом кладутся на весы. Перетянут добрые деяния — человека пускают в рай, перетянут дурные — его спихивают в ад... Вот чудеса! — И она от души расхохоталась.

— Нашла, глупая, чудеса! — с упреком сказала Емеш, вставая с земли. Она поняла, что сегодня небо не принесет ей успокоения. — Давай играть в пятнашки!

Шауре вскочила, хлопнула ладошкой по остренькому плечу подружки и понеслась по улице, приводя в смятение гусей. Почуяв, что пришла пора вечерних игр, выскочили на улицу Сабира, Самига, Захира и другие девочки. В прятки и догонялки играли до сумерек, пока матери не зазвали дочерей домой. Шауре и Емеш побегали еще, гоняясь за пролетавшими над самой головой с надсадным жужжанием майскими жуками и сшибая их на лету ладонями. Емеш, вконец выдохшаяся, свалилась на траву возле своего плетня. Шауре присела рядом. Улица притихла. Гуси и козы опять заняли середину улицы. Ни в одном доме не мелькнет огонек. Сейчас все люди сидят по своим дворам, готовят еду в аласыке. В такое время и едят, и спят на открытом воздухе. К тому же у многих кончились спички и керосин. Огонь хранят, зарывая в золу головешку или сухой кизяк. Если погаснет огонь в очаге, бегают с совком из дома в дом.

Емеш и Шауре сидели возле плетня, прислушиваясь к таинственному молчанию ночной улицы. Сегодня им можно досыта нагуляться и налюбоваться тем, как опускается на аул ночь. Мать Шауре прислуживает в доме стар-

шины Собхана, приходит она оттуда, по обыкновению, очень поздно. Отца Емеш тоже нет, и домой лучше не возвращаться, пока не отужинает в свое удовольствие Сарбиямал. Ночь была приятная. С юга тянуло теплом. С тугаев доносилось пение соловьев, голоса кукушек. На ночном небе, мягко освещенном слабым светом луны, мерцали редкие звезды. В такие ночи у Емеш на душе рождается нескончаемая песня, просыпается неистребимый задор, откуда-то прибавляются снова силы, сильнее бьется сердце. Она было готова до утра наслаждаться красотой ночи. Но вот со стороны домика Тимербая показался Байгильде с винтовкой за спиной.

— Отец! — радостно прошептала Емеш. — Оказывается, сегодня отец дома!

— Тогда и мой, наверное, дома, они теперь вместе ходят.

Байгильде, не заметив девочек, прошел во двор, но вскоре раздался его встревоженный голос.

— Емеш!.. Емеш, доченька!..

— Шауре я пойду, — прошептала Емеш.

— Я тоже...

Возле аласыка на широком паласе, сшитом из лоскутков, было все накрыто к чаю. Большой медный самовар так же беспечально урчал, как сегодня утром — перед Ахметшой. Сарбиямал, прислонясь спиной к лежащему на боку перед скатертью Байгильде, разливала чай, как показалось Емеш, со злым блеском в глазах. Полная луна, окуная свои серебряные лучи в багрец заката, проложила к медному самовару красноватую дорожку. По этой лунной дорожке молчаливая, как тень, приближа-

лась Емеш. Байгильде внимательно наблюдал за нею, лежа на боку. Емеш тоже смотрела на отца. Она впервые видела его после болезни. Отец, почудилось ей, будто помолодел, окреп, в глазах появилась живость. «У него какая-то радость. Может, Иштуган-агай нашелся?..» — подумала девочка.

— Иди, доченька, садись ужинать. Сдала ты чуточку... Тяжело болела, тяжело, — говорил ласково отец.

Она присела возле него. Он ласково похлопал ее по спине.

— Ну, ничего, крепись, доченька. Не поддадимся. Светлое время настает, доченька... Нам сейчас жить да жить. Натерпелись всего в этой жизни, пришла пора испытать и радость.

«Не рано ли радоваться? Ахметша, Шымбай-Куштан опять что-то затевают. Может, не знает...» — думала Емеш, глядя на отца.

Байгильде намазал масла на хлеб и положил перед дочерьми.

— Честно заработанный вашим отцом хлеб. Досыта ешьте, дочурки. Тебе, Емеш, надо скорее набраться сил, а то, глядишь, ветром унесет. Когда меня нет дома, сами берите хлеб и ешьте, не ходите голодные...

Отец по мере сил старался, чтобы дети ели досыта, но бывал он дома все же редко. Сарбиямал, потупясь, молчала. Байгильде не обращал на нее внимания. В каждом его жесте, слове чувствовалась какая-то уверенность. Это и радовало, и беспокоило Емеш. А он, словно стараясь доказать дочерям, что они теперь в этом доме не слуги, а полноправные люди, еще раз похлопал ласково по спине Емеш и сказал:

— Емеш, Янеш, когда у вас гулянье на Девичью гору?

— Завтра выходят девочки, — грустно ответила Янеш.

— А вы?

— У нас платьев нет, — вставила Емеш. — В лохмотьях туда не ходят.

— Верно, дочка... — Он задумался, пощипал бороду и уверенно сказал: — Платья будут. Завтра утром я буду на базаре. Там и куплю. К завтрашнему гулянью платья не поспеют, а к выходу на тугаи за диким луком у вас они будут.

— Чего тебе мотаться на базар? — возразила Сарбиямал. — Сидел бы дома, чем гоняться за чужим хлебом. Дались тебе эти платья!

— Хлеб нужен городу, Красной Армии, не мне!

— А тебе чего из кожи лезть ради этих Советов, ради города. Ты им зерно отправляешь, а у самого ребра можно пересчитать... Сказала бы я тебе...

— Ну, скажи.

— О себе подумать надо. Вот придут белые, увидишь, тебя первого и расстреляют, как большевика. Не ходи на базар. Белые, говорят, близко. Как мы без тебя?!

— Ладно, Сарбиямал, ты-то меня не учи, сделаю, как найду нужным.

Сарбиямал рывком схватила самовар и понесла в аласык.

— Делай, как знаешь! Иди на базар, доходишься...

Емеш потрогала холодный ствол винтовки, лежащей возле отца.

— Атай, ты опять солдатом стал? На войну уходишь?

— Нет, война сама сюда пришла, доченька, — задумчиво сказал Байгильде. — Пришлось опять стать солдатом...

— Каким солдатом! Красным, белым или болшауником? — допытывалась Емеш. Ей часто приходится сейчас слышать про красных, белых и большевиков. Байгильде от души посмеялся.

— Я, доченька, пока дружинник. Кто знает, может, придется уйти с Красной Армией. Но не надолго, побьем белых и — домой! Твой брат Иштуган тогда тоже вернется. А потом мы все переедем в Исанбет, в свой родной аул. Только вы без меня не хнычьте, ладно? Мачехи не бойтесь. Не давайте себя в обиду. На хлеб я заработал. Дома еды столько, что хватит на целый год. — Голос отца был серьезен. Он впервые говорил с ними, как со взрослыми. — Теперь никто не может помыкать другим, унижать его тем, что он безземельный. Вот так-то, дочка. Помнишь, я рассказывал про Тогро-батыра и Алдар-батыра? Ты тогда боялась, что победит Алдар-батыр. А победил Тогро-батыр. Значит, пришло время вернуться в родные края, обрести свою землю, воду... Говорил я тебе... Как только победит Тогро-батыр, мы вернемся... Помнишь?..

— Да... — прошептала одними губами Емеш. — Помнить-то помню...

Байгильде осторожно погладил пушистые волосы дочери.

— Эх, доченька, ты же у меня умница... Только вот маловата еще...

Он хотел сказать еще что-то, ио замолк в нерешительиости, не зиая, как начать. Потом сиова заговорил:

— Дочеиька... Емеш, если я уеду... если не вериусь... скоро... если стаиет иевтерпеж здесь, в этом доме... Идите к Бибеш-апай, хорошо? Оиа теперь счастлива. Ее там любят. Хисбулла оказался хорошим. Я говорил с иим. Оии вас ие бросят...

Емеш перепугалась.

— Ты куда уезжаешь, атай?

— Никуда ие еду, доченька. Завтра буду иа базаре. Привезу вам сатииу иа платье.

— А сам...

— Это я так... Тяжелое время, запутаиное. Не зиаешь, как вывернется...

С улицы доиесся голос Тимербая.

— Байгильде-агай, поехали!..

— Атай, ие уезжай, я боюсь! — Емеш, чуть ие плача, вцепилась в отца.

Из аласыка выскочила Сарбиямал.

— Куда опять уходишь?! Хватит шляться, говорю тебе!

— Байгильде-агай, ждем, выходи! — опять позвал Тимербай.

Байгильде разжал руки Емеш.

— Пусти, дочка... Я скоро... Не бойся, ладио? Янеш, ты у иас самая большая, следи за сестрой, ие плачь...

Схватив виитовку, ои побежал к воротам. Емеш бросилась следом. Но отца уже не было. Ои, как свииец, растаял в вязкой мгле. Улица будто вымерла. Только сзади во дворе раздавались приглушеииые рыдаиия Яиеш, словно чуяло ее сердце надвигавшуюся откуда-то беду.

IX

Перед рассветом Иштуган выехал на склон Ягылса-тау. Со стороиы Исанбета, куда он шел на разведку, доноснлись винтовочные выстрелы. Он прндержал коня, насторожился. Казалось, перестрелка шла по всему аулу. Было неясно, что там пронсходит. Еслн сюда вошли отступающие под ударами его отряда белые, тогда с кем они воюют? Проскакав по молодому березняку, ои вышел к подиожию склона н попал в высокую мокрую от росы траву. Тут ои спешился, прнвязал коия к березке посреди поляиы и через гумно, задами прокрался в аул. Пролез через задние ворота покойного старнка Шахита и пополз огородами. Стреляли совсем рядом. Выплеснулись крнки жеищин н детскнй плач. Вдруг несколько теней, беспорядочно махая рукамн, ринулось мимо иего к лесу. Кто-то споткиулся, наступив на прнпавшего к земле Иштугана н плюхнулся иа землю.

— Уй-уй!.. Аллах!.. Не губи мою душу!.. Спасите мою беззащитную, как мотылек, душу!..

Иштуган сразу узнал бабку Суакай.

— Ииэй! — прошептал он. — Не бойся. Это я, Иштугаи. От кого бежншь?

Полуживая от страха бабка, ие слыша его, продолжала прнчитать.

— Не убнвай, бога ради, меня, старую! Радн детншек малых, внучат моих сжалься!

Она сиова вскочнла на ногн с одним желаиием — бежать. Иштуган успел схватить ее за локоть.

— Суакай-инэй! Очнись же! Скажи мне, Иштугану, кто там стреляет?

— Э-эй! — долго тянула она, начиная понемногу приходить в себя. — Э-эй-й! Сынок, Иштуган! Это же ты! Хатыбал напал на дружинников... Перебьет всех... Скорее спасай их!.. Они ворвались в дом, чтоб убить моего сыночка, моего единственного Сахиуллу. Я с невесткой и внучкой выскочила. Он остался на навесе. Убьют его... Скорее, скорее же...

Иштуган, на ходу вырывая наган из кобуры, побежал назад к своему коню.

* * *

Прошел год, как Иштуган, Ахат и Айхылу вступили в Красную Армию. Иштуган за это время стал признанным разведчиком красного отряда, сформированного оренбургскими рабочими. Вместе с отрядом они прошли первое боевое крещение в боях с атаманом Дутовым, против которого выступили совместно с революционными матросами и поднявшимися на национально-освободительную борьбу башкирскими полками. Случилось это в горячие дни октября, когда для защиты революции и установления на местах рабоче-крестьянской власти создавалась Красная гвардия. Первоначальный план — идти в Оренбург — им показался опасным. Они подались в Орск. Оренбург для старшины и Хатыбала что родной аул. И путь недалек, наверняка нападут на след. Тогда уж не надейся спасти свою жизнь. Так что у них был один выход — идти в чужие края. Они выбрали Орск.

Только к вечеру второго дня они добрались до города. Выехали на одну из главных улиц, пустили шагом взмыленных холеных жеребцов.

«Как начать новую свободную жизнь? Куда деваться?..»

Под тяжестью этих вопросов постепенно гасла романтика похищения девушки. Иштуган все чаще задумывается: «Ну, украли мы бедную девушку, что с нею делать дальше? Были бы сами по себе, нигде бы не пропали». Откуда-то всплыло чувство горечи. Сердце вдруг сжалось от темного предчувствия. Тут, наверное, был и страх за судьбу Айхылу, и омраченная позорным пятном — кражей коней — радость за спасение любимой. Конечно, пока они гнали коней, уходя от погони, у них в голове было одно желание — не отдать Хатыбалу Айхылу. Но чем дальше они отъезжали от аула, тем сильнее начинало тревожить другое.

«Скоро Орск... Выдержит ли Айхылу? Что ни говори, она единственная дочка, балованная. — Перед взором Иштугана вставали и две его сестренки. — Каково им там без меня?.. И отца ведь нет. Бросил я их на мачеху... Разве так поступает старший брат? Как на глаза отцу покажусь?..»

Неотступно следовала по пятам и мысль о похищенных конях:

«Отныне нас в ауле будут называть конокрадами. Какой позор! Помню, еще мальчишкой, у тополя Хабира Тимербай-ага говорил, что воровство ходит рядом со злодейством, что хороший человек не станет вором. А я... Были бы свои кони, разве пошел бы на такое?»

Иштугану порой чудится, что горячее тело коня даже через поводья жжет ему руки. Ему хочется бросить коней, идти пешком или просто-напросто продать их кому-нибудь. Но тогда на руках останется выручка от продажи краденого — не с этого же начинать новую жизнь!

Правда, насчет коней Ахат был спокоен. Он даже повторил слова старика Идриса:

— В богатство старшины Собхана вложен наш труд, потому это не его кони, а наши.

Ахат был согласен со стариком. Ведь и он сам, и его отец, и брат работали на старшину Собхана. Ахата волновало только присутствие Айхылу. «Ну что нам делать с нею? Сами себе связали руки, нацепили обузу. Без нее записались бы в Красную Армию и пошли бить баев. Эх, Иштуган...»

Лишь Айхылу ехала довольная происшедшим. На ее ясном лице играла улыбка. Она спаслась от ненавистного Хатыбала. А с Иштуганом она готова ехать хоть на край света. Ее не беспокоил даже собственный наряд. Ахат прихватил с собой оставшуюся от старшего брата Ахмета кое-какую одежду: шапку-ушанку, суконные штаны, серый чекмень с вылинявшим красным кушаком. Переодевшись, она стала походить на шаловливого мальчишку, вырядившегося в отцовскую одежду.

Занятые своими мыслями, они долго ехали по улицам города. Начало темнеть. В окнах стали зажигаться огоньки. Перед дверью большого здания висела разбитая вывеска, где уцелело одно слово «гимназия». На его полуразвалившемся крыльце, широко расставив ноги, стоял матрос с огромной кобурой на поясе и, размашисто жестикулируя, что-то говорил.

Его окружала толпа. Поодаль от крыльца стояли гимназисты в черных, как у Хатыбала, шинелях с блестящими пуговицами и самодовольными лицами. Видно, это была их гимназия. Сбившись кучкой, они пересмеивались, мешая матросу говорить.

Все три конника, как по сигналу, разом спрыгнули на землю.

— Революцию мы совершили? Совершили! Революция победила? Победила! Буржуев смели? Смели, товарищи! Отныне будет жить и здравствовать наша рабоче-крестьянская власть! Мы построим в нашей стране социализм, товарищи. Да здравствует мировая революция! Ур-ра!..

Взволнованную речь матроса толпа поддержала нестройным «Ура».

Гимназисты громко захохотали. Один из них завопил под самым ухом Иштугана:

— Ерунда! Какой к черту социализм с ленивыми мужичками из диких деревень, где вместо домов курятники?! Ха-ха-ха!..

Матрос похлопал по плечу паренька, который стоял рядом не сводя с него глаз, и продолжил:

— Социализм у нас будет, товарищи! Мы построим новую жизнь. Там не будет ни богачей, ни их горластых сынков вроде вон того юнца. В школах будут учиться дети бедных, дети рабочих. Из них вырастут учителя, врачи, комиссары!

— Эй, матрос, ты бы накормил сперва того, кто рядом стоит, а то сворует и в тюрьму сядет, не досчитаешься тогда одним комисса-

ром! — снова заорал тот же гимназист. Другие дружно загоготали.

Иштуган неожиданно для себя схватил гимназиста за ворот.

— Эй, обожди, парень, дай послушать!

Матрос одобрительно кивнул Иштугану. Его больше никто не перебивал.

— Да, цели революции благородны, товарищи. Требуется поднять на ноги забитую Россию. Много преград на этом пути. Еще кишат повсюду гады, враги хотят задушить революцию, всадить в нее из-за спины змеиное жало. Пока не сметем их — нельзя успокаиваться! Беритесь за оружие, товарищи. Молодежь, записывайтесь в ряды Красной Армии! Вставайте под красные знамена! Да здравствует мировая революция, товарищи! — Закончив речь, матрос вытащил из нагрудного кармана карандаш, бумагу. — Кто желает, может записаться!

Ахат прошептал Иштугану!

— Ну, чего мы стоим? Вот и нашли свое место! Смотри, как записываются! — кивнул он на обступивших матроса людей.

Иштуган с сомнением поглядел на Айхылу: «А ее куда денем?»

Тем временем матрос, широко улыбаясь, как старым знакомым, сам подошел к ним.

— А вы будете записываться, товарищи?

Иштуган показал на Айхылу:

— С нами девушка...

— Ну и что?! У нас и для нее дело найдется. Медсестрой будет! Выучим... Давайте знакомиться. Я представитель Красной гвардии орских рабочих. А вы откуда?

* * *

С того дня все трое стали бойцами рабочего отряда. Научились стрелять из винтовки и пулемета. Айхылу стала медсестрой. Потом их отряд слился с отрядом оренбургских рабочих, поднявшихся на борьбу с Дутовым. Они громили кулацкие мятежи в степях, проводили продразверстку. Последние месяцы этот сводный отряд, называемый теперь в народе по имени командира отрядом Каширина, громил белоказаков и кулацкие банды. На днях они выбили белых из их укрепленных позиций на горе Мулькаман и очистили от них долину реки Юшатыр. Бои были тяжелыми, только на второй день белые, побросав много оружия, отступили в Куплинский лес. Преследуя их, отряд оказался в родных местах Иштугана. Но ни в Ташлах, ни в Ивановке, ни в Троицке белых настигнуть не удалось. В Троицке завязался бой с кулацкой бандой кожевника Червяка. Раскрыть кулацкое гнездо помог Никита, попавший в отряд еще в Оренбурге. Иштуган ушел в разведку и не слышал, как перед народом был зачитан приговор революционного суда над Червяком, банда которого тайно уничтожала тех, кто проводил продразверстку, кто был на стороне Советской власти.

Иштуган, прискакав в Троицк, доложил, что на аул Ильсегул напала банда Хатыбала, и отряд тут же направился на помощь дружинникам.

X

Поползли слухи, что уже вся Башкирия в кольце белых. Для банды Федьки Рябого это явилось сигналом к разбою. Врываясь в глухие башкирские аулы, где еще никто толком не слыхивал про новые советские законы, он учинял самосуд. Ему уже было мало запугивать народ — теперь за убийствами последовали грабежи, хватали все, что попадется под руку.

Набравшая силу ильсегульская дружина, состоявшая в основном из бывших солдат-фронтовиков, среди которых были и башкиры, и русские, не дождавшись прихода Никиты с подкреплением, начала по всей волости борьбу со спекулянтами хлебом и противниками продразверстки под лозунгом:

— Излишки хлеба — народу! Хлеб для Красной Армии, для победы революции! Советское правительство запрещает торговать хлебом! Нет пощады спекулянтам!

Только за последнюю неделю дружинники отправили в город десятки обозов с зерном, найденным у Сергея Хитрова, старшины Собхана и других баев. В базарные дни дружинники вылавливали тайных торговцев зерном прямо на дорогах. Сергею Хитрову, наживающемуся на зерне, наконец-то стало туго.

С образованием дружины в Ильсегуле возникло в волости двоевластие. С одной стороны — обломки Временного правительства в виде волисполкома с Ферапонтом Хитровым во главе, опирающегося на банды Хатыбала и Федьки Рябого, с другой — сельские Сове-

ты, созданные батракамн и бывшнмн солдатами, комбеды и дружнны.

На открытый бой с выросшей ильсегульской дружиной пока не решался нн Федька Рябой со своей бандой, наловчившийся устраивать ночные вылазкн на безоружных людей, нн Хатыбал со своим отрядом из изнеженных байских сынков н обманутых нмн безграмотных парней. Даже волисполком во главе с Хнтровым, чтобы обманывать людей, был вынужден внешне поддержнвать дружинннков и оказывать кое-какое содействне. Но обенм сторонам было ясно, что атмосфера накаляется. Дружинникн с нетерпением ждалн помощн из города, нбо с имеющнмнся снлами нечего было и надеяться на разгром бандитов н на смену руководства в волости.

Как-то в один из горячнх дней, когда дружнна, отправнв в город десяток подвод с хлебом, отвоеванных у спекулянтов, ехавшнх на базар, собиралась в обратный путь, прискакал нарочный из Исанбета. Байгильде узнал его н подвел к Тнмербаю.

— Это он караулнл склад оружня в Ташхарае в ту ночку... Пастух из Исанбета.

— Помню, как же... — сказал Тимербай, дружескн улыбаясь. — Ну что поделываешь? Может, назад к Хатыбалу тянет, а?

Сагит густо покраснел от напомннання о непрнятном прошлом и, поспешно подав ему сложенный лист бумагн, обнженно ответил:

— Чего мне ехать-то к Хатыбалу... Меня к вам послал мой брат Шахнморат.

— Да я пошутил. Мы помним, как ты тогда нам пулемет подарил.

— Спасибо, агай, — смущенно произнес Сагит. — Я же по несознательности очутился у Хатыбала в отряде...

Тимербай, пробежав глазами письмо, снова с теплотой посмотрел на Сагита:

— Значит, помощь нужна, джигит? Ладно. Посоветуемся сейчас.

Байгильде, узнав в чем дело, встрепенулся:

— Надо ехать, чего ждать. Мы все в сборе. Мне давно хочется посчитаться с тамошними хозяевами, особенно с Кормош-баем.

— Поедемте к нам! — взмолился Сагит, точно приглашал в гости. — Ни мешка зерна не дал Кормош-бай для советской власти. Куда он хлеб попрятал, диву даемся!

Тимербай поддержал Байгильде и Сагита, и после полудня дружина вышла на дорогу. Байгильде пристроился сзади и молчал всю дорогу. Скоро он увидит свой родной аул. Там могила его отца, его любимой жены Сагуры... места, где прошло его босоногое детство, его юность... Как давно это было и невозвратимо далеко ушло, как неотделимо оно и близко его душе... Чем ближе становился аул, тем тревожнее билось его сердце. Вдруг заныло в груди. Возникло какое-то предчувствие утраты и вместе с тем — тоскливая радость встречи с покинутыми родными местами... Его мысли возвращались и к дочерям: «Ведь Янеш и Емеш с нетерпением ждут его возвращения, он сам пообещал им ситцу на платья. Но что поделаешь? В Исанбет тоже нельзя не ехать. Борьба есть борьба. Надо помочь тамошним бедиякам. Ладно, сегодня не дождутся доченьки ситца на новые платья, зато завтра утром обязательно привезу, обрадую их... Если Емеш

узнает, что я был в Исанбете и готовился к возвращению в свой аул, она еще больше обрадуется, двойная радость ожидает ее...»

Байгильде улыбнулся своим мыслям: «Удивительно, ведь она совсем не помнит свой дом, была маленькой... Может, воспоминания о матери зовут ее туда? Хочет увидеть следы своей матери на земле. А сама родная земля тоже ведь зовет. Сколько лет я стремлюсь туда! Не зря ведь поют: «В каком бы ты раю ни жил, тоска по родине живет...» Да, рай... Уж такой рай!..» — Байгильде горько усмехнулся, резко взмахнул рукой, точно отрубил, и, припустив коня, нагнал товарищей.

В Исанбет они въехали с песней про Красную Армию, сочиненной кем-то совсем недавно, но уже ставшей боевой песней дружинников. Странных всадников, обвешанных винтовками и саблями, но одетых во что попало, первым делом обступила детвора. Затем неторопливо стали подходить и взрослые жители аула; постепенно на улице оказалась вся аульная беднота.

В Исанбете был свой комбед, членами его были Сахнулла, сын старушки Саукай, фронтовик Шахморат, сын покойного старика Шахнита, и их юный товарищ Сагит. Но дела у них пока не клеились. У того же Кормош-бая они до сих пор не могли изъять ни единого мешка зерна. В его хлебных амбарах было пусто. А сам он во всеуслышание причитал и сетовал, что хлеб у него на полях нынче совсем не уродился.

— И у слепого слезу прошибет, если плач настоящий, говорят у нас, — возразил Байгильде.— Давайте же по-настоящему поищем, ведь найдем! Надо лишь глубже копнуть...

— Найдем, — согласились остальные дружинники.

Шахиморат, довольный прибывшей подмогой, повел дружинников во двор Кормош-бая, где он не раз безуспешно искал зерно со своими комбедовцами. Дружинники, разделившись на отдельные группы, принялись за дело. Одни ломами и штыками прощупывали землю во дворе, загоне и пристройках. Другие пошли в поле. Там под одной скирдой необмолоченной пшеницы, оставленной в ожидании неурожайного года и дороговизны, дружинники обнаружили подземный амбар, полный отборного зерна.

— Разоряете, на голодную смерть обрекаете! Не губите! Пожалейте, оставьте мое добро! — клянчил Кормош-бай. Трясущимися руками он цеплялся за свои мешки, валялся в ногах у дружинников, грозил карами на том свете.

Зерна вышло на полсотню возов. Остаток дня прошел за погрузкой и отправкой зерна в город. Наступила светлая теплая ночь. Дружинники только тут почувствовали, что им нужен отдых. Исанбетовцы тоже начали упрашивать их остаться как желанных гостей. После такой большой удачи можно было позволить себе погостевать, пообсуждать планы совместных действий.

Байгильде, Тимербай и Закир отужинали у Шахимората. Потом они все вместе пошли за Байгильде, решившим посмотреть на свой заброшенный двор. Несмотря на превратности судьбы, он все же был счастлив тут, когда была жива его Сагура.

Задумчиво, медленно обходили они двор, слушая грустные воспоминания Байгильде. Вот место, где стоял его домик. Теперь здесь бурьян, да торчит труба обвалившейся печи. Аласык уже полностью сравнялся с землей, не видно даже следов очага. Словно прошли десятилетия, а не годы.

— Как только поутихнет вокруг, я вернусь сюда, — сказал Байгильде с решительностью в голосе.— Поставлю новый дом. Не хочу, чтоб угрюмо торчали развалины там, где жила Сагура. Пусть мои дети живут в своем ауле...

— Сарбиямал-апай захочет ли оставить свой Ильсегул? — спросил Тимербай.

— Не захочет, пусть остается. Мне ни ее добра, ни скота не надо... Сыт по горло... Только вот тревожит меня, Тимербай, что здесь постарому правят всем баи... Как будто не было революции...

— Да... здесь Кормош-бай, там Собхан и кулак Сергей... Ты прав. А раненый зверь опаснее... Такие ни перед чем не остановятся. Своего даром не отдадут, — задумчиво сказал Тимербай. — Тебе, Байгильде, коли тянет, надо вернуться в свой аул. Нам жить на этой земле, а не баям!.. Дай только срок, вот побьем врагов... И заложим на нашей земле фундамент счастливого будущего!

— Да-а... — мечтательно протянул Байгильде. — Побьем белых, прогоним баев, вернется Иштуган...

В разговор с озабоченным видом вмешался Закир:

— Мне что-то не понравился у Кормоша взгляд, каким он провожал последний воз с зерном. Не жадность была в нем, а жажда

крови... Мы тут остались ночевать, а он, может, строит нам ловушку. Надо было пристрелить его, когда он начал угрожать. Чую, такого зверя нельзя отпускать!

— Народ что скажет на твой самосуд? — удивленно воскликнул Байгильде.

— Нет, это не по-нашему, — сказал Тимербай. — Террор не наш метод, большевики так не борются.

— Тогда его надо посадить до утра под замок. Иначе... — с тою же тревогой в голосе отозвался Закир и повернул со двора на улицу. Но Байгильде встал на его пути.

— Так нельзя, брат. Народ скажет, что я натравил на него за обиды... Сам знаешь, у нас не любят тех, кто таит злобу, кто мстит...

— А кто на тебя подумает? Ты не видел и не слышал! Я же сам все сделаю.

— Не надо, я не хочу мстить, не хочу проливать кровь.

— Эх, ты... А вот он бы сейчас зубами в твою глотку впился, всю кровь бы высосал!.. Клянусь, было бы так. Он не из таких доброхотов, как ты!

— Все равно не надо, прошу тебя, Закир. Что он нам сделает один? Он уже побит. Бить лежачих — не дело джигита. Тимербай, разве я не прав?

— Послушаемся Байгильде-агая, — сказал, помолчав, Тимербай. — Подождем, но на свободе его оставлять нельзя. Закир прав. Завтра и возьмем...

Закир, расстроенный, только махнул рукой.

— Эх, вы!.. Солдаты вы или нет? За такую нерешительность очень дорого платят потом...

Припомните мои слова! Скажете, что не зря я говорил...

Они разошлись в тяжелом раздумье. Закира пригласил ночевать Сахиулла. Тимербай и Байгильде остались у Шахимората. Другие дружинники по здешнему обычаю тоже были приглашены как гости в другие дома.

А Кормош-бай, никем не замеченный, оседлал коня и поскакал в Ташхарай.

«Даром я еще никому ничего не отдавал,— хрипел он, погоняя коня. — Кровью своей заплатите мне, красные шайтаны!..»

Оба его сына были в отряде Хатыбала в Ташхарае, там же были сыновья муллы Ахмадуллы и слепого Сапыя. Других парней из Исанбета там не было.

XI

Ранним утром, как только мужчины уехали на базар, вслед за ними на улицу высыпали девочки в разноцветных нарядных платьицах из ситца и сатина. Те, что постарше, были в красных и черных сапожках, с яркими ленточками и звонкими накосниками в волосах, с узорчатыми, украшенными кораллами и монетами нагрудниками. Все они бегали из дома в дом, громко смеялись, напевали. Улица будто запестрела живыми цветами. В стороне от них собирались в кучку мальчишки и подростки.

Базарный день в ауле всегда праздничный и радостный. В этот день мужчин нет дома. Улица в полном распоряжении детей — сколько угодно бегай по ней, играй. У своих ворот одиноко стояла Емеш и думала

о том, как весело будет сегодня на гулянье. Скоро девочки соберутся и пойдут на Девичью гору, до самого вечера будут петь и веселиться. Может, несколько аулов выйдет... Ах, как хорошо там! Туган в цвету... Если бы отец привез ситцу... Тогда они с Янеш хотя бы за диким луком пошли... Привезет, наверное. Обещал ведь...

На улицу выскочила Шауре. На ней тоже не было нового платья, но в яркой кашемировой шали с плеча матери, с хаситой — девичьим нагрудным украшением из серебряных монет и кораллов — и нацепленными к косам сулпы она имела вполне праздничный вид. Правда, к сулпы были подвешены не серебряные монеты, но звенел он не хуже настоящего.. Радостная Шауре подбежала к Емеш.

— Емеш, девочки уже уходят! — закричала она. — Скорее же, ну что стоишь!..

Со двора раздался сердитый голос Сарбиямал:

— Ты чего людей с толку сбиваешь! Вот я тебя, вертихвостка! — Она грозила ей толстым пальцем. Рука была вымазана в кислом молоке — катыке, которым она мыла голову у аласыка.

Девичья гора лежит в двух верстах от аула. Это поросшее редким березняком невысокое возвышение с плоской голой вершиной, на которой собирается каждую весну молодежь и увязавшаяся за ней детвора. В иные годы сюда приходят даже из соседних аулов, чтобы посостязаться в пении и пляске с исанбетовцами, приглядеться к девушкам и джигитам из других аулов. Тогда Девичья гора вся звенит от смеха. Сидеть дома в такой день, когда сам

горишь желанием быть там, конечно же, тяжело. Ну что делать ей, Емеш?!

Подошла Янеш и молча встала рядом с Емеш. Однако Сарбиямал не дала им погрустить.

— Емеш! Цыганское отродье, отведи гусей к Мертвому Ику. Смотри в оба! Ежели потеряешь хоть одного гусенка, самой голову сниму, знай! Ты, Янеш, сбегай к Зубаржат-енге за ступой. Просо толочь будешь. Кашу сварим. Ну, пошевеливайся, глупая овца!

Девочки окинули грустным взглядом сиротливо опустевшую улицу, которая только минуту назад была заполнена яркими платьями, цветастыми платками, звоном хаситы, сулпы и накосников, разошлись по своим делам...

Янеш приволокла деревянную ступу, которая была выше ее самой. Сарбиямал вынесла большую чашу красного проса.

— Очистишь от шелухи. Смотри, не просыпь! Толкушку держи прямо, не спеши, опускай точно в середину. Чтобы пшено было, а не мука!

Тяжелую толкушу, приспособленную к руке взрослого, Янеш едва обхватывала тоненькими пальцами. «Эта одна чаша проса доставит ей маяты на весь день», — подумала Емеш, представляя, сколько будет ругани, пока Янеш доведет до конца работу, и побрела вслед за гусями к Мертвому Ику. В этом году у Сарбиямал уток не было, она их больше не держала после того невеселого случая на «озерце», вырытом во дворе.

Весной Большой Ик разливается широко, превращаясь в бурный поток, а когда сходит вода, по нему долгое время сплавляют лес и

гонят плоты. Потому домашняя птица знает только одну дорогу — к тихому, теплому Мертвому Ику. Было время, на этом месте протекал сам Большой Ик, и в него напрямую скатывался вешний поток по Озонголу. Была тут живая река и вот нет ее — остановилась, превратилась в изогнутое дугой, узкое, долгое озеро. Его обступили густые заросли верхних тугаев. И гладь озера стала еще тише и незаметнее. Правда, по весне к Мертвому Ику подходит большая вода с реки, с ревом несет сюда свои снежные воды Озонгол, и тогда Мертвый Ик тоже сердито просыпается, затопляет верхние тугаи, по нему перекатываются говорливые волны. Но сколько можно прожить за чужой счет? Сходит с полей и гор снег, и вместе с тем Мертвый Ик возвращается в свое ложе. А начнет сильнее припекать солнце — и Мертвый Ик замирает, тоненьким серпом теряется в густых зарослях, потом его и вовсе скрывают от глаз широкие листья кувшинок и лилий...

На высоком берегу Мертвого Ика, обращенном к аулу, издалека видны кряжистые ветлы с округлыми кронами и раскидистые, взметнувшиеся до неба могучие старые тополя. Они стоят горделиво, отступя друг от друга, словно и сами любуются своим величественным видом. Эти необхватные-необъятные тополя-великаны растут здесь с незапамятных времен. Люди будут зимой в буран сидеть без дров, но им и в голову не придет срубить их. Мучимый холодом путник не сломает здесь ветки. Только буря да молнии могут укоротить их век. Над тополями с весны до осени кружат тучи грачей и галок, громко оповещая о своих

заботах, предсказывая жителям аула погоду, передавая им свое настроение. И впрямь, порою от их неказистых громадных гнезд, похожих на чучела, от их тревожных криков, нарушающих медлительную тишину окрест, становится неуютно, зябко на душе.

Емеш пустила гусей в тени высоких тополей. Под ними зеленым ковром густо взошла молодая травка.

«Идите же, радуйтесь воле. Пусть хоть кому-то на свете будет хорошо. Хотите пощипать травку — вон сколько ее вокруг! Хотите поплавать — вот теплая вода. А я за вами буду присматривать отсюда, с бережка. Ладно, мои умненькие гусятки?».

— Би-пип... Би-пи-пип! — заговорили гусята.

— Ки-ги-гик... Ки-гак! — заволновались гусыни, будто не хотели оставлять Емеш одну наверху. Тихонько переговариваясь, они, пощипывая травку, продолжали крутиться у ее ног.

Но гусак не разрешил им понапрасну терять время за разговорами. Он вытянул длинную шею, забил крыльями, оглушительно прокричал:

— Ка-га-гак! — и устремился вниз, не переставая горланить. — Как-как-как!..

Гусята, нежно пиликая: «Би-пи-пип!» — пошли за ним. Им ведь надо учиться плавать, нырять, доставать со дна вкусные водоросли.

— Ки-га-гак! Ки-га-гак! — согласились с папашей мамы-гусыни и пристроились в хвост гусятам.

Гусята вдоволь наплавались, нанырялись, потом, уставшие вышли на берег. Емеш поста-

вила перед ними корытце с отрубями и творогом, накрошила туда же размоченные хлебные корки. Гусак, не думая о благодарности, тут же зашипел на нее и прогнал прочь, а сам начал приплясывать возле корыта, дожидаясь, пока поедят гусята. Гусыни тоже заплясали. Гусята набросились на еду, быстро проглотили корки с отрубями и запели сонную песенку:

— Со-р-р-р!.. Со-р-р!

— Ги-ги-ги! — ласково отозвались гусыни и собрали их у себя под свои теплые крылышки. А длинношеий сердитый гусак остался стоять возле них, поглядывая по сторонам. Емеш стало совсем одиноко и грустно.

«Пойду-ка влезу вон на тот тополь. Может, Девичью гору оттуда увижу?! Э-эх! Может, сейчас там Шауре кружится в пляске...»

Расправив руки, как крылья, она сбежала вниз к тополю, стоявшему у самой воды. Через пару минут она уже сидела свесив ноги на макушке огромного дерева. В высоте — будь то гора или дерево — для нее всегда есть неизъяснимая сладость. Она манит и волнует. Усевшись на самой верхней раскачивающейся ветке, она окунулась в зелень листвы и, позабыв про свою грусть и одиночество, вспарила душой выше облаков. Дыхание ее участилось, сердце затрепетало, наполнилось дикой радостью. Она все сильнее и сильнее раскачивала свою ветку.

— Ку-ку!.. Кут-дус!.. Суб-бух!.. — кричала она, изображая кукушку.

Кутдус и Суббух — были два брата, разлученные злой судьбой и не нашедшие друг друга. Они вот так же кричали, звали, но все напрасно. Емеш уже трясла ветку из последних

сил. Она пела голосами разных птиц, свистела. Порой ей казалось, что она на самом деле летит, парит, как птица, взмывает к небу и, точно жаворонок, песней приветствует солнце. Она вспомнила сказку про девочку-сироту по имени Кукен.

«Кукен сначала была девочкой, только потом обратилась в птицу... Кто знает, может, и Емеш тоже станет птицей?! Ведь и Кукен, бедная, была сиротой, как Емеш... И ее невзлюбила мачеха. Кляла, била, ругала, днем в погреб запирала, чтобы красота ее завяла; заставляла воду решетом таскать, землю палкой вскапывать, а Кукен ей назло становилась только краше и умнее. Как-то погнала ее мачеха в туган, палкой рыхлить землю и сажать горох, а там ее увидел молодой храбрый охотник. Замер на месте, пораженный ее красотой, глаз с нее не может отвести. И Кукен полюбила его с первого взгляда.

Взял ее охотник в жены и увез к себе. Жил он у подножия горы Маншатау. Кукен родила мальчика, красивого, как они сами, которому на роду было написано батыром быть. Дали они сыну имя Маншамерзан... И еще счастливее пошла у них жизнь. Но тем сильнее стала ненавидеть ее мачеха. Как-то она заманила к себе падчерицу будто бы в гости, околдовала, превратила в голубку, а назад на Маншатау отослала свою толсторожую колченогую дочь, придав ей облик Кукен. Муж ничего не заметил, а сын Маншамерзан чувствовал. Но что могло сказать малое дитя?! Только плакал он не переставая да теребил ножками. Начала чуять неладное и свекровь. Однажды, когда сына не было дома, взяла она внучонка

на руки, взобралась на вершину Маншатау и печально запела:

На вершине Маншатау
Плачет мой Маншамерзан,
Грудь пустую та сует,
Лед сосет Маншамерзан.
Сына накорми, Кукен,
Сына накорми, Кукен!..

Долго с плачем звала и пела бабка. Вдруг поднялись откуда-то огромные стаи птиц, и каждая стая, пролетая над ними, видя плач ребенка и горе бабки, успокаивала их криками:

— Кукен сейчас прилетит!

— Кукен летит в последней стае!..

Над горой появилась стайка голубей. Одна из голубок отделилась от стаи, покружила над горой и опустилась возле бабки. Скинув шубку из перьев, она обернулась прежней Кукен. Села она на бел-камень и, плача и лаская, стала кормить сына. Ее черные волосы, как туча, закрыли вершину горы, а лицо светилось, как солнце, даже было больно смотреть на него. Свекровь, пораженная, лишилась дара речи. А Кукен накормила сына и улетела. Маншамерзан проспал три дня и три ночи, а когда проснулся, снова стал плакать. Бабка опять понесла его на Маншатау. Так она и растила его, потихонечку раз в три дня уходя с внуком на гору, к родной матери. Сам охотник тоже видел, что жена как будто бы изменилась. Мачеха смогла придать дочке только внешнее сходство с Кукен, речи и сердце ее остались холодными, как камень.

«Постой, а не кроется ли тут что?» — подумал он и увязался за матерью. Бабка взобра-

лась на вершину, уселась на большой белый камень, а охотник спрятался ниже, за этим камнем. Потянул легкий ветерок, начало пригревать солнце, в небе появились птичьи стаи... Бабка запела:

На вершине Маншатау
Плачет мой Маншамерзан,
Грудь пустую та сует,
Лед сосет Маншамерзан.
Сына накорми, Кукен,
Сына накорми, Кукен!..

— Кукен сейчас прилетит! — начали успокаивать ее пролетающие птицы. — Кукен летит в последней стае!..

Подлетела стайка сизых голубей и закружилась над горой. От стаи оторвалась и пошла к земле красивая голубка с красными лапками, с хохолком на головке, с глазками, как жемчужины. Опустившись на землю, она сбросила сизую шубку и обернулась прежней Кукен. Ее лицо светилось, как солнце, черные волосы, клубясь, как облака, закрывали собою склон горы. Охотник смотрел на нее, как прежде, восхищаясь ее красотой. А Кукен, плача над сыном, кормила его, пока он не уснул... И только хотела взлететь сизой голубкой ввысь, как муж схватил ее шубку, а ее длинные волосы накрутил на руку.

— Отпусти мои косы, отдай мою шубку! Здесь у меня один сын, а там — три маленьких птенца. Погибнут они без меня, оставь им мать, — умоляла Кукен.

Но охотник и бровью не повел, не стал слушать ее мольбу.

— Я тебя люблю. Жить без тебя не могу,— сказал он и бросил в огонь шубку, накинутую на нее мачехой.

Радостные, возвратились они вчетвером домой. А там сидит родная дочка мачехи — косолапая, с круглым, как решето, лицом. Как сгорела та шубка, пропала колдовская сила мачехи. Прогнали они назад мачехину дочку и снова зажили в счастье и веселье...»

Такой конец сказки Емеш не нравился. «Осталась бы она голубкой... Ворковала бы свое: «Гульдергу, гульдергу!» Жила бы на воле, летая по бескрайнему небу», — огорчалась она за Кукен. Надеясь, что и ей вдруг удастся превратиться в голубку, она еще долго качалась на гибкой ветке, внизу которой зеленел омут. Потом она залюбовалась тугаями за рекой — с дерева было видно далеко-далеко и, забыв обо всем, снова погрузилась в свои мечты:

«Жить бы в таких тугаях... Нет-нет, лучше на покрытой незабудками поляне среди дремучего леса, чтоб был рядом звонкий ручеек и чтоб стоял там единственный на весь лес домик... И жили бы в нем только девочки. Шауре, Сабира, Янеш, пусть даже вредная Захира, даже плакса Хасбиямал и — никого из взрослых... Как бы хорошо было... Весь день только играли бы и играли... Некому было бы ругать. Кто что хотел, то и делал бы. Я бы не спала ни днем, ни ночью, только б играла и бегала. Э-эх!»

Но тут ей пришла в голову невеселая мысль: «А кто же нас кормить будет?» И радостная мечта сразу померкла. Но Емеш отмахнулась от нее, подумав, что все равно ни-

чего такого быть не может. Только птицы по-настоящему свободны. Только птицей она хочет стать.

— Ку-ку! Суб-бух! Кут-дус!.. — закуковала она снова, раскачиваясь на ветке.

Из мира несбыточных грез ее пробудил гусиный переполох. Емеш испуганно поглядела на землю, затем подняла глаза наверх. Высоко в небе ходил кругами коршун. Емеш громко прокричала ему:

— Коршун, твои мать-отец убиты и в сырой земле зарыты! Лети домой, лети домой!..

Услышав эту весть, коршун должен был тотчас повернуть назад. Как может полезть кусок в глотку, когда ты узнаешь, что не стало обоих родителей. Но этот коршун, видно, ни в грош ни ставил своих родителей. Не шелохнув крылом, он спускался плавными кругами все ниже и ниже. Гусята бросились врассыпную, отчаянно колотя крыльями по земле, гуси кричали все тревожнее. Емеш, как белка, стремглав скатилась вниз.

— Кыш-кыш-кыш!..

Но коршун оказался проворнее ее. В мгновенье ока он камнем упал на землю, схватил гусенка, успевшего запрятать только свой клювик под листом кошачьей лапки, и взмыл обратно в небо. Гуси и Емеш оторопев, застыли на своих местах.

Первыми в себя пришли гуси и, перебивая друг друга, начали обсуждать жуткое событие:

— Га-га-га!.. Сип-сип-сип!..

Потом глава семейства возвестил, что пора домой:

— Ки-ка-ка-как!.. Ки-гак-га-гак!

— Как-как-как! — согласились с ним гусыни.

— Си-си-си! Пи-и-пип! — ответили гусята, выстраиваясь в ряд. Емеш с замирающим сердцем поплелась за ними. В ушах звучала угроза мачехи: «Голову оторву, только потеряй моего гусенка!»

Гуси с гоготом и писком заполнили двор. Навстречу им вышла из аласыка Сарбиямал.

— Чего так рано притащилась, цыганское отродье?!

Увидев, что Емеш стоит бледная, с опущенной головой, она заподозрила неладное и принялась считать гусят, растопырив свои толстые пальцы.

— Один, два, три... одиннадцать, двенадцать, три..., а где тринадцатый? Где, говорю, еще один гусенок вот у этой гусыни?! Отвечай! Где?!

— Коршун унес... — ответила Емеш.

— А-а?! — закричала мачеха. — Коршун унес? Я тебя зачем туда посылала? Чтоб коршун моего гусенка унес?! Ах ты распроклятая, разиня, прибью! Голову оторву!.. — и она обеими руками вцепилась в косы Емеш.

Спустя несколько минут Емеш лежала на земле избитая. Около нее сидела Янеш и в слезах повторяла, гладя ее тонкие ручонки:

— Зачем же ты лазила на дерево? Ну чего не сиделось тебе на земле?

— Не знаю... — искренне отвечала Емеш.— Не знаю...

— Умрешь ты, коли будешь такой, Емеш, не жить тебе на свете!

Это почему-то сегодня совсем не испугало Емеш.

— Ну и умру... Очень хорошо будет... От всего избавлюсь... Бибисара-абыстай говорит, что умершие до совершеннолетия обращаются в райских птичек... Какое счастье: летай себе от цветка к цветку, с дерева на дерево... Не среди людей, а только среди птиц буду жить! Эх, умереть бы поскорее, пока не прошло детство! Ах, умереть бы сейчас...

Янеш жалостливо смотрела на печальные глаза сестры, неподвижно устремленные в голубое небо. Ей стало казаться, что Емеш и впрямь может умереть, улететь, оставив ее одну мучиться на земле. Она, всплеснув руками, с отчаянием прижала к себе руку Емеш.

— Емеш, хылу, не умирай! Не бросай меня одну, ладно!

Валявшийся у ног Емеш заядлый охотник кот Мраубай, лениво мурлыча, обхватил ее ноги, как бы желая сказать: «Не вздумай умирать, сейчас тепло, греет солнце, будем вместе играть. Без тебя будет ох как грустно!»

«Даже Мраубай счастливее меня, — подумала Емеш. — Ему легче жить. Ни бога не боится, ни мачехи. Для него нет ни греха, ни добродетели, ни рая, ни ада... Скоро придет жаркое лето. Просохнут берега Мертвого Ика и Мраубая дома больше не увидишь. Уйдет в верхние тугаи на охоту, и до первого снега будет промышлять мышами и водяными крысами. Никто ему не страшен, никому он не будет кланяться. Вот какой смелый этот кот Мраубай! Как же можно жить на свете, когда даже твой кот храбрее тебя?!»

Немного придя в себя, Емеш подняла голову с острых колен сестры, встала и, взяв

своего любимого кота на руки, пошла за ворота и растянулась на траве возле плетня. Обратив взгляд к небу, она стала следить за кучевыми облаками. Они незаметно переходили с места на место, превращаясь то в громадного белого медведя, то в стадо барашков, то в бородатых стариков-небожителей... Задул прохладный ветер. На западе появилась плотной черной стеной огромная туча. По небу то и дело пробегали огненные стрелы. Но грома еще не было слышно. Влажный грозовой воздух принялся нежно и ласково поглаживать и править ее стесненную от побоев грудь. Наконец она вздохнула чуть свободнее.

«Вечереет. А отца нет... Не возвращается. Нет ни отца, ни платья нам с Янеш, — обеспокоенно подумала она. — Ой, аллах, поскорее верни нам отца, пусть даже без платьев...»

К ней незаметно подкралась вдоль плетня Шауре и присела рядом.

— О чем думаешь, Емеш? — Это было любимым занятием Шауре — незаметно подкрасться и задать вопрос. Емеш, не поворачивая головы, спросила, чтоб развеять свое настроение:

— С Девичей горы, что ли, вернулась? — Ей было радостно, что даже такой несчастливый день идет к концу.

— А как же, ведь уж свечерело! — улыбнулась Шауре. — Интересно было! Так набегались, что потом на ногах не стояли. Наигрались во все игры, перепели все песни, наговорились досыта, накричались, нахохотались, вот. Эх, если бы ты сама там была и видела!

Наступило молчание. Шауре другим, тусклым голосом произнесла:

— Сегодня-то было весело. Хотя из других аулов никого не было... А вот назавтра девчонки договорились пойти на другую сторону, через речку, за диким луком... Это совсем не то, что ходить на Девичью гору... Не придется уж мне идти с ними...

— Почему?

— Нового платья нет.

— Ну и что?

— Вот глупая, разве можно в драном платье за диким луком идти? Там, знаешь, сколько аулов соберется?.. Это же как большой праздник. Все разоденутся, даже мальчишки... Не за луком же выходят, а повеселиться... — Тут у Шауре совсем упало настроение. — Отца почему-то все нет. Никак с базара не приедет. Говорил, может, ситцу на платье привезу...

— И моего нет. Он даже обещал сатину купить на платье... С винтовками они уехали. Видать, не на базар, а воевать... А то разве так долго ходили бы...

— Ой, а вдруг они не вернутся, а, Емеш?

— Не знаю...

Девочки прислонились друг к другу спинами и притихли, уйдя в свои мысли. Но беспокойная Шауре заметила на Емеш бусы, сплетенные из нескольких ниток красных кораллов:

— Откуда это на тебе?

Емеш надела их сегодня еще с утра, надеясь, что мачеха пустит ее на Девичью гору. И теперь, взглянув на загоревшиеся глаза подружки, спросила, словно желая проверить впечатление:

— Красивые?!

— Еще бы, спрашиваешь!

Емеш осторожно сняла с себя бусы и надела их иа тонкую шейку Шауре.

— Носи. Пусть тебе будет. Так много бусииок и иитей нет ии у одной девчонки. Даже у Захиры... И у Гульехан нет...

— Ах, как оии мие к лицу! Какая красота! — заплясала от радости Шауре. Но потом опять погрустнела. — Нет, не возьму, Емеш. Эти бусы тебе тоже идут.

— А если идут, я могу снова их сделать,— улыбнулась Емеш.

— Как?! Ты сама можешь сделать?!

— Да.

— Все равно ие возьму. Не верю!

— Когда я тебе врала?

— Ну, не было такого...

— Тогда верь.

— Ладио, верю...

Оии уселись друг против друга, скрестив иоги. Емеш рассказала, как легко делаются такие бусы: надо лишь влить в скисшее молоко крутой кипяток, и оно тут же сворачивается в тягучую, как смола, массу. Из этого творога делают катышки, потом сушат, режут, иаиизывают иа нитки, макают в красную краску и полученные бусинки становятся похожими иа иастоящие кораллы.

— Эти бусы я сделала еще прошлым летом... Все ждала, хотела надеть с новым платьем, — закоичила Емеш рассказ.

— Ой, как интересно! — восхитилась Шауре.

— Хочешь, я их иаделаю тебе миого-миого? Только иадо, чтоб было молоко, готовое свернуться, кипяток и красная краска.

— Правда?! — еще больше обрадовалась Шауре. — Сделаешь?

— Да, но у тебя и сейчас самые красивые бусы. Только ты никому не говори, что они самодельные. Скажи, что мать тебе купила у коробейника. Пусть все дивятся твоему богатству.

— Да, вот забавно будет! А кто тебя научил?

— Не помню, — ответила Емеш. Ей уже не хотелось говорить об этом.

— Ну, припомни же, Емеш!..

— Говорю же, не помню, — повторила Емеш и насупилась.

Шауре знала привычку Емеш внезапно замыкаться в себе и сама не любила приставать к ней в такую минуту. Потому она стала молча любоваться своим новым ожерельем. Затем вскочила и пустилась в пляс.

— Теперь я пойду со всеми за диким луком! Пусть у меня нет нового платья!

— А что? Иди, — сказала Емеш, — будет весело. Если бы меня отпустила Сарбиямал-апай, я и думать не стала бы про новое платье.

— Пойду, пойду! — напевала Шауре, кружась вокруг Емеш. Вдруг она убежала, крикнув: — Емеш, подожди меня здесь, я мигом!..

Мысли Емеш опять перекинулись на отца: «Почему его нет до сих пор?..» Но Шауре тут же прибежала назад, держа коробочку из-под спичек.

— На, Емеш, это тебе подарок от меня.

«Что она туда засунула? Кузнечика или навозного жука?» — гадала Емеш, зная, как любит Шауре попугать ее, подсовывая коробки со всякими тварями.

— Да открывай же, открывай скорее, не трусь! Чудо-юдо! — засмеялась Шауре.

Емеш, все еще боясь, что оттуда кто-нибудь выпрыгнет на нее, осторожно приоткрыла коробок.

— Ай, кумыз! — радостно вскричала она.— Ку-мыз! — ее бледные губы задрожали от волнения.

— Да, кумыз, — залепетала Шауре. — Дарю его тебе. Давай будем друзьями, Емеш, на веки вечные!..

— Будем друзьями на веки вечные... — не отрывая завороженного взгляда от волшебного девичьего инструмента, своей давнишней мечты, прошептала Емеш.

В эту минуту ее радости не было границ. Ведь в ее руках был самый настоящий кумыз, который всегда жил в ее воображении. Она так хотела на нем играть, что часто видела его во сне.

— Откуда он у тебя, Шаурекай! — спросила Емеш. — Кто его тебе подарил?

— Не знаю.

— Как не знаешь?!

— Не помню, вот приставала!..

Емеш поняла, что Шауре ради шутки повторяет ее же слова, и, рассмеявшись, обхватила ее за ноги.

— Ой, моя милая подружка, дружок мой вечный! Хорошо, что на свете есть ты!

Шауре тоже присела подле нее рядышком, спиной к изгороди. Раньше Емеш видела кумыз только в чужих руках, иметь свой, играть на нем — казалось неосуществимой мечтой. В мыслях она уже давно переиграла на нем и любимые плясовые, и знаменитые озон-кюй от

«Зульхизы» и «Шауре» до «Буранбая», но это в воображении. Сможет ли она так же играть наяву, не в грезах?

С затаенным чувством Емеш покрутила в руках маленькую железную дугу с медным чудо-язычком, словно желая увериться, что у нее всамделишный кумыз... Глубоко вздохнула и осторожно, как нечто очень хрупкое, поднесла кумыз к губам... В тихом вечернем ласковом воздухе зазвучала, задрожала таинственная мелодия... Шауре, широко раскрыв глаза, с удивлением смотрела на Емеш. Она никогда не думала, что из кумыза можно извлекать такую трогательную, нежную мелодию. Емеш счастливо улыбнулась:

— Ну, как получилась у меня «Кунгыр-буга» [1]?

— Разве ты играла «Кунгыр-буга»? — удивилась Шауре.

Но все же это действительно была притягательная мелодия «Кунгыр-буги» — то веселая, то местами печальная, в которой звучала и тревога юной невестки, отправившейся искать свою буренушку, доставшуюся ей от родителей в приданое (единственном в доме мужа живом существе, напоминавшем ей о родном доме), и образ самой буренушки с теленком, может быть, заблудившихся а может, отправившихся по горным тропам в свои родные края. Но маленький кумыз в руках Емеш не только рассказал об этом, он еще звенел горным потоком, жужжал майским жуком, заливался трелью жаворонка, возносящегося к небу, и тревожно нашептывал какие-то тайны...

[1] Кунгыр-буга — буренушка (здесь название песни).

«Интересно, как удается Емеш извлекать такие звуки из крошечного старинного инструмента? Только аллах один знает...» — подумала Шауре и наконец согласилась:

— Да, ты сыграла «Кунгыр-буга»... Только другую, волшебную... — Она порывисто обняла Емеш за тоненькие плечи. — Играй еще!..

Емеш перешла к каким-то незнакомым для Шауре тягучим и печальным мелодиям. В них звучала боль, тоска и грусть. Это, наверное, был голос сердца самой Емеш... Накопившиеся в ее рано повзрослевшей пылкой душе чувства и страдания неудержимым потоком хлынули наружу.

Наконец все смолкло. Бледные щеки Емеш порозовели, на высоком лбу выступили капельки пота. Она смущенно поглядела на Шауре, как бы спрашивая: «Ну что, умею я играть?»

— Если уж ты так играешь на кумызе, то завтра точно можешь пойти на гулянье, — сказала весело Шауре. — Пусть нет у нас новых платьев. Зато есть кумыз. Все, кто захочет поплясать, будут возле нас крутиться, да? А ты будешь в центре круга, правда?.. Какая пляска без кумыза? Это же как песня без курая...

Емеш кивнула головой. Ее взгляд был переполнен радостью.

— Верно... Если отец вернется, если мачеха отпустит, непременно пойду...

XII

Эту ночь Емеш провела без сна. Она просила и умоляла аллаха, чтобы он, всемогущий, всевидящий, поскорее возвратил ей отца домой

с долгожданной покупкой. Емеш представляла, как она в новеньком синем сатиновом платьице в белый горошек, накинув на голову цветастый кашемировый платочек, идет с девочками на гулянье за речку — собирать дикий лук и порхает, точно бабочка, от цветка к цветку на пышном весеннем лугу... А то в ее воображении возникала другая, жуткая картина: будто не приходит домой отец — его нет; и он, и Иштуган — оба навечно пропали; Сарбиямал прогоняет ее и Янеш из дому, и они стоят с плачем за воротами, не зная, куда деваться. От этого видения у нее сжималась грудь, холодело сердце... Она вскакивала, сбрасывала одеяло, сидела, вслушиваясь в темноту, надеясь, что заскрипят ворота, раздастся стук копыт. Но ничего не было слышно, кроме довольного похрапывания мачехи да беспокойного, горячечного дыхания Янеш и ее бессвязного бормотания во сне. Отец так и не появился...

Утром в Ильсегул вошли белые. (Это их преследовал отряд красных, в котором воевал брат Емеш Иштуган.) Ворота старшины Собхан, Шымбая-Куштана и муллы Габбаса были широко раскрыты, будто в ожидании сватов, там взад и вперед сновали солдаты. Старшина Собхана, уперев руки в бока, широко расставив короткие ноги, стоял у своих ворот с таким же толстопузым, как он сам, военным в золотых погонах. Проходя мимо этого золотопогонника, другие военные щелкали каблуками и били себя по лбу ребром ладони, как деревянные куклы. Старшина Собхан, поглядывая на них масляными глазками, радостно восклицал одно и то же:

— Гей, афарин, гей, молодцы!.. Герои! Батыры!..

Шымбай-Куштан носился по аулу, как ошалевшая лошадь, водя за собой солдат. Он указывал на дома дружинников и тех, у кого сыновья или отцы были в Красной Армии.

— Кех-кех! А это дом самого настоящего большевика! — то и дело приговаривал он с нескрываемым злорадством.

Солдаты врывались в указанный дом, кого-то выволакивали и уводили, избивая прикладами. Когда они ввалились в дом Сарбиямал, ее самой не было. Чувствуя, что Байгильде с Иштуганом могут навлечь беду и на ее голову, она еще с утра отправилась искать своего Ахметшу. Дома оставались Емеш с сестрой.

— Где ваш отец? Где брат? Говорите, красные щенки! — накинулись на них белые.

Девочки от страха замерли. Солдаты учинили настоящий погром: обшарили, перевернули дом кверху дном, а напоследок разворошили урын, в ярости проткнув саблями перины и подушки. Следом за ними влетела Сарбиямал, ведя за собой Ахметшу, но уже было поздно. Забыв о присутствии любовника, при котором всегда старалась выглядеть привлекательнее, она с перекосившимся от плача лицом начала причитать.

— Ой, мои подушечки!.. Мои периночки!.. Мои одеяльца новенькие, шелковые, сатиновые!.. Порезали, распотрошили!.. Чтоб отсохли у них руки!.. А из-за кого, из-за кого, спрашиваю я вас, ненасытные утробы, терплю я все муки? Чтоб пусто было этому злодею Иштугану! Попадись ты мне теперь беспорточный

зимогор Байгильде!.. Своими руками придушу!..

Она заливалась на все лады. Конечно, Емеш тоже было жаль видеть развороченным богатый урын — дорогое для мачехи место, которого в доме никто не смел касаться руками. Но Емеш видела, как стойко переносила горе бабка Таиба, когда случилось несчастье с Хамматом, как спокойно, без страха встретила смерть бабушка Карасэс, защищая сына Тимербая. Емеш показалось несуразным так убиваться по случившемуся, она впервые не испугалась и не растерялась перед гневом мачехи. Не глядя на нее, она вышла из дому. Из головы у нее все никак не шел один и тот же вопрос:

«Неужели что-нибудь случилось с отцом? Где же отец? Аллах, храни его!»

Только за ее спиной закрылась дверь, как послышался сердитый окрик Ахметши:

— Хватит, замолчи! Тебе что велели? Не спускать глаз с Байгильде! Говорили тебе?

Сарбиямал тотчас притихла.

— А что? Он же вчера на базар отправился. Я так и сказала тебе: он идет на базар. Самим нужно было лучше смотреть, — несмело возразила она. — Сами проспали. Себя и вините.

— Все ушли. Нет ни Тимербая, ни Закира. Кто-то, видать, успел их предупредить. Вот и скрылись гады...

— Кто же мог им сказать?

— Кто-кто!.. Может, сама и проболталась, язык-то без костей!

— Упаси боже! Что ты несешь, сердечко

мое?! Кабы могла, я бы в него сама вцепилась, никуда бы не вырвался! Сама бы выдала...

— Выдала бы да не выдала, — зло передразнил ее вор Ахметша. Голос его звучал грубо и резко. — Обманула. А ведь обещала не выпускать его из рук!

— Не тужи, душенька, куда ему деваться? Дети здесь, вернется к ним и сам в ваши руки попадется...

— Ночью притащится — все равно мне сообщи. Хватит с него, погулял! Много крови попортил!..

— Тут же дам знать, мой дорогой! Пусть только явится...

В глазах Емеш потемнело. Она пошатнулась и неверными шагами пошла к аласыку. Ей было жутко и тошно.

«Эх, отец, отец!.. Знал бы ты, с кем связался...»

XIII

Было уже далеко за полночь, когда Кормош-бай, едва не загнав своего коня, прискакал в аул Салям. Но в Ташхарае еще не спали. Хатыбал, Хуснулхак, сын урядника Митрофан, начальник волостного управления Ферапонт Хитров обсуждали события и планы действий.

— В Самаре, Челябинске чехи. Белые идут на Уфу. Красные войска скоро окажутся в мешке. А мы все чего-то ждем. Пора выступать! Изнутри придавить всех паршивцев, всех, кто стоит за красных, — буйствовал преобразившийся Хитров. — Вам такое доверено, а вы мышей не ловите. Налет на Ильсегул и тот провалили...

Хатыбал, брызжа слюной, изливал скопившуюся злобу и ненависть к красной дружине Ильсегула.

— Они выкрали наше оружие. Расшатали наши отряды. Многих к себе перетянули. А теперь принялись грабить зерно. У моего отца все амбары опустошили, даже у вашего отца, Ферапонт Сергеич, весь хлеб повыбирали. Они ж нас по миру пустят! Где ж это видано, чтоб даром свой хлеб отдавать?! Нанялись, что ли, мы рабочих кормить?! Надо перво-наперво покончить с этой дружиной!

— Смерть большевикам! — вторил ему, выкатывая глаза, Митрофан.

Не сиделось на месте и Хуснулхаку, отделавшемуся у моста возле села Якуп только легкой раной, хотя и пошла весть, будто он убит.

— Точно так, эфенди! Совершенно верно изволите говорить, Митрофан, смерть большевикам, — поддакивал он, вытягивая вперед длинную шею. В умении нашептать, подбить на подлое дело он не уступал своему отцу мулле Габбасу.

Вот в эту разгоряченную компанию ввалился тяжело дыша Ҡормош-бай.

— Господа! — задыхался он. — Если вы хотите избавиться от ильсегульской дружины, то скачите за мной. Одним махом можете покончить с нею. Поодиночке, спящих, тепленьких прирезать! Аллах поможет вам. Сам поведу, покажу, кто в каком доме спит.

Хатыбалу пришелся по душе призыв Ҡормош-бая. Он со своей бандой не осмеливался в открытую выступить против дружины Ильсе-

гула и лишь тешил себя надеждой свести с ней счеты в случае прихода белых. Но теперь, когда появилась возможность вырезать спящих под покровом ночи, он воспрянул духом. Спешно собравшись, банда Хатыбала двинула в Исанбет. Ферапонт Хитров следовал с ними до села Якуп и на прощание пожелал им успеха.

Раздвигая свой кроваво-красный занавес, начала заниматься заря. В это время бандиты Хатыбала, рассыпавшись по домам, с ножами в руках подкрадывались к спящим дружинникам. Люди гибли, не успевая вскочить, оказать сопротивление. Для убийц были распахнуты все двери, потому что по существующему в ауле обычаю в домах не было запоров. К дому Шахиморату бандитов привел сам Кормош-бай.

— Самые атаманы здесь! Аллах не откажет в покровительстве, доверимся ему!— злобно прошептал он, шагая впереди. — Приступим...

Байгильде, лежавший ближе всех к входной двери, проснулся от напряженного шепота и схватил винтовку.

— Джигиты, вставайте! Кто-то идет! — успел вскрикнуть он. Тимербай с Шахиморатом встали рядом с Байгильде. Открылась дверь. На фоне предрассветных сумерек явственно обозначились три фигуры. Это были Кормош-бай с топором в руках, Хатыбал со штыком наизготовку и Хуснулхак с кинжалом. Из темной притолоки прозвучали разом три выстрела. Кормош-бай с Хатыбалом повалились друг на друга, шедший сзади Хуснулхак с воплем кинулся прочь.

Сахиулла и Закир, которые уберeглись от нападения только потому, что из-за жаркой ночи перебрались спать на навес с сеном, проснулись и тоже открыли стрельбу. Но скоро пуля сразила Сахиуллу. Оставшиеся в живых дружинники отстреливались по всему аулу. Но горячее всего перестрелка шла у дома Шахимората. Перепуганные женщины и дети высыпали из домов и с криками бросились кто куда.

— Убивают!.. Спасите!.. Помогите!.. — кричала бабка Суакай, летевшая сломя голову через огороды к лесу. Тут она и столкнулась с разведчиком Иштуганом.

Собрать уцелевших дружинников и дать организованный отпор врагу Тимербай с Закиром уже не могли. Собрав все силы, бандиты повели ожесточенный штурм дома Шахимората. Оставив надежду на легкую расправу, они думали ворваться в дом под прикрытием винтовочного огня, но, опьяненные обильно пролитой в эту ночь кровью дружинников, вели стрельбу беспорядочно. А укрывшиеся за сплетенной из прутьев стенкой три храбреца видели их хорошо. Пули зря не тратили. Наконец враги поняли, что им с ходу не взять дом.

— Подпалить надо!

— Бомбу бросить!..

— Выходите, сдавайтесь! Поджигаем! — угрожали бандиты.

У обороняющихся вышли патроны. Байгильде сказал:

— Пора идти в штыковую, друзья, — и с криком: — Вперед!.. Ура-а!.. — ринулся из дома навстречу пулям.

Первым не выдержал штыковую атаку новоявленный атаман Хуснулхак и, бросив вин-

товку, пустился наутек. Байгильде погнался за ним, чтобы поддеть штыком, но вдруг что-то резко обожгло ему грудь. Он, будто споткнувшись, со всего размаху упал ничком на землю, широко раскинув руки, словно так истосковался по родной земле, что был рад теперь разом обнять ее всю, прижаться, слиться с ней... В то же мгновение у него в ушах возник стук копыт и мощное «Ура!»

«Красные?.. Свои!.. Чудится или вправду?..»

Это были его последние мысли.

Рабочий отряд разгромил банду Хатыбала. К восходу солнца с нею уже было покончено. Уцелевшие от ночного налета бандитов дружинники встречали своих избавителей. Они были до слез растроганы, увидев среди красных бойцов Ахата, Никиту, Иштугана и Айхылу... Самое горькое испытание выпало на долю Иштугана — увидеть убитым здесь, в родном ауле, своего отца!..

На кладбище Исанбета появился десяток новых могил. По обычаю в похоронах участвуют только мужчины, женщины дальше ворот кладбища не ходят, но сегодня были необычными и проводы, как необычна была сама смерть дружинников.

Весь аул — и молодые, и старые, и малые дети — вышел на кладбище. Всех объединила эта трагическая ночь.

Провожала своего единственного сына Сахиуллу в последний путь и бабка Суакай. Ее маленькое, сухонькое тело, казалось, стало еще меньше. Она с трудом волочила спотыкающиеся, одеревеневшие ноги. Не слышно было ни ее вздохов, ни рыданий. Тонкие губы, кото-

рые раньше умели плотно сжиматься, обличая непреклонную решимость и твердый характер, в эту минуту лишь бессильно вздрагивали, как засохший на ветке лист.

— Сы-но-чек... ди-тят-ко...— шелестели беззвучно ее губы и смолкали... В темных добрых глазах, смотревших на мир всегда с таким участием и такой верой, с таким счастливым выражением и светлой улыбкой, теперь не было ничего, кроме безысходности и покорности судьбе.

«Заголосила бы, что ли! Призвала бы громы небесные, прокляла бы тех, кто погубил столько ни в чем не повинных людей, кто отнял единственного сына! Умоляла бы отомстить за сына!.. — с горечью размышлял Иштуган.— Даже такую неунывающую, стойкую к невзгодам бабку тоже сломила жизнь... Нет, покорностью к судьбе, смирением счастья не завоюешь!..»

Иштуган похоронил отца рядом с матерью и дедом. Возле серой каменной глыбы — потрескавшегося от дождей и ветров надгробия старика Иргали — вырос заостренный кверху камень с наспех процарапанной ножом надписью: «Дружинник Байгильде, 42 лет от роду, погиб в классовой борьбе, июнь 1918 год».

Иштуган встал на колени, обнял холодный камень, прижался к нему лицом...

Айхылу была все время рядом с Иштуганом. Перед аулом Иштуган немного отошел от горестных раздумий и взглянул на нее.

— Эх, Айхылу, знала бы ты... Как ждал он счастливых дней свободы, мечтал о жизни без угнетателей, без людей с черной душой и грязными делами. И не дождался, умер...

Айхылу крепче прижалась к нему.

— Кто боится смерти, тот не идет в бой. А твой отец не боялся. Встал на борьбу. Не жалости он достоин, а славы, памяти сердца!..

Участие жены помогло Иштугану взять себя в руки. Он вспомнил, как всегда мечтал отец возвратиться в свой аул. Сказал Айхылу, что хочет осуществить мечту отца и вернуться в Исанбет.

— Вот очистим нашу родную землю от белых и вернемся сюда, да, Айхылу?

— Я теперь всегда буду там, где ты, Иштуган. Видишь, даже солдатская жизнь не разлучила нас.

Иштуган с твердостью повторил:

— Вернемся. Мать и отец ждут от меня этого. Пусть видят те, кто сгубил их жизнь, вроде слепого Сапыя и муллы Ахмадуллы, что настал наш час!

Когда с кладбища ушли последние люди, к могиле друга подошел Никита.

«Эх, браток!.. Рановато ты ушел. Только ведь начал нарождаться наш новый день. Мы не забудем тебя, Байгильде. Беспощадно отомстим за тебя... Иштуган в тебя пошел. Человеком станет. Дочек твоих не оставим в беде. Спи спокойно, дружок!..»

Схоронив погибших, бойцы красного отряда скорым маршем направились в село Якуп, где размещалось волостное управление. Шахиморат и другие бедияки и батраки из Исанбета, которые могли держать в руках винтовку, записались в отряд. К ним присоединились Закир и Тимербай.

XIV

Сарбнямал поплакала еще немного, проклиная весь свет, затем призвала со двора Янеш и Емеш.

— Прибирайте дом! — гаркнула она. — Если хоть одну пушинку оставите на полу — не подберете, в наволочки не вложите, знайте: обеим шею сверну!

А сама, поправив платок, опять заспешила на улицу. Там с визгом и хохотом носились, стараясь привлечь внимание молодых казаков, Алтынбике, Гульехан, Захира, разодетые, как в праздник Корбан-байрам. Детей бедняков не было видно. Шауре, Сабира и другие девочки, отцы которых были на стороне красных, — все попрятались, кто в гумне, кто в подвале. Янеш и Емеш, не возразив мачехе, принялись исполнять ее приказ. Они собрали разлетевшийся по всему дому пух, заткнули его обратно в наволочки и залатали в них дыры. Эту нудную и утомительную работу они выполнили тщательно, как велела мачеха,— не пропала ни одна пушинка. После этого девочки разложили по своим местам вещи, отмыли, отскребли дожелта пол и вышли во двор. Здесь Янеш выстроила перед аласыком в ряд медный таз, самовар, медный кумган и начала драить их толченым кирпичом, вымоченным в кислом молоке. Емеш присела недалеко от нее на травке расчесать спутавшиеся волосы. Непослушный в тоненьких, слабых руках тупой деревянный гребень со сломанными зубьями не брал ее густые волосы, срывался, деря волосы.

В воротах появилась Сарбнямал. Тяжелыми, грузными шагами она медленно надвига-

лась на них. Ее рот кривился, толстые губы были сжаты. Девочки уловили перемену в ее настроении. Помимо обычной злости на ее лице отражалось что-то новое. Девочки сами не заметили, как разом поднялись с земли и замерли перед мачехой.

«Что же ее так разозлило? Что она с нами сделает?»

Сарбнямал не заставила долго ждать. Она порывисто подскочила к ним, уперла руки в толстые бока и злорадным, леденящим голосом выкрикнула:

— Отца вашего прикончили! Слышите?! На тот свет отправился зимогор!

— Ой! — вырвалось у девочек в один голос, и они, как подкошенные стебельки, упали на землю. У них не было духу даже заплакать. А Сарбнямал с бесстыжей радостью бросала в устремленные на нее с ужасом глаза:

— Вчера ночью зарезали! Так ему и надо! Ишь, надумал стать болшауником! Захотелось прибрать к рукам мой дом, мое хозяйство, все мое добро! Вот и получил свое, зимогор!

— Неправда! Мой отец жив! Вы нарочно так говорите, апай! — выкрикнула бледная Емеш.

Сарбнямал расхохоталась ей в лицо, издавая звуки, похожие на воронье карканье.

— Ха-ха! Жив твой отец, дожидайся! Хаха! Жив!.. Своими руками ему глотку перерезал Кормош-бай! Шымбай-агай врать не станет, ему из отряда Хатыбала весть принесли. Укокошили бродягу!.. Прикончили!.. — Сарбнямал, вращая пустыми зрачками, продолжала, словно это само собой разумеющееся дело:

— Теперь катитесь отсюда, обе! На все четыре стороны! Мне только детей болшауника не хватает! Из-за вас вон весь мой дом перевернули! Хватит, натерпелась!..

В ее голосе не было ни тени сомнения, лицо было холодно, как камень, а в неприязненном взгляде отражалась безжалостность зверя. Для нее это был, похоже, уже решенный вопрос. Только девочки в своем горе не видели этого. Не понимая обрушившихся на них страшных слов, продолжали молча глядеть на мачеху. Сарбиямал решила по привычке тумаками вдолбить им в головы свою мысль: рывком ухватила их за волосы, поволокла к воротам и швырнула на улицу.

— Убирайтесь прочь! Вам сказано, проклятые! Где хотите, там и подыхайте! Мне не надо детей кафыра [1], большевика! — кричала она, словно желая перед кем-то выслужиться.

Только теперь девочки осознали безвыходность своего положения. Янеш не держали ноги, она, не поднимаясь с земли, припала к забору.

— Ой, аллах!.. Куда же нам деваться? Что же с нами-то будет? Убит наш отец... Емеш-хылу, пропали ведь мы...

Емеш молча стояла рядом с ней, зажав в одной руке гребень со сломанными зубьями, в другой — кумыз, неподвижная, как мраморное изваяние. Она не чувствовала, что подле нее трется, осторожно пробуя зубами пальцы ее ног, любимый кот Мраубай. То ли

[1] Кафыр — безбожник.

он ласкался к ней, желая поиграть, то ли утешал. Подбежала Шауре, давно поджидавшая, когда Емеш появится на улице.

— Емеш, что с тобой? Отчего плачет Янеш. Ну? Чего же ты молчишь?.. Емеш! Язык проглотила?!

Но ее слова не доходили до Емеш. Наконец и Шауре запечалилась. Теперь они стояли вдвоем, касаясь друг друга плечами — две вековечные подружки, и сквозь набежавшие на глаза слезы словно всматривались куда-то в неведомую даль. А Янеш все рыдала и рыдала...

XV

С раннего утра возле волостного исполнительного комитета царило необычное оживление — сюда съехались отовсюду баи и богатеи всех мастей. Вольготно расположился в селе Якуп со своей бандой Федька Рябой, который, выдавая себя за красного, грабил и убивал народ в окрестных селениях, чтоб восстановить его против Советской власти. Здесь же были двое других из рода Хитровых — Алексей и Сергей. Идут белочехи. Скоро на их улице праздник, потому они скинули маску. Уже незачем таиться, скрывать свое истинное лицо. Теперь в открытую будут они творить свои черные дела. Рад и Ферапонт Хитров, бывший эсер, ныне председатель волисполкома. Не двуликим председателем, а полновластным правителем волости, господином Хитровым станет он. Вся эта разношерстная контра решила ускорить события и еще до прихода белых своими силами покончить

с советской властью в волости. Учинить расправу над большевиками, дружинниками и сочувствующими Советам было поручено бандитам Федьки Рябого.

На той бочке посреди базарной площади, с которой год назад рассказывали народу о революции и свержении царя большевики Никита и Тимербай, теперь стоял Ферапонт Хитров. Он натужно кричал о победе справедливого правого дела, о скором возвращении мирной счастливой жизни.

— Этой ночью Хатыбал со своими верными людьми вырезал всех большевиков в Исанбете! — Его голос срывался, рыжие усы, которые он то и дело дергал, топорщились. Он еще не знал об участи банды Хатыбала. — Скоро наши герои прибудут сюда и, объединившись с лихим отрядом Федьки Хитрова, пойдут бить красных по селам и аулам волости. Все мы, как один, поднимемся! Все роды наших восстанут! За нами сила! С нами бог!..

В самый разгар этого шумного сборища в село ворвались красные. Не привыкшие сражаться в открытом бою бандиты Федьки Рябого бросились врассыпную. Но многие полегли под меткими пулями красных бойцов Каширина. Трупы бандитов устлали базарную площадь. Самого Федьку Рябого нашли в погребе у Батыймы, у которой он был на постое. Только пьяница Апанас как в воду канул.

Пойманных главарей — Ферапонта Хитрова, урядника Алексея и Федьку Рябого революционный совет отряда приговорил к расстрелу. Приговор тут же был приведен в ис-

полнение, и отряд, не задерживаясь, повернул в Ильсегул. Разведка донесла, что там скапливаются передовые части белых.

Белые, заняв Ильсегул, начали спешно готовиться к обороне. Они знали силу каширинцев, преследующих их по пятам. На подходах к аулу появились рвы и огневые заслоны. Даже на минарете мечети был установлен пулемет. По улице взад и вперед сновали верховые. Что-то указывая, за ними следовали верхом на конях старшина Собхан, мулла Габбас и Шымбай-Куштан.

Уже день клонился к вечеру, когда из-за Девичьей горы поднялась черная туча с белой бахромой по краям. Она быстро разрасталась, надвигалась все ближе и, наконец закрыв собою полнеба, тяжело нависла над аулом. Раздался грохот, задрожал потемневший небосвод, по нему побежали вдоль и поперек полыхающие огни молний. Сестрам показалось, что приближается конец света и теперь само разбушевавшееся грозное, небо готовится обрушиться на их беззащитные головы. Но они не сдвинулись с места. Куда им бежать? Да и чего бояться, когда они потеряли все. Война отняла у них отца и лишила крова. Во всем мире для них сейчас существовала только эта страшная правда.

Черная туча сгустилась и совсем закрыла небо. Ярче стали вспышки молний и яростнее раскаты грома. Но Емеш, та самая Емеш, что в страхе перед грозой первая дрожа забиралась в темный угол и, укрывшись с головой одеялом, не переставая твердила суры корана, чтоб, если вдруг поразит молнией, не предстать перед аллахом кафыром, теперь даже

не шелохнулась. Неразлучная Шауре с острой жалостью вскидывала взгляд на Емеш, точно догадываясь о пришедшей к ней большой беде.

Вдруг новая сильная вспышка молнии озарила посеревшие от ливня дома, и прямо над их головами с треском раскололось небо. Вторя его раскатам, где-то рядом тоже что-то затрещало и забарабанило.

— Та-та-та!.. Бом-бом-бом!.. Фьють-фьють!..

— Неужели в такую погоду Сарбиямал-инэй задумала ворочать ящики с мукой, — произнесла Шауре. — Мука у нее кончилась, что ли?..

Емеш и на это ничего не ответила. А тем временем, заглушая громыхание буйствующего неба, на них продолжало надвигаться по земле нечто пугающее. Нарастал гул и рокот. Ухающие разрывы в сухой треск становились все ближе.

— Ой, как больно в ушах! Будто перепонки лопаются, ой! — вскрикнула Шауре, обеими руками закрывая уши.

Но Емеш по-прежнему не слышала ее, а Янеш продолжала рыдать. Где-то вдали раздавались выкрики, доносился топот копыт, падали на землю тела... Это была война... Первые отголоски идущей по стране гражданской войны, которые достигли аула Ильсегул.

Все чаще падали снаряды по ту и эту сторону аула. Над головами звонко рвалась шрапнель, в воздухе запахло порохом, со свистом летели пули... Неожиданно умолк без устали поливавший огнем пулемет на минарете, его стрелок, отпрянув, упал. И затем

повалили белые, пешие и конные, торопясь поскорее убраться из аула. Стегая лошадей, промчались на двух тарантасах с наваленными на них кое-как сундуками старшина Собхан и мулла Габбас вместе с женами и детьми. Проскакал верхом на лошади Ахметша. Напуганные стрельбой люди повыскакивали из домов и, не зная куда податься, в панике заметались по улице.

— Прячьтесь! Бежим к Красному яру! — долетел тревожный возглас. — Емеш, Шауре! Бегите!..

Это была Базыян. Подхватив за руки дочерей, она бежала к реке, чтобы укрыться за обрывистым высоким берегом. Стукнула дверь, и из дома с громадным узлом на спине вывалилась Сарбиямал. Кого-то громко проклиная, она покатилась клубком в ту же сторону. И совсем неожиданно, словно очнувшись ото сна, Янеш поднялась с земли и, отрешенная, ничего не видя сквозь слезы, потянулась следом за Сарбиямал. Спустившись по круче вниз, она по детской привычке захотела примоститься рядом с мачехой, забравшейся в глубокую выемку на прикопе, откуда брали глину, но та вытолкала ее вон.

— Где угодно прячься! Только убирайся с моих глаз!

Янеш, глотая слезы, побежала дальше вдоль берега. Тут над ее головой оглушительно разорвалась шрапнель и железным дождем пролилась на воду...

Забывшая с горя про чувство страха Емеш и ее верная подруга Шауре все еще стояли на том же месте у плетня, а вокруг них клокотала и бурлила зарождающаяся новая

жизнь. Впрочем, еще один человек бесстрастно наблюдал за происходящим. Это был старик Идрис. Он тоже, не думая никуда прятаться, стоял у распахнутых настежь ворот бежавшего старшины Собхана и беззаботно тренькал на балалайке. Может быть, он так встречал поздновато пришедшую к нему свободу.

В ауле уже не осталось ни белых, ни баев. Перестрелка шла далеко за полями. Урус-Идрис, что-то надумав, ринулся обратно в дом старшины. Он появился на улице снова, держа в руках длинную палку с нацепленным на нее куском красного полотна.

Высоко подняв над головой красный флаг, он прокричал:

— Слава красному войску! Долой баев!

Потихоньку начали выбираться на улицу и другие, собираясь в кружок возле Идриса. Появилась мать Шауре Зубаржат. Вышла из дома бабка Таиба, за нею следовали счастливо улыбающиеся Хисбулла и Бибеш с крохотным первенцем на руках. К ним присоединилась Базыян, вернувшаяся с реки, ведя за руку дочерей. Как-то незаметно под красным флагом выросла целая толпа. Раздался первый смех, зазвучали веселые голоса... Пересекая улицу, через аул понеслись красные конники, преследуя отступающие белые части.

Бабка Таиба, прикрыв сверху глаза ладонью, долго смотрела им вслед. В ее затуманившемся взоре были слезы.

— Э-эх, как ждал мой Хаммат этого дня!.. — тяжело вздохнула она. — Бедная Салима, поверила клевете, себя сгубила, сокола

моего с ног свалила... Ах, дети, дети... Хоть бы Закир мой был жив... Говорят, на них в Исанбете напал Хатыбал со своими извергами. О аллах, какими жестокими стали люди... Как жить человеку в этом мире, когда кругом смерть!..

— Уж не говори, Таиба-инэй! Вот и моего Тимербая что-то все нет, — продолжала разговор Базыян. — А моя бедная свекровь Карасэс кому помешала? Убили, не дождалась она... Хоть бы одним глазком посмотреть, как поплатится за злодеяния Собхан!.. Да и что толку горевать, жизнь-то свое берет...

Уже давно прошла головная часть отряда, а из-за поворота выходили все новые бойцы. Шауре увидела, как мягкими шажками прокрался и втерся в толпу, стоящую под красным флагом, Шымбай-Куштан.

— У-у!.. Емеш, смотри! И он туда же!.. — в изумлении воскликнула она. — Мама говорит, это по его доносам людей губили. Думает, забыли.

Емеш не откликалась. И приход красных, и бегство белых одинаково не трогали ее. «Отца нет... отца убили!..» Для нее существовала только эта горькая правда.

На улице стало еще больше людей. Вот тихо и нерешительно приблизилась к бабке Таибе Оммогульсум.

— Свекровушка... Байрас... Мой Байрас все никак не воротится... Лишь бы в лапы белым не угодил, — завздыхала она, но по ее мокрым глазам, в которых светилось тревожное ожидание, можно было догадаться, что она боится и за Хаммата.

Байрас поехал в Ташлы, чтобы забрать из больницы отца. Еще не осела за ним пыль на дороге, как в Ильсегул вошли белые. По всем подсчетам Байрас давно должен был вернуться назад с отцом. Третью ночь не смыкает глаз Оммогульсум. При думах о сыне ей вспоминается Хаммат, а с ним на душе возникает новое беспокойство.

«Сложится ли вновь ее жизнь с Хамматом? А если он вернется в опустевший дом Салимы? Но что ни говори, здесь у него двое детей. Как ему забыть про них?.. А если он возьмет да явится ко мне?! Только бы не разреветься тогда с радости, не броситься ему на грудь... Ох аллах, где уж сдержаться тогда, где взять на это силы... Он меня разлюбил, бросил, мне бы ответить тем же, забыть его. А я все тоскую, убиваюсь по нему! Не могу рассердиться, не могу забыть, напротив, с каждым днем сильнее люблю. Конечно, за что ему дорожить мной? А я все на что-то надеюсь... О аллах, неужто за одно мое терпение не вернешь назад ты мое счастье?! Пусть и не любил бы, лишь бы рядом был... Сама бы любила за двоих, лелеяла, холила... Ох и глупая я, каково же ему будет жить с нелюбимой?..»

В последние дни от таких дум у нее шла кругом голова, и чем ближе был день возвращения Хаммата, тем сильнее разгоралось ее волнение. И ей уже хочется теперь самого простого — чтобы он приехал поскорее! Тогда ведь все само собой хоть как-нибудь образуется. Она начала бояться, что иначе сойдет с ума от своего нестерпимого ожидания. Ведь даже в этот грозный час, когда кругом война,

у нее только о нем все думы: сердце стучит, будто хочет вырваться из груди.

Внезапно лицо Оммогульсум побледнело. Она дрожащей рукой коснулась локтя свекрови.

— Не они ли едут?.. Будто наша лошадь выехала...

И впрямь, из переулка, откуда выезжали красные, выкатилась знакомая упряжка.

— Ах, они! Ой, деточки, родимые!.. — заголосила бабка Таиба и, забыв про свои годы, кинулась навстречу, но вдруг остановилась и повернула к Оммогульсум: — Идем, килен, вместе встречать будем.

У Оммогульсум перехватило дыхание. Она не могла выдавить ни слова и едва держалась на ногах. Бабка Таиба дернула ее за рукав.

— Идем же! Что стоишь, глупая? — и, с досадой махнув рукой, сама кинулась навстречу сыну.

Выехав на свою улицу, Байрас нерешительно потянул вожжи, повернулся к отцу. Лошадь, не понимая намерений хозяина, качнулась в недоумении и встала. Хаммат похлопал сына по спине.

— Поезжай пока к бабушке, сынок...

— Здравствуй, батыр! С возвращением!.. с улыбкой приветствовали Хаммата односельчане.

— Слава аллаху, снова видят глаза моего сыночка!..

Между тем через аул все проходили красные эскадроны, шли обозы, катились пушки.

Замыкая отряд, выехало еще несколько всадников. Неожиданно они повернули к приветствующей их шумной толпе. Произошла радостная встреча. Люди обнимались, хлопали друг друга по спинам, смеялись, плакали... Среди подъехавших были Тимербай, Закир, Халим-агай, близкий всем их земляк Никита... А самый молодой загорелый солдат на горячем вороном оказался братом Шауре. Он тут же попал в объятия матери.

— Брат!.. Брат мой!.. Это же Ахат-агай вернулся!.. — закричала Шауре и, как стрела, устремилась к нему, оставив Емеш.

Но и к Емеш уже направлялись двое. Подъехав к воротам, они разом осадили коней и спрыгнули на землю. Один из них, тоненький, юный, в белой повязке с красным крестом на рукаве, перетянутый широким ремнем, взял коней за поводья. Другой, высокий, в черной кожанке, с винтовкой за спиной, заторопился к Емеш, на ходу оттягивая рукой назад тяжелую саблю.

— Емеш!.. Милая!..

Емеш молча отступила.

— Емеш, здравствуй! Что, не узнала своего брата, а? — Иштуган присел возле нее. — Что с тобой? Ну, посмотри на меня, Емеш!

Айхылу, а это была она, привязала коней к столбику у ворот и тоже подошла к Емеш.

— Ну здравствуй же, бикэс, моя золовушка! — улыбнулась она, сверкнув белыми зубами, а в шаловливых ее глазах засветилась прежняя доброта и участие.

Емеш больше не могла сдерживаться. Непереносимое горе и радость нежданной встре-

чи переполиили ее маленькую грудь, и все чувства ее внезапио вырвались иаружу.

— Иштугаи!.. Бра-атец ты мой!.. Моя еиге!.. — закричала она и затряслась в безотчетиом, по-детски иеудержимом плаче. Никогда еще в жизни ие плакала так открыто, не пряча своих слез.

Стихли все звуки боя, и даже самые осторожиые начали выходить из своих убежищ. Вместе с ними, охая и ахая, притащилась из-под Красиого яра и Сарбиямал. Завидев Иштугаиа и Айхылу, склоиившихся над Емеш, она бросила свою поклажу и подбежала к иим.

— Ах-ах! Иду и думаю, что за люди у ворот? Бегу, задыхаюсь, ие отец ли наш, думаю... А это, оказывается, сыиок с невесткой дорогой. Радость-то какая! Милости просим в дом, голубки мои! — затараторила оиа с удивительным радушием, поглаживая по головке еще не отошедшую от плача Емеш. — Несмышленыш! Ай-я-яй! Кто-же от радости плачет? Ну-ка, улыбнись!..

Иштуган огляделся в тревоге.

— А где Яиеш? Почему ее не видио нигде?

Сарбиямал стала тереть рукавом глаза, лицо ее приняло плаксивое выражение.

— Оиа... Ах, ее, бедиую, там, на берегу, прямо в голову... насмерть и убило... говорила ей, сиди рядом, ие высовывайся... А она заупрямилась, побежала...

— Может, она еще жива! — вскричал Иштуган и понесся к реке.

За ним побежали Айхылу и Емеш. А Сарбиямал, выпятив толстые губы, бросила им вслед холодный взгляд и, вцепившись в свой узел, зашагала домой, бурча про себя: «Сказано же, голову пробило непутевой... останешься тут живым, как же...»

На перекате, у самой стремнины, там, где играя струилась и серебрилась река, лежала Янеш, едва приметная, казавшаяся совсем маленькой. Волны Большого Ика, нагоняя друг друга, чередой набегали на ее тело и, мягко теребя распустившиеся длинные косы, утягивали за собой в глубину алые кровавые ленты...

Иштуган порывисто подхватил сестренку на руки, приник взглядом к тонкому исстрадавшемуся лицу.

— Янеш!.. Очнись!..

Глаза ее были закрыты. Руки и ноги висели, как плети. Тело еще не успело остыть.

— Ой, моя апай! Янеш!.. — тонко закричала Емеш и снова забилась в плаче.

Иштуган и Айхылу приникли ухом к груди Янеш, надеясь услышать стук сердца, гладили ее лицо, словно хотели расшевелить, растормошить... Но Янеш спала вечным, быть может, первым спокойным сном за всю свою короткую, как миг, безрадостную жизнь.

— О боже, еще одна жертва!.. Ну за что?! Когда же придет конец?! — простонала Айхылу.

Иштуган бережно прижал к себе легкое худенькое тело сестры и медленно зашагал обратно.

Черная туча, что на исходе дня поднялась над Девичьей горой и только краешком задела тогда Ильсегул, теперь возвратилась назад и в наступившем сумраке, пробиваемом только молниями, с грохотом разразилась проливным дождем. Казалось, природа, разделяя горе и радость людей, спешила омыть и очистить от грязи лик земли.

Конец первой книги

Уфа — Малеевка
1956—1959 гг.

ТАЛАНТ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ НАРОДУ

Зайнаб Биишева... Все примечательно в этой женщине: и живые темные с молодым блеском глаза, и энергичные жесты, всегда сопровождающий ее творческий порыв. Зайнаб Биишева — известная писательница Башкирии, творчество которой стало подлинным достоянием народа. Ее произведения изучаются в школах, на филологических факультетах университетов и педвузов. Она лауреат премии имени Салавата Юлаева, неоднократно отмечена правительственными наградами. Вышедшая из глубин народных, она всем своим творчеством служит народу.

Талант Зайнаб Биишевой богат и многогранен: она является прозаиком, драматургом, журналистом, переводчиком и поэтом. С полным основанием она могла сказать о своей жизни:

И радости, и горечь испытала,
И не жалею ни о чем земном...
Но жизнь любить и жаждать не устала,
И не спешу забыться вечным сном...
Жизнь это труд и непрерывный бой,
Борьба за честь с несущими бесчестье.
Я в мир пришла, чтоб жертвовать собой,
А не пощады ждать на лобном месте!

(Перевод Г. Молодцова).

Произведения Зайнаб Биишевой известны и русскому читателю. По нескольку раз издавались переводы ее повестей «Странный человек», «Будем друзьями», «Кюнхылу», романы «Униженные», «У Большого Ика», «Емеш» — составляющие трилогию «К свету». Совсем недавно в издательстве «Советская Россия» (1979) переиздан ее замечательный роман «Униженные» (авторизованный перевод Ю. Аминова); «Советский писатель» выпустил сборник ее повестей «Думы, думы...» В дни 60-летия Октября драма З. Биишевой «Обет» была удостоена диплома I степени и поставлена на сцене ленинградского театра. Эта драма с успехом шла в театрах Ижевска, Оренбурга, Златоуста, Бугульмы и других городов.

Биография Зайнаб Биишевой типична для многих представителей многонациональной советской литературы послеоктябрьского периода. Как человек и художник слова она сформировалась только благодаря событиям Великого Октября.

Родилась Зайнаб Биишева 15 января 1909 года в ауле Туембетово Кугарчинского района Башкирской АССР в безземельной крестьянской семье. Отец ее, сельский учитель, человек передовых взглядов, прививал детям любовь к литературе, к устному народному творчеству, воспитывал в них чувство человеческого достоинства. Чтение осталось любимым занятием Зайнаб на всю жизнь.

Зайнаб рано осталась сиротой. Когда ей было три года, у нее умерла мать, а когда ей исполнилось одиннадцать, не стало отца. Но молодая Советская власть не дала почувствовать ей тяготы сиротства: окружила заботой, дала ей возможность учиться. С IV класса Зайнаб начала писать стихи и маленькие рассказы. Первый школьный учитель Тукаев Султан-Гарей увидел в маленькой Зайнаб будущего писателя. И в жизни своей она старалась оправдать эти надежды. Увлечение литературой продолжалось и в Институте народного образования в Оренбурге, куда она поступила учиться.

После его окончания Зайнаб Биишева работает учительницей в башкирском селе Темясово Баймакского района, затем ее переводят в Уфу, где начинается ее редакторская деятельность. Она работает редактором журнала «Пионер», затем в Башкнигоиздате, в радиовещании для детей и юношества, в областной газете.

В 1930 году в башкирском журнале «Октябрь» (ныне «Агидель») был опубликован ее рассказ романтического содержания «Среди водопадов», который можно считать пробой пера, началом творческого пути писателя.

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием, выпавшим на долю страны и народа. В самом начале войны Зайнаб Биишева вступает в ряды КПСС. В эти годы она очень много работает и окончательно утверждается как писатель. В 1942 году вышла ее первая книга «Мальчик-партизан». Эта повесть легла в основу инсценировки «Дружба», поставленной в годы войны в Башкирском академическом театре. В ее произведениях этих лет большое место занимают образы женщин — героических тружениц тыла. Героини ее повестей «Кюнхылу», «Гюльямал» заменяют в колхозах мужей, ушедших на фронт, и делают все, чтобы обеспечить фронт хлебом и продовольствием.

В годы войны Зайнаб Биишева проявляет себя и как переводчик. Она переводит на башкирский язык произведения русских классиков, изучаемые в школе: рассказы Л. Толстого, М. Горького, А. Чехова, повести Н. Гоголя «Тарас Бульба», И. Тургенева «Бежин луг», А. Гайдара «Тимур и его команда», Л. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» и многие другие.

После войны Зайнаб Биишева заявляет о себе как художник многогранный и многожанровый. Она пишет повести, рассказы, стихи, работает над драматическими произведениями. Ее пьесы «Гульбадар», «Волшебный курай», «Дружба», «Обст» с успехом ставились на сценах Башкирского академического и других театров страны.

Широкую известность получили ее повести «Странный человек», «Думы, думы...», «Где ты, Гюльниса?», а также романтически-философские произведения «Любовь и ненависть», «Мастер и подмастерье».

Зайнаб Биишева отчетливо осознает главное назначение литературы. «Литература, — говорит она, — это борьба за нового человека, идеал которого начертала Великая Октябрьская революция. Новый человек — это труженик, созидатель и всегда борец против зла, пошлости, мещанства, угнетения и порабощения, за самые передовые идеалы человечества».

Да, наш современник — достойный наследник великого исторического прошлого. Молодежь всегда должна знать и помнить историю своего народа. Должна помнить, в каких ожесточенных битвах рождалось новое. Именно эти мысли возникают при чтении трилогии З. Биишевой «К свету». С полным основанием читатели называют ее «книгой жизни». Трилогия эта — итог долголетнего творческого труда и глубоких раздумий «о времени, о жизни». Начало работы над первым романом «Униженные» относится к 1950 году, затем создается вторая книга — «У Большого Ика», третий роман трилогии — «Емеш» был закончен в 1967 году.

В трилогии З. Биишева показала себя мастером эпического охвата действительности. В центре произведения судьба народа и родины в напряженные переломные моменты истории. Действие трилогии охватывает годы перед первой мировой войной, события Великого Октября, гражданской войны, период бурного строительства, коллективизации, созидания новых общественных отношений.

Одной из главных героинь трилогии является Гульемеш. Именно этот характер объединяет многие сюжетные линии трилогии. В образе Емеш бесспорно заключены автобиографические черты, но в то же время З. Биишева сумела показать в своей героине типичную судьбу женщины из народа, для которой революция открыла самые широкие возможности для развития интеллекта и творческих способностей.

В повествовании нашла свое яркое выражение любовь писательницы к народу. Она сумела раскрыть глубину его внутреннего мира, его прекрасные душевные качества, сумела представить богатый мир народного творчества.

Благодаря животворной силе метода социалистического реализма, автор трилогии запечатлел сложнейшие пути народа в период революции, гражданской войны и мирного строительства. Все произведение проникнуто идеей дружбы башкирского и русского народов. Нигде писательница не отделяет судьбу своего народа от народа русского.

Действие романа «Униженные» начинается в канун первой мировой, а заканчивается в начале гражданской. В центре повествования судьба семьи бедняка Байгильде из аула Исанбет. С первых страниц писательница вво-

дит читателя в мир бедных и богатых. Аулом заправляют мулла Ахмадулла, Кормош-бай и их прислужники. Они нещадно эксплуатируют бедняков, лишая их самых необходимых средств существования. Писательница полна веры в светлое будущее народа. Со страниц романа встает народ хотя и униженный, но непокорный, творческий, трудовой.

Роман густо населен героями. Перед нами вереницей проходят самые различные представители народа — свидетели и участники событий первой мировой войны, Октябрьской революции, начала войны гражданской.

Тяжело складывается жизнь Байгильде. Страдает от болезни жена Сагура. Вмешательство муллы Ахмадуллы ускоряет ее гибель. Бедняка Байгильде, выступившего против социальной несправедливости, вместе с детьми высылают из аула, и он переезжает в аул Ильсегул, где живет его будущая новая жена — Сарбиямал, одурманенная жаждой к деньгам.

Жизнь бедняков в ауле Ильсегул также тяжела и безрадостна. Так же как и в Исанбете, бедняков притесняют. Это мулла Габбас, старшина Собхан, их сынки и прислужники.

Но народ выдвигает из своей среды смелых и мужественных борцов, таких как Хаммат, легендарный правдоискатель Хабир, погибший от руки своего брата муллы Габбаса и старшины Собхана.

Любовь и симпатии народа вызывает образ прославленного кураиста и импровизатора Тимербая. В нем воплощены народные творческие силы. Не случайно богатеи преследуют Тимербая и, оклеветав, сажают в тюрьму.

Тимербай — подлинный художник, воспевший наступление нового времени в своих песнях, в ленинском портрете, созданном из просяных зернышек, который описан в романе как подлинный шедевр искусства. После гибели Тимербая этот портрет Иштуган повесил в школе как священную реликвию.

Новые революционные веяния задевают и сферу личных отношений. Красавица Айхылу не покоряется воле родителей, не выходит замуж за сына богача Собхана Хатыбала, а бежит в день свадьбы со своим возлюбленным Иштуганом, и они впоследствии вместе вступают в ряды Красной Армии.

Как страшная трагедия народа описана в романе мировая война: «Народ бедствовал... Горе, как прожор-

ливая безжалостная птица, махая черным крылом, садилось на крышу то одного, то другого дома. Семьи получали короткие весточки: «тяжело ранен», «попал в плен», «погиб», «пал за отечество». И навеки безутешное, неизбывное горе охватывало сердца. Люди становились молчаливей и ожесточеннее...»

И в эти черные дни надежды народа связаны с новыми понятиями «большевик», «революция». Идеи большевиков проникают в народное сознание. Конечно, революция не сразу изменила жизнь в ауле Ильсегул. Разгорается ожесточенная классовая борьба. Объединяются кулаки, баи и их сынки Ахметша, Хатыбал, Хусиулхак. Но им противостоит другая сила — вернувшиеся фронтовики Тимербай, Никита, Байгильде, к которым примыкает молодежь — Иштуган и Ахат; тянутся к ним и совсем юные башкир Байрас и сын Никиты Алешка. Организуется отряд красных дружинников. При схватке с белыми погибает Байгильде.

Сила романа «Униженные» в его многогранности, многопроблемности, в художественной цельности, в полноте созданных характеров.

З. Биишева любит природу — степь, луга, родную реку — Большой Ик, который является свидетелем радостей и горя народного. На его берегах проходят праздники, народные гулянья. Берега Большого Ика становятся ареной ожесточенных битв в годы гражданской войны.

Большое место в романе отводится изображению мира детства, раскрытию формирования характера главной героини трилогии — Емеш.

Дети, как и взрослые — не только свидетели, но и участники происходящих событий. На детей ложится немалая тяжесть труда в семье, они видят социальное неравенство. Но несмотря ни на что, детский мир прекрасен и неповторим. Как увлекательны игры башкирских детей! В них отголоски живой истории народа, в них много движения, песен, танцев. Игры детей часто копируют жизнь и быт взрослых, передают их сложные взаимоотношения. Огромные творческие и интеллектуальные силы народа нашли воплощение в образе Емеш. Много испытаний выпало на ее долю: смерть матери, жизнь в доме жестокой мачехи Сарбиямал, гибель отца и старшей сестренки Янеш. Но это не согнуло героиню. С первых страниц романа Емеш проявляет силу воли, непокорность ударам судьбы, жизнестойкость.

Воспитанная на произведениях народного творчества, Емеш тонко чувствует слово, красоту народной музыки. Девичий музыкальный инструмент кумыз, который ей подарила подружка Шаура, радует ее. Вдохновенно исполняет она на нем прекрасные грустные мелодии. Много раз тяжело болеет Емеш, но всегда ее неукротимая любовь к жизни, природе, поэзии побеждает болезни. Сила героини в ее твердости, несгибаемости. И здесь у Емеш много общего с самой писательницей, которая писала о себе в своем раннем стихотворении: «Говорят мне: невестка, не пой. А я пою несмотря ни на что. У меня в груди много песен. Если я не буду петь, то соловьи петь не станут и солнце не будет светить! Ведь в песнях моих счастье мое!».

Логическим продолжением «Униженных» является роман «У Большого Ика». Оба произведения объединены героями и событиями гражданской войны, которые и являются стержнем повествования. Роман приобретает черты историко-революционного произведения. События гражданской войны в Башкирии соотносятся с событиями в стране, показана крепнущая дружба башкирского и русского народов, скрепленная общей борьбой.

Путь армии Блюхера проходит через башкирские аулы. В одном из аулов на митинге Блюхер рассказывает людям «о внешнем и внутреннем положении молодой советской республики, о задачах, стоящих перед партизанской армией, о помощи, которую могут оказать ей деревенские жители. Заявление, что белые вне всякого сомнения будут побеждены и справедливость восторжествует, высказанное сильным и уверенным голосом, пробудило в сердцах слушателей твердую уверенность в победе», — читаем мы в романе.

В центре произведения — жизнь и борьба башкирского народа. Знакомые нам аулы Исанбет и Ильсегул охвачены гражданской войной. Долины Большого Ика — свидетели трагических и драматических событий борьбы башкирского народа за идеалы Октября. Писательница заставляет своих героев пройти школу борьбы, мужества, познать в этих битвах чувство любви, гордости, ненависти.

Время гражданской войны осмысливается писательницей как время трагических утрат и рождения героев.

В романе переданы как действия Красной Армии, так и действия партизанских отрядов, выступивших против белогвардейцев, местных баев и кулаков.

Роману присуща эпическая глубина. В нем судьбы героев неотделимы от судеб Родины. Герои романа показаны не только в действии, но и в глубоких размышлениях. В этом плане интересны и значительны судьбы братьев Хаммата, Закира и Хисбуллы. Старшего, Хаммата, за смелость, героизм, мужество в народе называли батыром. Он всегда с народом. По-иному складывается судьба Закира, младшего брата. Зимогор Закир — геройсолдат на войне, награжденный Георгиевским крестом, возвращается после революции в свой аул с надеждой на мирную жизнь. Но здесь кипит гражданская война. Аул занимают то белые, то красные. Закир мучительно размышляет о происходящем, но он не понимает, на чьей стороне правда, потому что белые тоже демагогически толкуют о свободе и братстве. Он мечется, переходит из одного лагеря в другой. И вконец запутавшись, не разобравшись в том, какую сторону принять, погибает. Мирный, добрый Хисбулла становится на сторону красных.

Аул Ильсегул охвачен гражданской войной. В борьбу включаются не только старшее поколение, но и молодежь. Алеша, Байрас добывают оружие и убивают старшину Собхана.

Емеш после смерти отца живет у старшей сестры Бибеш, вместе с бабушкой Танбой. Она начинает читать книги, и перед ней открываются новые перспективы. Снова Емеш преодолевает тяжелую болезнь, снова она полна веры в будущее, как и все герои произведения. Символически звучат слова в конце романа: «Мы должны жить надеждой и мечтой о счастье, и оно придет!»

В романе «Емеш» — завершающем трилогию, выделена главная сюжетная линия, связанная с образом центральной героини, судьба которой неразделима с жизнью народа и Родины.

Емеш вступает в самую прекрасную пору жизни, пору крылатой юности. Она, студентка Башкирского института народного образования, с головой уходит в занятия, ее увлекают лекции, общественная работа, чтение книг. Но и жизнь и учеба тоже отражает идеологическую борьбу. Вызывает у Емеш чувство неприязни Емер Яшинский, который, прикрываясь громкими фразами, организует травлю Емеш и других лучших студентов. В этой борьбе Емеш одерживает победу, вступает в комсомол, начинает пробовать свое писательское перо.

Ее рассказ «Волшебиая ночь» был опубликован в башкирском журнале.

Автор раскрывает богатство внутреннего мира своей героинии, в мыслях которой отражен мир новой женщины с ее жаждой деятельности, высокими жизненными идеалами.

Большое внимание в романе уделяется изображению бурных событий 20—30-х годов в ауле Ильсегул. Жизнь народа входит в свое русло. Закончилась гражданская война. Разгромлены белогвардейцы и интервенты. Возвратились в свой аул и приступили к мирному строительству герои гражданской войны Хаммат, Иштуган, Айхылу, Ахат. Они полны ответственности за судьбы народные и не жалеют себя в борьбе за счастье.

На первом плане повествования — Хаммат и Иштуган. Хаммат работает на ответственном руководящем посту. Недобитые белогвардейцы и богатеи полны злобы к Хаммату и подло убивают его. Но дело Хаммата бессмертно. Имя героя живет в памяти народной. В его родном ауле Ильсегул создается колхоз имени Хаммата. Иштуган становится учителем в ауле, подлинным народным учителем. Он учит школьников, организует школу ликбеза для взрослых, ведет большую общественную работу. Организует сельскохозяйственную артель, в которой бедняки впервые обеспечили себя хлебом на весь год. Принимает активное участие и в создании колхоза, в который вступили все трудовые семьи аула.

В романе большое внимание уделяется изображению ожесточенной классовой борьбы. Но сплоченность и организованность жителей аула срывает вражеские замыслы. Заговор раскрыт, враги разгромлены. Весь роман «Емеш» посвящен утверждению победы новой жизни, новых людей.

Через всю трилогию проходит образ великого Ленина. Он составляет идейный стержень произведения, он объединяет стремления русского и башкирского народов. О нем много говорят и ему верят герои. С ним связаны все мечты и чаяния народов, их надежды, их путь из темноты и забитости к свету и новой жизни.

Трилогия З. Биишевой имеет огромное значение для русского читателя. Это высокохудожественное произведение, запечатлевшее историю жизни и борьбы братского башкирского народа, соотнесено с жизнью и борьбой народа русского.

К сожалению, романы, составляющие трилогию, переводились разрозненно и в одно время на русском языке не издавались, а в этом назрела существенная необходимость. Об этом говорят и письма читателей, приходящие в издательства Москвы и Уфы, и высокие оценки трилогии, которые даны в статьях писательницы Лидии Обуховой «Большое видится на расстоянии» («Лит. газета», 9 апреля, 1975 г.), литературоведа Виля Ганеева «Урожай с большого поля» («Литературная Россия», 22 августа, 1975 г.), критика Роберта Баимова «Ступени истории народной («Советская Башкирия», 1 декабря, 1975 года), поэта Александра Филиппова «Родники радости» («Советская Башкирия», 22 сентября, 1973 г), доктора филологических наук поэта Гилемдара Рамазанова «Счастье Зайнаб» («Казахстанская правда, 12 октября, 1976 г.) и во многих других литературоведческих статьях и монографиях.

«Прежде всего, — большое спасибо Вам за доставленное мне большое удовольствие от чтения Ваших произведений, — писал профессор Ленинградского университета член-корр. АН СССР П. Н. Берков. — Поверьте мне, прочитав «Униженные», я получил больше представления о жизни, нравах, быте, народном творчестве башкир дореволюционного времени, чем от чтения разных этнографических и исторических работ. Сказки бабушки Суакай, пословицы, песни, поверья — все это так ярко, так запоминается, так помогает понять не только быт, но и то, что называется внутренним миром башкирского народа, что уже одно только заставляет высоко оценить Ваш роман.

Но это конечно не главное: это — только одна, хотя и весьма существенная сторона Вашего произведения. Перед нами проходят десятки, а может быть сотня, если не больше самых различных персонажей — и положительных и отрицательных, и добрых и злых, и традиционно мыслящих и проникнутых чувством собственного достоинства... Словом, целый мир живых, интересных образов. Некоторые, например, Хабир, дедушка Шахит и другие, хотя и являются персонажами эпизодическими, крепко западают в память... Сюжет романа развивается стройно, интересно, без натяжки и литературности. Буду рад прочитать продолжение Вашей книги».

Вадим Баранов в статье «Масштабом революции» («Правда», 3 июля 1978 г.) писал об историко-революционных романах, включая сюда трилогию «К свету»:

«...думается, не будет большим преувеличением, если мы скажем: по типу социально-исторического конфликта, способам сюжетно-композиционной организации повествования, характеру героя, диалектике национального и интернационального советский историко-революционный роман являет собой качественно новое художественное образование, какого не знала литература.

Накопив немалый опыт еще в предвоенную пору, он интересно и интенсивно развивался в нашей многонациональной литературе в последние годы. И одной из наиболее важных закономерностей историко-революционного повествования стало тяготение к эпической широте сюжета, масштабному осмыслению событий...»

Трилогия З. Бинишевой «К свету», бесспорно, продолжает традиции классической эпопеи социалистического реализма. Во всем ее содержании просвечивается влияние таких этапных произведений, как «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова.

В то же самое время трилогия является органической частью историко-литературного процесса 50-70 годов, в котором отразилось стремление писателей создать произведения об историко-революционном прошлом своего народа. В этом плане трилогия З. Бинишевой родственна таким произведениям, как «Сибирь» Г. Маркова, «Вечный зов» В. Иванова, «Судьба» П. Проскурина и другим.

Трилогия З. Бинишевой, как и все ее творчество, отражает горячую заинтересованность автора в судьбах своего народа. Народ — труженик, творец, герой, созидатель — вот ее основной герой, его образ выпукло, емко, значимо предстал перед читателем.

А. Журавлева,
доктор филологических наук.

Содержание

Зайнаб Абдулловна Биишева

УНИЖЕННЫЕ

роман

Оформление серии *А. Королевского* и *А. Холопова*
Послесловие доктора филологических
наук *А. Журавлевой*

Редактор *Д. Даминов*
Художественный редактор *В. Ковалев*
Художник *А. Королевский*
Технический редактор *Г. Даутова*
Корректоры *Т. Горяйнова, К. Шилина*

ИБ № 1365

Сдано в набор 1. 08. 80. Подписано к печати 4. 11. 80. Формат бумаги 70×90¹/₃₂. Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,81. Уч.-изд. л. 22,56. Тираж 50 000. Заказ № 224. Цена 1 р. 50 к.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25,
ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат
Госкомиздата Башкирской АССР. Уфа-1,
проспект Октября, 2.


1 руб. 50 коп.